



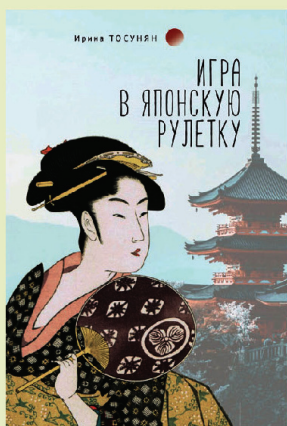
#93

KRESCHATIK
International Literary Magazine

International Literary Magazine
KRESCHATIK
П Е Р Е К Р Е С Т О К
.....

#93

В издательстве «Алетейя» вышли в свет книги:



Международный
литературно-
художественный
журнал



Руководитель проекта
Борис Марковский (*Бремен*)
тел. (+49) 421-522-647-65
borismark30@T-Online.de
markovskiy@rambler.ru

Главный редактор
Елена Мордовина (*Киев*)
тел. (+38) 067-83-007-11
helmord@yahoo.com

Зав. отд. прозы
Игорь Савкин (*Санкт-Петербург*)

Зав. отд. поэзии
Герман Власов (*Москва*)
german_vlasov_2016@mail.ru

Редакционная коллегия:

Татьяна Ретивова (*Киев*),
Вячеслав Харченко (*Москва*),
Игорь Силантьев (*Новосибирск*),
Борис Констриктор (*Санкт-Петербург*),
Петр Казарновский (*Санкт-Петербург*),
Максим Матковский (*Киев*),
Виталий Амурский (*Париж*),
Александр Моцар (*Киев*),
Айдар Хусаинов (*Уфа*)

Креативный директор
Андрей Коровин (*Москва*)

Технический директор
Павло Маслак (*Киев*)

Художник
Иван Граве (*Санкт-Петербург*)

Год издания двадцать четвертый
Рукописи не рецензируются и не возвращаются
При перепечатке ссылка на «Крещатик» обязательна

Адрес редакции:
B. Markovskiy, Kornstr. 22
28201 Bremen, Deutschland
<http://www.kreschatik.kiev.ua/>
<https://magazines.gorky.media/>
ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»
192029, Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны, 86 А, оф. 536

Журнал выходит 4 раза в год
ISSN 1619-2966

© Крещатик, 2021 г.
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Поэзия

Феликс Чечик / <i>Натания</i> /	Темперирован клавир	5
Александр Кабанов / <i>Киев</i> /	Кистепёрая птица судьбы	59
Катя Капович / <i>Нью-Йорк</i> /	«Когда встаёшь среди темноты...»	80
Евгений Чигрин / <i>Москва</i> /	«Словарик мифологий оживал...»	136
Сергей Слепухин / <i>Екатеринбург</i> /	«лицом к стене, а за спиной — тьма...»	151
Петр Брандт / <i>Санкт-Петербург</i> /	«Грядущий благородным нищим...»	196
Михаил Рантович / <i>Новосибирск</i> /	«Забрызганные брюки, пара кед...»	211
Сергей Золотарев / <i>Жуковский</i> /	Положено вдоль	218
Павел Байков / <i>Санкт-Петербург</i> /	Настойка на своём	229
Борис Гринберг / <i>Новосибирск</i> /	Палиндромы	245
Анатолий Замиховский / <i>Кёльн</i> /	Давай продолжим бой	256
Александр Белых / <i>Владивосток</i> /	Из книги стихов «Эхо сердца»	271
Александр Спренцис / <i>Киев</i> /	Полторы нирваны	283
Любовь Артюгова / <i>Мендиг</i> /	Новоселье у Егорова	294
Артём Морс / <i>Иркутск</i> /	«В подробных сумерках дробится...»	315
Елена Семенова / <i>Москва</i> /	Начало	322
Владимир Беспалько / <i>СПб.</i> /	«Доживает старик свой век...»	328
Борис Ванталов / <i>СПб.</i> /	Дневник	334
Богдан Агрис / <i>Химки</i> /	«я вырастаю по воздуху вон...»	345
Ганна Шевченко / <i>Жуковский</i> /	«Плывут по небу радужные танки...»	349
Игорь Куницын / <i>Домодедово</i> /	«Всё вокруг ненастоящее...»	356
Виктор Есипов / <i>Москва</i> /	«Я бледнею при ней и краснею...»	360
Борис Кутенков / <i>Москва</i> /	«как ягоде куста...»	371
Григорий Медведев / <i>Мытищи</i> /	В этом времени года	376
Алексей Остудин / <i>Казань</i> /	Майские каникулы	384
Александра Герасимова / <i>Томск</i> /	«когда тебя вели бульваром...»	388

Проза

Мирон Карыбаев / <i>Алматы</i> /	Муха на фреске	14
Сергей Королёв / <i>Аугсбург</i> /	Четвертый архив	88
Антон Сидоренков / <i>Вологда</i> /	Пономарь. Рассказ	146
Алексей Куксинский / <i>Минск</i> /	Форель ломает лёд	154
Михаил Москалев / <i>Москва</i> /	Происхождение письменности	200

Римма Запесоцкая / <i>Лейпциг</i> /	Настя с «чёрствым» чемоданом	214
Давид Дектор / <i>Иерусалим</i> /	Праздник	221
Александр Якутский / <i>СПб.</i> /	Тогда директора!	247
Сергей Гарсия / <i>Норильск</i> /	Луна была неполной	261
Леся Тышковская / <i>Париж</i> /	В кадре	275
Елена Чуйкова / <i>Киев</i> /	Богородица с когтями	288
Григорий Вахлис / <i>Иерусалим</i> /	Шу-у... Шу...	298
Илья Спрингсон / <i>Москва</i> /	Кошкин дом	325

В ГОСТЯХ У «КРЕЩАТИКА» СЛОГ — СОДРУЖЕСТВО РУССКОЯЗЫЧНЫХ ЛИТЕРАТОРОВ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГЕРМАНИИ

Дмитрий Драгилёв / <i>Берлин</i> /	Убегая от фавна	64
Михаил Шлейхер / <i>Берлин</i> /	Юлька. <i>Рассказ</i>	232
Юлия Ефременкова / <i>Берлин</i> /	Чай и студёная вода. <i>Рассказы</i>	319
Даниил Бендицкий / <i>Берлин</i> /	Крокодил, медвед и другие Tiere	330

Переводы

Карл Кролов / <i>1915–1999</i> /		
<i>Перевод с нем. Л. Бердичевского</i>	Последняя ночь	302
Ильма Ракуза / <i>Цюрих</i> /		
<i>Перевод с нем. В. Агафоновой</i>	Катица. <i>Рассказ</i>	315

Контексты:

эссеистика, критика, библиография

Михаил Окунь / <i>Аален</i> /	Хулиган Грибанов	337
Михаил Синельников / <i>Москва</i> /	Летом в Голицине	353
Александр Балтин / <i>Москва</i> /	Метафизические ходы В. Ходасевича	365
Михаил Лукасевич / <i>Киев</i> /	Год первый. Записки врача	380
Марина Кудимова / <i>Москва</i> /	Ерёма без Фомы	391
Б. Констриктор / <i>СПб.</i> /	О собрании текстов поэта Евгения Феофтистова	394

Латинский квартал

Борис Марковский / <i>Бремен</i> /	По чужим лекалам	397
------------------------------------	------------------	-----



Феликс ЧЕЧИК

/ Натания /

ТЕМПЕРИРОВАН КЛАВИР

* * *

На глазах у недобитка
по стене ползёт улитка,
день и ночь ползёт она —
не закончится стена.

Наблюдать не надоело
столько зим и столько лет,
тело мокрое, и дела
соответствующий след?

Средоточие печали,
средоточие обид,
пожимаю я плечами
оттого, что недобит.

А усатое желе
вверх ползёт, читая требу,
не скучая по земле
и соскучившись по небу.

* * *

Поклонимся осенним веткам,
начав предстартовый отсчёт,
когда потомок станет предком
и время дальше потечёт.

Прощайте, тополя и клёны,
бессмертье пьющие из луж,
ответно бьющие поклоны
за неимением баклуш.

Прощайте, не будите лихо,
покуда тихо и светло
и безуспешная шумиха
очей не закоптит стекло.

Мы без обиды друг на друга,
как в телескопы поглядим,
пока не закружила вьюга
белее страха и седин.

Прости-прощай! Мы были вместе
и расстаёмся навсегда, —
всё растеряли, кроме чести,
как свет осенняя вода.

Ноябрьский лёд и остр и тонок —
прочнее, чем столетний дот.
И не родившийся потомок,
как предок по нему идёт.

* * *

Тому, кто насеком
и зелен, словно медь,
дай, хоть одним глазком,
на время посмотреть.
Оно летит, как свет,
а, может быть, быстрее —
вопросом на ответ
сквозь сети рыбаей.
Лови его, свищи
его — напрасный труд:
летит, как из пращи,
страшней, чем самосуд.
Одним глазком взглянуть
позволь в дверной глазок
на бесконечный путь
и млечный водосток.
Пусть тонким голоском
заголосит навзрыд
о том, что насеком
и вечен, как подвид.

* * *

Редкий лист, не долетая до земли,
улетает навсегда — куда подальше.

Листопад мои печали утоли
песней осени без музыки и фальши.

Лист попроще жёлтой рощи посреди,
не раздумывая, упадёт под ноги.
Дебет с кредитом несчётные сведи,
подведи под монастырь свои итоги.

Монастырская стена — укрепрайон, —
ни страшны ему ни охи и ни ахи:
свет берёзовый во тьме со всех сторон
и вороны на берёзах, как монахи.

Прикоснулся, причастился и айда!
Причастился, прикоснулся и довольно!
То не слёзы — то осенняя вода.
И ни капельки — ни горько и ни больно.

* * *

И сума, и тюрьма, и себе на уме.
Вологодской финифтью да по хохломе,
обезумев от «скрежета-дрожи» ...
Всё равно нет родней и дороже.

Есть другие — прекрасные, — лучше, чем, но:
мы читали одно и смотрели одно
и любви невозможной алкали:
в Пинске вешнем, в степном Забайкалье.

Никому не истцы и ответчики всем —
мы годимся в отцы тем, кто пал в 37.
Что ж, обнимемся — сестры и братья,
размыкая медвежьи объятья.

Посидим, помолчим, погорюем о том,
что от света лучин загорелся наш дом
и помянем — поминок почище —
чаепитием на пепелище.

* * *

Лишь на себя пеняли,
что задолжали всем
и жили, как в пенале
карандаши 6М.

Лежали — тихо-тихо,
тупые, как на грех,
и не будили лихо:
шумиху и успех.

Совсем, как в клетке птица,
от счастья вдалеке,
чтоб вскоре очутиться
у Рембрандта в руке.

* * *

И летает, и плавает, — это ли не
расчудесное чудо и счастье вдвойне!
Летним утром в конце декабря —
бесконечное «кря».

Ходит селезнем время — прикид хоть куда!
Но летейская не отражает вода, —
отражается вечность-химера
самкой — сиро и серо.

* * *

он вышел вон на все четыре
чтоб не вернуться никогда
но что он знал о внешнем мире
мелькали веси города
он вышел весь в сухом остатке
воспоминания одни
и с будущим играя в прятки
как поезда летели дни
он сел на поезд подстаканник
стучал в ночи как метроном
и месяц полуночный странник
как в речке отражался в нём
лети лети лети не зная
любви-печали не держись
твоя закончилась земная
и внеземная скоро жизнь
наступит даже лучше прежней
молчи скрывайся и таи
и этот воздух воздух внешний
наполнит лёгкие твои

* * *

Не опечатка, не описка:
предновогодней незимой
я получил письмо из Пинска,
где мне заказан путь домой.
В придачу — скатерть и дорожка
и тьма, глядящая врагом...
И память детства, будто кошка,
всё ходит по цепи кругом:
идёт направо — видит Пину,
налево — страх и вороньё,
и тьма ночная дышит в спину,
и не укрыться от неё.
И вдруг — внезапно, как ни странно,
среди заснеженных полей:
взошла звезда, запела Анна,
и сердцу стало веселей.

* * *

Докурю я последний чинарик
и последнюю рюмку допью.
И Венеру включу, как фонарик,
осветившую жизнь не мою.

Что ж, свети, — пусть не мне, но другому;
и пускай навсегда молодой
не тоскует по отчему дому
под моей путеводной звездой.

* * *

Мера бывает разной, но чаще — крайней.
Верил, но не боялся и не просил.
И выпрямлялся согнутый рог бараний,
но тем не менее тикал watch-упарсин.

Правый пологий берег крутым сменялся,
лесом непроходимым сменялся сквер,
но не сдавался; и получалось масло, —
символ возни мышиною и полумер.

Как бы там ни было — с голоду ты не помер.
Номер 16? Что ж и на том мерси!
Слышишь, как надывается колокол-зуммер?
На небо глядя, молвишь: — Иже еси..?

Не сомневайся — есть! Значит в полной мере
всё, что тебе положено — не твоё.
В речке купаясь или гуляя в сквере —
пей, не спеша, из горлышка забытьё.

УРОК ФРАНЦУЗСКОГО

А. М.

Будто дёснами хлебную корку жую,
доживая свой век.
Се ля ви, говоришь, говоришь, дежа вю
тишиной из-под век.
Что ж, финита? Адъё? Оливье. Винегрет.
Незатейливый трюк!
Столько зим говорю, говорю столько лет:
табуретка и крюк.
А ля гер, говоришь и камси, говоришь,
тет-а-тет, о-ля-ля.
Невесёлая старость, июньский Париж
и чужая земля.
Навсегда не лямур и пердю навсегда,
никогда комильфо.
И не Сена за окнами — Леты вода
и вокруг — никого.
Шаромыжником стал милый друг. Пуркуа?
Почему бы и нет!
И полночная вспять утекает река
и луна, как омет.

* * *

Грациозны, чисты, бесподобны, зигзагообразны,
как две капли воды друг на друга похожи они.
Эти белые цапли в тиши декабря не напрасны,
а скорей распрекрасны, как предновогодние дни.

Не белым, но бело! Значит набело жизнь перепишем,
черновик уничтожим и не пожалею о нём.
И побудем на свете пречистом — не третьим и лишним,
а потом на закате с тобой грациозно уснём.

1991

Мы чокнулись! И дальше — больше:
Брест растворяется вдали
и острые костёлы Польши
плывут, как в море корабли.

Нам дела нет до проводницы
и строгих окриков её:
пока благоволила литься,
пока впадали в забытьё.

И скатертью не самобранкой
текла дорожка до небес.
И подстаканники морзянкой
отстукивали МПС.

От пьяной песни, как от мата,
мы не могли забыться сном,
покуда дымная громада
не появилась за окном:

идём — куда, не зная сами,
счастливые, не помня зла, —
и очутились в кёльнской яме...
А лошадь по небу плыла.

* * *

Ю. Н.

Пламя розового масла
и цветенья мандарин
мы — за то, что не погасло —
мысленно благодарим.

Согревало больше меры,
обжигало до кости,
навсегда лишая веры
в Бога, Господи, прости!

Мы ни капли не в обиде,
а совсем наоборот —
радуемся, как при виде
урожая недород.

Обладатели ремёсел
и таланты пустоты, —
мы без цитрусовых масел
жить не можем — я да ты.

Так, давай подыдем кружки,
и не с горя — от любви, —
две старинные подружки
загуляем на свои.

Потому что — Александр,
потому что — навсегда,
потому что светит рядом
Царскосельская звезда.

* * *

Я не прощу эпохе,
укрававшей жизнь мою.
И замолчу на вдохе
и выдох утаю.
Ни хорошо, ни плохо
вернуться вдруг домой,
где слушает эпоха
прощальный выдох мой.

* * *

Мы не были детьми, — мы сразу
состарились, бессмертье зля.
И, как пломбир, лизали фазу
и обходились без нуля.

Мы были трепетнее лани
с мотором пламенным в груди.
Мы стали полными нулями
бесполой жизни посреди.

Когда мы жили понарошку,
когда мы жили не всерьёз,
мы время гладили, что кошку
и доводили жизнь до слёз.

Нам эти слёзы отольются
и станут пулями они,
когда мы будем пить из блюда
свои оставшиеся дни.

* * *

В Тель-Авиве, мой друг, в Нарьян-Маре
составляем единый народ:
утром запах Ивана-да-Марьи,
ближе к полночи — наоборот.
Мы едины, мой друг, мы едины, —
хочешь ты или нет,
и поэтому непобедимы,
излучая невидимый свет.

И пускай мы с тобой не знакомы,
но зато мы с тобой не враги,
не ослепшие от глаукомы,
потерявшие зрение от зги.
Темень-тьмушая — свет лучезарный
двести лет, — даже больше уже:
пионерлагеря и казармы
породнили на вечной меже.
И когда улетим восвояси
от роскоsmосов прочь и от нас —
с мирозданием налаживать связи
будет некому после нас.
Так, давай на дорожку присядем
ароматные травы кура,
не считая ранений и ссадин,
вопреки, а не благодаря.

* * *

Не могу сказать, чтоб очень
темперирован клавир:
день октябрьский обесточен,
небосвод убог и сир.

Замолчавшие от страха,
неизвестностью живя,
мокнут птицы, и от Баха,
как от ливня, вымок я.

Что-то дуб поёт, как спяну
и, как спяну, шепчет клён:
Иоганну Себастьяну
лесопарковый поклон.

Темперированный кое-
как, а осенью вдвойне,
я мечтаю о покое
и январской тишине.

Что-то я разволновался
и пускаю пузыри...
Ну-ка, сердце, в темпе вальса:
три-четыре, раз-два-три!

Мирон КАРЫБАЕВ

/ Алматы /



МУХА НА ФРЕСКЕ

Часть I

Из города в город,
Адрес: родные сердца.
Порой теряя опору,
Никогда не теряя лица.

Ты даёшь людям шанс
Сказать себе «я живой!»
Довольно странный способ жить жизнь,
Но он твой.

Кирилл Комаров, «Способ жить жизнь»

1

Константин Хан болел два раза в год.

В первый раз — во время крещенских морозов, когда влажный алма-атинский воздух промерзал до минус двадцати, а в Сайранском водохранилище прорубали иордань. В купель он окунаться не рисковал, но облиться холодной водой в ванной считал нужным. После этого неизменно слегал с простудой.

Во второй раз — в августе, когда очередной ливень приносил с собой не летнюю освежающую прохладу, не радость, не раздражение, но странную необъятную тоску, осознание скорого наступления осени. В такой день Хан выходил на улицу и бродил по городу, размышляя о бренности бытия, наступая на желтеющие листья, тщетно борясь с желанием напиться. Промокал до нитки и на следующий день вставал с температурой.

В то утро Константин проснулся раньше обычного, на самом рассвете, с больной головой и слезящимися глазами. Лечился водкой, поглядывая в окно на кубово-синее небо. К вечеру водка кончилась, и он уснул.

Открыл глаза и долго смотрел в обшарпанный потолок. Солнце светило в глаза, понукая встать, умыться, побриться, перестелить пропотевшее бельё и начинать новый день.

Сил хватило только на умывание. Опираясь на раковину и поглядывая на своё испитое лицо в зеркале, Хан понимал, что чувствует себя лучше, чем вчера. Температура вроде бы спала, ноги не подгибались, горло не болело.

Только очень хотелось пить. И именно жажда заставила его одеться, привести себя в порядок и выйти из дома.

* * *

Колокола отбили полдень. Константин Хан стоял за воротами и смотрел на церковь. Обводил взглядом изгибы ступенчатых арок, до рези в глазах всматривался в блики начищенных куполов, разглядывал проволокой закреплённый крест, внимательно наблюдал за поведением прихожан. Запоминал всё: темп шагов, выражение лиц, мельчайшее дуновение ветерка, сигналы машин за спиной.

Из дверей церковной лавки вышла женщина одухотворённого вида, на ходу складывая покупки в сумку. Загодя подготовила горсть мелочи, с улыбкой сыпала её в ладонь попрошайки. Та рассыпалась в благодарностях, и женщина вышла за ворота.

Ни на Константина, ни на сгорбленную старуху на ступеньках перехода её доброты не хватило. Хан промолчал, а вот горбунья покрыла прихожанку матом и ещё долго верещала гневную бессмыслицу, до тех пор, пока из сторожки не вышел дворник и не пригрозил полицией. Блаженная она была или нет, но угроза сработала. После кистер¹ направился к Хану, размахивая метлой.

— И ты иди отсюда, пьянь!

— Да я же...

— Иди!

Он развернулся и быстрым шагом ретировался. Хотелось пить.

* * *

Пачка сигарет легла на прилавок, вслед за ней звонко звякнула прозрачная чекушка.

— Тоғыз жүз жиырма, — скороговоркой бросила продавщица, худощавая пожилая казашка.

Костя оторвал взгляд от весело плещущейся водки, перевел на её хмурое лицо.

— Простите, я н-не понимаю, — пальцы заметно дрожали.

Она раздражённо вздохнула и повторила, повысив голос:

— Девятьсот двадцать!

¹ Кистер (кюстер) (нем. Küster — пономарь, лат. custos — дворник, сторож, англ. sacristan — ризничий) — церковнослужитель-завхоз.

Пять или шесть человек, столпившихся в магазинчике, нервно вздыхали, напряжённо переступали с ноги на ногу, тихо переговаривались. Хан спешно, нервно считал мелочь в ладони. Девятьсот двадцать не выходило никак.

— А с-сколько без с-сигарет? — он снова поднял глаза на кислеющее лицо продавщицы. Лицо это, смуглое и, в общем-то, по-старчески красивое, портило пигментное пятно на левой щеке. Это пятно раздражало чертовски. От него хотелось выпить ещё сильнее.

— Пятьсот шестьдесят.

Она убрала сигареты обратно в стенд. В резких, отрывистых движениях чувствовалось презрительное раздражение.

Он отсчитал деньги, высыпал на прилавок. Продавщица быстрыми движениями пальцев разметала по столу монеты, быстро сосчитала, выдвинула обратно двадцать тенге.

— Лишнее.

— А-а, — протянул Костя.

В углу, у прозрачной подставки под шоколадки, жвачку и прочее, стояла коробочка для садака¹. Внутри виднелась горстка мелочи и мятая купюра в пятьсот тенге. Нестриженными ногтями он подцепил монету, дрожащими пальцами попытался сунуть в прорезь. Двадцатка выпала и зазвенела по полу.

В очереди кашлянули. Спиной чувствуя взгляды, он наклонился, стал искать на потёртом кафеле монету. В горле пересохло.

Её поднял какой-то волосатый юноша, ловко закинул в коробку. Поймал извиняющийся взгляд Хана, кивнул, прошёл к прилавку. Очередь облегчённо вздохнула и пришла в движение.

Константин схватил чекушку, прошёл пять шагов до двери, борясь с жаждой. Зазвенели колокольчики. Он спустился по лестнице, сделал два шага в сторону и сорвался. Выкрутил пробку, жадно присосался к горлышку. Холодная жидкость обдала жаром щёки, спустилась по горлу, потекла сверкающими ручейками из краёв рта. Только когда опустошил всю бутылку, залив водкой грудь и ворот рубашки, оторвался, выдохнул, задышал тяжело. Внутренний жар жёг лицо.

Кто-то стоял сбоку и смотрел на него. Костя обернулся, хотел уже наругать зеваке, но узнал давешнего юношу. Ему грубить было как-то неловко, и Хан весь внутренне сжался.

— Чего... чего тебе?

Мир стремительно размывался.

— Вот ваши сигареты.

— А?

Благодетель протягивал ему пачку сигарет, ту самую, на которую ему не хватило денег. Хан смотрел на неё тупо, с липким по-

¹ Садака — мусульманское добровольное пожертвование.

дозрением внутри, потом осторожно протянул руку и взял пачку. Незнакомец улыбнулся простодушной улыбкой, задержал взгляд на Хане, будто собираясь что-то сказать.

— Ч-что-то ещё? — осторожно поинтересовался Костя.

— Нет. Ничего. Простите, — незнакомец развернулся и ушёл.

Хан смотрел ему вслед, держа в опущенной руке нераспечатанные сигареты. В другой лежала пустая чекушка из-под водки.

2

«Однажды в погожий весенний день Малик повстречал на дороге нищего. Нищий являл собою ужасающий вид, ведь запах его одежды ужасал обоняние, от вида грязных босых его ног слезились глаза, от звуков жалобного его голоса болело сердце. Малик не испугался, не отпугнула его отвратительная вонь, не покорёжил тонкого слуха голос оборванца. Наш герой шагнул к босяку, протянул свою загорелую, крепкую ладонь.

— Вставай, брат. Возрадуйся, ибо кончились твои бедствия!»

Бродяга вставил пропущенную букву и снова полулёг на спинку кресла. Текст он правил уже четыре часа, и ещё четыре оставалось до истечения времени. Ночной тариф в компьютерных клубах, может, и был вреден для здоровья, зато выгоден для кошелька. Он, впрочем, не жаловался. И жить вечно не собирался.

«— Как же я встану, добрый незнакомец? — вопрошал нищий, задирая штанины. — Ведь встать я никак не могу.

Действительно, страшная картина открылась глазам Малика. Сиреневые язвы покрывали ноги попрошайки, и стекал из них вязкий желтоватый гной.

Но Малик не испугался, ибо пугаться не умел. Открыл он свою походную сумку и вытащил из неё пузырёк с жидкостью целебной, пожалованный ему шахом Торезмийским.

— Выпей это, брат. Я привез это лекарство из далёкой страны, оно поможет тебе.

— Не могу я этого сделать, добрый человек. Не стою я, жалкий червь, такой благодати.

Малик Странник не растерялся. Взяв оборванца за горло, он силой влил ему в рот содержимое склянки — всё, до капли. И случилось чудо — раны его зажили, будто и не было их никогда. Нищий, увидев это, встал и от радости заплясал, запел. Как же он пел! Не хуже соловья, надо заметить. Скоро послушать его собралась целая толпа. И посыпались к ногам бывшего попрошайки медяки и золотые, а тот всё заливался, прославляя чудо, прославляя доброго странника и саму жизнь.

Малик Странник улыбнулся, накинул на голову капюшон и скрылся в толпе. Опустевшую склянку он выбросил в кусты, ни разу не пожалев. Чудо-лекарство из далекой страны лечило все болезни,

поднимало с постели умирающих, даровало зрение слепым и забирало боль у страждущих. Торезмийский шах пожаловал его Малику за раскрытие преступного сговора во дворце. Торезмийский шах не ведал, что Малик Странник не болел никогда в своей жизни».

Ночь была прохладна и освещена фонарями. Бродяга стоял поодаль от курящих неподалёку парней, смотрел на тусклые городские звёзды и вспоминал.

Вспоминал, как давно и далеко, в начале своего пути, повстречал в переходе бродячего музыканта. Пел он... чёрт, что же он пел?

А, точно.

С каждым шагом — всё дальше и дальше от выбранной цели,
И ошибки мои всё мудрей и всё красивей.
Сохрани Господь всех тех, кто в сердце моём укрыться успели,
А точнее — пронеси их Хаос мимо камней¹.

Бродяга уже был достаточно опытен, чтобы различить человека в глубокой нужде. Сказали ему об этом ввалившиеся щёки музыканта, сообщила грязная, не по сезону, одежда, поведала глубокая усталость в хриплом голосе, и, наконец, окончательно убедил лихорадочный блеск опухших глаз.

Он подошёл к певцу, протянул купюру. Крупную. Тот приподнял бровь.

— За какие заслуги? — свысока прохрипел он.

— За просто так, — Бродяга тряхнул рукой. — Берите, вам нужнее.

Он нахмурился.

— За просто так, пацан, деньги не берут. И уж точно не дают.

Бродяга спрятал купюру, скользнул к стене, скривил губы в улыбку.

— Тогда не за просто так. Расскажите какую-нибудь историю. Я собираю материал... для книги.

Музыкант задумался, вытащил из кармана мятую сигарку, сунул в зубы. Долго, безуспешно щёлкал зажигалкой, высекая холодные искры. Бродяга протянул ему свою.

— Хмм... — он глубоко затянулся, вернул зажигалку владельцу. Выдохнул едкий дым. — Ну, раз так, слушай и запоминай. Пили мы однажды с одним моим товарищем...

— Вот так, — закончил рассказывать дядя Юра, гитарист, авантюрист и непростой судьбы человек. — Вот та-ак.

Упакованная гитара уже давно стояла, прислонённая к стене — сегодня он играть уже не собирался. Бродяга обдумывал услышанное, мямля в кармане купюру. Ночь била в голову лёгким дурманом.

¹ «Вернуться назад», Василий К. & The Kürtens.

Музыкант потянулся за очередной сигаретой, но обнаружил пачку пустой. Почесал затылок.

— Я за куревом, — бросил он. — А ты здесь подожди, я скоро приду.

Зачем-то он взял с собой гитару. Бродяга, впрочем, не обратил на это внимания. Он вытащил блокнот и записывал в него историю.

Дядя Юра не пришёл скоро. Когда Бродяга кончил записывать, он сунул руку в карман и понял, что дядя Юра не придёт вообще.

Бродяга усмехнулся и вернулся обратно в настоящее. Стыдно вспоминать, как наивен он был тогда, как запаниковал, как нервничал... Впрочем, нет, уже не стыдно. Сейчас уже просто смешно.

Он глубоко вдохнул, выдохнул, развернулся. Пора было возвращаться к Малику Страннику и его удивительным приключениям.

«Малик Странник прибыл в городок на самой окраине Великой пустыни и понял сразу: что-то здесь не так. На лицах жителей нарисована была тяжкая нужда, и страх, и отчаяние. Плакали младенцы на руках матерей, плакали бесслёзно старики, ветер задувал песок во дворы и дома.

— Что за беда у вас, хорошие люди? — обратился герой ко всем сразу. — Что случилось?

— Бандиты, господин, — ответил дряхлый старик с печатью страдания на лице. — Уходите поскорее из нашей деревни, пока они не вернулись!

Малик выпрямился в седле, положил руку на рукоять меча.

— Малик Странник никогда ещё не бросал тех, кто в нем нуждался. Возрадуйтесь, ибо бедам вашим пришел конец!

Старик упал на колени. Шум сотен копыт донёсся издалека.

— Не нужно, добрый господин. Слышите? Это едут они, уходите, убегайте поскорее!

Малик слез с коня, поднял старика с земли.

— Прячьтесь! Прячьтесь! Они едут! — доносились отовсюду крики. Наш герой стоял посреди этой неразберихи, непоколебимый и неустрашимый.

Скоро разбойники ворвались в деревню, заполонили каждую улицу и каждый угол. Окружили Странника, закружились коловратом коней.

— Кто ты такой?! — раздались отовсюду голоса. — Уходи, пока цел!

— Я буду говорить с вашим главным, — отвечал Малик невозмутимо, нагнув на лицо шляпу и широко расставив ноги.

Кольцо сузилось. Заблестели сабли. И раздались крики во второй раз:

— Ты дерзок! Отдавай всё, что есть у тебя! Только тогда мы тебя отпустим!

— Я буду говорить с вашим главным, — повторил Малик Странник, оставаясь недвижимым и невозмутимым. Сердце его билось ровно, дыхание его не сбилось.

Теперь уже пыль, поднимаемая конями, поднялась до неба. Мелькали вокруг Странника конские ноги, хвосты, крупы, стук копыт дробился на мельчайшие осколки. И крикнули разбойники в третий раз:

— Готовься к смерти, путник! Молись, чтобы была она быстрой!

Ни один мускул на лице Малика не шелохнулся. Ни одна нотка в голосе не выразила страха.

— Я буду говорить с вашим главным, — повторил он в третий раз.

И сотворило его спокойствие чудо. Пронзительный свист разогнал конское море, заставил разделить надвое. Бандиты расступились, и вышел из их рядов гигант, весь увешанный цепями, с чёрным плащом за спиной и золочёной саблей на поясе. Малик Странник не сдвинулся с места.

— Я Вейрах-паша, главный в нашей дружине. О чём ты хотел говорить со мной?

Голос его громыхал, как удары молота по наковальне. Малик поднял на него взгляд, сплюнул на песок.

— Я Малик Странник, — только и сказал он. — Оставьте этих людей в покое, или пожалеете об этом.

Главарь захохотал, и смех его рвал небо на части. Он опустил руку и отстегнул от седла огромное копьё в два человеческих роста длиной. Наконечник его был зазубрен наподобие акульих зубов — такое оружие рвало человечесью плоть, как шёлк.

— Ты смелый человек, Малик Странник. Ты заслуживаешь чести быть убитым мной.

Тогда Малик положил руку на рукоять сабли и не сказал более ни слова. Гигант замахнулся ужасающим своим оружием, но бросить не успел, потому что Странник быстрее птицы подскочил к нему и разрубил бандита на две части, а потом ещё на две части. Он повернулся к остальным разбойникам и окинул их взглядом глаз, сверкающих, как звезда Севера.

— И-и-и! — закричали они в ужасе, увидев, что сделалось с их командиром. Развернув коней, они бежали, не оглядываясь, потеряв от страха человеческий облик. Он дал им уйти, потому что Малик Странник никогда не бил в спину.

Открылись двери и окна нараспашку, выбежали на улицы жители, счастливые и радостные.

— Спасибо тебе, Малик Странник! Мы никогда не забудем твоего подвига! — подошёл к нему давешний старик, ещё недавно умолявший его уйти.

Странник скромно улыбнулся, вытер кровь с клинка и сел на лошадь. Не говоря ни слова, он покинул селение. Дорога звала его, и новые подвиги виднелись на горизонте».

Бродяга дремал, разомлев в мягком кресле. Прикрыв глаза, видел он степь от горизонта до горизонта, слышал вой лихачаветра, чувствовал на губах горький привкус полыни.

Мелькали кадры. Стучали колёсами поезда, отмечая по Турксибу и Транссибу¹ разбросанную жизнь. Ревели моторами трассы. Моргали фонарями улицы далёких городов.

И ветер. Ветер дул в глаза, ветер дул в спину, ветер поднимал клубы пыли, закручивая их в пляшущие, мимолётные вихри.

На дереве что-то делалось. Бродяга сощурился, разглядел, как на высокой ветке юркая, блестящая чёрная змея вилась вокруг гнезда. Серая птица, не разглядеть какая, ожесточённо отбивалась, отчаянно хлопала крыльями, яростно клевала змеиную плоть.

— Не болды?² — окликнул его старый пастух. Бродяга, не отрывая взгляда от схватки, ответил:

— Змея с птицей дерётся.

Старик подошёл ближе, вгляделся подслеповатыми, желтушными глазами. Жертва затрепыхалась, обвита душащими тисками.

— А-а-а-й, — махнул он рукой, видимо, так ничего и не разглядев. — Змее есть надо. У природы, у неё... законы свои. А нам вмешиваться не нужно.

Бродяга оторвал взгляд от гнезда, в котором хищница уже принялась за птенцов. Последовал за пастухом, переваривая увиденное.

Что-то вырвало его из дремоты — не то чей-то громкий удар по столу, не то сонная судорога. Помотав головой, он наклонился в кресле и уставился ословелыми глазами в монитор.

Время истекало.

3

Ташкентская с утра кишела машинами, шум моторов и нервные гудки раздражали сонного Бродягу, идущего вдоль дороги. При случае он намеревался свернуть во дворы, где тихо и спокойно. Но пока такой возможности не выдавалось.

В городской шум влился новый звук: перезвон колоколов откуда-то справа. Он повернул голову и увидел, как два человека

¹ Турксиб и Транссиб — Туркестано-Сибирская и Транссибирская железнодорожные магистрали.

² Не болды? — Что случилось? (каз.)

яростно спорят у ворот церкви, на другой стороне улицы. Один из них выглядел знакомо.

— Ну надо же, — пробормотал Бродяга и направился к переходу.

— Уходи отсюда сейчас же! Полицию вызову! — махал дворник метлой.

— Полиция мне ничего не сделает, я тут просто стою, — монотонно повторял мужчина.

— Ты распугиваешь людей!

— Я просто стою.

— Вот поли... — он закашлялся, — полицию вызову, будешь им рассказывать!

— Что тут происходит?

Он приподнял брови, узнав Бродягу, дворник же повернулся и сощурился.

— Это твой дружок-алкаш?

Бродяга усмехнулся. Сходство между ними определённо было. Оба заросшие и небритые, оба в заношенной рвани, а от кого разит перегаром, сразу и не поймёшь.

— Да, это мой друг. Он доставляет вам проблемы?

— Он распугивает людей!

— Я с ним поговорю.

Бродяга заглянул ему в глаза. Субъект спора стоял в стороне и отстранённо курил. Дворник снова закашлялся, сплюнул и развернулся.

— А полицию всё равно вызову! — без уверенности в сиплом голосе пригрозил он.

— Храни вас Господь.

Он ещё раз плюнул и что-то проворчал под нос. Бродяга повернулся к мужчине.

— Это уже вторая наша встреча.

Тот бросил бычок в урну, подозрительно уставился на него.

— И во второй раз ты мне помогаешь. Это случайность?

— Алматы — большая деревня, — покачал головой Бродяга. — Раз так вышло, может, расскажете, зачем вы здесь стоите?

— Надо мне, вот и стою. Не надо было бы, не стоял.

— Вы художник?

Он приподнял брови.

— У вас на пиджаке пятна краски.

Он машинально опустил взгляд. Пятна действительно были.

— Ладно. Ладно. Я Костя Хан, художник. А тебе что надо, я никак не пойму?

— Я Малик. Бродяга, — он протянул руку. Хан с сомнением пожал её. — Я собираю истории. Если вы согласитесь...

— Ты. Со мной на «ты», — нервно одёрнул его художник и вытащил из кармана сигарету. — А историй у меня нет, уж извини.

— Может, покажете свои картины? Не за бесплатно, но за бутылку водки?

— Ты... — он поперхнулся дымом. — Ты за кого меня считаешь? Думаешь, я...

Малик смотрел на него. Внимательно.

— А, впрочем, с меня не убудет, — он вдруг передумал и махнул рукой, приглашая пройти с ним. — Ну пойдем.

Малик последовал за Ханом, на всякий случай, не сводя с него глаз. Спасибо дяде Юре, он преподавал когда-то Бродяге важный урок.

* * *

Когда они вошли в сырой подъезд, Бродяга уже было подумал, что Хан собрался его бить. Обошлось.

Художник поднялся по тёмной лестнице, подошёл к обшарпанной деревянной двери, повернул ключ в замке. Пробормотав: «воровать у меня все равно нечего», пригласил Бродягу внутрь.

Костя разуваться не стал, и Малик тоже. Зыбкий линолеум выложен газетами, заляпан краской. У дверей — чёрные пакеты. Один из них тонко звякнул, задетый ногой Малика. В коридоре — холсты, поставленные почему-то лицами к стенам. В зале — ровные ряды стеклотары и недописанная картина на подставке.

— Ты, видать, думаешь, что я алкаш, — Костя пнул попавшую под ноги бутылку, та откатилась к стене. — Что я законченный человек.

Малик промолчал. Он чувствовал, что вопрос риторический. Пахло краской, спиртом и куревом.

— Да, это так и есть, — продолжил Хан, не дождавшись ответа. — Но погляди-ка сюда.

Он указал на мольберт.

— Скажи, что ты видишь?

Малик подошёл ближе, пригляделся. Поверх тонких линий эскиза маслом написаны контуры церкви. Утреннее солнце отражается в золоте куполов, попрошайки сидят с протянутыми руками, прихожане с пустыми овалами лиц протягивают им милостыню.

— Церковь, — неуверенно ответил он. — Ту, возле которой мы с вами...

— А я, — прервал его художник, — вижу, что у попрошайки одна рука чуть длиннее другой, — он ткнул пальцем в упомянутую руку, и Малик признал, что она действительно длиннее. — Я вижу, что вот этот блик совершенно неправильной формы, я вижу, что вот здесь слишком резкий контраст, — он указывал на мельчайшие недостатки, всё распаяясь. После обернулся к Малику. — А когда я пьян, я их не вижу. Когда я пьян, я могу просто взять и нарисовать. Во-от, — он развёл руками, нервно зашагал по комнате.

— Это прекрасная картина, — попытался успокоить его Малик. — Этот... оттенок неба, эти тона...

— Оттенок неба! — всплеснул руками Хан. — Да кому есть дело до неба, когда блик неправильный! Вот представь... — он понизил тон. — Представь, что Микеланджело или кто там ещё писал фреску на потолке храма, писал долго и упорно, идеально отобразил каждую деталь, каждый мазок, но... на фреску села муха. И оставила след. И люди! — он повысил голос. — Люди смотрят на фреску и видят муху! А остальную фреску, прекрасную, замечательную фреску — нет!

— Я не вижу муху. Я заметил эти крохотные ошибки только тогда, когда вы на них указали.

— Но ты увидел! Ты признал эти ошибки, когда на них указали пальцем! А меня в дрожь бросает, когда я представляю, что к этой картине подходит человек более сведущий и тычет в неё пальцем! И говорит, что блик неправильный! И все смотрят! Молчи. Молчи, — он движением ладони остановил Малика, отвернулся к стене. — Я понимаю, что это чепуха, но как же это мешает...

Хан стоял, отвернувшись, со сжатыми кулаками.

— Так проблема не в алкоголе.

— Не-ет. Совсем не в алкоголе, — он сунул руки в карманы и снова зашагал по комнате, стараясь не смотреть на картину. — Проблема в том, что я таким уродился. А алкоголь — это не проблема, алкоголь — это решение. Во-от, — он остановился, поднял взгляд на Бродягу. — А ты, Малик, кто бы ты там ни был, подходишь ко мне и спрашиваешь, нет ли у меня каких историй. У меня нет историй. У меня есть незаконченная картина и... и всё.

Малик сжал губы, кивнул.

— И всё же... — достал из кармана блокнот, записал цифры. Круглыми глазами Костя смотрел на него. — Если вам потребуется помощь, позвоните, пожалуйста.

Хан взял протянутую бумажку, взглянул на неё. Перевёл взгляд на Бродягу.

— Со мной на «ты», — повторил он. — Если мне потребуется помощь? Ты странный человек.

Всё же он положил номер на стол, задумался. Побарабанил по дереву пальцами.

— Мне нужно купить краски. Раз уж ты так хочешь мне помочь, дай мне...

— Я куплю тебе краски, — заверил Бродяга.

— Откуда ты знаешь, какая краска мне нужна? Я сам пойду и выберу.

— Тогда пойдём вместе.

Хан нервно пожевал губу. Глаза бегали с Малика на холодильник.

— А, Бог с тобой, дают — бери, — наконец пробормотал он. — Хорошо. Пойдём, Малик. Уговорил.

Бродяга довольно усмехнулся. Начало было положено.

4

Константин Хан видел сон.

Слышал сон. Чувствовал сон. Он находился внутри сна и сном же являлся.

Белый лист, пустота. Точка — карандашная ли, оставленная ли шариковой ручкой или кистью, абстрактная ли, не имеющая ни длины, ни толщины. Бормотание на фоне — какая-то белиберда, не разобрать ни слова. Линия. Вторая, третья. Последняя почти завершает квадрат — почти, не попадает ровно в первую точку и снова идёт вверх, снова обводит квадрат, пытается исправить его, но только портит.

Быстрее и быстрее.

Линии становятся небрежней, голос бубнит громче, злее, раздражённей.

Ещё быстрее.

Некто невидимый уже даже не старается, а просто водит в испуге чёрным по белому, квадрат превращается в сплошную невнятную каракулю, будто кто-то долго расписывал ручку, будто рисовал ребёнок или сумасшедший.

А голос уже кричит, голос захлёбывается от ярости, и всё быстрее и быстрее, всё небрежней, хуже, отвратительнее, посредственнее, кошмарнее, кривее, паршивее, сквернее, слабее...

— Х-а-а!

Знакомый потолок, и дурнота, и тяжёлая боль, будто жидкий свинец плещется в черепе и давит в глаза. Хан прикрыл веки и лежал, пытаясь отделить сон от действительности. Проклятое солнце светило прямо в мозг.

Костя медленно, с усилием приподнялся и вдруг понял, что в комнате он не один.

На табуретке, рядом с кроватью, по пояс голый, сидел молодой человек. Длинные чёрные волосы падали на изнурённое лицо, на груди раскачивался не крестик, но какое-то странное украшение: узкий металлический цилиндр длиной эдак в палец. В руках — шитьё, иглолка застыла в поднятой руке. Затуманенные припухшие глаза наблюдают за ним.

Малик, Бродяга.

— Ч-что случилось? — с трудом произнёс Костя. Малик вздохнул и воткнул иглолку в ткань.

Пахло блевотой. Он опустил взгляд и увидел возле кровати тазик с мутной жижей.

Хотелось пить.

— Мы купили красок. Тех, что тебе были нужны. Это ты помнишь? — устало начал Бродяга.

Хан с трудом сел на кровати, положил голову на ладони.

— Да. Это я помню.

— Мы пришли сюда, и ты стал писать картину.

— Да. Я стал рисовать.

Хотелось пить.

— Потом я ушёл.

Костя молча кивнул.

Кажется, он решил немного выпить, чтобы работалось лучше. Нет, не кажется. Раз всё это сейчас происходит... значит, он действительно выпил, помнит он это или нет.

— Я вернулся через несколько часов, потому что оставил у тебя записную книжку, — продолжал Малик. Каждое слово прокатывалось ржавым напильником по мозгу. — И застал тебя во дворе.

Он вспоминал. Что-то пробивалось сквозь густую пустоту. Какие-то крики, перекошенные лица...

— Ты был... пьян. Полез в драку, порвал на мне футболку... — он показал своё шитьё и снова опустил его на колени.

Он хватается за чужой ворот, падает, раздаётся треск разрываемой ткани. Что-то впивается в шею и звонко лопаётся.

Хан резко дотронулся рукой до шеи.

— А где крестик?

— Крестик? — брови Малика приподнялись. Он задумался, потёр подбородок. — Наверное, в драке потерялся. Его уже не было, когда я привёл тебя домой.

Константин издал стон и опустил лицо в ладони.

— Что дальше было?

— Ничего. Я уложил тебя, ты немного побуянил и уснул.

Он ещё раз простонал. Хотелось пить.

— Выходит, ты в третий раз мне помог, Малик.

— Бог любит троицу.

Хан поднял взгляд.

— Да. Любит.

— Этот крестик был тебе дорог?

Он потёр глаза. Хотелось пить.

— Не слишком. Просто... это, видимо, Он мне намекает... что пора бросать.

Костя указал пальцем в потолок. Малик вернулся к порванной футболке.

— Может быть.

Ни гнева, ни раздражения. Что это за человек?

— Малик... кто ты такой?

— Бродяга, — он отвёл руку в сторону, вытягивая нить. — Я не от Него, если ты про это. Просто человек, пытающийся помочь ближнему.

— Просто человек... — Константин медленно поднялся, прошёл на кухню. Вернулся со стаканом воды. — Нет, обычный человек бы всем этим не занимался. Ты очень странный человек.

Малик вытянул ещё стежок.

— Что планируешь делать дальше?

— Не знаю. Но, в любом случае, больше ни капли, — он вытянул ладонь, сжал в кулак. — Поздравь себя, ты помог одному старому алкашу... кое-что понять.

Бродяга откусил нитку, натянул футболку на себя. По вороту вился неровный, но явно прочный шов.

— Ну, хоть что-то, — он пожал Косте руку, убрал нитку с иглой в карман. — Удачи тебе, Костя. Я тебя ещё навещу.

— Спасибо.

Он закрыл за Маликом дверь, выпил ещё воды и подошёл к картине. Уставился на неё мутным взглядом.

Дьявольски хотелось пить.

5

На блошином рынке ровными рядами сидели продавцы, преимущественно пожилые. На картонках перед ними разложены старые инструменты, украшения, медали, приборы неясного назначения, одежда... Всего не перечислить.

Среди всякой интересной старьёвщины взгляд Бродяги выхватил потёртый временем, увесистый на вид фотоаппарат...

— Зачем ты каждый раз ходишь к церкви? Не удобнее было бы сделать фотографию и писать с неё?

Константин Хан потёр щетину, не сводя глаз с разноцветных тюбиков.

— Уж извини, Малик, но ты ничего не понимаешь. Фотография никогда не передаст того, что можно увидеть глазами. Не только глазами. Звуки, запахи, ветер, тепло или холод, — он взял с прилавка два, казалось, одинаковых жёлтых тюбика и стал внимательно читать надписи на этикетке. — Никогда.

...Малик шёл по улице, и на груди его в такт шагам покачивался массивный «Зенит Е». На перекрёстке остановился, огляделся.

По проспекту Саина текли машины. Погода была ясная, и горы виднелись особенно отчётливо, как на экранах дорогих телевизоров в магазине электроники. Бродяга прицелился в объектив.

Ветер переменился, запахло куревом. Он обернулся и увидел идущего навстречу Хана с сигаретой в зубах.

— Привет, Малик.

Он выглядел уставшим. Под покрасневшими глазами висели мешки, ладонь, протянутая для рукопожатия, заметно дрожала.

— Привет. Ты куда?

— Туда же, куда и обычно, — уныло протянул Костя.

Они перешли зебру и зашагали вниз по улице.

— Фотоаппарат прикупил, ха? А я вот... — он неожиданно начал рассказывать, — вчера шёл по улице, и передо мной шли бабушка с ребёнком. У малого с рюкзака что-то капало, наверно, бутылка с водой разлилась или вроде того, — он затаился, закашлялся. — А я видел и не сказал ничего. Просто мимо прошёл.

На широком боку панельного здания, чуть потёртый временем, красовался мурал — зелёное жайляу¹ в окружении тех же гор, юрты и бегающие ребятишки.

— Что ж ты промолчал?

— Да-а, — он махнул сигаретой. — Они вроде казахи были, а я казахского не знаю. Подумал, не поймут меня, неловко будет.

Ещё затяжка. Сегодня он курил больше обычного.

— А сейчас вот... думаю об этом.

Они спустились в подземный переход, и стало заметно тише. Только раздавался из динамиков негромкий перебор на домбре.

— Ну, в следующий раз не промолчишь. Теперь-то что поделять.

— А ты? Ты-то зачем всем этим занимаешься?

Малик пожал плечами.

— Я всё никак понять не могу, какая тебе в этом выгода? Рассказни про сбор историй — это же просто отговорка.

Бродяга остановился.

— Я просто хочу принести хоть какую-то пользу миру. Хочу знать, что жил я не зря и хоть кому-то сумел помочь. Такое объяснение сойдёт?

Хан оглядел его. Окурок в зубах уже прогорел до фильтра. Прожужжала над головой пронёсшаяся сверху машина.

— Да, кажется, понимаю. Ты странный человек, я это уже говорил.

Бычок полетел в урну, из пачки извлеклась новая сигарета.

Проснувшийся город отряхивался и набирал обороты.

* * *

Ещё на подходе к церкви Малик увидел лежащее у ворот тело. Даже разглядел лицо и узнал давешнего дворника.

— Смотри, там человеку плохо.

— Бродяга, — Костя положил ему руку на плечо. — Вмешаешься — будут проблемы. К тому же ты можешь сделать только хуже.

— Я только вызову скорую.

Хан кивнул и выплюнул сигарету.

¹ Жайляу — летнее пастбище.

— От тебя другого не ждал.

Малик его не услышал. Он уже подбежал к дворнику, обнаружил, что тот ещё дышит, хотя и с огромным трудом, с натужным свистящим хрипом и судорожными корчами. Посиневшие руки хватаются за горло, выпученные глаза уставились в небо.

Он понятия не имел, что с ним. Вытащил телефон, набрал скорую. Гудки. Долгие. Надсадный хрип. У несчастного закатываются зрачки.

— Слушаю вас.

— Скорая? Нужна помощь, здесь человек...

— Дай-ка.

Хан вырвал у Малика телефон, поднёс к уху, зажал плечом. Присел на колено, приложил два пальца страдальцу к пульсу.

— Астматический статус. Тяжёлый. Да. Не знаю, — он спокойными движениями расстегнул мужчине ворот. — Момышулы — Ташкентская, по нижней стороне, возле церкви. Да. Я знаю, что делать.

Он сбросил и передал трубку Малику. Пошарился по карманам мужчины, вытащил баллончик со спреем, встряхнул, побрызгал в раскрытый рот.

Не у него ли только недавно тряслись руки и дрожал голос?

Константин закончил и тяжело опустил на землю. Дворник продолжал задыхаться.

— Это всё? — Бродяга недоумённо и недоверчиво уставился на него.

— Всё, что в моих силах. Дальше от медиков зависит. И от Него, — он ткнул большим пальцем в сторону церкви. На лбу блестили капли пота.

* * *

Спустя некоторое время они сидели на скамейке во дворе Ха-на. Бродяга смотрел на небо, Костя нервно дымил выпрошенной у фельдшера сигаретой. Его трясло.

Костя затянулся. Малик шмыгнул носом.

Из подъезда вышел рыжий мужик с набором инструментов в руке, подозрительно глянул на них, подошёл к припаркованному рядом «Запорожцу». Разложил инструменты, открыл капот и стал ковыряться в потрохах автомобиля.

Малик почесал затылок. Костя кашлянул.

— Ты, кажется, хотел услышать историю, — он наконец прервал молчание. — Сейчас ты её услышишь, — он затянулся, надолго, со вкусом. Выдохнул дым: — Так, вот, жил в нашем городе один студент медицинского. Готовился, значит, в хирургии. И однажды поехал он к своему дальнему родственнику на какой-то там праздник, уже не помню. Началось там, как обычно, веселье, все нахрю-

кались... И один, кхм, дальний родственник дальнего родственника по ошибке глотнул уксуса.

Мотор «Запорожца» взревел, поурчал пару секунд и утих. Мужик матернулся и полез под машину.

— Началось, в общем. Все паникуют, студентик подбегает к нему, видит — ожог гортани, отёк, воздух не поступает — всё, край! — он взмахнул рукой. — Там бы и загнулся, но студентика обучил один... умный профессор т-тра... трахеостоме. Ну, он по сторонам огляделся, взял ручку, наспех обработал водкой, ну и... — Хан сжал кулак и сделал резкое движение вниз.

— Получилось? — Малик был восхищён. Он такое видел только в фильмах.

— Получилось, — протянул Костя. — Мужик выжил. А через полгода подал на студента в суд.

— За что?

— За то. Там приготовления были кое-как проведены, у него голос изменился, и вообще, у этой штуки масса сопутствующих... Короче, в суде меня оправдали, но с последнего курса выгнали. Вот от. Помог, называется.

Снова раздался рёв мотора, потом скрипящий визг и вновь — тишина.

— Но человека-то спас.

— Спас, — Хан встал со скамейки, выбросил бычок в урну и повернулся к Малику. — Ладно, Бродяга, я пойду. Не знаю, как тебя, а меня вот... трясёт, — он запахнул пиджак, огляделся.

— Удачи тебе. Я как-нибудь ещё зайду.

Они попрощались, и Костя пошёл к себе — писать картину, а Малик — в сторону выхода со двора, по своим делам.

Эту историю точно следовало записать.

6

Новый день принёс с собой новое дыхание осени. Посмурневшее небо наливалось свинцом, с деревьев осыпалась жёлтая листва, холодный ветер норовил забраться под одежду.

В такую погоду всегда хотелось пить.

Константин Хан смотрел на церковь и курил. Дворник во дворе подметал разноцветный мусор, сгребал в кучи, долго стоял, разгибаясь и поглядывая на бледное солнце.

Увидев Хана, он прервался и пошёл в сторону сторожки.

«Что, опять прогонять будет?» — думал Костя, наблюдая за приближающимся кистером. В руках у него не было метлы, зато был увесистый с виду пакет.

О нет.

Он подошёл к Хану, снял с руки перчатку и протянул ладонь. Широко улыбнулся.

— Спасибо тебе, дружище! Прости, я-то думал, ты алкаш какой, а ты нормальный мужик! — он закашлялся, когда Костя выдохнул дым. Протянул ему пакет. — Я... это... купил тебе вот.

Хан глянул внутрь и убедился в своей догадке. Бутылка коньяка, явно дорогого. Красивая этикетка на контурной бутылке, розовая акцизная марка на фигурной пробке...

«Ублюдок».

Улыбка дворника была искренней, а вот на лице Хана застыла резиновая гримаса. Он даже не заметил, как рука сама собой вцепилась в ручку пакета, и пальцы накрепко сжались, отказываясь отпустить драгоценный подарок.

Хотелось пить.

«Лучше бы ты там сдох».

Дают — бери. Это совсем не та бодяга, которую он обычно пил.

Он попытался было вежливо отказаться, но язык не слушался. Дворник отпустил пакет, и тот повис в руке приятной тяжестью.

От него и похмелья, наверно, не будет. Он ведь медик, он знает — иногда можно.

Но что скажет Малик? А главное, что он подумает?

Костя собрал волю и взмахнул пакетом. Раздался стеклянный звон, и в воздухе разлился дразнящий запах.

Кистер ошалелыми глазами смотрел то на пакет с осколками, то на вытекающие из него медные струйки, то на дрожащего Хана.

— Я б-больше не пью, — выдавил тот. — Из-звините.

Он развернулся и спешно ушёл, спиной чувствуя недоумённый взор.

Хотелось пить.

* * *

Константин Хан сидел на полу и сверлил взглядом картину. За окном уже темнело, и комнату освещала только желтоватая лампочка на проводе.

В этом свете каждый недостаток становился отчётливей. Хотелось пить.

Он поднял кисть, медленно, как скальпель к нарыву, поднёс её к полотну, остановился. Нет, нет. Так будет только хуже.

Хотелось пить.

Рука дрогнула, оставив пятно на золочёном куполе. Он тяжело вздохнул.

Это как в том сне с листом бумаги. Чем старательней пытаешься исправить, тем больше портишь. Как бы так аккуратно замазать пятно?

Хотелось пить. Он добавил пасты из тюбика, затаил дыхание и провёл кистью по холсту. Отодвинулся, вгляделся.

Так только хуже. Хотелось пить.

Он только всё испортил. Хотелось пить.

Может, краска не та? Хотелось пить. Может, попробовать иначе? Хотелось пить.

Он перевёл взгляд с купола и решил заняться попрошайкой и её рукой. Хотелось пить. Наверное, стоит...

Он не знал, что делать с этой проклятой попрошайкой и её рукой. Просто не знал. Хотелось пить.

Хан снова видел перед собой улыбающееся лицо дворника, ощущал тяжесть пакета, слышал звон стекла, вдыхал манящий запах. Хотелось пить.

Хотелось пить. Хотелось пить. Хотелось пить. Пить.

Станный шорох в углу. Возле занавески. Из плена неплотной ткани вырвалась толстая чёрная муха, кружась пролетела по комнате и села на картину, прямо посередине блёклого, кривоватого солнца. Посидела немного и стала довольно потирать лапки.

— А-а-а!

Хан ударил кулаком по холсту, картина полетела в сторону, мольберт грохнулся на пол, муха недовольно прожужжала и села на потолок. А он всё бил и рвал, разодрал полотно, разломал подставку, разбросал кисти. Из оскаленного рта брызгала слюна, он что-то бормотал, как во сне, и давился бессильным криком, и топтал ногами золочёный купол, и попрошайку с длинной рукой, и рассветное небо.

Потом встал посреди устроенного погрома, осознал, что только произошло, упал на пол и заплакал.

* * *

Ночь была сладкая, как спирт. Внутренний жар не страшился прохладного ветра, клекотал под кожей и выплёскивался песней наружу.

Он шёл дворами, теми чудесными дворами, что бесконечно и причудливо перетекали друг в друга, дворами, в которые можно было зайти в одном месте, а уж выйти...

Он шёл, встречая редких прохожих, и пустые детские площадки, и ночные магазины, и отгороженные сетками огороды, и чучела из крашенных покрышек, и прочее, и прочее, и прочее...

Он шёл, вкушая тишину безлюдных дворов, вдыхая ночной прохладный воздух, наслаждаясь причудливым сочетанием старины и современности, узором горящих окон, сияньем бессмертных звёзд и диодных фонарей.

Хан спустился по древней полуразрушенной лестнице, споткнулся, упал, встал. Сегодня он был готов подниматься сколь

удовно раз. Он прошагал под аркой и оказался на проспекте. Остановился, очарованный старой советской мозаикой на боку панельного дома.

Изображала она храм, не понять какой. Было в ней два цвета: пыльный серый и тёмно-бордовый, такой же, как у порослей дикого винограда на стене здания. И была она прекрасна.

Раздался чудовищный рёв, будто разверзся ад, и по улице промчался мотоцикл. Хан отвлёкся и пошёл вдоль ряда зданий, разглядывая другие мозаики: церкви, мечети, мавзолеи...

Навстречу шёл человек. Он держался тени, в руках его была спортивная сумка, походка его была спокойной и величавой — будто каждый шаг выжигал в земле глубокий след. Завидев Хана, он, однако, собрался и ускорился.

— Уважаемый! Уважа-аемый!

Незнакомец проигнорировал его и прошёл мимо. Костя увязался за ним.

— Дайте денег, будьте добры! Уважа-аемый!

— Отвали, алкаш! — процедил он.

— Христа ради!

Он обернулся, и в свете фонаря он увидел его лицо, золото волос и серебро очей. Он был ангелом, не иначе, и он шёл, чтобы карать недостойных.

Ангел выкрикнул что-то гневное, и под дых взрезался кулак. Хан согнулся, исторг из себя желчь и упал. Поднял голову, сквозь мокрую пелену увидел, как ангел уходит. А он лежал перед ним, пьяный и облёванный, и плакал от счастья.

Константин Хан лежал в свете фонаря, в окружении старых фресок, умиротворённый, будто заново родившийся. Он только что понял, что ему нужно делать.

7

Бродяга вошёл во двор Хана, держа в руках проявленные снимки. Фотографии вышли, честно говоря, не ахти, но он хотел услышать его мнение.

В песочнице что-то блеснуло. В той самой, где он недавно успокаивал разбуянившегося Костю. Он подошёл, наклонился.

Нет, не крестик. Просто осколок стекла с остатками этикетки. Малик выкинул его в урну, отряхнул руки и направился ко входу.

Домофон долго пищал. Он уже было подумал, что хозяина нет дома, но вдруг динамик выдал хриплое:

— А? Кто это?

Странное предчувствие. Неужели...

— Это Малик.

— А-а-а, Малик... — молчание. — Ну что, заходи.

С тяжёлым сердцем он шагнул в подъезд, поднялся по лестнице, нажал кнопку звонка. Замок сухо щёлкнул, дверь отворилась, и Малик обомлел.

Константин Хан стоял в проёме, опираясь на стену. Полубезумные глаза осматривали Бродягу, рот кривился в косой усмешке, мокрые волосы спадали на лоб.

— Привет, Маллик. Ты чего зашёл?

Бродяга молча протянул снимки. Он взял их, поднес к лицу.

— А, это... Это мне больше н-не нуужно.

Он шаркающей походкой направился в глубь квартиры. Махнул рукой.

— Прохходи, чего стоишь.

Малик прикрыл за собой дверь и последовал за Ханом, всё больше поражаясь. Крепче обычного несло перегаром, красками и куревом. Всюду валялись бутылки и окурки. Войдя в комнату, он увидел стоящий посреди беспорядка косоногий, кое-как скреплённый мольберт и картину на нём.

«Так быстро? Он что, вообще не спал?»

Это был парень возрастом, возможно, чуть старше Малика, с длинными светлыми волосами, собранными на лбу лентой, с сурово сведёнными бровями над белым пятном вместо глаз, с презрительно оскаленным ртом. Позади его — сияние, как на плакате с супергероем или на иконе.

— Кто это?

— Ангел, — коротко ответил Костя, поднимая над картиной кисть. Один лёгкий мазок очертил глаз «ангела».

Малик приподнял бровь.

— А чего злой такой?

— Ещё бы он был добрым, — он наложил ещё штрих, отодвинулся, придирчиво оглядел результат. Сегодня Хан был немногословен.

— Так ты решил... не бросать?

— Нееет, — он покачал головой. — Я должен пить, чтобы рисовать. А рисую я, потому что с-сверху... — он указал кистью на потолок, — так решили. А кто я такой, чтобы им противиться?

С этими словами он поднял с пола початую бутылку и отхлебнул с горла. Выдохнул.

Малик сомневался.

«Раз он так считает... И раз ему это на самом деле помогает... Действительно, кто я такой, чтобы вмешиваться?»

— Я тебя понял, Костя. Удачи тебе.

Он чувствовал, что мешает, и к тому же хотел вдохнуть свежего воздуха. Поэтому направился к двери.

Сзади что-то тяжело упало. Малик обернулся и увидел, что Константин Хан лежит на полу и слабо подёргивается.

Часть II

И вот без причины,
Опять без причины,
Исчезнешь, на свет появившись едва,
Ведь только песчинка,
Ты только песчинка
В руке божества.

Так чем же кичишься,
Что резво так празднуешь?
Ничтожно твоё торжество...
Зачем в этом мире,
Да мире неназванном,
Зачем ты живешь, существо?

«Существо», Пикник

1

В пасмурную погоду сквозь серую пелену видны были только силуэты гор, но их присутствие чувствовалось постоянно. Накапывал мелкий дождь, покрывая дрожащей рябью гладь Сайранского водохранилища. Осенняя ржавь ползла по городу.

Бродяга брёл, укрытый дождевиком, по асфальтовым тропинкам вдоль озера. Редкие прохожие не обращали на него внимания. Брёл, сунув руки в карманы, уставившись в одну точку, поглощённый тяжёлыми мыслями.

Группка полицейских проводила его внимательными взглядами. Поджарая овчарка повернула голову, и над намордником Бродяга увидел её скучающие глаза.

«Закладчиков ищут», — догадался Малик. Прошёл мимо и свернул на улицы частного сектора.

Силуэты гор скрылись за широкой новостройкой. Он по памяти нашёл нужный поворот и остановился у жестяных зелёных ворот. Постучался. Подождал.

Залаяла собака, ей отозвалась соседская, и по всему переулку прошёлся лай — короткий басистый, звонкий залиvistый, тонкий щенячий. Он постучал ещё раз.

Услышал, как заскрипела дверь. Захлопали по лужам сланцы.

— Кто там?

Женский голос, строгий и очень знакомый. Он усмехнулся.

— Я.

— Кто «я»?

Звякнул два раза замок, калитка приоткрылась, узкое белое лицо осторожно выглянуло наружу.

— Ах!

Он стоял, опёршись на забор, мокрый и уставший, и невесело улыбался.

* * *

— Честно говоря, я не собирался возвращаться, но ситуация так сложилась...

— Исчез сначала, потом три года где-то шлялся, теперь приходишь и просишь денег, — она поставила на пробковую подставку заварник, вынула из шкафа пиалку. — Тебе с молоком?

— Без.

Дарина налила дымящегося крепкого чая, протянула ему.

— Ты есть хочешь?

— Я не голоден и здоров, — терпеливо заверил её Бродяга.

— Точно?

— Точно.

Она наконец перестала суетиться, налила себе молока в чай и села за стол. Сложила на столешнице локти.

— Ты к нам надолго?

— Не знаю. На несколько месяцев, наверное.

— А-а-а, — она подула на чай. — Так что у тебя? Где был, что делал?

— Я... — он вздохнул. — Путешествовал и собирал истории. Могу тебе рассказать, если хочешь.

— Понравилось?

— Как сказать... — Бродяга отхлебнул из пиалки. Знакомый вкус, почти забытый. — Я и сам не знаю. Но, послушай... — он поднял ладонь, останавливая новый вопрос. — У меня тут друг с микроинсультом свалился. Ему нужны деньги на лечение. Если ты мне одолжишь, я могу...

— С инсу-ультотом? — она быстро отхлебнула чая, деловито спросила: — Сколько?

Он назвал сумму. Такую, какая бы не затруднила ни сестру, ни его, и какую бы он смог вернуть за несколько месяцев упорной работы.

— Ммм, — она задумалась, что-то подсчитывая в уме. — Будет. Будет.

— Спасибо.

Бродяга расслабился и откинулся на стуле, оглядывая кухню. Всё те же обои, дорогие, но старые, местами отклеенные. Мебель всё та же, и сервиз... А вот микроволновка стояла новая, в чёрном пластике, с цифровым экраном.

— Как там кафешка?

— Ой, там всё по-старому, — Дарина махнула рукой. — Шефа только нового наняли, вроде толковый.

— А что с дядей Устином?

— Дядя Устин умер.

— Да? — он стукнул пиалкой о стол. Негромко тикали часы. — Когда?

— В прошлом июле. В сердце у него шунт какой-то отошёл.

Прошлый июль. Чем он тогда занимался? Не вспомнить.

— Жалко, — только и нашёлся Малик.

Они опять молчали. Чай закончился, и сестра сразу налила ещё.

— Что-то починить нужно? Дома там, на работе?

Она почесала нос.

— Фильтры бы поменять. Муж занят вечно, а у меня сил не хватает.

— Ты замуж вышла?

Бродяга сразу глянул на её руки и увидел кольцо. Ну надо же.

— Ага.

Задребезжал звонок. Дарина вскочила.

— Вот он и пришёл, наверно.

«Так они звонок поставили...» — мельком подумал он.

Снова скрипнула дверь. В дом вошёл высокий смуглый казах лет тридцати.

— Знакомьтесь. Это Алан, мой брат. Помнишь, я тебе про него рассказывала?

— Помню, помню. Очень приятно. Я Жора, — он выглядел недоумённым, но быстро улыбнулся и пожал Бродяге руку. Ладонь у него была худая и крепкая.

— Здравствуйте. Жора? — переспросил Алан.

— Жарылкасын, — уточнил он, снимая обувь. — Но вообще Жора.

— А-а-а.

— Что у тебя там с работой?

— Нихрена, — он устало помотал головой и пошёл в соседнюю комнату, переодеваясь на ходу.

— Есть хочешь?

— Да.

Он исчез за дверью.

— Жора декоратор, — объяснила сестра. — Сейчас занимается домом одного богатея, а тому Картина нужна. Пряма Картина. Вот он ездит по городу и ищет художников, а всё не то.

— Ха, — Бродяга усмехнулся. Было это божественным провидением или простой случайностью? Неважно. — Кажется, у меня есть, что вам предложить.

* * *

В квартире Хана больше не пахло ни красками, ни спиртом, ни табаком. Только слегка тянуло горьковатыми лекарствами. Картины аккуратно сложенными стопками лежали в углу, недописанный портрет покоился рядом. Бродяга очень надеялся, что *пока* недописанный.

Хозяин обиталища, недавно выписанный из стационара, лежал на кровати, укрытый одеялом. Паралич начинал проходить, руки и ноги уже шевелились, хоть и плохо, левое веко тяжело висело на косом глазу. Говорил Хан невнятно и с трудом. Больше жестикулировал.

— Как себя чувствуешь?

Он вздохнул, хрипло, со свистом.

— Вссё такх жже.

Бродяга кивнул.

— Поправляйся. У меня тут есть новость, которая тебя обрадует.

Костя повернул голову в его сторону, двинул рукой — мол, говори.

— Возможно, нашёлся покупатель для твоей картины. Мне нужно будет сфотографировать её и все остальные и показать ему.

Хан долго молчал. Мучительно долго.

— Еммсть промлемма.

— С фотографиями? Но иначе мне придётся водить к тебе в квартиру людей.

Он с усилием помотал головой.

— Не хочешь продавать?

— Я ззапыл.

Алан уставился на него.

— Что забыл?

— Ллисо, — он поднял руку и указал в сторону портрета. — Я нне поммну лица.

Бродяга застыл.

— Совсем?

Хан натужно кивнул. Алан потёр виски пальцами.

— Ч-чёрт. Ну, раз так... — он собрался. — Я покажу ему другие картины. Может, что получится. Ты не против?

Он снова двинул рукой.

— Нне прротиф.

— Хорошо.

Алан разложил по полу все картины — их было около десятка. Большинство изображали различные церкви, но были и пейзажи: он узнал Сайран в своем летнем великолепии, гостиницу «Казахстан», оживлённый парк где-то в старом городе...

Часть полотен была незакончена, ещё часть — перечёркнута крест-накрест размашистыми мазками. Бродяга сфотографировал все.

Попрощался с Ханом и побежал проявлять плёнку.

* * *

Жора-Жарылкасын поздоровался с Аланом, протянул ему фотографии и сел рядом на скамейку.

— Портрет ему понравился, — сразу заверил он. — Говорит, даст не меньше миллиона, если Хан его завершит.

Бродяга мрачно покачал головой.

— Если. А с остальными?

Жора цокнул языком.

— Ему нужен портрет. Я поездил по другим клиентам, они дают по пятьдесят–сто тысяч. Обычные цены. Но за него...

Издали донёсся раскатистый азан¹. Жарылкасын обернулся от неожиданности. Алан сидел, погружённый в мрачные раздумья.

«Сто тысяч тоже неплохо, в конце концов. Надо спросить у Хана».

— Там мечеть, что ли? — спросил Жора.

— Возле супермаркета, — кивнул Бродяга.

— А-а-а.

Жора вынул пачку сигарет и закурил. Призыв к молитве плыл по городу. Прохожие останавливались — кто разворачивался и следовал на звук, кто слушал и шёл дальше по своим делам. Жарылкасын курил, Алан молчал.

Стихло.

— Как тебе семейная жизнь? — высказал он давно назревавший вопрос.

Жора вынул сигарету изо рта, задумался.

— Как сказать... — он почесал затылок. — Возни, конечно, много. И это ещё детей нет. Но, знаешь, жизнь осмысленней стала. Раньше для себя жил, вроде бы и проще, а вроде бы и... зачем?

Бродяга кивал.

— Понимаю. Не то чтобы разделяю, но понимаю.

— К этому прийти надо. Вот тебе сколько?

— Двадцать три вот стукнуло.

— Ну... — он затаился. — Я в твоём возрасте тоже об этом не думал. А сейчас вот...

Жора выкинул окурочек в фигурную урну с орнаментом на боку.

— Просто задумался, какой след в мире оставлю. Был бы я талантлив, как этот твой Костя — после меня остались бы картины, или скульптуры там, или книги... бәрібір². Для великих дел уже староват, да и не гожусь я на них. Только и остаётся, что детей вырастить, чтобы хоть они лучше меня были.

Налетел прохладный ветерок, и Алан поёжился. Встал, потянулся.

— Сделать так, чтобы будущее поколение жило лучше нас. Хотя бы немного, — констатировал он.

— Да, — согласился Жарылкасын.

Он тоже встал. Бродяга протянул ему фотографии.

¹ Азан — мусульманский распевный призыв к молитве.

² Бәрібір — Всё равно. (каз.)

— Пусть у тебя побудут.

Они попрощались и пошли каждый в свою сторону. Дела ждали — не великие, но всё равно важные.

2

Андрэй стоял перед шеренгой и помахивал резиновым ножом.

— Когда ты вступаешь в бой с кулаками против ножа, ты должен понимать, что твои шансы выжить в лучшем случае равны одному из трёх. Далее они стремятся к нулю в зависимости от вашей разницы в навыках. Поняли?

Все кивнули. Тут были начинающие: дети, отданные в секцию, женщины и подростки. Выделялся новичок — жилистый, длинноволосый, быстрый в движениях. Этот всю тренировку нервировал Андрэя своим внимательным странным взглядом.

— Ты... Алан, верно? — подозвал он новичка. — Драки с ножом лучше будет избежать. Но если избежать не получится... — он бросил снаряд новичку, тот рефлекторно словил. — Бей. Сбоку, снизу, неважно.

Алан быстро прикинул, симитировал удар. Тут же оказался скручен в болевой и повержен на маты.

— Видели? — довольно ухмыльнулся Андрэй. — Вставай. Теперь медленно.

Они отработали ещё несколько приёмов, потом проделали физические упражнения и закончили тренировку.

Тренер Гжегож, поляк родом из Англии, человек огромного роста и огромного мастерства, подошёл к нему в раздевалке.

— Что ты всю тренировку новичка пинал?

Андрэй ухмыльнулся.

— Проверял, на что он способен.

— Ты смотри, не распугай учеников! — шутливо погрозил Гжегож. — Ладно, Рэй, до пятницы.

— Давай.

Тренер исчез в проёме, и сразу за ним вошёл Алан. Выглядел он усталым и довольным. Прямо-таки счастливым.

— Ну чё? Как тренировка?

— Тренировка? А, да, неплохо.

— Будешь ходить? — Рэй поправил волосы, натянул ленту на лоб.

— Да. Да, — тот, казалось, думал совсем о другом. — Слушай, Андрей...

— Андрэй. Через «э».

— Извини. Андрэй. Одному моему знакомому художнику нужен натурщик твоего типажа. Нет желания?

— Натурщик? Это голым позировать?

Алан усмехнулся.

— Нет. Только портрет. Пару вечеров на стуле посидишь и получишь гонорар.

— Хм, — Рэй задумался. Поднёс к носу пропотевший носок. — Нет. Не хочу.

Новичок приподнял бровь.

— Ты уверен?

— Уверен. Увидимся, Алан, — он закрыл шкафчик, сунул наушник в ухо и вышел из раздевалки.

* * *

Ещё издали заслышав шум приближающегося поезда, он поспешил. Миновал рамку металлоискателя, на ходу вытаскивая карту, поднёс её к терминалу, спешно спустился по лестнице и побежал к путям.

Молодой мент раскинул руки, преградил дорогу.

— Келесі, келесі!¹

Рэй затормозил, двери поезда с шипением затворились, на табло загорелось «11:20», полицейский вразвалку зашагал вдоль жёлтой полосы, насвистывая и помахивая жезлом.

Андрэй тихо выругался и сел на скамейку. Прибавил громкости в наушнике.

I try to think about tomorrow,
But I always think about the past...²

Он сидел, вперившись взглядом в отсчитывающее секунды табло, постукивая пальцем по колену. Ожидание его раздражало.

I remember we were happy.
That's all I think about now.
That's all I think about now.

Движение сбоку. Жилистый, быстрый в движениях длинноволосый парень сел рядом и положил пузатую сумку к себе под ноги.

— Привет, Рэй.

If you have any doubt
I want to thank you anyhow.

Он покосился на Алана, нажал на паузу.

— Привет.

— Ты куда едешь?

— До конечной.

¹ Келесі — Следующий. (каз.)

² «All I Think About Now», The Pixies.

— А-а. А я до Сайрана.

Из тоннеля донёлся скрип и грохот. На соседние пути прибыл поезд, открыл двери, и станция наполнилась людьми.

— Не посчитай меня навязчивым, но я так и не понял причины твоего отказа.

Рэй обхватил указательный палец, согнул до щелчка.

— Не хочу, и всё. Чё пристал?

Новичок устало смахнул мокрые волосы с лица.

— Видишь ли, эта картина очень важна, и даже не для меня, а для моего друга. Было бы малодушием так просто отступить.

— Ну так найди кого-нибудь другого.

Средний палец хрустнул звонко, вкусно, аж онемел.

— Нет. Нужен именно ты.

Рэй приподнял бровь.

— Именно тебя мой друг увидел на улице и именно твой портрет рисует. И то, что я тебя случайно встретил — поразительная удача. Я бы даже сказал — судьба.

Андрэй хмыкнул и вернулся к пальцам.

— Или совпадение. Звёзды так сложились.

— Даже если и так, — надавил Алан.

Безымянный палец хрустеть отказывался. Ухо улавливало далёкий, на пределе слышимости, шум приближающегося поезда.

— И чё? Ещё я позволю каким-то звёздам решать, что мне делать, а что нет.

Алан встал, заглянул ему в глаза.

— И всё же подумай. Прошу тебя.

Рэй обхватил весь кулак, сжал до треска, довольно пошевелил пальцами. Оскалился.

— Может, и подумую.

* * *

По пятницам проводились спарринги. Обычно он выходил на ринг с Гжегожем, и изредка даже побеждал, но в тот день к нему подошёл Алан.

— Рэй, не хочешь со мной подраться? — он надел одну перчатку и неуклюже натягивал вторую.

Андрэй оценил его долгим взглядом. В сощуренных глазах хитрый блеск, уголок губы приподнят в усмешке. Очевидно, это было не просто приглашение на спарринг. Очевидно, отказаться он не мог.

— А давай.

Алан наконец затянул ремешок и энергично стукнул кулаками. Рэй сунул в зубы капу, азартно оскалился.

Он запрыгнул на ринг, встал напротив новичка. Поднял руки. Широко открыл глаза, расфокусировав взгляд.

Вес на заднюю ногу. Противник сосредоточен. Замах! Рэй подшагивает, собирается ударить, но едва успевает заблокировать выпад другой рукой. Отпрыгивает назад.

«Обманки, значит. Понятно».

Он непрерывно движется, норовя зайти то справа, то слева. Алан хоть и держит дистанцию, но явно за ним не поспевает.

Двойка в лицо, хук в незащищённую печень. В зубы прилетает смазанная оплеуха — не больно, но неприятно. Дыхалка начинает сдавать.

Они обмениваются ударами, расходятся, тяжело дыша. Снова начинают кружиться.

«Надо бы заканчивать. И не тратить сил».

Алан чуть опускает руки, шанс! Прямой удар, отбив, он выходит на бросок. Рэй моментально сдвигает таз, и на маты летят оба.

Удар выбивает воздух из лёгких Алана, мельчайшая задержка — и его нога в болевом.

«Отсюда не выберешься».

Рэй выкручивает ему ступню, тот пытается что-то сделать, но безуспешно.

«Сдавайся. Давай же».

Сопrotивляется. Он давит сильнее, сжимает зубы.

«Сдавайся!»

Вены вздуваются, пальцы непроизвольно сжимаются от боли, жилы каменеют.

«Ну же!»

— Рэй! Хватит!

Он выпустил ногу Алана и откатился в сторону. Поднялся, откинул мокрые волосы со лба.

— Стучать надо! Стучать! — толковывал новичку Гжегож, хлопая рукой по мату. Тот сидел, тяжело дыша, и разминал ступню.

— Извините... Извините.

Их взгляды снова сошлись, и Андрэй победно усмехнулся. Пожал Алану руку, помог встать.

— Хороший бой, — похвалил он слегка небрежно, свысока.

Новичок кивнул. Он выглядел довольным, хоть и уставшим.

— Хороший... Повторим... как-нибудь?

— Повторим. Ты только стучи... в следующий раз.

Он усмехнулся.

— Обязательно.

3

Длинный автобус-гармошка катился по улице, слегка покачиваясь на манёврах. Андрэй сидел на одиноком кресле и поглядывал в окно, на проплывавший мимо город. В левое ухо наушник изливал грохот перкуссии и визг электрогитар. Правое прислушивалось к окружению на случай внезапной атаки.

Салон пустовал. Все сидячие места были заняты, группка студентов стояла возле терминала оплаты и о чём-то разговаривала. Впереди сидел пацан в школьной форме — совсем малой, вероятно, ещё в первом классе. В руках — телефон. В ушах — наушники. В обоих.

Старый автобус заскрежетал гнилым нутром и остановился. Зашипела гидравлика дверей, и в салон ввалился какой-то дед. Поднёс карту к терминалу, подошёл, на ходу засовывая её в карман. Встал, поглядывая то на школьника, то на Рэя.

Тот косился на него. Ждал. Собирался уступить место, но только после просьбы.

Вместо просьбы дед наклонился к первокласснику и дёрнул того за рукав. Показал кулак.

Андрэй сощурился.

Мальчик, только сейчас его заметивший, быстро встал. Не сказал ни слова. Андрэй наблюдал.

Когда старик уселся и вместо благодарности дал школьнику подзатыльник, он оскалился. Вытащил из уха наушник, встал, подошёл, схватил деда за ворот.

— Слышь, падаль.

Он был лёгкий — Рэй запросто приподнял его одной рукой. В бегающих глазах сначала появилось непонимание, затем — страх.

— Ты что делаешь! Отпусти меня! Эй!

— Ты чё к пацану прикопался?

— Он мне место не уступил! — возмутился старик. — А ну отпусти!

— Ты бы вежливо попросил, — с тихой угрозой прорычал Рэй. — Что ж ты меня не выгнал?

По автобусу пошёл шёпот. Кто-то вытащил телефон.

— Молодой человек! Прекратите! — потребовала какая-то женщина с задних сидений.

— Заткнись!

Автобус продолжал ход. Водителю явно было до лампочки. Пока что.

— Я н-не обязан... Я...

— Извинись, — с ухмылкой потребовал Рэй.

— Поч-чему это?

— Я тебя из автобуса выкину, — пообещал он.

Дед открыл рот. Промолчал.

— И-извини, — буркнул он.

— Да не передо мной! — потрянул его Рэй. — Перед ним.

Мальчик стоял, дрожа от страха, ничего не понимая.

— П-прости. Прости, пожалуйста.

— Так-то лучше, — он выпустил старика, развернулся и на следующей же остановке покинул автобус.

Остаток пути шёл пешком.

* * *

В квартире было темно — свет раздражал расширенные от капель зрачки. Сквозь неплотные шторы остро и неприятно сиял фонарь. Он закрывал глаза руками, но лежать так было неудобно.

Он вспоминал.

— В правом глазу разрыв, Андрэй. В левом сетчатка истончилась, надо укреплять.

Он несколько раз моргнул липкими веками, повертел глазными яблоками, онемевшими, будто покрытыми лаком.

— Операция стоит, как раньше? — нарочито спокойным голосом.

— Да. Сейчас сделаете?

— Сейчас, чё ждать.

Врач кивнула.

— Позже вам чек выпишут, в кассе оплатите и придёте.

— Да.

Его волновали не деньги. Зарплаты помощника тренера вполне хватало на скромное житие, а большего и не нужно. Волновала не сама операция, безболезненная, но неприятная. Волновало его другое...

Врач со склизким звуком убрала линзу и стала её протирать. Сразу же подбежала медсестра, прочистила ему глаза ваткой. Стало лучше.

— Месяц соблюдаем охранительный режим. Не наклоняемся, тяжести не таскаем, контактными, силовыми видами спорта не занимаемся.

Рэй кивнул.

— Памятку вам дать?

— Не нужно. Не в первый раз.

Он поднялся со стула, приоткрыл один глаз и направился в сторону выхода.

— У вас сетчатка слабая, Андрэй, — строго напомнила врач. — Вам нагрузки вообще противопоказаны.

— Я знаю, — он безразлично закрыл за собой дверь.

Волновало его даже не то, что каждая такая операция приближает его к слепоте. Волновало только, что он рано или поздно не сможет заниматься боевыми искусствами.

Долго лежать было неудобно. Хотелось бы поспать, но уснуть не выходило — слишком привык доводить себя до изнеможения. В уме листались воспоминания.

Опыт работы официантом закончился разбитыми о зубы кулаками и ночью в каталажке. Для чего-то более компетентного нужно было получать образование, что представлялось невозможным. Что ещё? Работа грузчиком отпадает. Дворником? От одной мысли тошнит.

Зажужжало. Невидимая в темноте муха пролетела справа налево, умолкла, сев на стену. Он ударил ладонью, почувствовал что-то липкое. Поморщился, встал, в темноте вымыл руки и сел за стол. Вытащил телефон.

— Да? Что такое, Рэй?

— Гжегож, меня не будет неделю, — он откинулся на спинку, закинул ногу на стол.

— А что случилось? Заболел?

— Да операцию сделал. Ничего серьёзного.

— А-а. Ну давай, выздоравливай.

— Ага.

Он сбросил трубку и долго ещё сидел в темноте.

* * *

Поздним вечером третьего ноября, в одиннадцать часов сорок пять минут, в трёхстах пятидесяти семи километрах к востоку от Алматы, на глубине в шестнадцать километров столкнулись и вновь разошлись тектонические плиты.

В кратчайшее время толчок достиг города. Запищали приборы в раскиданных по области сейсмостанциях, зафиксировав землетрясение в три балла; проснулся в своей кровати Константин Хан, поглядел, недоумевая, в потолок и снова уснул; оторвался от рукописи Бродяга, прислушался и полез в интернет проверять, что ему не показалось; ничего не заметила, как и полагается коренному алматинцу, Дарина; повернулся к зазвеневшей в шкафу посуде Жарылкасын; встал под балку и включил телевизор вернувшийся с тренировки Гжегож.

Спустя пару минут город вернулся к своим занятиям.

В тот вечер Рэй шатался по городу, не зная, чем себя занять. Все накопившиеся домашние дела были переделаны, все лампочки поменаны, починен протекающий шланг для душа, выметен весь мусор и протёрты все поверхности. Однако недоставало ноющей приятной боли в мышцах.

Он шёл по небольшой улице в центре города, вдоль рядов двухэтажных сталинок. Иногда проезжали автомобили, иногда — велосипедисты или самокатчики с фарами на рулях.

Он свернул в тёмные дворы, прогулялся по ним. Обшарпанные стены с проглядывающим местами каркасом, гниющее дерево дверей и оконных рам. Рыжие трубы в облезлой желтоватой стекловате, многослойные объявления на столбах. Рэй подошёл, чтобы разглядеть их ближе.

Не заметил натянутой проволоки, споткнулся, рассадил ладони. Раздражённо вытер о штаны, сорвал со столба объявление с очередным разводиловом и злобно разорвал. Пошёл дальше.

Ещё издали услышал топот, азартные крики и глухие удары. Едва вышел за поворот, как в лицо молнией, ночной птицей со свистом рассекаемого воздуха полетел мяч. Спасли рефлексy.

— Смотри куда бьешь! — заорал он и поднял кулак.

— Кешіріңіз! Кешіріңіз!¹ — вразной закричала орава запыханных, раскрасневшихся от игры детей.

Андрэй сунул руки в карманы и пошёл дальше. Драться не хотелось.

В следующем дворе царила темень, пустота и тишина, только возвышался посередине старый корявый дуб. Подул ветер, зашелестело, засвистело, застучали по асфальту желуди. Больно и неприятно прилетело по голове, по спине. Он потёр ушибы, посмотрел вверх. Успел разглядеть падающую ветку.

4

Андрэй спустился по лестнице, цепляясь рукой за перила, медленно переставляя ноги. Чуть правее открылась дверь, кто-то вышел, остановился.

Он вошёл внутрь и оказался в торговом центре. По памяти добрёл до зала, отворил стеклянную дверь. Привычно махнул стоящим у стойки девушкам, споткнулся о маты, упал бы, если б не чья-то рука.

— Рэй! Что случилось?

Алан.

— Ха? Ты про это? — он коснулся рукой повязки, скрывающей бесполезные теперь глаза. — Несчастный случай. Ты лучше скажи, который сейчас час? Не опоздал ли я на тренировку?

— Ты собрался тренироваться? — неподдельное удивление, даже ужас в голосе.

— Да. А что?

Молчание.

— Но как?

— Как обычно, — он начинал злиться.

— Прости, но ты только себя покалечишь...

— Закрой пасть! — он схватил Алана за ворот и занёс кулак. — Я тебе сейчас покалечу...

— Рэй! Успокойся.

Гжегож. Сзади, в двух с половиной метрах.

Он выпустил Алана, повернулся. Услышал два шага, почувствовал, как на плечи легли сильные руки.

— Андрэй... — тренер собирался с мыслями. — Успокойся. Скажи, что с твоими глазами.

Он сжал губы.

¹ Кешіріңіз — Извините. (каз.)

— Ветка на голову упала. Сетчатка отслоилась, и... — он развёл руками.

— Это лечится?

— Нет.

Гжегож тяжело вздохнул.

— Андрэй, ты не сможешь заниматься без зрения. Физические упражнения, разве что, но не техники.

— Я дошёл досюда и без зрения. Значит, и тренироваться смогу.

— Не сможешь, — он сжал его плечи. — Прости, Рэй, но нет. Мне... мне жаль.

Он заскрипел зубами.

— Я посижу рядом, Гжегож. Послушаю.

— Хорошо. Хорошо.

* * *

Он услышал шаги — энергичные, быстрые. Маленький Ваня, которого в секцию отдали родители пару месяцев назад.

— А что вы де-елаете?

Рэй продолжил молотить грушу. Выдавил сквозь зубы:

— Тренируюсь. Не видишь?

— А почему в повя-язке?

— Так надо.

Он постоял ещё немного, и drobный топот побежал в другой угол.

— А мы то-оже будем тренироваться в повязках?

— Делай упражнение, Ваня, — устало и строго приказал запыханный Гжегож.

Андрэй продолжал в ненависти колотить снаряд. Бил злобно, не рассчитывая сил, стирая в кровь костяшки. Он истосковался по этой боли.

Остальные уже закончили с физухой и приступили ко второй части тренировки. Отрабатывали удары ногами — ритмичные звонкие плюхи по макиварам смешивались с тяжёлым дыханием, прерывались терпеливыми объяснениями Гжегожа. Иногда и не слишком терпеливыми.

— Алан! Не отвлекайся!

Рэй с размаху впечатал кулак в грушу, и та заскрипела, раскачиваясь на цепи. Он знал, на что отвлекается Алан, на что отвлекаются другие, какие взгляды бросают в его сторону. Каждый, каждый, сука, посчитал нужным сказать что-нибудь ободряющее, пожелать его.

Он никогда до этого так не жаждал окончания тренировки.

И всё же она закончилась.

— В шеренгу! В шеренгу! — раздались хлопки.

Рэй встал со всеми, со всеми поклонился, поблагодарил тренера. Кругом стали собирать снаряды, прощаться, расходиться.

Приблизились шаги, мягкие и чёткие. Подошедший молча переминался с ноги на ногу.

— Что, Алан?

Если он и удивился, то виду не подал.

— Тебе не нужна помощь?

— Мне? Нет.

Алан продолжал стоять.

— Хотя... — Рэй опёрся на стену рукой, прикинул. Привычно убрал волосы со лба. — Если ты сможешь мне дойти до дома, я буду благодарен. Может, даже соглашусь попозировать этому твоему художнику.

Он взял его за локоть.

— Хорошо, Андрэй. Я ему сообщу, — без радости, с некоторым смятением в голосе.

Ещё шаги, увесистые и уверенные. Гжегож.

— Что-нибудь решил? — его ладонь была мокра от пота.

— Пока ещё нет, — Рэй покачал головой. — Но я придумаю. Обязательно.

— Хорошо. Звони, если нужно будет. Удачи тебе, Рэй.

И даже в его голосе проскользнула жалость.

— Давай. Я ещё зайду как-нибудь, — пообещал Андрэй нарочито бодро.

В этом он уверен не был.

5

Хотелось пить.

Константин Хан сидел на табуретке перед холстом и потирал щетину. Недорисованный ангел скалился с полотна. Он был творением его рук, и был явно этим фактом недоволен.

Десять минут назад Малик позвонил и сообщил, что ему удалось договориться с Андрэем, с человеком, которого он должен был нарисовать. Он радовался тому, что сможет наконец приступить к работе, но что-то грызло изнутри.

Хотелось пить.

Он вздрогнул, когда трель домофона разлилась по квартире, и пошёл открывать.

— А?

— Реклама, — раздался незнакомый молодой голос.

— К-какая реклама?

— Интернета.

— Мне?

— Нет, просто листовки по ящикам разложить.

Хан недоумённо почесал затылок.

— Ну заходи.

Разочарованный, вернулся к созерцанию картины. Вдруг понял, что ухо в этой перспективе выглядит странно оттопыренным и портит всю композицию. Да и вообще контур лица следовало бы подправить...

Резко зазвенело в голове. Он опустил голову и стал массажировать шею, восстанавливая кровоток. Хотелось пить. Пальцы левой руки ещё плохо слушались. Ангел с картины недовольно скалился. Хотелось пить.

Стук в дверь. Костя подпрыгнул на стуле.

«А это кто?»

Встал, подошёл к двери.

— Костя, открывай!

Искажённый линзой Малик стоял в подъезде и пытался докричаться. Позади него, опёршись на стену, покачивался человек, при взгляде на которого у Хана снова зазвенело в ушах.

— Привет, Костя. Я уж испугался.

— Привет, Малик, — он пожал ему руку. Повернулся к его спутнику. — Здравствуйте...

— Андрэй. Через «э».

Хан поймал его неуклюже вытянутую, впустую шарящую в воздухе руку, стиснул в ладонях.

— Проходите, проходите.

Слепец побрёл по коридору, поддерживаемый с двух сторон. Сморщил лоб.

— Как ты сказал? Малик?

— У меня много имен, — уклончиво отозвался Бродяга.

Костя не понял, о чём идёт речь, но промолчал, подставил табуретку и помог натурщику на ней разместиться. Тот облегчённо выдохнул.

— Ну... погнажи, чё.

— Всё готово, Костя? — уточнил Малик.

— Да, да, сейчас.

Хан принёс второй стул с кухни и устроился на нём. Нервно облизал губы.

— Андрэй, верно?

— Можно Рэй, — кивнул он.

— Хорошо, Рэй. Нужно будет немного посидеть неподвижно. Скажешь, когда устанешь.

* * *

Ночь настала резко, за считанные минуты серый осенний день сменился сырым прохладным вечером. На кухне, в тусклом свете лампочки, этот вечер заползал в сердце, наполнял душу полубезумной горячечной хмарью.

Хотелось пить.

Рэй осторожно поднёс ко рту ложку с рисом — паби мури¹, как называл его Хан. Проглотил, запил горячим густым чаем.

— Слушай, Костя, — он стукнул чашку о стол, вытер ладонь о штаны. — Зачем ты рисуешь?

Тот с трудом проглотил последний ком риса, отложил пустую тарелку в сторону.

— Ну, есть талант, потому и рисую.

Андрэй ощерился.

— А если б у тебя талант был говно качать?

— Качал бы говно, — пожал плечами Хан. — Значит, сверху так решили.

— Сверху? — не понял Рэй. — Серьёзно?

— Серьёзно, — Костя кивнул и отпил чая.

— Нет, подожди, — он махнул рукой, — ты действительно перекладываешь ответственность за себя на какие-то высшие силы?

— Да.

— Но это же просто отказ от принятия решений! Это... глупо.

— Я принимаю решения, — возразил Хан. — Решение следовать высшему плану — это тоже решение. Я принимаю его каждый день. И я несу за него ответственность.

— Ха, — Рэй откинулся на спинку. — Интересно. Знаешь, Костя, если бы я поступал так же, я бы остался хилым больным мальчиком, каким я был в детстве. Но именно я выковал из себя... себя. Где б я иначе был?

— Твоя слепота — тоже результат твоих действий?

Андрэй осёкся. Когда заговорил вновь, голос его был полон тихой угрозы.

— Слышь, Хан. А я тебе и без зрения могу рожу поломать.

Костя прошёл к ящичку, вытащил из него коробку с таблетками.

— Наверняка сможешь. Не сомневаюсь.

Он выдавил из блистера таблетки, бросил в рот.

Хотелось пить.

— Что, будешь стоять и не сопротивляться? Отдашься высшим силам?

Костя налил в рюмку горькой жидкости из бутылки, махом выпил.

— Я не настолько святой, к сожалению. Сопротивляться я буду.

— Ну вот. Всё же ты не безнадёжен.

Хан тяжело опустился на стул, выдохнул.

— А ты не думал, что мы с тобой сейчас тут сидим только благодаря череде совпадений? Только поэтому у меня появилась возможность закончить картину.

¹ Паби мури — рис с водой, рисовая каша по-корейски.

— Мы тут сейчас сидим только благодаря Алану, — Рэй указал пальцем в соседнюю комнату, где лежал задремавший Бродяга. — Это его ты должен благодарить за свою сраную картину.

— Я ему благодарен. Но откуда тебе знать, что и он не Его посланник?

— А откуда тебе знать обратное? Откуда тебе вообще знать, чего этот самый Он от тебя хочет?

В ушах зазвенело. Хан наклонился и стал растирать шею.

На самом он и сам не был уверен. Сам не знал, как трактовать последние события. Как понять, чего от него хотят. Хотелось пить.

— Ниоткуда, — только и смог ответить. — Я просто делаю, что мне кажется верным. Сейчас мне кажется верным закончить наконец портрет.

Андрэй махнул рукой и встал, чуть не опрокинув стул.

— Ну пошли, закончим твой портрет. Меня уже обрыдло с тобой спорить.

— Да. Давай заканчивать.

* * *

За окном уже начало светать, когда Хан в последний раз коснулся холста кистью и отодвинулся, чтобы придирчиво оценить результат.

Надо заметить, повязка добавила ангелу на картине выразительности. Правда, теперь уже оскал не соответствовал выражению лица. Тот, кто сидел на стуле напротив него, был более спокойным и мягким, более... человечным.

Может, перерисовать портрет полностью?

Он зевнул. Смахнул с глаз слёзы, вцепился в картину взглядом.

Всё-таки блики на волосах не вышли так, как задумывались. Кое-где заметно, что повязка рисовалась сильно позже. Хотя, если не вглядываться... Хотя, если вглядываться...

Опять зашумело в ушах, захотелось пить. Он закрыл глаза, растёр шею. Неожиданно обнаружил, что второй шейный позвонок несколько искривлён. Остальные вроде бы на месте, но этот... Наверно, он пережимал сосуды, защемлял спинной мозг. Хан попробовал надавить на него пальцами, поставить на место, но ничего, разумеется, не вышло.

Вот он, несовершенный человек, собственной ленью доведший себя до такого состояния.

Он открыл глаза и увидел её. Ленивая, сонная, одна из последних осенних мух, она сидела на щеке нарисованного Рэя и взирала на Хана красными выпученными зенками.

Он прикусил губу. Хотелось пить. Шумело в ушах. Отвратительно выпирал шейный позвонок. Скалился с картины несовершенный ангел.

По подбородку из прокушенной губы потекла тёплая влага, отдающая металлом на вкус. Очнувшись, он с удивлением стёр кровь, посмотрел на неё, на картину. Резко махнул рукой, спугнув муху. Та взмыла куда-то к потолку, покружила немного и пристроилась в углу.

— Всё, — сказал Хан. — Готово.

— Ну наконец-то, — Рэй зевнул, потянулся. — Буди Алана, и давай уже заканчивать.

— Я слышу, — Бродяга сел на кровати, потёр кулаком лицо, смахнул волосы с глаз. Уставился на картину. — Прекрасно. Прекрасно, Костя. Ты... уверен?

— Да, да. Продавай её скорее, — Хан чистил кисть и складывал всё в ящик, стараясь не смотреть на портрет.

— Не хочешь ничего поправить?

— Малик, Бога ради, — поморщился он. — Никаких поправок.

— Хорошо, — Малик хлопнул по бёдрам, встал. — Сейчас я отведу Рэя и позвоню Жарылкасыну.

— Подожди, — прервал его Андрэй. — Я хочу поговорить с Жорой.

Бродяга сонно посмотрел на него.

— Хорошо. Сейчас, только умоюсь.

6

Константин Хан убирался в квартире. Сложил полотна в кучу, убрал мольберт в угол, собрал скопившийся мусор, вытер полы. На кухонном столе лежала карточка с миллионом тенге. Манила взгляд.

Надо было переводить дух и снова браться за кисть, но к творчеству не тянуло. Внутри ещё покоилась некая пустота, как и всегда после завершения картины. Обычно он заполнял её алкоголем, но сейчас...

Он опустил тряпку в ведро и полез под кровать. Наверняка там полно пыли и мусора. Вытянул руку, пошарил в сухой темноте. Вытащил засохший тюбик из-под краски, старый бычок...

Пальцы коснулись холодного стекла, он отдёргнул руку, как от огня. Зазвенело в ушах. Хан лежал на полу, слыша собственное сердце, сжав кулаки. Выругавшись, потянулся и вытащил находку на свет.

Малик собрал все бутылки и вынес на мусорку. Он сам его об этом попросил, незадолго после приступа. Он сам ужаснулся количеству найденного в квартире, сам пообещал себе, что больше никогда, ни капли...

Одну Бродяга всё-таки пропустил.

Она была покрыта слоем пыли, на дне плескалось немного жидкости. Благословенной, проклятой жидкости.

Хотелось пить.

Руки тряслись. Он поднёс нос к горлышку, хотел только вдохнуть запах, только на том остановиться. Глубоко вдохнул, будто в забытьи, на автоматизме, давно выученным движением перевернул бутылку.

Звон выдернул его обратно в жизнь. Он сидел на полу, пальцами упершись в колени, перед мутными осколками и хрустальной лужицей, тяжело дышал. Запах наполнял квартиру, проникал в ноздри.

Хан опустился на корточки, высунул язык, почувствовал на кончике жгучую жидкость. Выплюнул, стиснул зубы, застонал в омерзении к себе, захныкал. Схватил осколок, сжал в кулаке, горячая боль скользнула к мозгу, в котором всё жужжала невидимая муха, вернулась обратно, потекла на пол.

Хотелось пить. Никогда ещё ему так не хотелось пить.

Он медленно встал, подошёл к шкафу, баюкая пораненную руку. Выдвинул ящик, вытащил из него бритву, потрогал пальцем лезвия. Сойдёт.

На ходу раздеваясь, зашагал в ванную. Скорее!

Теперь-то он знал, что ему нужно делать.

* * *

По дороге ветер швырнул Алану в лицо большой жёлтый лист. Был он мягкий, сочный и чуть влажный на ощупь. Весь путь до дома Хана он держал его, не желая выпускать из рук.

В песочнице что-то сверкнуло. Он подошёл, присел на колено, зачерпнул холодный песок. Улыбнулся. В ладони, тусклый и потёртый, блестел крестик на порванной цепочке.

Он обтер его о штаны, положил лист на скамейку, подошёл к подъезду. Набрал квартиру Хана. Домофон пропиликал мелодию. Ещё раз. И ещё. Умолк. Бродяга снова набрал номер и прислонился к стене. Он начинал волноваться.

Трель сменилась частым писком, и из подъезда вылезла спиной вперёд женщина с коляской. Алан придержал дверь и проскользнул внутрь.

Взбежал, перепрыгивая ступеньки, по лестнице. Долго стучал в квартиру. Подумал было, что Хана нет дома, но какое-то подозрительное чувство копошилось внутри. Он прижался ухом к двери, прислушался.

Шум воды. Едва ли Хан ушёл, не закрыв воду. Он застучал ещё громче.

— Костя! Ко-остя, открывай!

Наконец раздались шаги. Алан облегчённо выдохнул. Дверь открылась.

Константин Хан, в одном полотенце, с бритой головой в порезах и клоках волос, с бритвой в опущенной руке, со спокойным безмятежным взглядом, стоял в проходе.

— Привет, Бродяга.

— П-привет, — не сразу нашёлся онемевший Алан. — Ты чего это?

— Проходи, — кивнул Хан и исчез в глубине квартиры. Малик последовал за ним.

С его руки на линолеум капала кровь. Возле кровати Бродяга разглядел осколки.

— Я, Бродяга, в монастырь пойду. Решил я.

— В монастырь?

— Да, — Хан босой ногой отодвинул стекло в сторону, с размаху опустился на кровать. Тут же сморщился и схватился за голову.

— Ты аккуратнее!

— Да понял я, понял, — он помассировал шею и поднял взгляд на Алана. — Короче, сам я бросить не смогу. Надо в монастырь идти, там, наверно, помогут.

— Ты... уверен? А картины?

Хан отвёл глаза.

— Ну, может, пристроят стены расписывать или иконы там рисовать... Ты меня не отговаривай! Я сейчас... сорваться могу, — он покосился на бритву.

— Да зачем же отговаривать. Раз ты так решил...

Алан начинал понимать. Для человека, как он, отказ от собственной воли и однообразная монастырская жизнь была бы невыносима, но для Хана... Наверное, для него это действительно лучший выход.

— А куда ты денешь деньги? — вспомнил он.

Хан пожал плечами.

— Оплачу жировки, а остаток куда-нибудь пожертвую... Ты ведь не против?

— Я-то что. Деньги твои. Я кстати, крестик твой нашел, — вспомнил Малик.

Хан уставился на него, улыбнулся, накинуд на шею.

— Вот уж выручил в очередной раз. Спасибо тебе, Бродяга.

— Да не за что. Тебе помочь чем-нибудь нужно?

— Мне, Бродяга, уже ничего не нужно, — покачал головой Хан. — Спасибо тебе за все и... я думаю, это последняя наша встреча. «Даже так».

Он кивнул, крепко пожал напоследок запястье. Костя похлопал его по плечу.

— Не скучай, Малик. На все воля Его.

— Да уж не соскучишься. Удачи тебе, Костя.

Во дворе он в последний раз обернулся, уставился в окно квартиры, где жил Константин Хан, художник, медик и непростой судьбы человек. Пнул камешек и зашагал по дворам.

— Бывают же такие истории, — пробормотал он себе под нос.

* * *

На тротуаре, завернутая в толстое потрёпанное пальто, сидела бабушка. Перед ней на газетках теснились несколько коробок с яблоками и грушами.

— Яблоки поштучно продаёте? — Бродяга указал пальцем на один из ящиков.

— Он тенге¹, — растопырила она пальцы.

Он поискал в карманах и нашёл двадцатку. Протянул её продавщице, взял с прилавка два блестящих красных яблока, показал ей.

— Рахмет, балам².

Он кивнул и пошёл к скамейке неподалеку, где с руками в карманах спортивки, с тростью на коленях сидел Андрэй.

— Привет, Рэй.

Он резко выгнулся, как пружина, повернул голову. Расслабился.

— Привет, Алан.

— Вытани руку.

— А?

Бродяга вложил ему в ладонь яблоко, сам сел рядом и вгрызся в своё.

— Как прошло?

— Нормально, — Андрэй протирал фрукт рукавом. — Спина побаливает, да я привык.

— Нравится?

Рэй усмехнулся.

— Не то чтобы у меня был большой выбор... Но да, неплохо.

Бродяга кивнул. Жора порекомендовал Рэя знакомым художникам, и тот уже начинал свыкаться с профессией натурщика.

— Слушай, Алан, — тот посерьёзnel.

— А?

— Если бы не ты, я бы сейчас где-нибудь кланчил милостыню.

Бродяга пожал плечами.

— Я рад, что смог помочь.

— Ага, — Андрэй с хрустом откусил кусок яблока, проглотил. — Чё там с Ханом?

Алан вздохнул.

— Он в монастырь ушёл.

¹ Он тенге — Десять тенге. (каз.)

² Рахмет, балам — Спасибо, сынок. (каз.)

— В монастырь? Ха, — он откинулся на спинку, задумчиво захрустел.

Они сидели молча, слушали шум города, наслаждались последним тёплым вечером.

* * *

Закипел чайник. Дарина вскочила было со стула, но Жора остановил её.

— Сиди! Я сам выключу.

— Я тебе что, стеклянная теперь? — беззлобно возмутилась она.

— Сиди!

Алан переводил взгляд с одной на другого. Догадавшись, чуть не выронил пиалку из рук.

— Дарина, ты что... беременна?

Они переглянулись. Захохотали.

— Понятно, — Алан откинулся на стуле, улыбнулся. — Поздравляю.

Жора налил кипятка в заварник, обнял жену, поцеловал в щёку. Та зарделась. Вот они, семья, и вот он, вечный свидетель чужого счастья и чужих трагедий. Он поставил недопитый чай на стол.

— Дарина, — тихо сказал он. — Я уезжаю.

— Уезжа-аешь? Снова?

— Да, — кивнул Бродяга. — Я тут уже все дела завершил.

Жарылкасын почесал затылок

— Уже? Ну, удачи, Алан. Было здорово с тобой свидеться.

— Когда уезжаешь-то?

— На неделе соберусь, — Алан почесал нос.

— Куда поедешь? Когда вернёшься?

— Не знаю. Куда дорога заведёт.

Жора покачал головой.

— Интересный ты человек. Ну, скажешь, как соберёшься.

Бродяга кивнул.

— Скажу.

* * *

Некоторые вещи Бродяга доверял случайности. Рассудив, что на востоке делать ему нечего, он вытащил две монетки.

— Выпадет две решки — поеду на юг. Два орла — запад. Две разные — север.

Подбросил одну, другую, поймал. Убрал руку.

— Ясно.

А на следующий день выпал снег. На вокзале, перед старым вагоном, отстояв небольшую очередь, он попрощался с Дариной и Жарылкасыном, с Рэем, шагнул на поставленное вместо подножки ведро и вошёл в вагон.

Костя Хан прийти, к сожалению, не смог.

Он закинул наверх рюкзак, сам расположился на верхней полке, получил бельё, уставился в окно, за которым синело небо. Вытащил из кармана наушники.

Я сделан из такого вещества.
Из двух неразрешимых столкновений.
Из ярких красок, полных торжества,
И чёрных подозрительных сомнений...
За окном проплывали дома, машины, люди...
Я сделан из находок и потерь,
Из правильных идей и заблуждений.
Душа моя распахнута, как дверь,
И нет в ней ни преград, ни ограждений...¹

От усталости он задремал задолго до того, как за окном исчез город и появилась бескрайняя, припорошенная снегом, искрящаяся звёздами туманная степь.

Я сделан из далёких городов,
В которых, может, никогда не буду.
Я эти города люблю за то,
Что люди в них живут и верят в чудо...

¹ «Я сделан из такого вещества», Альфа.



Александр КАБАНОВ

/ Киев /

КИСТЕПЁРАЯ ПТИЦА СУДЬБЫ

* * *

Когда я щелкнул пальцами своими,
имея к детским фокусам талант:
из воздуха, в дыму, вернее — в дыме,
как гиацинт — возник официант.

Я съел салат, теперь изволю мяса,
мне средняя прожарка нынче в масть,
чернее, чем футляр от контрабаса,
ночь разевает бархатную пасть.

Люблю мечтать, но дай мне только слово —
не говорить о боге за едой:
моя душа — священная корова,
официант, еще графин с водой.

Во внутрь обращенными глазами —
я вижу отчуждение и слизь:
зачем мы оцетинились пазами
и наши корни — не переплелись.

Мы связаны проклятьем поеданья —
во всех столовых снят переучёт,
ударишь в гонг — погибнет мирозданье
и книга никогда не расцветет.

Я приказал убить официанта —
невинное по сути существо,
не зря я был у алигьери данта
свиньей, и даже встретил рождество.

Для изгнанных всегда милей чужбина,
ну, не всегда, скорее — повезло,
и в ход идут баранина, конина,
бумага, камень, ножницы, стекло.

Мне говорил один непальский гуру:
вселенная — бордель, а не кабак,
тогда, я — член, заправленный в лауру,
и этот член не высунуть никак.

* * *

Оставляю вам запах — сирени аршин,
клей обойный, каминную копоть,
с отпечатками пальцев стеклянный кувшин,
и в углу — паутину по локоть.

Оставляю старинный ночной ноутбук,
неглубокую чашку для флешек,
тренажер для сплетения ног или рук,
что-то круглое...греческий орешек!

Здесь невидимо видео-всяких кассет,
корм для кошек в хрустящих пакетах,
ящик винных бутылок — гарем, полусвет,
четверть слова о бывших поэтах.

Мне в славянской системе двойных полумер —
не видать адмиральского ранга,
милый друг, я тебе оставляю торшер,
а к нему — абажур из ротанга.

Погашённые марки, рекламный буклет,
две открытки с родосским колосом,
человек — это просто нелепый ответ
на пространство с жилищным вопросом.

Водосток, отправляющий всех к праотцам,
как засохшие щучьи молоки,
в этом смысле еще повезло мертвецам —
больше их не убьют на востоке.

Для кого я оставил путевку на крит —
чьё-то рабское имя невнятно
шепчет память моя, крематорий закрыт,
но в египет — пускают обратно.

* * *

Куколка в чукоккалу вернулась,
в гусенницу куколка свернулась,
как свернулось слово «молоко»,
потому, что бабочкой легко —

слишком быть, обслуживая пятна,
мама, заberi меня обратно,
буду жить под яблоней и сливой —
страшной, волосатой и счастливой

гусеницей, сонно пламенея
в лабиринте, меж корней корnea,
хорошо, что я не помню зла —
бабочкой ни разу не была.

* * *

Был финал сотворения мая:
задыхаясь от быстрой ходьбы —
надо мной пролетела хромая,
кистепёрая птица судьбы.

Вот, на ком отдохнула природа,
и бугор объявил перекур:
на судьбе — с головою удода
и с фасадом ошипанных кур.

Пролетела, ногами касаясь,
и упала в чужой водоем,
я — шаман, вызывающий зависть:
зависть, зависть, как слышно, прием!

Маринуется солнце в закате,
едет, едет по вызову, к вам,
на электро-своем-самокате —
безответная зависть к словам.

С ней знакомы: успешный аграрий
и бездомный поэт от сохи,
ей понравится ваш комментарий,
но она — ненавидит стихи.

И не то, чтобы это — больное,
как мечты инвалида труда,
а похоже на чувство двойное,
на медаль — золотая звезда.

По судьбе, по любви, по закону:
вам — венок или слава нужна,
ну, а мне, благородному дону,
ваша зависть — вторая жена.

Как бессмертный аналог соседки,
ваша зависть — милее стократ,
заряжаясь вином от розетки.
прислонился к стене самокат.

И обманутый маем нагретым,
я завидую только врачам,
дням, наполненным солнечным светом,
и обильным дождям по ночам.

Я завидую всяким знаменьям,
чудотворцам воды и огня,
всем стихам, что меня не заменят,
но останутся после меня.

* * *

Кто отдал в переработку
яблони озимый плод,
солнце, озеро и лодку,
кто пустил меня в расход?

Не заметив тонкой грани
между льдом и кипятком,
может, родина, по пьяни —
гибельным прошла катком?

Не спеша, утрамбовала
в землю, в свежее говно,
чтоб меня осталось мало:
саша — хлебное зерно.

Не ячменная левкоя,
не пшеничный царь дубов,
саша — зернышко такое,
урожай на пять хлебов.

А, быть может, я в порядке,
выжил и попал в струю:
на правительственной грядке —
верным пугалом стою?

В ожидании предтечи,
буду на исходе дней:
тайной рода, частью речи,
веткой яблони твоей.

* * *

Разбилась ваза, я подумал сразу:
вот, неплохой для текста матерьял,
люблю небрежно брошенную фразу,
отечество, которое терял.

Снаружи — алебастрового цвета,
внутри — глазурь и голубой акрил,
пускай другие склеивают это,
я — выброшу, как чехов говорил:

из сердца вон, а сам, на книжной полке,
уснул, прижавшись к гоголю — спиной,
и я, в глубоком кресле, на осколки
смотрю в тоске — у папы выходной.

Позвать слугу, так я ж его уволил,
за то, что подворовывал и пил,
я много виртуальной крови пролил,
в глагольной рифме девушек любил.

Быть одному — не то, чтобы хреново,
а скучно — постоянно одному,
с больной ноги встает над миром слово
и снова погружается во тьму.

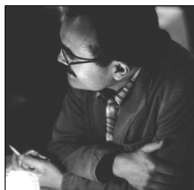
Повсюду — лофт, где лампочка, как клизма —
разбрызгивает свет под потолком,
и я плетусь из недр капитализма —
в кладовку, за метёлкой и совком.

Какой лайфхак нас ждет в конце морали,
сюда ударный просится финал:
мне донесли, что этот текст украли
и в либеральный продали журнал.

Мне донесли, что номер выйдет летом,
что мой слуга, не только вор и гей —
он все стихи (поскольку — был поэтом)
подписывал фамилией моей.

ДМИТРИЙ ДРАГИЛЁВ

/ Берлин /



УБЕГАЯ ОТ ФАВНА¹

Wir müssen nämlich noch dort ankommen, wo wir sind²

Dagmar Leupold

Стояли. Ждали взрыва.

Зевак было много, судя по фотохронике восьмидесятых. Когда-то здесь располагалась газгольдерная станция, рядом с железнодорожной. Ее долго не решались снести, хотя планы вынашивались. Наконец снесли, направленным. Дым был сед, здание оседало, таяло до состояния порошка и растворялось дальше. Что осталось? Думаю, швы. Именно они обычно остаются в наследство. А еще пустырь. Теперь серые «серийки» топорщат свои панели. Как антенны из пустыря. На которые ничто и никто не ловится, кроме дураков, вроде вашего покорного.

Впрочем, напрасно я вру. В поздней ГДР позаботились об озеленении. Крупноблочный жилмассив облагородили, снабдив парком имени Тэдди, главного ротфронтовца и красного мученика Рейхстага, узника Бухенвальда. Сам Кербель ставил ему памятник. По счастью, не взорванный после падения стены.

Стояли. Ждали взрыва. Взрывался, когда доставали. Сдаваться не собирался. Ее было достаточно, хулиганствующей школоты в классе из сорока голов. Теперь это называется булинг. Потом уехал. В столичное училище. Наконец отчалил сюда — навстречу другой столице. Поселился в одной из коробок, тех самых серийек. Катишь лифтом, и все выше растут этажи, точнее цены на них. Впрочем, они пока еще даже сирийцам по карману. Точнее, собесу, который платит не только за беженцев. На одном из этажей в съемной квартире обитаю и я, живу на свои. Общаюсь из «пустырной антенны» с разными странами — по скайпу, зуму et cetera. Что особенно

¹ Глава из романа Д. Драгилева «Некоронованные».

² Нам еще нужно добраться туда, где мы находимся (нем.).

актуально в карантинные времена. Но и раньше часто случалось. Обычно с Рябчиковым — приятелем из России. У Радия Рябчикова — море кличек, ников, погонял, агентурных имен. Курочка, например, Кудкудах, Рябой, Рубидий. Однажды — дело было в эпоху предыдущего кризиса по четвертому календарю Хуучина Зальтая — он позвонил, не предупредив. За два мгновения до полуночи.

— Пять минут, пять минут... — нахально пропел Рябой. — А ведь у негров связки по-другому звучат. Иначе работают.

— С чего ты взял?

— Коллега, очень важно прислушиваться к голосам. Особенно к иностранным. Вдруг подойдут и отважно столкнут на рельсы. Как у вас там на рейнском вокзале вышло.

К легкому дуновению ужаса в беседе с Рябчиковым нужно быть готовым всегда. Муссирует нашумевшее: два выродка, хорошо интегрировавшийся африканец, а потом некий выходец с Балкан попали в газетные передовицы и онлайнные заголовки. За непрошеную помощь пассажирам. Не собиравшимся повторять подвиг Анны Карениной. Хотя одна берлинская аборигенка недавно прокололась на том же самом. И в новостях об этом не сильно кричали.

Мне оставалось только выразительно посмотреть на Рябого:

— Звучат по-другому? — переспросил я.

— Слегка сипловато, — продолжил он, ничтоже сумняшеся.

— Неужто? Зато японцы, подчас, как птицы чирикают... Друг с дружкой, — я подбирал слова, еще чувствуя необходимость поддерживать дискурс.

— Ты хотел сказать: как рябчики?

— Как ненцы.

— Немцы?

— Эвены. Эвейну Шолом Алейхем. Престарелые камчадалы.

Рябой кисло кашлянул. После такого кашля можно смело смотреть на часы: первый признак озабоченности тем, что разговор грозит затянуться. Сказать по правде, Рябчиков охотно ворует чужое время и на такие индикаторы не реагирует. Вот и мой демонстративный жест пропал втуне, закругляться приятель не думал.

— Признаюсь честно, твоим сумбуром вместо музыки было забавно сопровождать отход ко сну, — сказал он, уделив мгновение для зевка. — Певицу ищи другую. Устрой просмотр, сделай кастинг. Молодую девочку, чтобы танцевала, и голос желательно. Не обязательно афроамериканку. Просто маленькую нежную солистку с неопознаваемым акцентом. Короче, поменьше меланхолических баллад и оперетт. И вообще, сдалась тебе твоя Германия-Гевеллия, туманная, пасмурная, с перерывами на Майорку. С прусской муштрой местных фрушек и прогрессивными мутациями наших. — Рябой отхлебнул пива. — В сторону наибольших претензий. Ищи в другом месте, где-нибудь поближе к норвежским фьордам. Или к Альпам... Но постарайся без филармонических голосов обойтись.

— Тогда объясни скрытый смысл? Йодли тирольские собирать?

— Pourquoi pas? Создай себе собственную феерию, не депрессивную Гевеллию, а Гельветию. Зачем виртуальные рощи? Мнимые эмпиреи. Баснословные, банановые. Кому он нужен, бесконечный нагоняй туземок? Поддавки с родимыми оппонентками. Конь остановится перед бабой, если она на полном скаку стреляет чем-то, отдаленно напоминающим трезвый мотив. Ее эмоция всегда наполнена тараканами и тумакami. А в Гельветии туманы лишь иногда наплывают, и только с афишных тумб...

«Ох, туманы, растуманы, собирались в поход растаманы». Рябой намекал букетом на мои: а) недавние терзания с бывшей подругой-немкой, б) терки с наследовавшей ей Непостижимкой. Тоже почти уже бывшей. Наконец, на трения (не петтинг!) с темнокожей солисткой, большой любительницей травы, едва не дошедшие до суда. И сиюминутное желание все бросить. Но я всякий раз задаюсь вопросом, как этот тип умудряется выдавать перлы цепочками.

— Если надоест вкалывать во вшивом эмигрантском газетеныше, отводя душу за кружкой и кружковой работой, за пошлыми записями никому не нужных песен, просто сядь к столу и пиши. Поставь в Альпах свой стол. Нет в мире лучше мест для писания. Торопись, пока границы открыты. Кто знает, что нас ждет. Природные катаклизмы, дальнейшее переселение народов, обособление отдельных государств. Социальные взрывы. Военные вирусы.

— А я и так пишу. Только не знаю, какого... Вот рассказ про детство пианиста Игоря Панталыкина закончил. О его первой любви.

— Нашел героя. Или ты соревнуешься с классиками? — Рябому явно хотелось меня задеть.

— Зачем? Вообще, зачем писать? Уже всё есть, — сказал я вяло.

— Места знаешь? И где? — веселился Рябой. С ним только начни.

— Я говорю: всё есть!

— У тебя?

— Да я при чем.

— Знаю, что ты хочешь сказать. — Рябой скривил язвительную мину. — Все было. Схвачены и переданы самые тонкие чувства, самые сокровенные и заковеристые движения, потайные ходы, эксгибиции и амбиции, самое невыдуманное и немислимое. Все ходы записаны, места открыты, изучены и отданы на разграбление туристам и телевизионщикам. К тому же в Z жил когда-то твой друг, женатый на местной. Но на Утлой Горе можно принимать парады коров. Напишешь об этом.

Рябчиков едва не настроил меня на свою волну. Едва. Моя бывшая жена (велика галерея отставок!) считала, что желание писать — это порыв, нет, это нарыв, который подлежит лечению. Особо, если речь о прозе. Кому нужен нарратив тягостный, мало что ли нарратива в нашей жизни? Уж лучше слушать устные рас-

сказы, много ценнее. Куда более серьезная проблема — желание опубликоваться. В «Берлинском Китеже» не поймут, если я подсуну им беллетристику. Какая стенгазета опубликует вдохновенные мысли? Многотиражка какого завода? Конечно, газета может называться просто и крепко. «Первопуток» — хорошее русское слово и редко используется. Но сейчас стенгазеты не в моде, эта функция перешла к граффити. А еще к блогам, тегам и мемам. Блогеров, вон, пруд пруди. Самодовольных, фэйсбучащихся, шустрых ребят, мелких тусовщиков, иногда — игроков вполне реальных. Резких и резвых. Пукнул — и в сеть. Зачесалось подмышкой или под каким-нибудь другим зверем — снова в сеть, в надежде на несмолкаемые лайки и смайлики. Смайлики вместо софитов.

Для любителей жить по старинке, мнящих себя Львами Толстыми, нет, жирными светскими пумами, в цене пятисотстраничные романы, тут же попадающие в зубы славословящим рецензентам — на радио, например. Физиономии рецензентов излучают уверенность. Самое главное — чтобы благосклонные критики, податливые журналисты и прочие спецы по хайпу наготове были. Тогда 500 страниц суть мандат и пропуск в будущее, на ярмарку тщеславия, выставку амбиций, само- и честолюбий. Под вспышки пиара на красных дорожках и белых скатертях удобно разблюдованного пира. Мира. Или войны. Но высший пилотаж — это когда ты вообще ни гу-гу, ни строчки, и негры твои, рабы, гострайтеры — ни слова. Однако сам — виват, дутые репутации! — раскрученным писателем числишься.

И все же гораздо лучше — кино. Не потому, что важнейшее из искусств. А поелику разящая визуальность. Телевидение тоже неплохо. Заснять бы то, что происходило. Чтобы воскресить деда. Его песни, мои шалости. Как в Карлсона играли, как с одноклассником толь сарайной крыши палкой протыкали, и к дверям спешила соседская поленница, как тот же одноклассник девочку соседскую с лестницы спустил, страшно подумать! Предложил на корточках сесть, голову пригнуть, тут она и покатилась. А, может, и не так все было. Не помню точно. Шпингалет на сарае. И сам шпингалет.

— Слушай, чувак, а почему ты меня Рябым называешь, а? — послышался голос Рябчикова.

Неожиданный и банальный выпад заставил меня ответить Рябчикову в его же ключе:

— Ты хочешь, чтобы я называл тебя Жуй?

— Я тебе дам, жуй! Сам пожевал, передай другому?

— Уже и крылатую фразу нельзя применить. Что-то ты возгордился. Или стал чересчур обидчив. Кстати, кстати... Жуй Рябчиков неплохо звучит. Почти как Жорес Медведев.

— Предлагаю новое погоняло. Сплеча, — Рябой решил смягчить разговор.

— Какая еще свеча?

— Не свеча, а сплеча.

— Ну, тогда сразу «Рубильник». Только по-немецки. Schalter.

— Подожди, шальтер — присутственное окошко...

— Ошибаешься, у шальтера дофига значений. Но можно изобрести что-нибудь помощнее. Например, Schraubenzieher сиречь Augenentferner.

— Короче, вырви глаз, — попробовал подвести промежуточный итог Рябчиков.

— Вырви глаз, Авас, доцент тупой, полный Козьма Прутков. Ты предлагаешь мне писать очерки на немецком?

— Ну, если не хочешь, чтобы тебя читали только наши диаспоральные деятели. Читали и считались... А пока проветрись. Провырнишься к нейтралам, к «швам» — шведам или швейцарцам.

Вот тебе и швы, подумал я. У каждого свои. Швы или вши. Тараканы. Вывихи. Вирусы. Переломы. Ожоги. Подставляй, пока утюг горячий.

— По-твоему они отдельный народ, швейцарцы? — мне очень захотелось сказать какую-нибудь глупость. — Как самостоятельную социальную группу я выделяю швейцаров.

— Горные люди, как чечены, — как-то походя отозвался Рябой. Он уже стал собирать по столу бумажки. — Только чечены еще и горячие люди. У них все через край. А у этих не то что бы никаких чувств. Но на точке замерзания. Кстати, данный факт и делает непобедимой швейцарскую нацию, состоящую из сыра, часов, банков и шоколада. А в придачу к ним — гельветов, галлов и... — Рябой запнулся. — То есть германцев, ретороманцев и французов. Конечно, есть еще гарибальдийцев горстка. Макаронников. Но главным представителям вообще ничего не грозит, потому что все давно вверх дном. Тем и спасаются.

— Это где, в Гельветии все вверх дном?

— Полюбуйся на нефы. Неф — опрокинутая лодка кирхи. Любая кирха строилась оверкилем. Днищем кверху.

— Можно подумать, что в других местах по-другому. Устремил свой взор на берлинскую Котти, станцию эстакадки. Подними глаза, когда ты внутри. Там шпангоуты на потолке. А потом подумай, может ли эта штука плавать... И, между прочим, побойся бога. Каким еще днищем!

Рябой пропустил мою реплику мимо ушей:

— Будешь рядом, прищурившись как Ленин, кормить цаплю. На Труверском озере. У данной акватории вечерами вода цвета маренго и вдоль берегов растет модная волчья ягода дереза, она же гоуци. Она же годжи. Ядовитая Дафна, убегая от фавна, попала в борщ. Или в кувшин-вазу. Будучи принята за орхидею. Поглазеешь на девушек с этюдниками, сделаешь свой поэпизодник — что за чем. На пятый день заговоришь как они. Как твой любимый джазовый музыкант заговорил в документальном кино голосом Бодо Примуса.

— А твой любимый музыкант, кажется, Густав Бром? Который никогда не действовал усыпляюще?

- Кстати, пора спать. Я выключаюсь.
- Подожди
- Чего ждать? Я уже замерз. Тебе не надоело созерцать мой торс в обвислой майке?
- Не топишь, голубчик.
- А что делать? Если бы квартира держала тепло, как термос.
- А плесень?
- С плесенью нужно уметь дружить.
- Ты хотел сказать с Плэсенским...

Интересно, дружили ли с плесенью на газгольдерной станции. После того, как из нее вынесли всё оборудование и она стояла пустой. Главное зашпаклевать, а потом и задрапировать швы. Задрапировали ли вы швы, оставшиеся от детства, от школы? Или у вас их не было? Земля, молилась ли ты на ночь? Чтобы на следующий день без взрывов. Без вирусов. Я помню, как в доскайповые и домобильные времена мы дружили и воевали, как были пранкерами, чуть ли не первыми в своем роде. Рябчиков по моему наущению звонил в местный штаб ДНД. Нынешним жителям планеты уже нужно объяснять, что это такое. Добровольная народная дружина помогала милиции: записавшиеся в нее особо сознательные граждане с красными повязками на рукавах, а иногда даже со значками на груди патрулировали вечерние улицы в некоторых районах. Или просто сидели в означенном штабе и резались в домино. Как в клубе собственном. В клубах сигаретного дыма. Был у дружинников свой начштаба, был и командир отряда. Выяснив ФИО — имена, отчества и фамилии этих ответственных лиц, поручил я как-то Рябчикову звонить в ДНД. Как оказалось, командиром там был мужик по фамилии Плесенский. Именно Плэсенский, не Ясенский, не Краснопресненский и не Плисецкий. Звонили мы из моей квартиры, где к телефону Рябчиков каким-то хитроумным способом подключал магнитофон: как он это делал, я не ведаю до сих пор.

- Василия Трофимовича можно?
- Это я.
- С Новым годом!
- Что вы хотите с Новым годом?! Кто у аппарата?
- Это Плесенский.
- Где Плесенский? Почему, какой?
- Тот самый, Петр Андреич!
- Ну это вы врете!
- Не вру (молчание).
- А че у тебя такой голос?

Потом с кассеты, на которую шла запись, стирались слова Рябкого, оставался только Василий Трофимович. Зная, что фамилия командира отряда совпадает с фамилией самого вредного нашего одноклассника, мы звонили другому соученику, нажав кнопку воспроизведения. Ошеломляющий результат получался!

- Але.
- Это я.
- Кто?
- Что вы хотите с Новым годом?! Кто у аппарата?
- Офигел да?
- Где Плесенский? Почему, какой?
- Какого х... ты звонишь? В морду дам!
- Ну это вы врете!
- Ах ты падла....
- А че у тебя такой голос?

И как тут не взорваться. Я его понимаю. И даже знаю, почему все это осталось в памяти. Но только отчего в сусеках башки застревает разная чепуха, не связанная вообще ни с чем. Например, улица города Шверин, ведущая к вокзалу, или упоминание городка под названием Бризеланг, просьбы моей тогда будущей (ныне — бывшей) жены привезти ей из гавелянского леса огурцы и майонез, именно майонез и огурцы. «Они там на деревьях не растут», — возразил я. В Швейцарии жена была, в отличие от меня. Ездил и в Австрию. По объявлению. Крестьянские хозяйства в австрийских Альпах ищут себе летом помощников, которые могут бесплатно пожить у них. Заодно подсобить. И даже что-то подзаработать, хотя бы символически. Моя решила на такой подвиг, вариант сельского туризма. Подумала, что все складывается как нельзя лучше: натуральные продукты, свежий воздух, вечером пешие переходы. В итоге ее там какой-то дед запряг и упахал по полной программе. Подъем в семь утра и все такое прочее. От зари дотемна. Иногда звонила мне оттуда, имитируя тирольский прононс.

Но на пранкеров высокого полета мы не тянули, конечно. Ни Рябчиков, ни я, ни жена моя. Мы ведь не дурачили президентов и Йобелевских лауреатов. Хотя номером телефона одного писателя, который очень рвался в скандальные политики, однажды обзавелись. Разжились — я и Рубидий. И в школьные времена воспользовались. Звякнули ему. Пригрозили, что будет кормить рыб в заливе, если и впредь продолжит свою подрывную работу. Как будто чувствовали: стоит случиться взрыву — а запах из пороховой бочки все больше сочился по улицам, экранам и газетам, раньше охотно подставлявшим себя под водку, воблу и огурец — жить нам, так или иначе, придется в другой стране.

- Плесенский твой наверняка давно стал каким-нибудь кантонским буржуем. — Услышал я опять голос Рябого.
- Какой из них? Одноклассник или дээндэшник?
- Думаю, оба. Вот и выезжай к ним, у них действительно полные закрома. И ближе, чем до Швеции, — Рябой замедлил темп речи, слегка повысив голос, — выезжай завтра же, автобусом.

— Завтра не смогу. Меня на съемки пригласили.

— Что за съемки такие?

На секунду мне показалось, что Рябой, для которого любая беседа — несмотря на всю его собственную внешнюю эмоциональность, экспансивность, умение «заполнить собой пространство» — всего лишь ни к чему не обязывающий смол-ток, способен всерьез удивиться.

— Голливуд фильм снимает. Из жизни египтян времен Птолемея 16-го.

— С Людовиком не путаешь?

— Не путаю. Емелю прислали.

— Мы с Емелей-Птолемелей. Я думаю, Птолемеев было меньше. Штук десять. И фильм должен называться «Птолемей на печи». — Рябой опять отвлекся и напевал уже что-то себе под нос. — Потому что ночь тиха, ночь тепла, спать ложиться пора. Как сформулировал артист Хенкин. А дети — не помеха, как пишут в объявлениях рубрики знакомств.

Я отошел от компа.

— Эй, ты где? И кого нужно играть? Как всегда статист?

— Примерно, — мне подвернулось любимое выражение бывшей жены. — Вот, послушай, что пишут: «Указание мужчинам: лицо чисто выбрито. У женщин маникюр». Гениальная фраза.

— Не гениальная, а генеральная, как будто могло быть наоборот. Усы сбривать будешь?

— Не дождетесь. Взрыва легче дожждаться. И вируса.

— Какого?

— Не суть.

— Ну так что, по люлям? — нетерпеливо гудел Рябой.

— Тебе рано вставать?

— Нет, просто холодно и сыро.

Станным образом я задерживал Рябчикова, хотя мне уже давно надоел и этот разговор, и его нудный голос.

— Кстати о сыре. Корешей и вонючий сыр в Германии называют иногда старыми шведами, — брякнул я без всякой надобности. — Хотя на сыре вроде бы швейцарцы специализируются. А то, что ты про точку замерзания изрек... Я, честно говоря, думал, что богатырское спокойствие как раз для старых шведов характерно.

— Стереотипы. Давай вернемся к твоему кино.

— Я тебе все рассказал. Еще обещают в Люксембург пригласить.

— Опять фильм?

— Не суть.

— Да, что ты заладил, не суть, не суть. Как барышня! — напоследок Рябой решил выразить недовольство. — Между прочим, Люксембург... занят. Однако хороший бензин там дешевле.

— Что-то я тебя не понял, кем занят? Не смог дозвониться?

— Не кем, а чем, — Рябой снова зевнул, — народ там занят управлением. Управляют всем Бенилюксом. Но Швейцария лучше, несмотря на цены. Цены высокие у всех «швов». Шведы, правда, не любят русских. Со времен короля Карла. У них даже выражение есть: ты что, русский? Это, если кто-то козлит. Или злит. Или мозолит.

Тут Рябчиков задумался и произнес неожиданно-распевно:

— Можно, правда, рвануть и в Грецию. Вместо Гельветии...

И добавил жестче:

— Ведь греки — это не нация, а идея. Идея справедливости. Человек, отрицающий данную идею, не может считаться греком. Ты слышал, что первым коммунистом был комедиограф Аристофан?

— Чего?

— Да, да, не удивляйся. У Аристофана бедность в споре с богатством говорит, что именно она — двигатель прогресса. Будь все богаты, люди не пошевелили бы и пальцами. Не обойтись нам без комиссаров в огромном море компромиссов. Пойду спать.

.

Ощущение, которое подарил следующий день, трудно облечь в несколько фраз. Казалось, что со всего города явились люди без места и жалования по случаю сезонных работ. В большом павильоне — не съемочном, а соседнем — угрюмый и монотонный народ (редкие красивые женщины где-то растворились) выстроилась в очередь — кто за, а кто уже с листочком. Не фиговым, а розовым. Розовый лист надлежало заполнить, как заполняют рабочую карточку. За ширмой ждала пресловутая «костюмерная-примерочная», в действительности — общая раздевалка, зрелище унылое. Ну а потом...

Под крики и вопли ассистента режиссера, Греблипс появлялся незаметно, снимая мизансцену на смартфон, давая главному герою какое-то слабительное для глаз, капли особые, чтобы тот расплакался. Актер плакал, прислонившись к парапету. Ему плохо. У него неконтролируемая реакция. Утешал сам Греблипс. Ассистент ограничивался простыми и известными мне с чужих слов командами-предупреждениями: камера движется (по-нашему: мотор), Action (то бишь, начали). Статистов распределяли по седине, количеству растительности на лице, типу костюма. Костюмы, между прочим, с легким налетом несоответствия эпохе. Однако, не о документальном же кино речь, а триллер все спишет. Фильм о высадке власовских парашютистов из Риги на берегах Печоры, в местах, куда ссылали кулаков. Взрыв собирались устроить заславшие их фашики. Лучше бы гребаный Греблипс снял кино про моего деда. О том, как дед, вернувшись с передовой, маленького сына своего по всему блокадному Ленинграду искал и чудом в приюте нашел, а потом по «дороге жизни» вывез. Или о том, как бабушка железную дорогу Астрахань — Гурьев строила. Как еще до войны была приглашена в Кремль в кабинет Орджоникидзе — вместе с другими передовиками

оборонной промышленности. Костюмированная драма точно получилась бы. Но сюжеты про империю зла и про то, как в ту пору шились дела, Греблипус ближе.

На берлинской кинофабрике никто ничего специально не шьет, в самом крайнем случае штопает, перешивает. Обычно статистов наряжают во что придется. Что нашли — то нашли. Прямо по Жванецкому: кинулись, а танков старых нет. Зато швов не видно. А также шведов и швейцарцев. Драпировка сплошная. При необходимости, так сказать, «на выходе» — поможет компьютер. Зато следят за мелочами: разносят галстуки и носки, пришедших в собственных костюмах (есть и такие) пересаживают в задний ряд, хотя крупных планов мало и в кадре массовка все равно сольется в экстазе, превратившись в одну пульсирующую и размытую массу. Оч-карикам приказано обходиться без диоптрий даже во время короткого перерыва. Кое-кому выдаются окуляры с простыми стеклами. Принцип раздачи, видимо, произволен. А еще вручают сигареты: постановочная группа убеждена, что в советских судах нещадно курили. На судах, наверное, курили, какие-нибудь капитаны-боцманы, а вот в судебных инстанциях и прямо во время слушаний по делу? Не уверен.

Я обратил внимание на бессловесного генерала — вылитый Жуков, внешнее сходство поразительно, покруче, чем у народного артиста Ульянова. Ряженный сидел в первом ряду среди других военных и трудно было поверить, что это не сам творец Победы. Вот уж точно, интересная технология: сначала решается вопрос, как обывателю стать статистом, потом — как превратить статиста в Жукова. Но тут организаторы съемок не просчитали все до конца: по статусу ряженого, приходившемуся на воссоздаваемый год, ему полагались погоны маршала.

Вообще вопрос сходства меня давно волнует. Даже Рябчиков со мной согласился: все уже было на нашей планете. Наслаждаемся новыми экранизациями, повторами, переизданиями, перелицовками или, как их там называют ученые люди, подскажите... Ах, да, римейками, сиквелами, симулякрами и муляжами. Как кто-то, опять же, выразился, простор живет повторами. Есть близнецы естественные, это когда общность по родству. Так внутренности Риги похожи на Берн, Берн, вероятно, похож на Львов, улицы Львова (где-то в чем-то) напоминают Вену, Вена, возможно, Женеву, Вюрцбург Прагу, Прага, отчасти, смахивает на Z. Вполне понятно и объяснимо. Архитектура, она всегда что-нибудь отражает. И могла бы быть германской даже в бывшей африканской колонии, если за дело брались немцы с консортами. (Надо как-нибудь съездить в Намибию, проверить.)

.

Следы моих дискуссий — любых, и с кандидаткой в тещи, и с Непостижимкой, и с Рябым, как критические газетные статьи в тех углах, где от стены отодраны обои. Вот он подлинный палимпсест,

культурные слои. Но я докопался до главного: моя проблема заключается в необходимости постоянно что-то кому-то доказывать! По долгу службы — как правило. Нарботанного авторитета никогда не бывает много. Всегда найдется кто-нибудь, кто поставит его под сомнение. Да и на досуге или, скажем так, внеурочно, когда досугу самое время и место случиться: какое там — отдохнуть, привести в порядок чувства, мысли или хотя бы арендуемую квартиру! Ведь вновь продолжается бой.

Приходится убеждать, штурмовать и завоевывать. Женщину, публику. И даже друзей. В центре баталий оказываются те же Непостижимка, Рябчиков, Панталыкин, с которым я в провинции познакомился. Я же мечтаю попасть в зону свободную от гонки и выпендрежа. От конкурса. От домогательств, молчаливо толерируемых даже МеToo. Чувствительная или раззадоренная женщина, проникшись интересом ко мне, не подозревает, какими сомнениями и угрызениями томится ее ухажер. Это едва ли не страх перед возможным развитием событий, я имею в виду взрыв эмоций. Ведь, чего доброго, все всерьез. Тогда придется вылезти из футляра, из пескарства привычного, из дежурного ухарства, отчасти приятного, но условного и временного, конечно. Из пещеры, а может быть даже из кожи, уютной только для меня одного. Ответить, как будто, нечем, ведь что я могу предложить — в соответствии с нынешними мерками и запросами? Вообще ничего. Ничего, кроме любви, по Армстронгу — коль скоро мои эмоции возьмут верх. Или их контролируемого отблеска, на манер «Записки» Шульженко. С Непостижимкой я рискнул, поддался, почудилось что-то. Выложилась по полной. В итоге все мимо, мое изшкурыванное мельтешение оказалось ненужным. У нее свои триггеры, травмы, она в девяностых выросла, не знаю, кто и как над ней издевался в той, отечественной жизни. Говорит, что отец. Сравнивает меня с ним. Дескать, похожи. Только отец — злой, а я добрый.

.

Вечером, когда я вернулся с греблипсовских съемок, по радио выступала ВЧ. Высокочастотная выпренная чувствительность. Хотя слово «выспренно» к ней не подходит. Читала какую-то новейшую немецкую прозу о России. Мы не виделись дюжину лет. Потом звучал джаз. Как по заказу. Потом Шостакович. Первый концерт для скрипки с оркестром. Исполнение предварили словами: «Шостакович сочинял это произведение в стол (по-немецки фраза звучит еще конкретнее — «для шифлетки»). Поскольку заранее знал, что оно не устроит вождя. Ведь Сталин предписал композиторам создавать музыку, способную воодушевлять народ, звать рабочих и крестьян в мир новых великих свершений». Посвятив слушателей в исторические подробности, ведущий тут же прокомментировал: «Мы ничего не имеем против воодушевления, но считаем, что музыкой, которую вы сейчас услышите, можно окрылить всех». Не знаю, на-

сколько окрыленным почувствовал себя ведущий, когда из динамика достойной издевкой стала сочиться депрессия первой части, спрыснутая в последующем легким намеком на гротеск. А после скрипичного концерта давали седьмую. «Как открыто, как мягко звучит маршевая тема у дирижера Дрекскерля, это просто восхитительно!» — неистовствовал комментатор.

Полчаса спустя, в поток эфирных блюд, столь странно сервированных, ворвался извне, как водится, Рябчиков. Позвонил на закуску.

— Слушай, Паша, — остервенело гаркнул он в трубку, — вы ждете взрыва?

— То есть? — я попытался уменьшить градус его эмоций.

— Ты в самом деле не понимаешь, или делаешь вид? — Рябчиков принялся хамить. — Повсюду только и говорят о том, что дальнейшая миграционная политика правительства приведет к социальному взрыву. Правые чувствуют себя правыми, или, как минимум, спровоцированными, и используют ситуацию как хороший повод для перехода к активным действиям. Вам мало латентных разборок в саксонской столице ландышей? Теперь еще городок, в котором Иоганн Себастиан долго обитал, подключился.

— Погоди, погоди! При чем здесь я?

— А я разве сказал «ты»? Я говорил «вы»! И вообще дело не в местоимениях, — Рябой на секунду сбавил обороты, даже как будто сник, однако чувствовалось, что в моем лице он опять дорвался до свободных ушей.

Лицо с ушами. Но самостоятельно живут затылки и уши, а лиц не видно — учил Мандельштам. Правда поэт говорил про толпу. А разве мы не толпа? Приохотил я Рябчикова. И что сказать мне этому больному болвану? Какое прописать лекарство? Нетрудно себе представить, что за постулаты возникнут в голове Рябого, посыплется из него, ввяжись я в очередной разговор. И что мне будет, что прилетит за внимание к его рассуждениям. Я решил напаялить на себя колпак комика и паяца:

«Еще лучше, Радий Васильевич, еще лучше. Если бы речь шла обо мне, тогда допер бы я, что ты мне опять свою Гельветию впариваешь, предлагаешь в эдем цизальпийских буренок убраться. Но во множественном числе? Так кто, с позволения сказать, имеется в виду? Вы — это кто? И сколько нас? Обратись-ка ты лучше за разъяснениями в ведомство федерального канцлера или в резиденцию президента. Да хоть в Бундестаг. Там помогут».

Эх, Берлин слишком часто похож на безразмерный безалаберный балаган, с этим я готов был согласиться. Да, пресловутая толерантность, торжественно провозглашенная, на поверку оказывается дурно пахнущим фиговым листком. Бессвязные обрывки лозунгов доносятся отовсюду. Но лучше разбираться предметно, повздношо.

Вздох первый. В каком бы качестве мы ни прибыли — в роли немецких переселенцев-возвращенцев, по сути — репатриантов, или на правах еврейских контингентных беженцев, на какие корни бы мы не пеняли — все равно мы народ пришлый. Спасибо стране, что рискнула возместить собственные потери. Утраты времен Екатерины или Второй мировой. Кто-то из нас искал историческую родину, кто-то — защиту от бандитов, лучшие социальные ресурсы и ресурсы, взамен новых российских. Стремный молодой рынок, воцарившийся на родине, что простилась с последними остатками привычной советской власти, радовал самых отчаянных. А тут и миллениум подоспел. По третьему календарю ХЗ. Хуучина Зальтая. Однако в нулевых и десятых на берлинщине первым делом вовсе не арабские пловцы высадились. Выловленные в Средиземном море. А русские айтишники, по-хозяйски располагающиеся в любом кресле. Для них везде лакомые куски раскиданы. Это вздох второй. Новый виток. Теперь вздох третий. Самодовольные пилигримы разного рода, русские опять же: псевдоэксперты, нежно имитирующие первооткрывателей, цифровые кочевники-фрилансеры, орудующие ото всюду, бизнес-мигранты, ловцы ВНЖ. А еще автономные либералы — им старый Запад как мощный моральный лабаз, роднее по определению.

Теперь все они — в роли гордецов неформальных и победителей независимых, или, якобы, анархистов, бегают по кругу. Будто белка у Саши Черного по карнизу — более или менее жизнерадостным курцгалопом. Кто-то, не пропуская ни одной клубной вечеринки, не брезгуя никакой клубничкой, отвязно и усиленно повышает уровни вибрации и кислотности. В угаре кричит, что кругом абсолютная свобода. Снаружи и внутри. Только празднуют эту свободу уже не дети, а внуки цветов. Пароль: «Мы родом из шестьдесят восьмого». Другие себя альтернативщиками объявляют, кричат «Дом горит!». Кликушествуют, оповещая о своих открытиях. Их Гитлер действовал в интересах «еврейской ставки». Артур Руппин, дескать, направлял, магдебургско-берлинско-тель-авивский проводник Баухауза. А присягать и служить нужно исключительно имперской конституции, поскольку новую не приняли, имеются лишь субституция, эрзацы — Основной закон и Гражданское уложение. Опаньки. Тут бы либеральным цветочникам посерьезнеть. Однако их не сильно заботят альтернативные чудачки. Ведь даже другая белка, отрицаемая, но периодически подступающая, плюс — неизбежная зависимость от определенных правил и регламентов, распоряжков и установок (не говоря уже про требования и контроль инстанций, ведомств и контор государства), никого не смущают. Воля! Ренессанс, декаданс. «Художественная гиперплазия и идиосинкразия» — говорит доктор Кислицын. Страхнув послеугарный сплин, сочиняют, рисуют, танцуют. Поют что-нибудь. Все креативные и искусственные. Все умные и безумные. Стремятся быть на виду. Суррогат на-гора. Качество не в счет. А почему бы и нет? После Бойса и Бреннера. Клоуна-

да, канонада, преодоление канонов. Каждый стреляет в каком-нибудь тире. С красными глазными белками в глаза третьих белок. Расцвет народного творчества в колхозе «Рассвет». Пора записываться в Антифу. Выходить на маёвку. Ведь в красный день календаря — 1-го — драки по Берлину и загадочный Белтайн. А если Антифа в самом деле состоит из одних провокаторов?

По словам Панталыкина, в конце марта самые продвинутые воспевают Остару, она же Кибела, и, кажется, сосну. Но зря ли поэт задавался вопросом, куда в мае идет тополь. В чем заключается майский механизм деревьев? И только Рябчиков смотрит в воду. И на нее глубокомысленно дует. В этой воде то и дело чувствуешь себя мудаком. Или в этом городе? От неполиткорректных мыслей слегка подташнивает. Сам вроде бы шальные и сальные вечеринки не посещал. Только общался с завсегдатаями. Или они заразны, как вирус? В черепе кружится то страшный зверь-бурундук, то его хвост, то какой-то горно-обогачительный комбинат. Работающий с помощью... (как это называлось?), ах да, экспликации. Хвосты, но другие. Отвалы. Пустая порода. Терриконы. Давайте поговорим не о счастье, а об охвостье. Мой царь, живи один. Как смелый андрогин. Мужчины превращаются в женщин. Или в охвостье женщин. Женщины — в мужчин. Или всегда были ими. В центре — Кибела, а не Афродита. «Она еще не родилась», — утверждает Мандельштам. И, видимо, прав. «Там было три хвоста», — дополняет Соснора. И я согласен, если вы ссылаетесь на поэтов. «Я — твоя вечная провокация», — говорит мне Непостижимка и виляет хвостом. Балансируя на грани ухода. Кислицын-младший, Ким, старый друг, которого русская жена уже бросила, а немецкая пока не нашлась, без задней мысли любителю на лис, осадивших берлинский рефугиум. И не ведает, что в полабской народной песне для церемонии свадьбы предусматривались разные кандидатуры. Самоотвод взяли все, включая сову, которую определили в невесты. Но лишь лисица согласилась с тем, что на ее хвосте будет накрыт свадебный стол. «А Ипполитовка — печать на хвосте, — умничают Панталыкин. — МУИИ». Что это, звериный возглас? Нет, аббревиатура всего лишь. Обозначающая Музучилище им. Ипполитова-Иванова. Мой случай. Или консерватория — как у Игоря. Выпускники указанных яслей убеждены: если через полчаса после того, как открыл ноты, ты не способен их сыграть наизусть, значит нужно устроиться сантехником. Или газетчиком. Поскольку люди — источники грязи. Необходимо помогать им бороться с нею. Не осилил путь возвышенный? Обратись к бытовой химии! А с газетой можно сходить в туалет. Особенно в ситуации, когда химикаты, а также бумажные бигуди, перфорированные рулоны в связи с очередным вирусом раскупили.

«Ты цел?» — спрашивал меня Рябчиков после того, как исламист устроил теракт в центре Берлина. Нагнетать страсти по все-

мирному халифату горазды все, видеть угрозу в беженцах. Но из-за вируса они застряли на островах. От ошалевших бацилл вообще бежать некуда. Разве что в Антарктиду. Камин сгорел уже давно. Вместе с порталом. Примеру последовала Аляска, потекла вечная мерзлота с Альп, из Сибири. Юные беспокойные активисты организовали пикеты. Но будет ли толк? Насчет захоронения ядерных отходов немцы тоже давно шумят. Всякий раз, если материал готов к перевозке. Когда-то транспортники-утилизаторы подыскивали местечко в краях, где во времена царя Гороха полабские славяне жили. Мотивируя тем, что именно в этом углу медвежьим был обнаружен подземный пласт соли. Пресловутый соляной купол, пригодный для того, чтобы радиоактивную жуть изолировать. Как нарочно, кусочек лесистый вторгнулся маленьким аппендиксом в тогдашнюю ГДР. К северо-западу от Берлина. Вполне себе провокация, причём двойная. В начале восьмидесятых борцы с такими планами, с намеренным могильником разбили табор в урочище и даже новое государство провозгласили — РСВ, Республика Свободный Вендланд. Дабы отбить у утилизаторов охоту к транспортировке. И где она теперь, эта РСВ? След простыл. Да, неугомонный народ периодически ложится на рельсы, чтобы остановить мусорный экспресс. Однако тут иной тупик получился: атомный дрек везут по-прежнему.

Пора брать пример с певцов, счастливых, еврейских цадиков и часовщиков. Жить просто. Ориентироваться по звездам. Не наблюдать ни фриков, ни поездов, ни цветочников, ни раздачи булок. На часы смотреть только в случае ремонтной необходимости — когда в Кремль вызовут, чинить куранты. А если очень припечет и приспичит, спич толкнуть, допросить двух кошерных свидетелей в синедрионе, в том самом суде, не начался ли новый месяц. Синедриону кое-что позволяется. Уточнить, как там обстоит с Луной. Вышли ли вовремя на балкон очевидцы, заметили ли ее рождение. Эге-гей, очевидцы! Что скажете? Не рассмотрели, не поняли, темно было? Лилит. Лишь отражает, сама не светит. Так чиркнули бы спичкой, чтобы поджечь пыльную пепельницу. И выяснили, что происходит с календарём. Какие милые у нас? Да вот такие. На базаре не выбирали, но милыми провозгласили. Невзначай подвернулись. Сезоны и лилейные душки — вещи схожие. На выходе из скользкой зимы мы подвернули ногу, не успели оглянуться, а на дворе вирус новоиспеченный. Или безбашенный, бесшабашный и лживый апрель. Хотя почему бесшабашный? Шабаш есть, ночной — в канун маевки. Все тот же Белтайн. Клубы закроют, а на Вальпургиеву, глядишь, разрешение выдадут, чтобы не нарушать право на проведение демонстраций. Пока суть да дело — урочный час для выхода на балкон — поиграть, подудеть для соседей. Потом из Египта. Пока Белтайн не нагрянул. И вирус не обнаглел. Летом слишком жарко, однако нонче — самое то. Егорий главный — тоже весенний. Другие не при делах, обаче нас предупредили.

Перейдем от общего к частному, зададим более легкий вопрос. Что сегодня за день? По календарю Хуучина Зальтая, мастера Нууца. Суббота? Суббота — очаровательное понятие. И относительное. Зависит от того, где находится солнце в тот или иной момент. Умножим же очарование, продлим, превратим субботу в саббатикал. Шабаш поддерживать ни к чему. И не забудем, что другие дни тоже важны. Раньше или позже на нас обрушатся. Улита едет — компенсатор силы у заводной пружины в часах. Развивающейся в оптимальный период. Например, в четверг Моисей поднялся на гору, в понедельник спустился. А для нового дела лучше подходит вторник, ибо господь именно во вторник обнаружил, как прекрасен этот мир. Который мы испоганили, костерим на все лады и не знаем, как исправить. Ждем взрыва.

Ход замедляет только реверсивная защелка. Ослабляет натяжение.

Катя КАПОВИЧ

/ Нью-Йорк /



* * *

Когда встаёшь среди темноты —
воды попить, принять таблетку —
с вещами больше не на «ты»,
то это возраст, годы, детка.

Не понимает молодёжь:
встал человек и трёт макушку.
И мать в потёмках позовёшь,
и детства первую подружку.

Жить неуютно наяву,
как пузырёк искать без света.
А то отца ещё зову
стрельнуть — ну, это — сигарету.

* * *

Вместе с нами в поговорку
несколько вещей войдёт:
жить в России надо долго,
красота весь мир спасёт.

Тени исчезают в полдень,
жизнь — билет в один конец,
утром выпил — день свободен,
водка любит огурец.

У властей свинячье рыло.
Пушкин был большой поэт.
«Что пройдёт, то станет мило», —
он сказал и умер вслед.

И кого остановила
красота стихов его,
музыка, большая сила.
В этом мире никого.

* * *

На восточном базаре купила я питу,
сколько всякого разного в питу набито:
сладкий лук, помидор, белый хумус, фалафель
и горячего соуса несколько капель.

Мне восточный базар почему-то всё снится,
с золотыми глазами краса-продавщица,
незнакомые лица, весёлый прилавок —
видно, создана я для подобных приманок.

Солнце в голову, много горячего пыла...
Я брела к остановке, с собой говорила,
всё оглядывалась на цветной околоток.
А теперь я скажу, утерев подбородок.

Если между ладошками белого хлеба
всё вместилось так чётко и великолепно,
может, мир нам сложить на земном этом шаре,
как хорошую питу на жарком базаре.

* * *

Мы так разъезжались: хлебнули по стопке,
помыли полы в опустевшем доме,
оставили чайник, кастрюли на бровке,
сказали: «А вдруг пригодится кому?»
Молчали в усталости жаркого полдня,
давнишние письма делили в конце.
Бил колокол на невысокой часовне
сушилось бельё на соседском крыльце.
Последнее — в памяти прожитой жизни,
как будто бы в доме, идущем на слом, —
наш двор, где летают бумажные письма,
где мы напоследок с тобою вдвоем.

* * *

Среди кривых расшатанных осин
клин вышибали — лишь забили глубже,
жгли молодости быстрый керосин —
какое счастье было в этой чуши!

Купили как-то старый драндулет
на общие семейные финансы,
его нам продал пьяница-сосед,
сказал: «Иду в лечебницу сдаваться!»
Сначала не работал дуралей,
но что-то привинтили, прикрутили,
поддали, чтобы было веселей,
и затрещал мотор в автомобиле.
И в нашей тусклой жизни без всего
в тот вечер подобру и поздорову
имели счастье, верили в него
в прокуренной хрущёвке Кишинева.

РУССКОЕ КЛАДБИЩЕ СЕНТ-ЖЕНЕВЬЕВ-ДЕ-БУА

Здесь фонари похожи на вопросы
среди французских выгнутых оград,
у путника очки съезжают с носа
и мысли набегают невпопад.
От русских узнаваемых фамилий
становится на сердце горячо.
Кем они были, где и как служили,
что вспоминали, говорили что?
Каким их ветром занесло далёко,
холодным, тёмным, северным сюда?
Фигура чуть растерянного Бога
разводит лишь руками у креста.

Несли их войны, словно злые крылья
безумных мельниц, разметая всех.
А вон Ивана Бунина могила
с цветами и колосьями поверх.
Видна вдали обычная часовня,
деревьев разноцветные верхи —
что Бунин так любил немногословно
и прятал в суховатые стихи.
Он о высоком мог сказать с прохладой,
о русского снега грезил до конца.
Храни сент-женевьевская ограда
в своих объятьях лёгкого жильца!

* * *

А ведь было на нашем веку это всё-таки:
перестроечные и полночный «Агдам»,
что-то свежее носится в уличном воздухе,
и амнистии множатся по городам.

И свобода приходит в расцветшие скверики,
и выходит Улисса большой перевод,
пароходы плывут по высокой Москве-реке,
возвращается Сахаров из несвобод.

Возвращаются частная собственность. В частности,
возвращаются улицам их имена.
Комитет государственной безопасности
обещает, однако, вернуть времена.

Почему-то в России всё бедами мазано,
всё кончается лесом предательских рук.
О свободе в отчизне потомкам расскажем мы:
«Это было красиво и кончилось вдруг».

ЖИЗНЬ МОЕГО ПРИЯТЕЛЯ

О жизни рассказать бы мог пустяк,
в альбоме старый снимок — четверть века.
Вельветовые брюки и пиджак
дают понять нам в целом человека.

Его любила женщина одна,
весёлый независимый характер,
густых волос упрямая волна.
Потом её увел один приятель.

Просил её вернуться, всё простить,
послал письмом два общих снимка даже,
ответа ждал. А что простить — спросить?
Как возвратиться к прошлому пейзажу?

И он, как жил когда-то, так и жил.
Жил в городе зимой, с весны — на даче,
где пола подгнивающий настил
пел что-то на два голоса, чуждача.

Перемостил простой дощатый пол,
покрасил стены и забор наладил,
ходил с корзинкой в невысокий бор,
и что-то вдруг о радости заладил.

С какой, однако, радости бы вдруг,
когда он жил один в глухой деревне?
О радости, не покладая рук
сажать кусты, окучивать деревья.

Ни женщина призывам не вняла,
ни дети, недоверчивые к слову,
а радость вот поверила, пришла,
ведь кто-то должен приходить по зову.

ВОСПОМИНАНИЕ

В пишмашинке стихи, полустёртая лента —
было дело, и дело водило студентку,
пусть не в ад, а в предбанник его, в кабинеты,
чтобы в тех кабинетах продолжить беседы.

Мне гэбист на допросе цитировал Бродского.
Ничего не видала я более скользкого,
чем спокойный гэбист, задушевно и просто
мне цитировавший: «Ни страны, ни погоста».

Дорогие друзья и коллеги-поэты,
я бы русский забыла бы только за это,
чтоб не знать, как махровый работник ада
увлекается первым пером самиздата.

Стол, два стула. Пикирует муха на лысину.
Ощущенье, что высекли, близкое к истине.
Было мне восемнадцать бессмысленных лет,
было радостно выйти оттуда на свет.

СЧАСТЬЕ

Многие зимы вам, многие лета!
Я отвалю на гудящий вокзал,
в тамбуре жизни зажгу сигарету —
эй, суховей, поворачивай вал.

Только однажды случится неожиданно —
сердце припомнит свои берега?
Где-то в Америке у океана
всех-всех окликнет душа-пустельга.

Мать и отца возле детства на страже,
верных друзей из расплывчатых лет,
даже того гармониста на пляже
с грудью в медалях и шапкой монет.

Многое вспомнится. Ухнем с размаху
в семидесятые — полный прогон:
из сухофруктов компота добавки
и потихоньку играет гормон.

Вспомнится снежное утро с портфелем,
с инициалами торба в руке,
ввек не забыть, как заклеила клеем
белую стрелку на чёрном чулке.

Хлебом единым корми нас, о Боже,
старую песню играй, гармонист!
Счастье всегда — раздувная гармошка,
счастье, счастье, лирический свист.

* * *

«Перестаньте, пожалуйста, ныть!
Что вы ноете? Слышат вас дети!
Потрудитесь вы тут не курить,
лучше медикаменты попейте!
Что вы, право, лежите весь день
на диване бесформенным телом
и с такой головой набекрень,
не служа молодежи примером?»

Раздаются всё чаще вокруг
эти возгласы, полны волненья,
от коллег, и друзей, и подруг,
министерства здравоохраненья.
Позитивный сосед-инвалид
с половиною мозга Петренко
костылями мне в стенку стучит,
а моя на диване лежит
и рифмует: «Петренко-говненко».

* * *

Не Герцен ли итог подвёл?
Он фразу произнёс чеканно:
«Мы вовсе не врачи. Мы — боль!»
И умотал в Европу рано.

Но слово ведь — не воробей,
и на мякине не поймаешь.
Глядишь, выходит из дверей
неолитический товарищ.

Он исподлобья в мир глядит,
как будто в мусорную яму.
Так ковыляет инвалид
всегда чуть косо, а не прямо.

Ах, Александр Иванович, голь
мы перекатная по свету —
стихи, нервишки, алкоголь.
Так и живём. Другого нету.

* * *

Так проснуться, чтоб снова рукою коснуться
дорогого, родного лица!
Снова в кухне летают тарелки и блюдца,
тостер сушит два белых хлебца.

Мелет чушь электрическая кофемолка,
кофеварка бурчит. Вьётся дым.
Мир задолго до нас и останется долго.
Надо жить по законам простым.

Повоюем на кухне на полную силу,
ты мне слово, а я тебе — два
И помиримся, кофе попьем. Ну, вспылила.
Это счастье и есть? Нет и да.

* * *

В желтизну эмигрантских газет
я внесла свою лепту, ей-богу,
на последних страницах тех лет
вдохновенной статьёй некролога.

Там, свои поправляя дела,
отпевала я чью-нибудь душу,

невесёлую службу несла —
сорок баксов, и выйдешь наружу.

И ещё сочинишь много строк,
даже станешь слегка знаменита,
но пределом мечты — некролог
и покойник, не вяжущий лыка.

Борзописец такой же, как я,
как умру, то не надо мне стансов,
напиши некролог спохмела,
напиши некролог в сорок баксов.

* * *

Этой ночью кончились сигареты.
Вот иду на улицу — может, кто-то
с сигаретой пройдет переулком света.
И полночи около перехода
ошиваюсь, каменную скамейку
обживаю. Время плетётся длинно:
фонари и звезды, на батарееке
телефон. Апрельская ночь пустынна.
Человек из времени, где проулок
означал прохожего с полувзгляда,
улыбаюсь — в куртке нашла окуроч!
Мне так мало ночью для счастья надо.

* * *

На телеге еду, вверх смотрю
сквозь лепные облака на солнце
в самом лучшем солнечном краю —
может быть, ещё туда вернёмся?
Там в большом июне дрозд певуч
над зубчатыми колами сада.
Память-попрошайка ищет ключ:
«Ты не знаешь ли туда возврата?»
Хорошо бы провести осмотр
огорода, сада старых яблонь,
дымом окурить их от щедрот.
Ты хоть помнишь запах? Нет, не ладан.
От кострища дым валил в луга,
дрозд стремглав летел над частоколом.
Жизнь прошла, и вся тут недолга —
уходя замечу не с укором.

Сергей КОРОЛЁВ

/ Аугсбург /



ЧЕТВЕРТЫЙ АРХИВ

I

Чертенюк седьмого порядка Микитка ловко прихватил Сан Саныча за локоть и потащил вдоль унылых коридоров канцелярии. Полы в здании были выложены старым истертым паркетом. Местами плиток не доставало целиком, местами они были сколоты наполовину. Краска служебного светло-зеленого оттенка шелушилась и обнажала реликтовые слои предыдущего колера. Серая от старости штукатурка осыпалась, стыдливо оставляя толстый слой пыли на подоконниках. Адская канцелярия была местом обжитым, по-домашнему уютным, однако здесь добрую тысячу лет шел ремонт, на завершение которого уже никто не надеялся.

Микитка, долговязый черт с облезлым, праздно болтающимся хвостом и прыщавой физиономией, чем-то походил на гимназиста-переростка.

— Какие люди хаживали по этим коридорам, какие люди!.. — тараторил он. — Один Ошо чего стоил!.. Мощный был старик! Направо, пожалуйста.

Сан Саныч повернул направо. Из ближайшего кабинета раздался рык и повалили клубы дыма.

— Фаина Иннокентьевна, сколько раз можно повторять, здесь не институт благородных девиц! На работу будьте любезны являться голый! — ревел демон-полуволок и судорожно чесал задней лапой за ухом. — Вы же не по благу сюда попали! У вас в лучшие времена, помимо мужа, до трех любовников водилось! Это не считая мелких связей без видимой сексуальной ориентации. Кого вы стесняетесь?

— Не могу я, Амон Викторович, не могу. Вас я душой и телом люблю, — голосила Фаина Иннокентьевна и почесывала Амону Вик-

торовичу хребет, — но посетители ваши — сущий кошмар! Они воют! Как можно в этой вони голой сидеть! Я женщина! Скажите им, чтобы одеколоном пользовались!

— Вы, Фаина Иннокентьевна, не женщина, а дитя малое! — завыл Амон Викторович и лизнул Фаине Иннокентьевне ногу. — Это же ад! Ад! Понимаете?.. А посетители мои — демоны! Они должны плохо пахнуть. У них работа такая!

Сан Саныч невозмутимо шагал мимо кабинетов, слушая беспечную болтовню Микитки.

— А римских Пап сколько тут побывало? Уж никак не менее двух сотен! И каждый Папа — глыба! История в лицах! Теперь в лифт, будьте любезны.

Сан Саныч вошел в лифт. Настенные канделябры в виде драконов держались на честном слове. Позолота на подсвечниках облетела, лампочки электрических свечей почернели от копоти, но одна всё же горела. Микитка нажал подземный 82-й этаж и продолжил:

— В этом лифте я сопровождал саму Елену Петровну Блаватскую! Какая женщина!.. Её все чины вплоть до второго порядка боялись! А патриархи! Патриархи!.. Грозные люди! Один до того лютый попался, что вот этим канделябром чуть было мне череп не раскроил. Я ему: «Вам к Маммоне Валентиновичу. Он у нас мздоимцами заведует». А он мне: «Изыди, нечисть! Убью!» И за канделябр! Да, вот и приехали. Ваша дверь вторая налево. Всего хорошего.

Слева от лифта находился кабинет номер 666/4. Табличка на обшарпанной темно-коричневой двери гласила «Зав. архивом сектор 4. С.А. Анненберг». Сан Саныч постучал и, не дожидаясь разрешения, вошел. В небогато обставленном кабинете за массивным деревянным столом сидел бес четвертого порядка Самуил Апполионович Анненберг. В бесе не было ничего бесовского. Он был похож на обычного служащего, и разве что копыта, торчавшие из-под стола, выдавали его происхождение.

— Садитесь, милейший Сан Саныч. Садитесь и выпейте со мной чаю.

Бес тяжело поднялся, потер затекшие ноги, снял с верхней полки шкафа папку и бросил её на стол. Папка выстрелила пылью в душное пространство кабинета. Самуил Апполионович порывлся в столе, выудил коробку с чаем, поднял трубку телефона и сказал:

— Зиночка, принесите кипятку, пожалуйста, — и тут же обратился к Сан Санычу: — Любезный Сан Саныч, как вы уже догадались, мы находимся в канцелярии исправительно-трудового учреждения, которое на Земле носит условное название «ад».

На слове «ад» бес сорвался на рев, но быстро опомнился и ласково продолжил:

— Давайте будем откровенны, Сан Саныч, вы ведь понятия не имеете, зачем вас сюда пригласили.

Сан Саныч действительно не имел понятия. Он занимался управлением технологическими проектами в крупной строительной компании. «Может, надо стены покрасить или паркет переложить. Ремонт тут не помешал бы...» — подумал он.

— Зря теряетесь в догадках, дорогой Сан Саныч. Не нужно топтать события. Всему свой черед.

Самуил Апполионович взмахнул хвостом, и в тот же миг, как по мановению волшебной палочки, в кабинете появилась Зиночка — женщина лет сорока, невысокая, крепкая, но ладно сложенная. Она была абсолютно голой, без украшений, косметики и даже заколок в густых каштановых волосах. В руках у нее был поднос. На нем стояли два стакана и миниатюрный чайничек с кипятком.

— А... — вполголоса проворчала она. — Новенький. Не ад, а дурдом, честное слово. Всяк дурак с одним вопросом: «где это я?».

— Зиночка, — скомандовал бес и ласково погладил женщину хвостом по животу, — закройте рот, а то я позову Семена Волоаковича, и он вас съест.

— Не пугайте, Самуил Апполионович, — спокойно ответила Зиночка и крепко сжала бесовский хвост. — Я пуганая! Не первый век тут работаю.

Секретарша оставила поднос на столе, прихватила какую-то папку и направилась к выходу. Самуил Апполионович тонкой струйкой цедил кипятки, провожая её нежным, полным восхищения взглядом.

— Умна, проста, чертовски обаятельна. Настоящая ведьма, — хитро подмигнул бес и продолжил: — Но вернемся к нашим баранам или, как у нас говорят, бафометкам. Прежде чем я ознакомлю вас с фронтом работ, хотелось бы получить письменное согласие. У нас, знаете ли, бюрократия почище земной. Вот тут распишитесь.

Сан Саныч взял бланк, пробежал взглядом стандартную форму рабочего договора и расписался.

— Замечательно, а теперь пройдемте, — бес указал на небольшую черную дверь.

Сан Санычу показалось, что минуту назад этой двери в кабинете не было, но он не стал любопытствовать и молча прошел за бесом. Стаканы остались стоять на подносе. Один из них был пуст. Бес распахнул дверь в хранилище, откуда сразу же дохнуло сыростью. На конторке у входа стояла небольшая масляная лампа. Она едва освещала стеллажи, которые расходились рядами во все четыре стороны и терялись во мраке. Им не было числа. Это был адский архив, сектор 4.

— Вот, Сан Саныч, ваше рабочее место. Пересмотрите стеллажи с 82-го по 7013-й на предмет целостности и сохранности содержимого. Здесь хранятся договоры о купле-продаже душ. Все документы должны быть читаемыми, имена, фамилии не испорчены сыростью

и гниением. Ваш рабочий день длится двенадцать часов с двумя перерывами. Семь и девять минут. Зажигалка на всякий случай. Пожалуйста, возьмите. Всего хорошего.

Бес протянул Сан Санычу дешевую разовую зажигалку и раскланялся. Как только он вышел, дверь тут же исчезла, но Сан Саныч этого не заметил. Он снял папку с ближайшего стеллажа и встал за конторку.

«Абсолютно не по моему профилю! Неэффективно, нерентабельно, нерационально!» — подумал он и принялся за работу.

II

Молодые люди стояли на лестничной клетке возле таблички с изображением дымящейся сигареты. Юленька, по уставу, была голый, однако, в отличие от предыдущего поколения ведьм, позволяла себе вольности и носила легкие туфли. Нет, она не боялась простудиться. Полы в преисподней были теплыми круглый год. Уж чего-чего, а жара тут хватало! Туфли стали последним писком моды, и Юленька, как молодая ведьма, которая делала стремительную карьеру в адской канцелярии, считала своим долгом следить за подобными мелочами.

Миша носил гавайскую рубашку с пальмами, заправленную в широкие клетчатые бермуды, пошитые на манер колониальных. пляжная одежда частично избавляла его от жары и не стесняла движений. Должность координатора в транспортном отделе, на которую он поступил несколько месяцев назад, давалась ему с трудом. Нагрузка в текущем квартале выдалась такая, что даже бывалые грузчики кричали, а Миша не блистал физическими данными. Его комплекция больше располагала к размеренной работе в бухгалтерии, нежели чем к трудам на передовой у транспортников.

Вверх по лестнице спешил чертенок. Он остановился возле молодых людей и запричитал:

— Семен Волоакович опять разнервничался и дыхнули на посетителя пламенем. Посетитель в пепел, в кабинете пожар, в канцелярии скандал!..

Молодые люди остались безучастными к бедам чертенка. Они прекрасно знали начальника отдела кадров Семена Волоаковича Винного. Он имел привычку, будучи в скверном расположении духа, изрыгать пламя левой пастью, а в особо тяжелых случаях — одновременно тремя. Пожар потушат, в помещении приберут, Семена Волоаковича вызовут на ковер и лишат премиальных. Да ему-то что? Он в аду с тех времен, когда Коцит был солнечным курортом.

Чертенок, не дождавшись сочувствия, побежал дальше, и Миша, наконец, решил объясниться:

— Юля, я давно хотел с вами поговорить.

Юленька запрыгнула на подоконник, одну ногу свесила вниз, а вторую прижала к себе и манерно сложила руки на колене:

— Я вас внимательно слушаю, Михаил.

Миша смутился, щеки его порозовели, и, чтобы скрыть юношескую застенчивость, он стал шарить по карманам в поисках сигарет. Сам Миша не курил, но всегда держал при себе пачку для Юленьки. Пачка упала на пол, Миша наклонился поднять ее и украдкой бросил взгляд на ведьму. Она беззаботно смотрела в потолок, слегка покачивая ногой. Мише показалось, что температура его щек становится огнеопасной. Он вскочил, протянул сигареты и выпалил, как на плацу:

— Юля, милая Юля, я давно хотел вам сказать, я очень давно хотел вам сказать — я люблю вас и хочу на вас жениться.

Юленька с ногами забралась на просторный подоконник, села к Мише боком и закурила.

— То-то, смотрю, ты такой официальный. Прямо как у их темнейшества на приеме! — сказала она весело. — Так ты жениться надумал!

Миша не мог найти себе места. Он не знал, куда девать свой наивный, полный щенячьей преданности взгляд. За окном гора Гекла извергала очередную порцию дыма. На площади перед зданием черти загружали фуру туго связанными пачками бумаги. Четвертый архив переезжал в новый корпус. Возле памятника их темнейшеству губернатору объединенных кругов ада Сатане, сидела канцелярская братия. Памятник был излюбленным местом обеденного перерыва. Он располагался посреди небольшого бассейна и был окружен скульптурами василисков, изрыгавшими фонтаны темно-бурой мученической крови.

«Повсюду кровича! Провалиться хочется!» — подумал Миша, глядя на фонтан.

— Миш, — сказала ведьма и затушила сигарету, — я не буду над тобой подшучивать или, хуже того, издеваться. Но я тебя очень прошу — оставь эти глупости про свадьбу. Выставят на посмешище, потом двести лет покоя не дадут.

— А чего я сказал-то? — пробурчал сконфуженный Миша.

— Ты, Миш, ничего не сказал, а я ничего не слышала, — строго ответила Юленька, спрыгнула с подоконника и перед уходом добавила: — Вечером после смены зайди. Поболтаем.

Неопытные черти принимали белокурую Юленьку за существо небесное и даже обходили стороной, опасаясь, как бы не вышло добра. Юленьке достался облик образцовой святой. Кто бы мог подумать, что однажды в ней откроется дикая страсть к любовным интригам. Эта страсть привела к отравлению, жертвой которого стала она сама. После смерти её определили в адскую канцелярию, где молодую грешницу заприметил очень высокопоставленный бес. Че-

рез десять лет она показала прекрасные результаты и сдала экзамен на ведьму. По адским меркам, Юленька была молодым сотрудником. В канцелярии служили ведьмы со стажем в две тысячи и более лет. Что такое несчастные семь десятков, когда рядом с тобой ровесницы римских императоров!.. Юной ведьме не хватало выдержки и дисциплинированности, однако заводной, разгульный характер не мешал смотреть на жизнь прагматично. Она знала меру распутству, что в преисподней было крайне ценным качеством. Работа её вполне устраивала, отношения с коллективом — тоже. Умеренный, но регулярный разврат и полная рабочая занятость шли на пользу её подвижному уму и неугомонному характеру. Карьера стремительно летела вверх, хотя карьеристкой Юленька не являлась. Она просто делала то, что любила, и делала это хорошо.

Юленька умела заводить перспективные знакомства и, даже будучи страстно влюбленной в очередного чертенка, не теряла головы. Незадолго до знакомства с Мишей она увлеклась следовательно из службы безопасности. Представительный, неглупый, с хорошо подвешенным языком, он резко шел в гору. Поговаривали, что он станет самым молодым бесом, сдавшим экзамены на четвертый порядок. Юленька была в восторге от его харизмы и немедленно бросила одного милого, но бесхарактерного клерка. Отношения развивались стремительно. Казалось, от страсти Юленька сошла с ума. Она была на взводе, хохотала, болтала без умолку, опаздывала на работу, словом, вела себя, как типичная влюбленная дура. По канцелярии поползли слухи, что ведьма пьет приворотные зелья. Начальство забеспокоилось. На Юленьку посмотрели с осторожностью. И тут без видимых причин произошел разрыв. Во всем, что касается личной жизни, Юленька умела держать язык за зубами, но для канцелярских сплетников не существовало тайн. Вскоре стали известны подробности. Оказалось, юный следователь водил знакомства с неблагонадежным элементом. Контрабандные напитки из рая, открытки с ангелами, райская музыка, поэзия, живопись — всё это находилось под строгим запретом. По долгу службы следователь имел неограниченный доступ к такого рода материалам, что оказалось губительным соблазном. Через полгода он загремел в девятый круг и сгинул там, среди зверских порядков нижнего ада. А что Юленька? Она не моргнула и глазом. Ни слёз. Ни вздохов. Ни капли сожаления. Вот такой характер.

В канцелярии трудились не покладая рук. Низшие чины и непосвященные по двенадцать часов, ведьмы и средние чины — по девять, у высших график был ненормированный. Миша принадлежал к непосвященным, к тому же транспортный находился в непрерывном аврале. К привычным курьерским работам добавился переезд четвертого архива. Иногда пересменки сокращались до двух часов. Сегодня выдался именно такой день. Секретарша Лидия Пет-

ровна с утра потчевала Мишу снадобьем из волшебного чабреца, который ей привозили по знакомству из Лимба, и Миша худо-бедно держался на ногах.

Под конец смены Лидия Петровна перехватила его у входа в отдел и ласково сказала:

— Мишенька, отвлекитесь немного. Вы заработались. Отдохните!

Миша был очарован Лидией Петровной, тонким ароматом её волос, её бархатной кожей, морщинками в уголках глаз, великолепной фигурой. Он взглянул на секретаршу с восхищением, поцеловал руку и присел было рядом, чтобы передохнуть, но вспомнил о встрече с Юленькой.

— Лидия Петровна, чуть не забыл! У меня встреча! Убегаю! Улетаю! — взволнованно крикнул он и бросился к выходу.

— Ах, Миша, Миша, — прошептала Лидия Петровна, — долетаетесь!..

Миша всего два года летал по канцелярии, но местная братия давно привыкла к его кудрявой угольно-черной шевелюре, басыщему голоску и неуклюжей походке. Поначалу он натворил немало глупостей. В первый рабочий день Миша крикнул ведьме-вахтерше: «Дай вам Бог здоровья!». С тех пор, едва завидев юношу, ведьма с ужасом пряталась в гардеробной. Вскоре ему поручили доставить срочное письмо на имя главы канцелярии. Он торжественно вошел в кабинет, где шло плановое совещание, и с достоинством дворцового английской королевы произнес: «Вам письмо!». Служивцы долго смеялись над этим случаем, а молодые чертенята за глаза прозвали его «Миша — вам письмо». Невероятные приключения длились до тех пор, пока Миша не застрял в лифте с инспектором технадзора. Юноша хотел доказать почтенному демону, что, несмотря на внешнюю ветхость, в канцелярии крепкая техника. Он подпрыгнул, и лифт тут же замер. Терпение начальства было исчерпано! Мишу попросили впредь пользоваться только лестницами, что для посыльного это было суровым наказанием. Он осознал результаты своей разрушительной деятельности, однако унывать не стал и носился по зданию как угорелый, пока его старания не были вознаграждены. Мише предложили место координатора. Теперь в его обязанности входил переезд четвертого архива. Он понимал всю сложность возложенной на него миссии и старался максимально соответствовать занимаемому посту, то есть самозабвенно, по-детски, важничал и строил из себя крупного начальника, чем немало веселил старожиллов.

Миша заглянул в отдел снабжения. Служащие уже разошлись, но в приемной горел свет. Обнаженная по пояс Юленька стояла возле окна и просматривала свежееотпечатанный бланк. На ней была прозрачная шелковая юбка зеленого цвета, в руках она держала легкую бежевую майку.

Нижнее белье в аду носили редко и только в специальных случаях. На ежегодное выступление их темнейшества, правителя шестого круга, мэра города Дита Сатьяна Мегидовича Фораса, знатным бесам и демонам полагалось надевать трусы с регалиями, а ведьмам и демонессам — специальные праздничные бюстгалтеры с эмблемами адских цехов.

Юленька убрала бланк в стол, накинула майку на голое тело и наконец заметила Мишу.

— А, Миша! — крикнула она. — Пришел! Давай спустимся в сад. Я ужасно проголодалась. Там киоск с эклерами и музыка. Ты любишь эклеры и музыку?

— Нет, я вообще не люблю сладкое, — соврал Миша, чтобы выглядеть взрослее.

— А музыку? — спросила Юленька и, не дождавшись ответа, продолжила: — Сегодня в саду Майлз Дэвис. Он невероятный! Просто невероятный!.. Как я счастлива, что он попал в ад!

Они спустились на первый этаж, вышли через восточный портал и повернули налево, в располагавшийся при канцелярии сад. Брусчатку, или тем более, асфальт, в аду не использовали. Камни нагревались так, что ходить босиком становилось неприятно. Асфальт же просто плавился. Горячая и сухая земля преисподней была покрыта мелким, красноватого оттенка, песком. В саду среди церагоний, под огромным испанским каштаном стоял деревянный помост. Слабое освещение, расположенное у сцены, немного разгоняло мрак, но в глубине было темно, и тонкие лучи прожекторов, словно разбрызганная по неосторожности краска, чередовались с густыми кляксами теней. Оркестр уже начал. Юленька взяла эклер и горячий шоколад, Миша — кофе. Публика прибывала, однако молодые люди успели занять место в дальнем углу.

— Обожаю запах каштана! — сказала Юленька и откусила эклер. — Миш, скажи, ты помнишь, как сюда попал?

— Нет, — печально ответил Миша.

— А чем ты занят, можешь рассказать?

— Это пожалуйста, — повеселел Миша и, заметно важничая, произнес: — Сейчас я в транспортном. Бес ты или человек, а транспорт всюду нужен. Работы море! Еле справляемся! Предыдущий координатор развалил всё до основания. Руки ему оторвать мало!..

— Значит, как сюда попал, ты не помнишь, — сделала заключение Юленька, — однако, чем занят, знаешь.

— Ну да, — неуверенно подтвердил Миша.

— Поэтому ты называешься полусознательный из касты непосвященных, — сказала Юленька и, поджав губы, сделала маленький глоток шоколада.

— Не понял! — Миша отхлебнул кофе и едва заметно поморщился. Сахар в кофе он не положил для пущей суровости. — И как же мне стать сознательным?

— Ответить на вопрос, кто ты и почему ты здесь.

— Проще простого! — воскликнул Миша. — Это я могу у Семёна Волоаковича в отделе кадров узнать!

— Во-первых, не спеши узнавать, — сказала Юленька и кончиком языка слизнула крем с эклера. — Умножая знания, умножаешь скорбь, а здесь её и так хватает. Некоторые веками ходят в полусознательных, и ничего. Во-вторых, Семен Волоакович правду не скажет и, возможно, даже откусит голову. Личные данные служащих засекречены. Доступ к ним открыт только демонам высших порядков.

— Ясно! Я жизнь отдал транспортному, а меня будут тысячу лет держать в полусознательных! — пафосно воскликнул Миша.

— Жизнь ты отдал немного раньше, но «о, сколько нам открытий чудных...» — с усмешкой процитировала Юленька и продолжила: — Теперь о том, как это пересекается с предложением руки и сердца. Браки в аду разрешены только порядкам не ниже четвертого, и только в исключительных случаях. Например, в церемониальных целях. В сущности, никакие это не браки, а бесовско-ведьминские танделы. И, уж конечно, ничего близкого к привычному пониманию семьи в них нет. Звучали, и не раз, предложения ввести институт брака для усовершенствования контроля над грешниками, да только не жалуют у нас реформаторов. Покричали и забыли.

— Глупость! — возмущенно сказал Миша. — А как же продление рода!.. Потомство!..

— Мишенька, дорогой, — взмолилась Юленька. — Это ад! Какое продление рода?.. Рождаются и умирают на Земле. В аду живут и работают. Я видела, как доставляют удовольствие женам демоны первого порядка. Это было на ежегодной мессе посвящения в ведьмы. После официальной части накрыли столы, был праздничный банкет и оргия. Приемы, которыми там пользовались, не то что с продлением рода, но и с земной жизнью не очень совместимы.

— И как же мне быть? — печально спросил Миша. — Я люблю тебя.

— А чего тебе от меня надо? — спросила Юленька и откусила от эклера. — Близости? Так зачем жениться?

— Ну, свадьба — какие-никакие гарантии! — пробормотал Миша.

— Опять ты забыл, что тут ад, а не Земля. Это на Земле, в рамках хрупкой, коротенькой жизни, всякий норовит вытребовать гарантии, а в аду гарантировано только одно — мы здесь навечно! Поэтому оставь мелкопоместный эгоцентризм. Хочешь владеть — владей, — Юленька положила ноги Мише на колени. — Но гарантий не требуй!

— Нет, ты не поняла! — возразил Миша и решительно добавил: — Я не всякий, и я хочу, чтобы ты принадлежала только мне!

— Вот-вот, рабовладельческий строй! — раздраженно заметила Юленька и убрала ноги. — Ты пойми, ни в аду, ни в раю, ни на Земле души не могут принадлежать друг другу. У души нет такого места, которым она могла бы кому-то принадлежать. Ну и потом, у меня есть партнер.

— Я убью этого «партнера». Вызову на дуэль и застрелю! — решительно сказал Миша, а потом добавил неуверенно: — Или шпагой проткну.

Слово «партнер» он произнес с таким отвращением, что Юленька испугалась — не натворит ли мальчишка глупостей. Откуда ей было знать, что Миша сделал очередной глоток ненавистного горького кофе.

— Ты не кричи. Здесь за такие шутки знаешь, что бывает? Глазом не успеешь моргнуть, как отправят в нижние круги, — строго сказала ведьма.

— Наплевать! — храбрился Миша. — Ради любви и не такое терпят!

— Дурак ты, Миша, — огорченно заметила Юленька. — В аду никакой любви нет и быть не может. В аду отношения.

Миша обиделся на «дурака». Он пил кофе и страдал. А Юленьке было не до него. Она увлеченно смотрела выступление. Труба виртуоза звучала невероятно. Правильно было бы сказать, что она звучала божественно, если бы адский комитет по культуре не считал музыку Майлза Дэвиса образцовым примером бесовщины. Маэстро то опрокидывал слушателя в хаос диссонансных нот и запутанных прогрессий, то убаюкивал нежными лирическими мелодиями, а то и вовсе пугал длинными многозначительными паузами. Миша не слушал. Он был погружен в свои обиды. Наконец, он не выдержал и убежал.

На улице царил обычная суета. Легкие подземные толчки сотрясали сухую, горячую землю ада. Миша отправился к церкви святого ересиарха Нестора, где он часто прогуливался после напряженного рабочего дня. Он спешил раствориться в толпах паломников, затеряться среди бродячих музыкантов, попрошаек, проповедников, прочего сброда. Здесь он прятался от неизвестности, окружавшей его с первых дней пребывания в преисподней. У него накопилась масса вопросов. Кем он был? Что натворил? Что ждет впереди? Увы, ответов никто не давал. Старшие чины ухмылялись и кормили отговорками «погоди, всему свое время». Младшие вовсе предпочитали сменить тему. Будущего у Миши не было, а прошлое он не помнил. И чем больше он размышлял об этом, тем глубже погружался в отчуждение.

Церковь святого ересиарха Нестора, огромное сооружение высотой в сто тридцать два метра, была выполнена в готическом стиле. Над стрельчатыми арками, обрамлявшими широкие галереи, возвышались фигуры великих демонов и ересиархов. По стандартам адского строительства, максимальная высота в пределах шестого круга была превышена на два метра, но всё же церкви было далеко до эбонитового трона, возведенного по приказу Сатаны к двадцатитысячному юбилею ада и установленного в девятом круге. Этот монумент более чем на километр возвышался над заснеженной пустыней Коцита.

Ад имел конусообразную форму. Нижние круги были значительно просторнее верхних, и потому правила застройки низов ничем не ограничивали безумную фантазию архитекторов. Там прославляли величие зла гигантскими стройками, на которых отбывали бесконечные сроки тысячи мучеников. Это был совершенно другой, не похожий на верхние круги ад. Жестокий, безысходный и могущественный.

Недалеко от центрального портала под барельефом, изображавшим костры инквизиции и кровавых рыцарей-крестоносцев, сидел нищий. Он расположился в стороне от прожекторов, освещавших церковь в выгодном для туристов плане, но всё же так удачно, что меркурии и другая мелкая монета частенько падали в его шляпу. Нищий — крепкий мужчина преклонного возраста, был одет в рваный заношенный пурпуэн красного бархата и двухцветные шоссы. Правая их штанина была черной, а левая, некогда белая, представляла собой грязную бесцветную тряпку. Перед ним стояла табличка: «Погибал в Баб-Эль-Мандебском проливе». Миша бросил несколько монет и пошел дальше, но полусонный нищий внезапно ожил и вызывающе крикнул:

— *Salve e protege, salve e protege!*

— Это вы мне? — спросил Миша.

— Спаси и сохрани вас Сатана! — повторил нищий.

— Спасибо, но этой фразой обычно поминают Бога, а не их превосходительство губернатора объединенных кругов, — вежливо ответил Миша.

— Поздно помянуть Бога, раз уж мы здесь! — прохрипел нищий.

Проворные чертенята-служки и чопорные, в пышных рясах, бесы-священнослужители, богатые ведьмы и знатные демонессы двигались мимо бесконечным строем. Мише стало любопытно, что за существо, безжалостно отвергнутое патриархальным обществом, скрывается под этими пыльными обносками. Что-то несуразное, возможно едва заметное несоответствие между манерой говорить и внешним видом, привлекло его в нищем. А может быть, Миша просто хотел отвлечься от тяжелых мыслей о Юленьке. Так или иначе, он вырвался из общего потока, свернул на обочину и, ни капли не стеснясь, сел прямо в придорожную пыль.

— Я воевал за португальскую корону, — обиженно пробурчал нищий, как бы оправдывая своё положение.

В его осанке появилось нечто аристократическое. Он выпрямил спину, положил руки на колени и погрузился в сон. Несмотря на убогий вид, бродяга был на голову выше окружающих. Он держался точно капитан прекрасной каравеллы, случайно застрявшей в пыли у грязных ног бесовской братии.

— Я штурмовал Гоа и Ормуз, — добавил он.

Услышав слово «Гоа», Миша невольно вздрогнул. Единственное, что осталось ему от земной жизни — бессмысленная фраза: «Пока ты слушал Гоа, она нашла другого!».

— Я, как гончий пес, обежал полмира, вгрызаясь в жирные бока арабов и индусов, — продолжал нищий. — И теперь я здесь, сижу под этими лживыми фресками и клянчу монетку у таких, как вы.

— Кто вы? Как вас зовут? — спросил Миша.

— У меня нет имени. Я забыл его, — мрачно ответил нищий. — Впрочем, если бы и вспомнил, то не стал бы произносить. Это слишком гордое имя, чтобы оборванец вроде меня пользовался им.

Миша заметил, что рядом с нищим, под левой его рукой, лежал клинок — богатая, изящная дага, ножны которой были инкрустированы золотыми узорами. Нищий больше не обращал на Мишу ни малейшего внимания. Но Миша и не думал уходить. Заметив драгоценное оружие, он окончательно убедился, что нищий не так прост, как кажется.

— Так вы португалец? — спросил юноша, чтобы поддержать беседу.

— Когда-то был им, — ответил нищий, не открывая глаз.

— Португалия, наверно, красивая страна, — мечтательно сказал Миша.

— Португалия — красивая страна? — переспросил нищий. — Да что эти захолустные лачуги по сравнению с величием Лиссабона!..

— Лиссабон... Как жаль, что я там не был! — подыграл Миша.

— Когда в город вернулась эскадра Васко да Гама с известием об открытии пути в Индию, — монотонно, как молитву, продолжил нищий, — на берегу среди толпы простолюдинов было больше блеска и роскоши, чем на амвонах всех церквей ада. Это было время великих открытий. Мы были молоды, честолюбивы и преданы делу.

— Какому? — вежливо поинтересовался Миша, полагая, что речь идет о профессии.

— Что значит какому? — возмутился нищий и приоткрыл один глаз. — Великому делу завоеваний!

— Преданность делу теперь не в почете, — задумчиво произнес юноша. — Да и время завоеваний прошло.

— Любовь, юноша, теперь не в почете! — горько произнес нищий и открыл второй глаз. — Любовь к родине, любовь к женщине, любовь к жизни!

— Неправда! Я люблю! — признался Миша и добавил печально: — Ведьму.

— В аду нет любви, — резко оборвал его нищий. — Нет и быть не может.

— Я тут, значит, может! — возразил Миша.

— Вы молоды и мало что понимаете. Ад — коварное место, — назидательно заметил нищий.

— А вы... вы просто потеряли веру в себя! — парировал Миша, обиженным тем, что его поучают.

— Однажды, молодой человек, я перешел дорогу очень влиятельному демону, — безразлично, будто речь шла о ком-то другом, произнес нищий. — Повод был пустяковый. Я только пришел в ад и многого не знал. Он заявил, что европейцы никогда не были цивилизованными, что, несмотря на свой успех, экспансия на восток показала миру их варварское, неумытое рыло. Это был демон из пустынь Аравии. Сильный, свободный дух. Я вскипел, назвал его мерзавцем и предложил честный поединок. Меня осмеяли и вышвырнули в нижние круги. Я триста лет провел на каменоломнях Коцита, днем и ночью деревенея от холода. На мне не было ничего, кроме истлевшей туники и разбитых сандалий. И теперь вы, юноша, предлагаете мне поверить в свои силы!.. Да что вы знаете об аде?

Нищий положил руку на плечо юноши и внезапно разгорячившись, сказал:

— Вы не такой, как все! Я вижу! У вас доброе сердце. Бегите! Бегите отсюда, пока вас не растоптали. На западе четвертого круга есть проход. Он предназначен для пилигримов. Там живет старый демон с наколкой трехглавого пса на запястье. Он выведет. Скажите только, что вас послал архитектор. Так в шутку меня звали когда-то.

— Нет, господин Архитектор, — испугавшись такой перспективы, резко ответил Миша. — Никуда я не побегу. Я люблю её, и она будет со мной, даже если все демоны ада встанут между нами.

— Тогда готовьтесь к худшему. Если вас не сотрут в порошок здесь, то это сделают в нижних кругах, — сказал нищий и потерял всякий интерес к беседе.

Миша, сконфуженный знакомством, поднялся, чтобы побыстрее скрыться в толпе. Теперь к изнуряющей неизвестности в прошлом добавилось предчувствие чего-то скверного и неотвратимого в будущем. Казалось, время душит его как удав — медленно сжимает кольца, не оставляя шансов на вдох. А глоток свежего воздуха, глоток надежды — ох как требовался.

Миша был типичным молодым энтузиастом, полным энергии, непоседливым, готовым взяться за любую работу. Однотипность задач и общая заикленность адского существования раздражали его. Он выдавал десятки рационализаторских предложений, но его кипучая энергия разбивалась о неприступный устав канцелярии. Мишу одергивали строгим выговором, и юноша отползал в сторону, затаив обиду. Он не признавал никакой власти, кроме той, что соответствовала его убеждениям, его логике, его стремлениям и надеждам. Канцелярское начальство чувствовало эту опасную инфантильность и держало Мишу на коротком поводке. Как бы чего не вышло!.. Такое отношение юноша считал унижительным, но открыто заявить о недовольстве боялся. Он был прекрасно знаком с адскими порядками. Выше прочего в преисподней ценили субординацию и трудолюбие. За неуважение к старшим по званию строго наказывали. Поиски правды, справедливости, возмездия приводили в кабинеты службы безопасности, а оттуда в нижние круги. Однажды у него на глазах из канцелярии вывели совсем юного чертенка. Оказалось, он грубо обошелся с кем-то по телефону. Поговаривали, что демонессой из свиты губернатора. Чертенок был избит, один рог отломан, одежда порвана. Больше его никто не видел. Лидия Петровна утверждала, что чертенок был хулиганистый, и поделом ему. Пусть сквернословит на каменоломнях девятого круга.

III

Отдельным жильем и личными пегасами в аду пользовались немногие. Даже демону третьего порядка с выслугой в полторы тысячи лет было нелегко получить квартиру. В коммуналке, где сразу после смерти-приемника поселили Мишу, проживало еще четверо. Люция и Корнелий, служившие раньше в отделе по религиозному мракобесию. Отдел этот был расформирован, а старейшие его работники отправлены в бессрочный отпуск. Клава: невозможно было точно сказать, где она работает и сколько ей лет, однако развратничала она профессионально. И, наконец, средних лет безобидный чертенок седьмого порядка, церковный служка Пафнутий Пафнутьевич. Он частенько прикладывался к бутылке, но никогда не хулиганил и содержал себя в чистоте.

Адская коммуналка мало чем отличалась от земной. Сплетни, склоки и мелкие бытовые обиды переплетались с общими кухонными застольями, коллективными мероприятиями по борьбе с тараканами и дружным одобрением политики правительства. Не было разве что пресловутой борьбы за жилплощадь. Так не было и повода. Вечное существование в аду гарантировало стойкий моральный облик жильцов. Что наследовать и кому завещать, если всё необходимое дают раз и навсегда? Грешники отбывали

сроки без надежд на перемены, а значит без соблазнов. Жилищный вопрос имел место, но решали его за счет безразмерных площадей нижних кругов. Они были открыты для каждого, что мотивировало обитателей Дита к образцовому поведению, и коммуналка была ярким тому примером. Сухие, чистые подвалы, уставленные банками с маринадами и соленьями, примыкали к ухоженным лестничным клеткам, где висели графики дежурств, подписанные кровью управдома.

Миша вернулся домой позже обычного. В квартире стояла мертвая тишина. Все спали. Он с обеда ничего не ел и мышью, чтобы не разбудить соседей, прошмыгнул на кухню. Вскоре послышались шаги и как привидение, в темноте коридора возникла Люция.

— Ах, Мишенька! Это вы. Ну, как там канцелярия? — спросила она, зевая.

— Стоит на месте.

— Эх, избавились от нас, как отхлама, а ведь я помню времена, когда наш отдел был самым крупным после снабженцев.

— Снабженцы и сейчас любому фору дадут, — деловито заметил Миша и поставил чайник.

— Мишенька, вы же в транспортном работаете? С Лидией Петровой?

— Да! Точно. А вы знакомы? — удивленно спросил Миша и открыл пакет с сушками.

— Мальчик мой! В аду все друг с другом знакомы! — сказала Люция. — Я обещала Лидии Петровне рецепт пирожков. Помните? Ваши любимые.

— Да-да. С капустой, — ответил Миша и печально посмотрел на сушки.

Невысокая, полная Люция была ведьмой из тех, что везде ходят друзей, но нигде — настоящей страсти. Она не была адским существом, не прошла смерть-приемника и не переродилась в аду навечно. Люция и Корнелий были людьми — пилигримами ада. Они эмигрировали в преисподнюю по доброй воле откуда-то из-под Кёльна в те времена, когда алхимику и знахарке было сложно найти безопасное место в Европе. Супруги опасались гибели в застенках инквизиции. Мученическая смерть гарантировала им прямую путевку в рай, а это никак не входило в их планы. Однажды зимним утром 1632 года они вышли на прогулу и исчезли. Смотрящий демон проводил их до ворот ада, а далее — всё как у любого беженца. Скитания в пламенеющих пустошах, лагерь для переселенцев, легализация, а после, работа в канцелярии. В отличие от многих адских существ, они были официально женаты. Это мало что решало, но иногда экстравагантности ради супруги представлялись — Корнелий и Люция Шнапстауэр.

— Скажу по секрету, — хитро сощурившись, прошептала Люция, — в руководстве есть мнение, что наш отдел надо восстановить. Повоюем еще, а?

— Повоюете, — согласился Миша.

— Знакомый демон поведал в конфиденциальной беседе, что там, — Люция многозначительно указала рукой на запад, — очередная волна религиозного фанатизма. Так передадите рецептик?..

— Конечно, передам.

— Спасибо!

— Скажите, Люция, почему вы так хотите вернуться? — спросил Миша, помешивая сахар. — Чем дома плохо? Убейте, не пойму! Вы столько лет отдали канцелярии! Пора на покой. Дайте дорогу молодым, деятельным!

Детская непосредственность, с которой Миша, сам того не понимая, говорил гадости, не оскорбила Люцию. Она печально посмотрела на него и, перебирая воспоминания, рассеянно ответила:

— Да-да. Нам так и сказали. А вы, наверно, еще не ужинали?

— Нет, — тут же оживился Миша и умоляюще взглянул на Люцию.

— Чаем и сушками сыт не будешь! Секундочку... — сказала она, и вскоре перед юношей появилась тарелка гречневой каши и миска с котлетами. А пока он с аппетитом уничтожал ужин, Люция рассказала историю одного процесса.

— Это случилось во время очередной охоты на ведьм. Канцелярия рассматривала дело некоего графа из одной очень известной фамилии. Граф этот получал немалые доходы от развития почтового дела и решил подмять под себя всю имперскую почту. Где-то ему удалось добиться желаемого титулами, где-то деньгами, где-то вообще без усилий, но в одном из крупных центров он натолкнулся на серьезное сопротивление. Владелица местной почтовой службы, девушка простая, но неглупая, наотрез отказалась продавать фамильное дело. Начались судебные тяжбы. Они грозили затянуться на долгие десятилетия, и тогда наш душка-граф решил разобраться с конкуренткой при помощи местного инквизитора. За небольшую сумму была нанята монахиня. Она дала необходимые показания. Девушку обвинили в связях с дьяволом и бросили в тюрьму. Долгие месяцы её пытали, а затем, превратив в бесформенный кусок плоти, сожгли на костре. Душка-граф ни в чем таком участия не принимал, на допросы не ходил, на казни не присутствовал. Он заполучил желаемое и вошел в историю как реформатор европейской почтовой службы. После смерти граф, разумеется, попал к нам. Несмотря на титулы, он стоял перед секретарем отдела по религиозному мракобесию босиком в мятых подштаниках. Граф оказался редким трусом. Он насмехался, отнекивался и даже угрожал расправами. Ему быстро дали понять, где он находится. Тогда граф

притих и дрожал, как осиновый лист. Вопрос заключался в том, куда отправлять? То ли в четвертый, за стяжательство и жадность, то ли в седьмой, за убийство. В четвертом можно валять дурака на товарной станции в самом сердце пламенеющих пустошей. Жара пятьдесят, погрузка-разгрузка булыжника, шесть часов на сон, стакан воды в день. В седьмом же графу пришлось бы туго. В нижних кругах трудотерапия предусмотрена не для всех. Там мучают ради удовольствия. Наш граф сильно напустил в подштанники и молил на коленях о четвертом. Вопрос несколько лет оставался открытым. Не хватало какого-то решающего фактора. Тогда Корнелий, он в тот момент присматривал за инквизиторским процессом в Швабии, внезапно явился с докладом и убедил всех, что после перехода почтовой службы под руководство графа, то есть полной централизации почты, произошел резкий скачок в развитии промышленности, наметились первые тенденции предстоящей индустриальной революции, в общем, бла-бла-бла. Я в этом плохо понимаю. Суть в том, что наш граф принес немало пользы европейской цивилизации. Вопрос был решен немедленно. Пока граф горланил похабные частушки, его осудили и отправили в четвертый на вечное поселение.

— Интересная история. Спасибо за ужин, Люция, — сказал Миша и собрался уходить.

— Погодите же! — взмолилась Люция. — Вы не дослушали!

— Разве еще не всё? — удивленно спросил Миша.

— Нет! — резко ответила Люция. — Не всё! Дело в том, что зверски замученная в подвалах инквизиции девушка была сестрой Корнелия. А вы говорите, молодые, деятельные!..

— По-моему, это глупо. Надо было упечь графа в седьмой! — бросил Миша небрежно и отправился спать.

Усталость мгновенно опрокинула его на металлическую кровать с жестким, как доска, матрасом. Его сон был поверхностным и беспокойным. Видения рассыпались на мириады сверкающих частиц, образовывали хороводы, перетекали из одного в другое и неизменно приводили к единственной вожаделенной цели: «Юленька». Миша вздрогнул и посмотрел на часы. Была полночь. Он скинул одежду и долго ворочался, пытаясь соскочить с опасной бритвы полудремы. Наконец он притих и провалился в глубокий сон. Наступило чистое, безмятежное забвение.

IV

Следующий день подкинул столько забот, что Миша как угорелый носился по этажам и на бегу хлебал утренний кофе. Он ловил грузчиков, которые норовили отсидеться где-нибудь в подсобке у снабженцев. Он обрывал телефоны, умолял, просил и даже требовал дополнительные фуры. Он сам грузил и разгружал. Он работал

на износ, лишь бы не выбиться из графика. В начале обеденного перерыва, взмокший, но довольный собой, Миша заглянул к Лидии Петровне:

— Лидия Петровна, я на прошлой неделе взял пачку титульной бумаги у Юленьки из снабжения, да позабыл отдать. Вот. Всё как вы просили. Формат А4, с черным гербом.

— Спасибо, Мишенька, — секретарша подняла голову от документов, сняла очки и сказала: — Вы поосторожнее с этой Юленькой. Она ведьма молодая, амбициозная. Как бы чего не вышло.

— Что вы, что вы, она чудо! У нас дружеские отношения, — соврал Миша и перешел к главной цели своей беседы: — Лидия Петровна, скажите, вы с Семеном Волоаковичем из отдела кадров знакомы?

— Мишенька, дорогой, — сказала секретарша и откинулась на спинку стула. — Я работаю в аду уже триста девяносто семь лет. Семен Волоакович — около двух тысяч, и это только в отделе кадров. Разумеется, мы немного знакомы! В аду все друг с другом знакомы!

— Лидия Петровна, — доверительно сказал Миша, не уловив сарказма, — я хотел бы попасть к Семену Волоаковичу на прием. Как считаете, можно это устроить?

— Смотря с каким вопросом, — ответила Лидия Петровна.

— Хочу узнать кое-что из своего личного дела.

— Да вы с ума сошли! — воскликнула Лидия Петровна.

— А что такого? — наивно спросил Миша.

— Даже не думайте об этом! Семен Волоакович шуток не любит!

— Но от этого зависят мои жизнь и смерть! — воскликнул Миша.

— Смешной вы, Миша, — сказала Лидия Петровна, надела очки и принялась за работу. — Ваши жизнь и смерть уже ни от чего не зависят. Их больше не существует.

— Я всю эту философию не понимаю, — сказал Миша. — На следующей неделе обещаю вам новенький дырокол и десяток перьев. Вам какие, сирина или гарпии?

— Сирина, пожалуйста. Гарпию не люблю. Жестковаты и пачкают.

— Тогда, умоляю, Лидия Петровна, уговорите Семена Волоаковича меня принять! Сегодня же!

Секретарша посмотрела на юношу и назидательно, как опытный преподаватель, сказала:

— Миша, я сделаю это ради нашей дружбы, но запомните, ничего хорошего из вашей затеи не выйдет.

— Спасибо, дорогая Лидия Петровна! Спасибо! — воскликнул Миша. — Уверен — всё будет хорошо!

Миша ожесточенно бросился в бой, и время полетело быстрее адских пегасов. Он работал так, словно боялся не успеть, словно у него в запасе не было целой вечности. Молодые черты смотрели на него с нескрываемым презрением, но Миша, как ребенок, увлеченный игрой, не замечал косых взглядов. Это была опасная игра. Он хотел знать правду. Такие игры редко заканчиваются благополучно, однако, судя по азарту юноши, это была именно игра. Он прокручивал в голове десятки вариантов беседы с Семеном Волоаковичем, выдумывал искрометные фразы и представлял, как неоспоримой аргументацией добивается своего. Миша смаковал тот момент, когда в его руки ляжет заветная папка, когда он убедится, наконец, что попал в сюда за ужасные прегрешения. Правила игры требовали, чтобы в земной жизни он был как минимум великим злодеем. Иначе быть не могло! Иначе всё было бы слишком тривиально!

Около шести Миша, вопреки предостережениям Юленьки и Лидии Петровны, поднялся этажом выше, расправил гавайскую рубашку и постучал в дверь с табличкой «Нач. отдела кадров, С. В. Винный». Ответа не последовало, и тогда он осторожно приоткрыл дверь. Семен Волоакович сидел за столом, закинув крылья за спинку стула, хвост его крепко сжимал руку секретарши. Она стояла перед ним обнаженная и бесконечно испуганная.

— Верочка, сколько раз я должен повторять — ключ от кабинета в конце смены должен быть у вахтера, — флегматично выговаривал Семен Волоакович. — Не у вас в сумочке, не в двери, не у меня на столе, а у вахтера. И кабинет должен быть заперт.

— Я не специально, — всхлипывала Верочка. — Я допоздна осталась, уборку делала. Семен Волоакович, я пыль с подоконника стерла, цветы полила, пропылесосила, а потом ключ в двери забыла.

— Мне, Верочка, наплевать на ваши старания! — произнес демон и принялся листать какие-то документы. — Я вас в следующий раз на части разорву, ясно?.. А сейчас идите домой и возьмите день за свой счет. На вас лица нет.

Семен Волоакович резко отдернул хвост, Верочка пошатнулась, схватила одежду и бросилась вон. Она так ловко нырнула в дверной проём, что лишь слабый ветерок и сладковатый аромат её духов коснулись Миши.

— Входите, молодой человек, — простонал бес. — И дверь прикройте, а то черт знает что такое! Вторые сутки всё нараспашку! Не отдел кадров, а проходная!

Начальник отдела кадров был совсем не похож на демона. Кто бы мог подумать, что в бешенстве он способен испепелить дотла или откусить голову?.. Чтобы не вызывать лишнего резонанса, Семен Волоакович принимал облик, максимально приближенный к человеческому. У него была одна вполне опрятная старческая голова,

две руки и две ноги. Лишь огромные перепончатые крылья да мохнатый хвост напоминали об истинном его обличье. Миша понял, что дела обстоят не самым лучшим образом. Демон находился в скверном расположении духа. Юноша тихо прикрыл дверь и встал напротив Семена Волоаковича, как раз в том месте, где только что рыдала секретарша. Стула демон не предложил.

— Имя и что у вас? — произнес демон, не отрывая взгляд от папки, лежавшей перед ним на зеленом сукне стола.

— Мишей звать. Я из транспортного, — промямлил Миша и сдулся.

Его охватила паника. Из головы мигом вылетело всё, что он готовил для беседы. Возникла неприятная пауза.

— Так что у вас!.. — повторил демон и с грохотом захлопнул хвостом дверцу шкафчика с документами.

— Семен Волоакович, я к вам по личному. Мне бы на свое дело взглянуть. Я уже год, как проклятый, в транспортном туда-сюда, а всё полусознательный. Мне бы только понять, за что меня! А там я такие результаты дам, такие дела во славу ада... — затараторил Миша.

Демон изумленно поднял взгляд, осмотрел Мишу с ног до головы, расправил крылья и, казалось, решил разорвать наглеца в клочья. К счастью, этого не произошло. Раздался хохот — тонкий и манерный, такой, каким отвечает король на проделки шута. Юноша не мог понять, хохочет демон от чистого сердца или этот спектакль предвещает крупные неприятности.

— Давно меня так не смешили, молодой человек! — сказал Семен Волоакович, немного успокоившись. — Как, то бишь, вас зовут?

— Миша.

— Мишель, значит, — добродушно сказал демон. — Во-первых, Мишель, вы либо сумасшедший, либо провокатор. Информация такого рода закрыта даже для чинов многим выше моего. Во-вторых, я обязан доложить о вашей просьбе куда следует.

Семен Волоакович многозначительно ткнул хвостом в пол, но Миша не понял этого жеста и, запинаясь, спросил:

— А куда следует?

— Следует в службу безопасности. Ваша просьба, молодой человек, это чистый шпионаж.

— Семен Волоакович, я не шпион! — взмолился Миша.

— Я начальник отдела кадров, а не сотрудник безопасности. Не мне решать. У нашего руководства полно врагов! Кто дает гарантию, что вы не оттуда? — спросил демон и снова многозначительно ткнул хвостом, но на этот раз в потолок.

— Я не оттуда! Честное слово. Я только правду хотел узнать! — запричитал Миша.

— Правда, юноша, у нас дорого стоит, — назидательно заметил демон и снова углубился в изучение документов.

— Что же мне делать? — в отчаянии спросил Миша.

— Ждать неприятностей, — ответил демон. — Вы неплохой работник. Перспективный. Но слишком уж много за вами накопилось. Пора вам побеседовать с кем положено. Ну и потом, если я не доложу, за меня это сделают другие, и тогда дело может принять неожиданный оборот.

Семен Волоакович достал стакан, наполнил его водой из графина в виде черепа и принял две таблетки.

— Сердце пошаливает, — извиняясь, сказал демон. — Ваша задача, Мишель, прилежно трудиться, и тогда вы обязательно выберетесь из полусознательных. Дисциплина, спокойствие и труд. Вот ваши помощники.

— Семен Волоакович, меня сошлют в нижние круги? — промямлил испуганно Миша.

— Не говорите глупости, — ответил демон. — Побеседуем мирно, по-семейному. В канцелярии каждый через это прошел. Идите. Прием окончен!

Семен Волоакович обошелся с Мишей на первый взгляд грубо и даже коварно, однако нельзя было не заметить в нём дружескую иронию и некое подобие отеческого участия.

— Ну и денек, ну и денек, — пожаловался демон и хвостом прихватил юношу за ногу. — Молодой человек, раз уж завтра вам предстоит тяжелый день, сегодня рекомендую — развейтесь, сходите в музей. Там чудесная экспозиция Гойи. И передавайте Лидии Петровне нижайший поклон.

Миша захлопнул дверь и, как ребенок, тут же позабыл о страхе. Он взглянул на часы — смена уже десять минут как закончилась. «А почему бы нет?» — подумал он и стрелой полетел по лестницам, надеясь, что Юленька задержалась в гардеробе или на проходной. Еще мгновение, и Миша не застал бы её. Она уже сдала ключи и направлялась домой.

— Юля, погоди! — крикнул он, едва увидев в конце коридора белокурые локоны ведьмы.

— Миша? Ты чего это? — удивленно спросила она.

— Пойдем в музей, а? — сказал он, переводя дыхание. — Говорят, там выставка Гойи.

— Иногда ты меня удивляешь! — задумчиво сказала ведьма. — Да, я видела афишу. Если тебе нравится Гойя, то ты начинаешь нравиться мне. Пойдем.

Молодые люди не спеша направились к трамвайной остановке. Другой городской транспорт, кроме общественного, в преисподней встречался редко. Из общественного единственным был трамвай. Рельсы для трамвайных путей выплавляли из специальной стали,

которую закалял огненным дыханием дракон Изиль. Дракон не был адским существом. Он работал по договоренности и брал с казначея Дита прилично — чистейшим золотом и девственницами. К слову сказать, найти девственницу в аду не самая простая задача. Однако шпалы из изильской стали стоили того. Они никогда не ржавели и не нагревались.

Музей находился неподалеку. Юленька и Миша проехали две остановки и пошли пешком. Улицы были переполнены служащими, спешившими домой после работы, однако тот переулок, что вел от трамвайной остановки к музею, оказался пуст. Лишь старый черт-дворник лениво скреб граблями по горячему песку, да чертенок-гимназист сидел на обочине и ковырял в ранце. Погода стояла по адским меркам чудесная. Плюс сорок пять, солнечно, местами небольшие подземные толчки. Юленька была в отличном настроении, широко размахивала сумочкой и загребала песок туфлями. Наконец, она сняла туфли и пошла босиком.

— Миша, ты не обижайся. У меня назначена встреча, и весь музей мы осмотреть не успеем. Взглянем на работы Гойи, и назад, — беспечно заявила она.

— Встреча деловая? — спросил с надеждой Миша.

— Нет. Личная, — ответила Юленька.

Миша заметно погрузстнел. Он плелся рядом и с тоской поглядывал на ведьму. Он ревновал. Юленька же не обращала внимания на перемены в его настроении. Она оказалась знатоком творчества Гойи и без умолку болтала об истории возникновения картин-близнецов «обнаженной» и «одетой» Махи. Безумный роман Гойи и герцогини Альбы, дикий нрав возлюбленной, жестокие страдания творца, его бессилие перед распутной аристократкой и, наконец, размолвка и самоубийство герцогини, которая выпила коктейль из вина и ядовитых красок — всё это Миша выслушал без особого интереса. А Юленька увлеклась! Она прекрасно знала историю и настолько живо передала все подробности, что Миша невольно провел параллели.

— Вот и я так же! Вот и ты со мной, как она с этим Гойей!.. — пробубнил он.

— Не говори глупостей. Он гений, она герцогиня, а мы с тобой простые служащие, — спокойно ответила ведьма. — К тому же мы в аду, а не на Земле. Здесь не до романов. Работать надо.

— Юль, я был у Семена Волоаковича, — вдруг сознался Миша.

— Это еще зачем? — спросила Юленька.

— Хотел узнать, что в моем личном деле, — насупившись, ответил Миша.

— Миша, ты придурок, — разозлилась Юленька. — Ты мне сейчас всё настроение испортил! Я же тебя нормальным адским языком просила — к Семену Волоаковичу не ходить!.. Хорошо, что он тебя на месте не разорвал.

— Он милый старик. Не понимаю, почему его боятся! — робко возразил Миша.

— Милый!.. — воскликнула Юленька. — Да ты хоть знаешь, какие у тебя будут неприятности?

— Знаю, — ответил Миша, хотя не имел ни малейшего представления о том, что его ждет. — Но я должен понять, кто я! Пока я полусознательный, мне житья не будет. Я как недоделанный какой-то! Я равным быть хочу!

— Миша, Мишенька, что ты несешь, — Юленька остановилась и кричала на него, как на сорванца-сына. — Каким равным!.. Кто недоделанный?.. Откуда ты взял этот бред? Ты понимаешь, что ты всё это выдумал?! Выдумал — и теперь творишь фантастические глупости, находясь под воздействием своих выдумок!

— Я узнаю, кто я, — проворчал Миша, обиженный тем, что с ним в очередной раз разговаривают, как с ребенком, — а потом ты будешь моей!

— Да что же ты за кретин такой! — закричала Юленька. — Я разок в шутку поцеловала тебя, и ты взбесился! Да это же смешно! У меня с каждым вторым такие отношения! Я ведьма! Я мужиков люблю, понимаешь?.. Всяких! С рогами, копытами, хвостами или без!

— Но если я стану сознательным, то ты будешь любить только меня! — не сдавался Миша.

— Ладно, пойдём Гойю смотреть. Жених хренов! — сказала Юленька, надела туфли, зажала сумочку под мышкой и стремительной деловой походкой направилась к музею.

Музей находился в здании, построенном по проекту Джакомо Кваренги в 1824 году. Заказ поступил от предыдущего мэра Дита. В здании планировалось разместить корабельные мастерские, но проект по строительству адского флота быстро похоронили. Природные водоемы преисподней можно пересчитать по пальцам, да и морские бесы оказались крайне недисциплинированными тварями. Вместо мастерских построили музей. Здание стояло на высоком стилобате черного гранита и было опоясано колоннадой из гранатового мрамора, добываемого в пламенеющих пустошах четвертого круга. У главного входа, куда вели тридцать широких ступеней, на каменных пьедесталах находились статуи двух псов, Гарма и Цербера. Они олицетворяли собой закон и порядок средних кругов. Нижние круги в шутку говорили, что верхи воняют псиной, а дракон Изиль вполне серьезно недоумевал, как можно выбрать в качестве эмблемы такое мелкое животное.

Двери в музей охранял черт-контролер. Он выглядел столь важным и суровым, что больше походил на демона из личной охраны Сатаны. Молодые люди вежливо поздоровались, заплатили по два меркурия и направились напрямик к экспозиции Гойи. Их шаги

отдавались гулким эхом в пустых залах. Посетителей было немного. Какой же нормальный бес после работы попрется глазеть на картины?.. Стояла такая тишина, что её страшно было нарушить даже шелестом одежды. В тусклом свете ламп, располагавшихся под высокими потолками, медленно оседала пыль. Юленька и Миша шли мимо коллекции эпохи Возрождения и, как зачарованные, смотрели на работы великих мастеров. Древние потрескавшиеся полотна Тициана, Боттичелли, Рафаэля вызывали у них трепет.

— Это что же, они все в ад угодили? — прошептал Миша.

— Не все, но многие. Особенно из эпохи Возрождения, — протяжно ответила Юленька. Она всё еще злилась и потому манерничала, как дурной экскурсовод. — Тогда им покровительствовал сам Сатана. Позднее его хватка ослабла, и делами живописцев занялись в раю.

— Так здесь из рая тоже есть?

— Да, но для этого необходимо специальное разрешение. Автор должен пройти комиссию по адской культуре. Не всем удастся.

— А кому удалось?

— Шагалу, например. Недавно приезжал. Уехал невероятно довольный!

Переходы между залами украшали массивные бархатные портьеры такого глубокого черного цвета, что, казалось, в них плещется грозовая синева. Стянутые золотыми подхватами, они были закреплены на чугунных крюках с набалдашниками в виде собачьей головы. Молодые люди осторожно продвигались вперед, боясь спугнуть величественное спокойствие древних полотен. Они долго бродили в поисках указателей, возвращались, плутали, но всё же приближались к цели.

В одном из залов они встретили незнакомца. Он был одет в темно-зеленый сюртук стиля «инкруаябль» с гигантским воротником, приправленным не менее внушительным галстуком. Его седые волосы, аккуратно уложенные на прямой пробор, великолепно гармонировали с белоснежной сорочкой. Штанов на нём не было. Из-под сюртука торчали козлиные ноги. Он двигался между картинами как можно осторожнее, стараясь не цокать копытами по полу, выложенному затейливыми мозаиками в духе сюрреализма. Юленька и Миша собирались незаметно проскользнуть мимо, но когда они уже стояли на пороге следующего зала, незнакомец произнес:

— Молодые люди, прошу вас, помогите. Я где-то оставил свой лорнет. Кто автор этих полотен?

— Магритт, — тут же ответила Юленька.

— Магритт? — задумчиво спросил бес. — И в каком же году он изволил попасть в ад?

— Он умер в тысяча девятьсот шестьдесят седьмом.

— Ах, он из молодых! Большое спасибо, — бес повернулся и добродушно произнес: — Разрешите представиться — Лофарий Хлебников. Бес пятого порядка. Ныне нахожусь в бессрочном отпуске по состоянию здоровья.

— Очень приятно, ведьма Юля. Служу в канцелярии.

— Миша, — буркнул Миша.

— Молодые люди, — вежливо обратился козлоногий. — Если вас не затруднит, подскажите, пожалуйста, как пройти в залы с византийскими фресками?

— Судя по указателям, — ответила Юленька, — вам в том же направлении, что и нам. Это недалеко от экспозиции Гойи.

— Вы идете смотреть Гойю? — удивился бес. — Восхитительно! В вашем возрасте я интересовался разве что изображениями на игральных картах. В таком случае и я взгляну на Гойю. А, если примете в свою компанию, то открою вам секрет, касающийся герцогини Альбы. Обещаю!

Миша мечтал провести время наедине с Юленькой, и потому появление старого беса его сильно огорчило. Он хотел возразить, но промолчал, насупил и тут же возненавидел себя за нерешительность. Зато Юленька была довольна. Юноша её решительно раздражал. Она нашла в бесе собеседника, который мог развеять её скверное настроение. Козлоногий заложил руки за спину, и компания двинулась в путь.

— Но для начала, чтобы не скучать в пути, я расскажу историю моей молодости. Историю любви, — сказал козлоногий.

— Разве в аду есть любовь? — спросила Юленька.

— Любовь есть всюду, уважаемая ведьма, — невозмутимо ответил бес и начал рассказ: — Это было очень давно. В те времена, когда ад и рай находились на пороге гражданской войны. Вы изучали историю ада?

— Да, — как прилежная ученица, выпалила Юленька. — Война началась в 301 году от рождества Назаретянина.

Совершенно верно, — подтвердил бес, — в рай пошли какие-то перестановки, полетели головы, была выбрана новая стратегия, а в аду губернатором объединенных кругов был молодой и амбициозный Сатана. Он многое считал недопустимым, особенно антиадскую пропаганду на Земле, которую неофициально поддерживали высокопоставленные райские чины. Войну, как вы знаете, мы проиграли. Совсем недавно было подписано перемирие на весьма невыгодных условиях. После его подписания нас разделили на три области. Верхняя, средняя и нижняя. В каждой райских наблюдателей — как сельдей в бочке. Сатана формально является губернатором объединенных кругов, но на самом деле в его юрисдикцию входят только нижние три. Средние находятся в политическом хаосе. Наш мэр — большой либерал, а либерализм в преисподней — не

самая удачная доктрина. Верхние остаются адом, но там правит райский ставленник, и жизнь наверху далека от наших суровых реалий. Впрочем, довольно о политике.

История моей любви началась за два года до войны, в 299 году от рождения Назаретянина. Тогда я был молодым бесом и прожигал жизнь в лучших притонах Земли. Это сейчас мы редко суем нос в земные дела, а прежде наш брат гулял по всей планете от Великой Китайской стены до ворот Рима. Тем летом я отправился по делу небольшого долга в Антиохию, одну из многих, что процветали на Ближнем Востоке. Я должен был забрать некую сумму у тамошнего жреца. Он сел играть в кости с моим товарищем, да продулся. Долг, как известно, платежом красен, но хитрый жрец не желал расставаться с деньгами. Во время игры он незаметно срезал волос с хвоста моего дружка, воспользовался защитным заклинанием и сбежал.

Я прибыл в Антиохию ранним утром. Ночная прохлада ещё не отступила. В садах неуверенно щебетали птицы, по улочкам лениво бродили коты, ящерицы выбирали места погорячее и готовились прогреть ледяную кровь. Чрезмерное внимание к моей скромной персоне было ни к чему. Я оделся бродячим торговцем и отправился к дому жреца. Погруженный в крепкий утренний сон, дом безмолвствовал. Я уселся в дорожную пыль и стал ждать. Меня дважды сморило, прежде чем ставни на втором этаже открылись, и случилось то, что заставило меня забыть о цели своего приезда. В окне появилась невероятной красоты девица. Её ярко-рыжие волосы горели в лучах рассвета, как искры извергающейся Геклы. Девица была молода, крепка и даже немного грубовата, но зачем молодому и предприимчивому бесу экзальтированные неженки?.. Их в аду предостаточно. Словом, я полюбил!

Завести знакомство — бесу дело пустячное. Три днями позже мы резвились в полях за городом, а через неделю она объявила отцу, что намерена выйти замуж. Я мало что понимал в людских законах. Знал только, что буду с ней, пока любовь не иссякнет, а земная любовь, знаете ли, имеет такое свойство. О долге отца я, разумеется, не вспоминал. О товарище своем — тоже. Так мы и жили в похоти и согласии два с лишним года, пока не пришла повестка. Счастье кончилось. Началась война. Моей Марине, так её звали, я сказал, что вынужден по семейным делам отбыть на родину, и отправился напрямик в адское пекло.

Как известно, райские и адские существа бессмертны, и пребывание как в раю, так и в аду бесконечно, но есть один фокус. Когда добро и зло находятся в близком контакте, наступает так называемый «момент истины», и обе сущности превращаются в поток заряженных частиц. Да что я вам рассказываю!.. Об этом любой чертенок знает! Война была в прямом смысле самоубийством. Ника-

ких реальных столкновений быть не могло. Никто не хотел рассыпаться на атомы. Блиц, который планировали высшие чины, не удался, и началась затяжная стратегическая возня, полная обоюдного саботажа, информационных атак и удаленной борьбы за влияние на Земле.

Через год я вернулся на трехдневную побывку, но свою рыжую не застал. Оказалось, что старый дурак-жрец случайно сжег оберег, и мой товарищ не замедлил явиться за долгом. Он тоже приударил за рыжей, но получил отказ. Тогда он осерчал, что часто бывает с бесами, и стал совращать её всеми доступными адскому выродку способами. Являлся ей то голубем, то драконом, морочил видениями, насылал сглаз и даже просил местных домовых спалить её хоромы. В результате со страху, а может, по глупости, она приняла крещение, что по тем временам было крайне неосмотрительно. Назаретянина считали кем-то вроде юродивого, а последователей его — придурковатыми. Папа-жрец был просто вне себя от ярости и вышвырнул рыжую из дома. Она жила в полях, на некогда облюбованных нами местах, а потом была схвачена и казнена за распространение христианской веры. Говорят, прежде чем отрубить голову, её долго пытали. А ведь ей не было и восемнадцати! Мой товарищ тем временем выбил из жреца долг и в качестве наказания отправил его в ад. Проткнул брюхо вилами. Словом, я приехал на пепелище.

— И что же, с тех пор вы с ней больше не виделись? — спросил Миша, нагнувшись к бесу, голос которого был едва слышен.

— Юноша, вы в своем уме? — удивленно спросил бес. — Я же сказал, она приняла мученическую смерть во имя Назаретянина. Она христианская святая! Как только мы приблизимся друг к другу ближе, чем на полметра, мы в виде протонов полетим в бескрайний космос! Понимаете?..

— Кошмар! Как же вы так спокойно об этом говорите?! — воскликнул Миша, и голос его эхом разошелся по залам.

— А как ещё быть с тем, чего не вернуть?.. — спросил козлоногий печально.

— Но вы хотя бы отомстили товарищу? — не унимался юноша.

— Я был молод, горяч. Как же не отомстить? Отомстил! — ответил бес. — Да разве месть сладка?

— Не просто месть, а справедливое возмездие! — возразил Миша. — Мерзавцев надо наказывать!

— Вы так считаете? — горько усмехнувшись, спросил бес.

— Убеден! — резко ответил Миша. — Нам ли в аду не знать, каково...

— Вот, Миша, мы и пришли, — вмешалась Юленька, чтобы одернуть юношу, который с присущим ему пафосом принялся рассуждать о справедливости.

— Давайте взглянем на полотно, — предложил козлоногий. — Я обещал открыть небольшой секрет. Сейчас самое время.

Миша вновь насупился и отступил в сторону. Юля и козлоногий подошли к картине. Полотно датировалось 1851-м годом, но Юленька уверяла, что это ошибка, и автор закончил картину сразу после смерти. На картине в присущей Гойе-портретисту манере была изображена дама средних лет с бокалом вина в руке. Рядом висела этикетка «Герцогиня Альба. Последний бокал. Франсиско Гойя. 1851».

— Я хорошо знал герцогиню. Мы были близкими друзьями. Истинно говорю, — едва слышно прошептал старый бес, — она не принимала яд. Её отравили.

— Кто же? — с ехидством спросил Миша из-за спины козлоногого.

— Некая весьма почтенная дама. Настолько высокопоставленная, что я не имею права произносить её имя, — не оборачиваясь ответил козлоногий.

— Ну вот! Получается, вы нас обманули. Секрет так и остался секретом! — сказал Миша и с демонстративным пренебрежением стал разглядывать другие картины.

— С ума сойти! — прошептала Юленька. — Я догадываюсь, кто мог это сделать! Это...

— Тссс, юная ведьма, — перебил её бес. — Даже у стен есть уши!

— Извините, пожалуйста, уважаемый Лофарий. Молчу.

— А по мне, так хоть бы она и сама отравилась. Какая разница?! — буркнул под нос Миша.

— Так... Хватит, — прошипела Юленька, которую вывело безобразное поведение юноши. — Нам пора. Ты не проводишь меня к выходу?

— Провожу, — угрюмо ответил Миша.

— Всего вам хорошего, молодые люди. Спасибо за компанию! — попрощался бес.

— До встречи, Лофарий, — кивнула Юленька и незаметно дернула Мишу за рукав.

Миша упрямо молчал. Тогда она схватила его за руку и потащила к выходу. Козлоногий вздохнул, покачал головой и отправился в полутьму зала византийской живописи.

В преисподней темнело стремительно. У выхода Юленька сухо попрощалась и помчалась вниз по ступеням. В тот же миг некто на гнедом пегасе вынырнул из темноты ночи, подхватил ведьму и унес её в неизвестном направлении. Миша не успел рассмотреть его лица, скрытого огромным черным капюшоном. «Кто? — терялся в догадках Миша. — Кто он, этот высокопоставленный демон — а обычные бесы на пегасах не летают, — кто? Вот стану сознательным, тогда всё откроется, не будет никаких тайн!.. Я в аду, и времени у меня — целая вечность!»

Юноша рисовал яркие картины будущего, одну прекраснее другой, но они тут же растворялись в бесцветной ночи, скупо освещенного фонарями переулка. Вопреки фантазиям он медленно съезжал вниз, в яму отчаяния. Его пылкий характер требовал немедленного и счастливого разрешения любого вопроса, при этом, желательно, без особых усилий. Но ад был не курортом, а исправительно-трудовым учреждением. Надеяться на чудо не приходилось. Любую награду нужно было заслужить и выстрадать. За этими размышлениями Миша незаметно добрался до остановки. Он вскочил на подножку трамвая и ещё раз бросил взгляд в бездонный колодезь неба. Ему показалось, что где-то высоко над крышами развеваются на ветру светлые кудри Юленьки. Он зло сощурился, будто взглядом решил покарать неизвестного обидчика, а затем, резко оттолкнувшись от поручней, прыгнул в вагон.

V

В коридоре возле ящиков со столярными инструментами лежала газета «Трудовой Дит». На первой странице под заголовком «Процесс века» красовалось огромное фото городского суда. На прошлой неделе закончился громкий процесс над группой пилигримов, которые нелегально возвращали на Землю отбывающих наказание грешников. Впервые на след этой банды напали в конце XIX века, когда из Дита исчез целый ряд бывших актеров комедии дель арте. Власти заявили, что сбежавшие не представляют опасности. В ход пошли отговорки, мол, в нижних кругах есть души пострашней, а охранка там тоже страдает. Происшествию не придали особого значения, провели ряд профилактических мероприятий — и захлопнули папку. Однако в 1945 году, когда в срочном порядке была собрана специальная райская комиссия по делам военных преступлений, адскому руководству задали непростой вопрос: «Каким образом эти души попали на Землю?». Дитские службисты кинулись искать виновных, отправили в каменоломни нескольких высокопоставленных демонов, но вразумительно ответить на вопрос не смогли. Началось расследование длиной в полвека. И вот несколько лет назад, благодаря широкой сети агентов, удалось выйти на группу пилигримов. Под видом попрошаек, уличных актеров, проституток и прочего сброда они вербовали служащих канцелярии, для того чтобы получить доступ к личным делам грешников. Главаря банды, к сожалению, поймать не удалось. На скамью подсудимых попали два чертенка седьмого порядка и один пилигрим. Никто из обвиняемых не подозревал, что их «благая» деятельность может обернуться такими глобальными катастрофами, какие пережила Земля в первой половине двадцатого столетия. Прокурор популярно растолковал, почему нелегальная отправка душ на Землю опасна и последствия

её непредсказуемы. Объяснил, что души, попавшие в преисподнюю за невинные шалости в одной эпохе, могут совершить немыслимые по тяжести преступления в другой. Напомнил об элементарных законах временной психологической несовместимости, которые обязан знать любой служащий на самой захудалой станции перерождения. Судьи возмущенно поохали, вынесли приговор, и компанию отправили в девятый круг.

Миша проснулся, умылся, на выходе из уборной прихватил газету, стремительно ворвался на кухню, пролистывая последние новости, не менее стремительно съел бутерброд, и так же стремительно умчался на работу. План горел, грузчики филонили, начальник отдела отдувался на планерке. Не успел Миша отправить первую машину с очередной порцией макулатуры, как в небе раздалось ржание пегасов, и возле транспортного приземлились двое. Первым был худой и высоченный, как каланча, старый демон, вторым — молодой бес с вытянутым змееподобным лицом и клубком шипящих аспидов на голове. Оба носили мундиры службы безопасности. Гости прошли в контору, не обращая внимания на поклоны и приветствия. Через несколько минут в дверном проеме показался шеф и жестами позвал Мишу внутрь. Видавший виды начальник транспортного был явно напуган.

— Что вы еще натворили? — прошептал он и махнул рукой в сторону двери. — Идите, вас ждут.

В конторе стояла зловещая тишина. Все были погружены в работу, и даже молодые черти, болтавшие без умолку, чтобы как-то избавиться от безжалостной канцелярской скуки, теперь устали в столы и боялись поднять голову. Миша вошел в кабинет.

— Доброе утро, молодой человек, — вежливо сказал старый демон. — Присаживайтесь.

Миша догадался, что наступили те неприятности, о которых его предупреждали Юленька, Лидия Петровна и Семен Волоакович. Он покорно сел.

— Молодой человек, вчера вы были на приеме. Так? — задал вопрос старый демон и кивнул в сторону Семена Волоаковича. Тот, закинув ногу на ногу, сидел в дальнем углу и просматривал «Трудовой Дит».

— Так, — сказал Миша.

— Очень хорошо, — одобрительно сказал демон. — Отвечайте коротко, четко, по существу. С какой целью вы приходили?

— Я хотел узнать подробности личного дела, — смело ответил Миша.

Змееподобный, который стоял спиной к Мише и смотрел в окно, медленно повернулся, высунул раздвоенный язык и хищно прошипел:

— Чесстный!..

— Погоди, Нагон Форкьевич! — одернул его старый демон. — Молодой человек, зачем вам потребовалось личное дело?

— Я хочу знать, за что попал в ад. Я не хочу быть полусознательным, — ответил Миша и уставился в пол, как провинившийся ученик.

— Прекрасно и, главное, искренне, — заметил старый демон. — Это сильно облегчает нашу задачу и ваше положение.

В этот момент Семен Волоакович оторвал взгляд от газеты и сказал змееподобному:

— Нагон Форкьевич, друг любезный, отойди-ка от окна. Ничего не вижу. Совсем зрение ослабло!

Нагон тут же исполнил просьбу. Службисты смотрели на Семена Волоаковича с уважением и даже опаской. Миша заметил это. Он хорошо помнил, как волокли через канцелярию того хулиганистого чертенка, и надеялся на заступничество начальника отдела кадров, в случае, если беседа «мирно, по-семейному» перерастет в серьезную трепку.

— Молодой человек, — продолжил старый демон, — ваши данные засекречены не для того, чтобы препятствовать, а как раз наоборот: чтобы помочь вам. Чтобы оградить от неприятностей.

— Оградить... — с усмешкой повторил змееподобный и добавил, не поворачиваясь к Мише: — В девятом будешь кофе без сахара трескать! Герой!

— Погоди, Нагон Форкьевич! — повторил старый демон.

— Репликаторы по нём плачут! — поднажал Нагон, затем стремительно подошел к юноше и с издевкой спросил: — Знаешь, что такое репликаторы?

— Нет, — прошептал перепуганный Миша.

Аспиды на голове змееподобного изгибались и тихо шипели: «узнаешь, узнаешь, узнаешь».

— Нагон Форкьевич, я тебя прошу! Мишель поступил опрометчиво, но он хороший сотрудник. Обойдёмся без эксцессов, — вмешался Семен Волоакович.

Миша взглянул на него как на защитника униженных и оскорбленных. Непаром Семен Волоакович был начальником отдела кадров. Он умел расположить к себе.

— Мишель, — сказал он. — Репликаторы — это боксы, где отбывают наказание особо тяжкие грешники. Что там с ними делают, я не вправе рассказывать, однако основное вы должны знать: после исправительных процедур преступников восстанавливают при помощи нанорепликационных технологий, а использованные части тел выбрасывают. В нижних кругах полно тварей, для которых нет лучше корма, чем пара человеческих конечностей. Репликаторы требуют регулярной чистки. Служащие скребком счищают кожу со стен, подметают костную муку, выно-

сят внутренности, сгоняют кровь в сточные канавы. Существует малоприятная должность — мойщик репликатора. Если не хотите распрощаться с канцелярией, Мишель, то мой совет — прежде всего забудьте о своём личном деле.

— Брось этот романтический бред! — начал было змееголовый.

— Да погоди ты, Нагон! — взмолился Семен Волоакович. — Прессуешь, как уголовника!

— Поймите, — вмешался старый демон. — Аду не нужны энтузиасты. Аду нужны рабочие единицы. Хотите безопасно существовать? Будьте как все.

— Я не могу быть как все. Я уже не как все! — вскрикнул Миша. — Все сознательные, а я не пойми кто!..

— В аду, Мишель, «не пойми кто» — порой залог успеха, — заметил Семен Волоакович.

— Слышь, герой, — ехидно прошипел Нагон: — в следующий раз прихвачу тебя на экскурсию. Поработаешь мойдодыром — год жрать не сможешь!

— Я бы на вашем месте, молодой человек, очень серьезно отнесся к словам Нагона Форкьевича, — сказал старый демон и резко оборвал беседу. — А теперь идите и работайте!

Миша вылетел из кабинета, не прикрыв дверь. Эти твари видели его насквозь. Они будто с первого дня следовали за ним по пятам. Откуда Нагон узнал про кофе? Случившееся не укладывалось в голову. Миша паниковал. Страх, ненависть и отвращение к себе смешались воедино. Он не понимал, как может существовать общество, в котором нет даже подобия личной жизни. У любого, самого распоследнего грешника должен быть маленький островок внутренней свободы. «Ад — исправительно-трудовое учреждение», — вспомнил он памятку на стене смерти-приемника. «В аду не место лжи и стеснениям», — процитировал он. «Индивидуалист — враг честного труда», — прошептал он. Так вот в чем смысл! Вот каково наказание! Они знают обо мне всё, я о них — ничего!..

Миша угрюмо отпахал смену и вернулся домой в полном отчаянии. На кухне хозяйничал Пафнутий Пафнутьевич. За окном начиналась буря. Мелкие частички песка кружились в горячем воздухе, забивались в щели между рамами, образовывали причудливые рисунки на подоконнике. Видимость резко упала. Соседние дома превратились в неясные мрачные очертания. Свет заходящего солнца сделался таким, словно карманный фонарик приставили к покрывалу из плотной ткани. Ад стремительно погружался в бордовый сумрак.

Пафнутий Пафнутьевич прикрыл форточку и обратился к Мише:

— Михаил, у вас неприятности?

— Не то слово, — ответил Миша.

— А вы в церковь ходите, — посоветовал Пафнутий Пафнутьевич и принялся колдовать солонкой над сковородой. — Помоли-тесь, и станет легче.

— Я неверующий, — сказал Миша.

— Ах, Миша, Миша! — воскликнул Пафнутий Пафнутьевич. — Какой вы еще ребенок! Откуда же в аду неверующие?

— Я первым буду, — огрызнулся Миша.

— Нет, Миша, ошибаетесь, — с горечью произнес служка. — Первым, уверяю, вы не будете.

Миша опять вспомнил встречу со службистами. Теперь, когда страх и отвращение заметно ослабели, остались только обида и желание отомстить. Особенно Нагону. С каким удовольствием он утопил бы эту мразь в фонтане возле канцелярии! Юноша, забывшись, стукнул кулаком по столу, испугался грохота и бросил короткий взгляд на Пафнутия Пафнутьевича. Тот либо ничего не заметил, либо сделал вид. Служка поставил на стол сковороду с яичницей и сел напротив. Миша почувствовал устойчивый запах перегара.

— Может, поужинаете со мной? — спросил Пафнутий Пафнутьевич.

— Нет, спасибо, — ответил Миша, положил локти на стол и вцепился пальцами в шевелюру. — Не до еды!

— А хотите, я расскажу одну историю? Уверяю, вам сразу полегчает, — сказал Пафнутий Пафнутьевич, характерно для выпившего растягивая гласные.

— Валяйте, — безразлично ответил Миша

Далее церковный служка медленно, будто каждое слово тяготило его, как непосильная ноша, поведал Мише следующее:

— Я жил уединенно. Прислугу не держал. Откуда взять средства молодому математику, недавно приступившему к диссертации? Раз или два в неделю ко мне заглядывал знакомый медик, и мы играли в шахматы. Я был странным юношей. Гуляющая студенческая братия меня не слишком жаловала. Пирушки, официантки из пивных погребов, дуэли, мелкое хулиганство — всё это казалось мне глупым. Не помню точно, как во мне укрепилось чувство презрения к сокурсникам, но они казались мне пустышками. Профессор N считал мою работу перспективной, и это придавало силы. Я трудился без усталости и верил в то, что на меня возложена особая миссия — сделать выдающееся открытие. В свободное от занятий время я очень скучал по семье. Мама умерла от туберкулеза, когда я ещё учился в школе, но в деревне остались отец и сестры. Крепким здоровьем наша семья не отличалась. Уже тогда, за пятнадцать лет до смерти, я понимал, что мне не отвертеться от чахотки. Вскоре умерла старшая сестра, через два года — средняя. Присутствие смерти сделалось для меня обязатель-

ной частью существования. Когда неизлечимая болезнь забирает близких и вы не в силах этому помешать, смерть становится безжалостным наставником.

Вернувшись к работе после похорон сестры, я окончательно остыл к мирским делам. Однако в Бога тоже не уверовал. Соблюдал формальности, которые требовал отец — он служил деревенским пастырем, — но искренней веры не имел. Единственным богом для меня была наука. Я писал диссертацию, зарабатывал на хлеб репетиторством и мечтал хоть на недельку вырваться в родную деревню. Увы, это удавалось редко.

На завершающем этапе работы у меня начались головные боли. Знаете, такие специфические. От перенапряжения и усталости. Голову сжимало стальным обручем, мгновенно наступало чудовищное отупение, и я валялся на кровать, как побитое животное. Но это полбеды!.. Настоящая беда пришла, когда я обнаружил в себе неконтролируемые приступы агрессии. Как человек благоразумный и воспитанный, я держал себя в руках, но приступы становились все тяжелее, из-за чего я перестал выходить из дома без особой нужды. Боялся что-нибудь натворить.

В то воскресенье я отправился на другой конец города. У меня был чудесный ученик, смысленный мальчик из семьи прилежных буржуа. Они не экономили на образовании сына и платили мне в среднем больше, чем принято за такую работу. Я провел урок, получил плату, а после решил зайти куда-нибудь пообедать. Был конец июля, день выдался прекрасный. Я выбрал небольшой трактир с простой домашней кухней и столиками в саду. За обедом у меня опять начался приступ. Причина пустяковая. Мне подали теплое пиво. Однако собраться с силами не удалось, и я расплатился, не закончив трапезу. Когда я вышел на тропинку, ведущую из сада в проулок, мне навстречу выбежала девочка. Ей было года три, может, четыре. В руках она держала куклу, тряпичную самодельную куклу. Я прошел мимо, я уже стоял на мостовой, но...

В этот момент служба замер. Его лицо исказила едва заметная гримаса. Некая смесь ужаса и отвращения. Наконец он прошептал:

— Я ударил...

Он не осмелился произнести, кого. Местоимение «её» являлось неопровержимым свидетельством его болезни и одновременно — суровым, не подлежащим обжалованию приговором.

Он повторил:

— Я ударил. Пнул ногой и убежал.

Пьяный служака на мгновение впал в транс. Он закатил глаза и то ли молился, то ли подсчитывал что-то в уме. Миша с опаской смотрел на этот спектакль. Уж не горячка ли? Может, скорую?.. Однако Пафнутий Пафнутьевич быстро пришел в себя, открыл навесной шкафчик, достал бутылку, стесняясь, отхлебнул и продолжил:

— По дороге я скинул плащ, выбросил шляпу, взъерошил волосы, в общем, избавился от всего, что в полиции называют «признаками подозреваемого». Без приключений я добрался до дома и всю ночь, как пасьянс, раскладывал версии, которые предоставлю следователю в случае поимки. Ну, а утром первым делом выскочил на улицу и купил у мальчишки свежую газету. Нет. Не зашиб!

Пафнутий Пафнутьевич словно отрешивался от существования девочки, словно уговаривал себя, что её не существовало.

— Не зашиб. Только синяки и ссадины. Никто ничего не видел. Вскоре я рассказал другу-доктору о своей болезни. Он настоятельно порекомендовал оставить математику. Я не послушался и тогда пошел отсчет серым будням земного существования. Еще долгих пятнадцать лет я, не живой, не мертвый, тащил своё тело к могиле. Великолепное математическое будущее погибло, но на место выдрванного лоскута не подошла ни одна заплатка. Я жил с дырой в сердце. Подрабатывал репетиторством, налегал на выпивку, да ежедневно ломал голову, как же это приключилось. Сначала я винил во всем высокомерие и честолюбие — ведь я считал себя гением. Я мечтал показать университетским хлыщам, что не записной дуэлянт и пьяница, а скромный, прилежный трудяга достоин всеобщего восхищения. Потом я вспомнил, что в детстве получил серьезную травму головы, и стал всё списывать на физиологию. Туберкулез тем временем прогрессировал, и наконец, не найдя ответа, я скончался.

Пафнутий Пафнутьевич небрежно отодвинул тарелку с остывшей едой, подошел к шкафчику, сделал очередной глоток и торжественно продолжил:

— Знаете, Миша, в аду ответы находятся быстро. Меня определили служкой в собор святого ересиарха Нестора. Это и был ответ. Я понял нечто важное! Математикой я хотел осчастливить мир, преподнести ему новую изящную формулу, мнил себя демиургом. Я забыл, что сам являюсь частью этого мира, и далеко не самой лучшей его частью — завистливой, надменной, трусливой. Я должен был обратиться к внутреннему, позволить себе глоток свежего воздуха, зажечь свечу в собственной камерке, но вместо этого корпел над бумагами, пока не сошел с ума. В церкви ко мне пришло откровение — талант без веры обречен на безумие. Главная ошибка таланта заключается в том, что труд он ставит превыше всего, обожествляет, делает его религией. Глупость! Любой труд, любое дело — это лишь малая часть огромного, и не замечают этого только узколобые идеалисты-неврастеники. Вера — единственное великое дело!

— Странно у вас получается, Пафнутий Пафнутьевич, — усмехнулся Миша. — Вы все твердите: себе, себе, себе, — и вдруг — вера!.. Уж не знаю, как здесь, но на Земле вера — это самоотречение, а не «себе, себе, себе».

— Да что вы земные-то пасторали сюда тащите! — взвизгнул Пафнутий Пафнутьевич. — У моего папаши главным после Бога был Назаретянин. Но ведь это чушь! Главным после Бога всегда был, есть и будет Сатана! Всю эту ересь про жертвенность во имя веры рассказывают для того, чтобы держать в узде паству. Это церкви касается! Церкви, а не веры!.. И вопросы это дисциплинарные, а не духовные. Стоит же заглянуть в духовное, и Назаретянин — а тем более Папы с патриархами — никогда не стояли так близко к Господу, как тьма. Тьмой он награждает нас, чтобы мы ценили свет. Надо бы вам, Миша, в собор сходить, мессу послушать. Сразу разберетесь!

— Спасибо. Как-нибудь схожу, — машинально пообещал Миша.

Ему быстро наскучили религиозно-философские рассуждения подвыпившего служки. Миша лишний раз убедился, что Пафнутий Пафнутьевич горький пьяница, более того, услышанное заставило его взглянуть на соседа с отвращением. «Убогий, больной душой и телом мелкий черт», — подумал юноша. Он сухо поблагодарил за беседу и отправился в свою комнату.

Буря усиливалась, старые оконные рамы дрожали под натиском ветра и угрожающе скрежетали. Электричество час как отключили. Миша разделся и лег. Ему не спалось. Прошедшие дни были переполнены событиями. Юноше казалось, что за короткий срок он прожил целую вечность. Миша не помнил прошлого, он боялся будущего, однако своё «сегодня» он знал в лицо, и лицо это корчило дикие гримасы. Стоило только прикрыть веки, как из пустоты являлся змеиный лик Нагона и шипел тысячами аспидов: «узнаешь, узнаешь, узнаешь». Наверное, Юленька права: в аду никакой любви быть не может. «Не может, не может, не может...» — повторяло эхо утомленного сознания. Миша вздрогнул, открыл глаза, но в полутьме комнаты, среди размытых очертаний простенькой мебелировки, взгляду было не за что зацепиться. Он повернулся на бок и принялся изучать узоры на старых пожелтевших обоях; вскоре усталость взяла верх, и он уснул.

Несколькими часами позже, где-то около трех, раздался стук в дверь. Миша не помнил снов. От них осталось только глубокое чувство страха, которое парализовало его. Он не мог, не смел пошевелиться. Спросонья ему казалось, что за ним пришел Нагон. Стук повторился. Оцепенение исчезло. Юноша быстро натянул шорты и метнулся к двери. На пороге стояла ведьма Клава, в длинной ночной рубаше из плотной белой ткани и свечой в руке.

— Миша, выручай, — прошептала Клава. — Не хотела никого беспокоить, но у меня, того гляди, окно вылетит! Щеколды сломало! Посмотри, а?..

— Да, конечно, — отозвался Миша и побрел, потирая глаза, в комнату ведьмы.

Он поставил свечу на подоконник и принялся изучать задвижки. Действительно, внешняя рама сильно стучала, но никаких повреждений он не нашел. Ржавый штырь шпингалета наполовину торчал наружу, и поэтому рама была прикрыта недостаточно плотно. Миша попробовал задвинуть шпингалет, но не смог. Тогда он обернулся, чтобы попросить у Клавы наждачку и машинное масло.

Клава стояла перед ним совершенно голая.

— Тут шпингалет ... — промямлил Миша.

— Я знаю, — сказала Клава низким, грудным голосом и опустилась на колени.

Миша отступил назад, прислонился к стене и захлебнулся в кроваво-красной ночи. Дальнейшее никак не входило в его планы, более того, являлось оскорбительным по отношению к Юленьке. Однако он не испытывал угрызений совести. Ему было хорошо. Клава знала толк во всех видах чувственных безобразий. Незаметно для себя Миша оказался в центре такой вакханалии, что бывшее увлечение секретаршей из отдела снабжения показалось ему слабым, едва заметным огоньком среди бушующего океана страсти. Клава источала невероятные сочетания запахов. Мускус, сандал, молодой чеснок, чего только не было в этом букете!.. Запах сводил Мишу с ума. Пот лил с него так, словно он разгружал фуру с документами четвертого архива. Крепкая двуспальная кровать, выдававшая виды, жалобно скрипела. Клава стремительно и методично вела свою партию. Она подсказывала юноше ходы и постепенно загоняла его в угол. Кульминация не заставила себя ждать. Ведьма сдалась первой, и, глядя на её судороги, Миша окончательно потерял голову. Звериная натура взяла верх. Дыхание участилось. Он зарычал, содрогаясь над телом ведьмы, и наконец, выгнув спину, повалился на бок. А после наступила тишина. Комната погрузилась в нее, как раскаленная сталь в ледяную воду, и только стук внешней рамы нарушал покой.

— Уже давно за полночь, а света всё нет, — растерянно сказала Клава, глядя в потолок.

— Клава, ты такая... — начал Миша.

Клава положила ему руку на губы и сказала:

— Побереги комплименты для девочек из канцелярии. Мне оценки не нужны. Я о себе всё знаю.

Упоминание о канцелярии задело Мишу. Он вспомнил Юленьку и хотел было развести привычный высокоморальный сыр-бор, но впервые промолчал. Было очевидно, что любые разговоры излишни. Он надел штаны и собрался было уходить, но Клава взяла его за руку и сказала:

— Иди за мной. Осталось уладить еще одно маленькое дельце. Без тебя я не справлюсь.

Она потащила Мишу по темным коридорам коммуналки к входной двери. Миша покорно следовал за ней. Он решил, что речь идет

об очередном шпингалете. Парочка выскочила на лестничную клетку, а затем мигом поднялась на последний этаж. Клава щелкнула каким-то брелком, открыла люк чердака, и Миша обнаружил, что вверх ведет лестница — старая, ржавая, винтовая. Интерьер резко изменился. Лестница наматывала обороты вокруг покрытого плесенью и мхом столба из красного кирпича. Внешняя стена состояла из клепаных железных листов, проеденных до дыр ржавчиной. Наконец, они уткнулись в деревянную дверь, Клава откинула щеколду, и Миша застыл от удивления. Ничего похожего на крышу обычной пятиэтажки снаружи не было. Перед ними была прямоугольная смотровая площадка на верхушке древней зубчатой башни. Стояла тихая прозрачная ночь, одна из тех летних ночей, когда в стрекоте кузнечиков едва различимы плач свирели Пана и смех юных дриад. Клава проворно забралась на стену, вскинула руки к небу и крикнула:

— Какая ночь!.. Как хорошо, что я свистнула стик-портал у знакомого демона. Миша, иди сюда! Мы сейчас в первом кругу на сторожевой башне Лимба. Ближе к небу нам не бывать никогда! Иди, иди сюда!

Лимб считался свободной зоной. Здесь легально продавали марочное вино из райских виноградников, выступали ангельские хоры, встречались заезжие Серафимы и прочие высшие служители неба. Они проводили суровую небесную зиму поближе к жарким пустыням четвертого круга, чем доставляли немало проблем руководству преисподней. В службе безопасности с презрением смотрели на первый круг. С одной стороны, Лимб официально относился к аду, с другой, местная вертикаль власти полностью состояла из старейших обитателей, которые хранили устойчивый нейтралитет в событиях новейшей истории. Недавняя война казалась им временным недразумением, за счет которого можно было пополнить казну. Дохристианские божества, герои и мыслители древнего мира делали ставку на туризм и торговлю, и потому Лимб процветал.

Юноша выбрался из душного лестничного пролета, сделал несколько робких шагов и вдохнул удивительно чистый, прохладный воздух. Над головой сияло звездное небо. Никогда еще не видел он такого стремительного движения звезд. Они мчались так быстро, точно невидимый киномеханик крутил ручку проектора с удвоенной скоростью. Некоторые то и дело срывались, покидали хоровод и падали куда-то за горизонт.

Мише показалось, что он попал на Землю. Как забойщик после долгой смены, поднявшийся из шахты, он чувствовал усталость и вместе с тем невероятный простор. Душные закоулки Дита остались далеко позади и, воодушевленный внезапной свободой, он произнес:

— Пока ты слушал Гоа, она нашла другого.

Иллюзия тут же исчезла. Ему стало страшно. От обилия свежего воздуха закружилась голова и пересохло в горле. Мишу стало лихорадить.

— Голова кружится, — прохрипел он. — Пойдем обратно.

Клава опустила руки, пристально посмотрела на юношу и сказала:

— У-у-у, да ты, братец, совсем сдулся. А я не ради забавы тебя сюда притащила! Стик-портал — могущественный артефакт. С ним можно переместиться в любой круг. Одно нажатие, и ты уже в пламенеющих пустошах. Беги! Беги к пилигримам, а оттуда обратно на Землю! Тебе тут не место!

— Советовал уже бежать, — произнес Миша безразлично. — Нищий какой-то. Как его?.. Архитектор! Ерунда это всё.

— Архитектор? — переспросила Клава и рассмеялась. — Пожалуй, что да. Он архитектор!

Она села на край стены и свесила ноги вниз:

— Его зовут Афонсу! — крикнула она. — Давным-давно он был великим мореплавателем! Это он тебя заприметил. У него нюх на таких, как ты.

— Так вы знакомы? — спросил Миша.

— Дурацкий вопрос. В аду все друг с другом знакомы, — ответила Клава. — Он сразу предложил вывезти тебя отсюда, но ты заупрямился. Тогда я решила сама договориться.

Клава поднялась, прыгнула со стены и подошла к Мише.

— Мы же договорились, правда? — сказала она ласково и прижалась к юноше.

— Я уже сказал — я никуда не побегу, — устало прошептал Миша.

Внезапно ему стало стыдно за прошедший вечер. За эту глупую связь. Он развернулся и неуверенной походкой побрел к лестнице.

— Ты идиот! — крикнула Клава вслед. — Идеалист долбаный! Свои дешевые страстишки ты принимаешь за любовь! А любви в тебе ни на грош! Одно позерство!

В этот момент на крыше появился Афонсу. Он неуклюже вывалился откуда-то из темноты и упал ведьме чуть ли не на голову. Миша с трудом узнал его. От нищего, кланчившего милостыню у церкви святого ересиарха Нестора, не осталось и следа. Перед Мишей стоял благородный старик с длинной белоснежной бородой, в черном котарди с низким поясом, на котором висела шпага и уже знакомая дага.

— Слегка промахнулся со стик-порталом. Прошу меня простить. Итак, Клавдия, у нас всё готово? Будем отправлять юношу? — сказал он деловым тоном.

— У нас-то готово, да юноша дурень. Не хочет юноша! — зло сказала Клава.

— Так... — произнес Афонсу и присел на парাপет. — Ты уж извини, что я на «ты». Любезничать некогда. Ты понимаешь, кто я?

— Ещё бы, — ответил Миша, даже не взглянув на старика. — Оборванец из церкви.

— Ясно, — сказал Афонсу, на четверть вынул клинок из ножен и резким движением задвинул его обратно. — Тогда будем действовать иначе. Ты, кажется, мечтал о дуэли? Хотел проткнуть Юлькиного любовника шпагой?

— Не называй её Юлькой. Пожалуйста, — попросил Миша едва слышно и принял тереть виски.

У него раскалывалась голова. Волны паники накатывали одна за другой. Он хотел поскорее оказаться в своей темной и душной комнате. Но Афонсу был неумолим. Он приблизился, крепко схватил юношу за плечи и, как трусливому солдату, скомандовал:

— В бой! Проверим, какой ты фехтовальщик. Клавдия, оружие!

Клава подала неизвестно откуда взявшийся клинок. Юноша неуверенно взял его и застыл в нелепой позе, поглядывая на спасительный путь к бегству. Увы, он понятия не имел, как пользоваться шпагой. Теперь, когда нужно было отбросить слова и действовать, Миша безвольно повис на руках Афонсу и ждал своей участи, как бычок, приготовленный на убой. Афонсу оттолкнул юношу, обнажил клинок, а затем стремительно для своего почтенного возраста встал в боевую стойку.

— Зачем этот маскарад? — проямлил Миша и выронил шпагу.

— Маскарад? — крикнул Афонсу и засмеялся. — А как же без этого маскарада ты решил защитить свою любовь? Ты же только о ней и болтаешь. Со всеми и с каждым. И даже с нищими!

Мише снова стало стыдно, но намек на то, что пришло время подкрепить слова делом, он не понял и стоял перед Афонсу, переминаясь с ноги на ногу.

— Я хочу домой. Зачем вы меня сюда притащили? — захныкал он и присел на корточки.

Афонсу подошел к юноше, поставил на ноги, встряхнул и повторил:

— В бой, ваше превосходительство болтун. В бой.

Клава вновь подала шпагу. Миша не мог не заметить её улыбки. Эта улыбка, как лезвие, полоснула по его гордости. Он достал шпагу из ножен и встал, широко раскинув руки.

— Убивайте, раз так.

Улыбка тут же исчезла с губ ведьмы. Афонсу резким ударом проверил, крепко ли сидит шпага в руках соперника. Готов ли тот к бою? Да. Он был готов! Впервые в жизни он был готов если не драться, то хотя бы без лишнего позерства сносить превратности

судьбы. Афонсу это понравилось, и он начал бой, но скорее не ради победы, которая при желании могла наступить мгновенно, а ради того, чтобы дать юноше шанс исправить унизительное положение. Миша неуклюже размахивал оружием: то пытался проткнуть неприятеля подобием выпада, то рубил сплеча, как будто это была не шпага, а топор, — но Афонсу невозмутимо парировал удары без всякого намека на комичность ситуации. Наконец, для пущей строгости он заехал юноше эфесом по зубам. Миша сплюнул кровавую слюну и заметно приуныл. Афонсу понял, что фарс затянулся.

— А теперь, мой юный фехтовальщик, слушай внимательно, — он, как дирижёр, взмахнул шпагой, и на груди у Миши появилась царапина. — Первое: четвертый отдел адской канцелярии переезжает уже пятьсот лет и будет переезжать еще пятьсот. Там одних архивов по продаже душ — тысячи бесконечных стеллажей. Таким образом, все твои планерки с графиками — чушь! Сизифов труд!

Миша прижал руку к груди, будто хотел поймать появившееся там пятно. Афонсу вновь взмахнул шпагой, и пятно перепрыгнуло на штанину чуть выше колена. После этого выпада Миша выронил оружие, окончательно потеряв интерес к дуэли.

— Второе: у нас огромная организация. Тысячи агентов. Мы тратим массу энергии и средств, мы рискуем собственными душами, чтобы вызволить таких, как ты. Я сутками сижу в пыли возле собора, шляюсь по самым грязным закоулкам Дита, вожу знакомства со всяким сбродом, от бывших чистильщиков-репликаторов до тварей из окрестностей Коцита, и всё это только для того, чтобы спасти тебя и тебе подобных.

— Так вот вы кто! Вы главарь банды. Это вы нелегально отправляли те страшные души на Землю, — сказал Миша и опять опустился на корточки. — Вы уголовник.

— Замолчи и слушай! Да, всех этих будущих шизофреников — тиранов, маньяков-вождей, партайгеноссе и прочую сволочь — вытаскивали отсюда мы. Но у медали есть другая сторона. Заключается она в том, что благодаря нам за последние столетия на Земле родилось больше гениев, чем за всю предыдущую историю. Никто не знает, какой дорогой пойдет беспокойная душа. В перспективе Адольф Шикльгрубер должен был стать величайшим художником, не менее великим, чем Ван Гог, а Иосиф Джугашвили — учителем, не менее мудрым, чем Гурджиев. Но никто не дает гарантий! Мы ошиблись в выборе десятков, однако не ошиблись в выборе сотен, чьи имена с благодарностью будут вспоминать будущие поколения. Именно поэтому на нас охотятся как на небе, так и под землей. Раю и аду не нужна сильная, мудрая, свободная планета. Им нужен разлагающийся отстойник — стадо, которое каждый пастух пасет на свой манер.

— Но я не великая душа и не гений. Я обычный канцелярский служащий, — в отчаянии сказал Миша.

— Дурак! — крикнул Афонсу. — Что ты знаешь о себе?! Ты можешь родиться новым Эйнштейном, Шагалом, Гессе!

— Да, да, — прошептал Миша сплевывая кровавую слюну. — Могу Шагалом, а могу шакалом.

— Риск того стоит! — резко сказал Афонсу.

— Нет, благородный Афонсу, не стоит, — возразил Миша — Я домой хочу. На работу. К Юле. Я её люблю.

— Дурак! — заревел Афонсу. — Ты сам не знаешь, в какую игру впутался! Ты на волосок от гибели, и то, что ты называешь любовью — на самом деле яд в твоём воспаленном сознании. Поверь, тебе нужно бежать, иначе Нагон отправит тебя туда, откуда не возвращаются, туда, где не существует ни любви, ни вообще чего-либо человеческого.

Миша умолк. Казалось, он сдался. Афонсу подошел, наклонился к самому уху юноши и шепотом произнес:

— И наконец, третье: любовника твоей Юленьки зовут Семен Волоакович Винный.

— Об этом даже самому распоследнему чертенку известно! — злорадно добавила Клава.

Афонсу убрал шпагу в ножны, но в левой его руке осталась дага. Миша сидел, опустив голову в колени. Его лица не было видно. Клава вновь забралась на парапет и встала спиной к дуэлянтам. Она наслаждалась звездным небом первого круга — самым прекрасным небом во всей преисподней. Над черепичными крышами невысоких деревянных домиков, уютно расположившихся вокруг башни, стоял туман. Светало.

— Первый круг гуляет до утра! Вино, танцы... Как я им завидую! — сказала она.

Миша поднял голову. По его щекам текли слезы. Он посмотрел на Афонсу и прошептал:

— Неправда.

— Миша! — крикнула Клава — Ты так ничего и не понял?... В аду нет и быть не может никаких секретов. Только слепые котят, как ты, барахтаются в луже собственных иллюзий! Откуда Нагону знать о твоём кофе без сахара? Откуда нам знать о Юльке? Откуда?..

— Винный пятьдесят лет назад избавился от Лидии Петровны, — добавил Афонсу. — Перевел её в транспортный. Слишком стара стала! Потом завел роман с молодой, перспективной Юленькой. Со следующего понедельника она начинает работать в отделе кадров.

Миша молчал. Перед его глазами плыли кроваво-красные круги. Во рту стоял соленый привкус крови. Он был не в силах бороться с неизвестностью. Пустота пристально смотрела на него, и он не смел отвести взгляда.

— Убейте меня.

— Это пожалуйста, — равнодушно сказал Афонсу и вонзил дагу юноше в сердце.

Дул горячий ветер из пламенеющих пустошей четвертого круга. Клава стояла голая, лицом к восходу. Боль пронзила Мишу. Такая острая, что на мгновение в ней растворилось всё — люди, события, страхи, надежды и даже бескрайний сумрак адской неизвестности. Перед ним возник путь к избавлению. Он прижал ладонь к ране и с облегчением подумал, что даже в аду страданиям есть предел. «Смерть — это свобода, смерть — это знание!» — грянуло в голове Миши многократное эхо. «Смерть — это свобода! Смерть — это знание!» — возопил голос демона из смерти-приемника. «Смерть — это свобода! Смерть — это знание!» — прошептал он и повалился на спину. Он с нетерпением ждал того момента, когда перед глазами умирающего пробегают вся жизнь, каждая её мелочь, каждая забытая деталь. Он ждал последнего откровения! Но напрасно. Боль быстро отступила, Миша открыл глаза, взглянул на раны и с удивлением обнаружил, что они затянулись. Лишь на груди красовался тонкий розовый рубец. Он сел и вопросительно посмотрел на Афонсу.

— В аду смерти нет, — спокойно сказал Афонсу и убрал дагу в ножны. — Смерти нет, и конца страданиям нет. Приготовься, у нас очень мало времени. Сейчас я переброшу тебя в пламенеющие пустоши. Там в курсе, кто ты. Получишь все необходимые инструкции, еду и ночлег. Готов?

Миша поднялся и подошел к Афонсу. Дуэль была закончена, но решающий удар так и не нанесен. Что-то произошло с юношей. Какое-то странное, неожиданное превращение. В нём умер инфантильный кучерявый лоботряс. Миша повзрослел за считанные секунды. Он говорил спокойно, уверенно и совсем не заносчиво.

— Знаете, Афонсу, вы, сами того не желая, открыли мне истину. Там, где нет смерти — нечего терять! Там, где страдания вечны — нечего бояться. Зачем возвращаться на Землю? Зачем возвращаться туда, где есть прекрасное прошлое и великолепное будущее, но нет и никогда не будет такого настоящего? В аду мой дом. Здесь меня многому научили. Здесь я стал настоящим человеком, и теперь, раз уж я человек, бежать мне как-то не с руки. Прощу вас, Афонсу, одолжите ваш клинок. Вскоре он мне пригодится.

Афонсу не мог не заметить перемен, произошедших с Мишей, и махнул рукой. Он без лишних вопросов протянул клинок, поклонился и исчез. Клава сказала, что встретит рассвет на башне, и, как только юноша нырнул в пролет винтовой лестницы, вызывающе крикнула небу:

— Таков твой замысел! Да? Таков твой проклятый замысел!..

А Миша спешил. Он летел по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. В коммуналке по-прежнему все спали. Он схватил лист,

сел за кухонный стол и написал: «Семен Волоакович — мерзавец! Сегодня я вызову его на дуэль! Прощайте, Юлия!». Затем он запечатал конверт и побежал на почту. Далее проулками — так было быстрее — он помчался в канцелярию, по дороге обдумывая, что сказать Винному в решающий момент.

На проходной былолюдно. Рабочий день только начинался. Миша перевел дыхание и спокойно прошел к лифту. В руке он сжимал заветную дагу, обернутую в свежий выпуск «Трудового Дита». Этот кусок стали, недавно побывавший в его сердце, напоминал о том, что теперь-то уж бояться нечего. Поначалу Миша сомневался — а не заглянуть ли в отдел снабжения, не сказать ли Юленьке что-нибудь на прощание. Но нет! Зачем?.. Он пришел к выводу, что поступок, на который он решился, не столько дело любви и ревности, сколько акт протеста, бунт против размеренности адского существования, революция одного маленького, но бесстрашного человека. Миша спешил навстречу репликаторам, и чувства к Юленьке теперь казались ему мелочными по сравнению с тем, что его ждало. Он — полусознательный — открыл великую тайну, главный просчет системы, главную её уязвимость — в аду смерти нет! Как же всё просто!.. В аду смерти нет!

Миша распахнул дверь и вошел в кабинет Семена Волоаковича.

— А, Мишель, вы что-то хотели? — не отрываясь от бумаг, произнес демон. — И почему без стука?

— Семен Волоакович! — сказал Миша громко, словно боялся не докричаться до демона. — Семен Волоакович, я хотел вам сказать, что вы ничтожество. Вы подлец!

— Что?! — удивленно произнес демон и взглянул на юношу.

— Вы знали о моих чувствах к Юленьке. Знали и молчали! Вы мерзавец! — произнес Миша и достал дагу.

Он планировал произнести обвинительную речь, после чего вызвать Семена Волоаковича на дуэль, но дальнейшее произошло настолько стремительно, что Миша не успел вымолвить ни слова. Облик демона мгновенно изменился, лицо флегматичного старика исчезло, и над широким остовом черных крыльев появились три огнедышащие пасти на тонких змеиных шеях. Семен Волоакович прошипел боевое парализующее заклинание на шумерском. Мишу ударной волной выбросило в коридор. Он влетел спиной в стену и сполз вниз. Вдоль стены по направлению к его голове тянулся кровавый след. Из нагрудного кармана гавайской рубахи вылетели фантики от конфет, пачка сигарет и какие-то скомканные бумажки. Семен Волоакович взял первую попавшуюся. На ней был рецепт пирожков.

Демон втащил тело юноши в кабинет, запер дверь и поднял трубку телефона.

— Алло, Юлия?

— Да, Семен Волоакович.

— У вас в отделе пару склянок с корвалолом не завалялось?

— Что случилось, Семен Волоакович? — тревожно спросила Юленька.

— Да тут храбрец ваш на меня с ножом кидался. Перенервничал я. Сердце уже не то.

— Семен Волоакович, только не убивайте, умоляю, только не убивайте, — из трубки послышались Юленькины всхлипывания.

— Юля! Как я могу его убить? Он давно умер! — раздраженно сказал Семен Волоакович.

— Ой, простите, простите, это я с перепугу. Семен Волоакович, миленький, я вас умоляю, — Юленька от всхлипываний перешла к монотонному плачу. — Не надо его в репликаторы. Пощадите, Семен Волоакович!

— За что тебя люблю, Юлька, так это за то, что ты всё делаешь с перепугу!.. — ответил демон. — Чертенка с корвалолом пришли. Сама сюда ни ногой. Вечером перезвону.

Миша лежал в углу. Он уже пришел в себя, но действие боевого заклинания еще не закончилось. Казалось, мир вокруг его неподвижного, искалеченного сознания стал ватным. Сквозь белые хлопья спертого канцелярского воздуха он видел, как Семен Волоакович разговаривает по телефону. Он не слышал, с кем и о чем, но догадывался, что демон звонит в службу безопасности. «Наверно, Нагону», — подумал Миша.

— Алло, Лидия Петровна, голубушка.

— Да, Семен Волоакович.

— Ваш координатор сегодня на работу не выйдет. Я думаю, он вообще не вернется в транспортный отдел.

— Семен, я тебя прошу, только не в репликаторы, — послышался крайне серьезный и в то же время умоляющий голос Лидии Петровны. — Семен, ради нашего прошлого, я тебя прошу.

— Да вы что все?! Обезумели от него, что ли?! — воскликнул демон. — Одна, вторая!.. Черт знает что!

— Сеня, я тебя очень прошу, только не в репликаторы, — повторяла Лидия Петровна.

— Ладно. Посмотрим. Пришли всё, что по нему накопилось. Сделаю что смогу.

Действие заклинания ослабело. Миша уже мог шевелить руками и даже попытался сесть. Демон заметил, что юноша пришел в себя, приблизился, опустился на корточки и холодно произнес:

— Значит, так, Мишель, после всего, что случилось, я позволю себе перейти на «ты». Мой тебе совет — лежи, не двигайся, если не желаешь попасть в репликаторы. Скоро приедет бригада «Скорой помощи», тебе сделают укол, и всё останется позади. Ты хотел знать, за что попал в ад? Пожалуйста, я с удовольствием расскажу. На Земле, Мишель, ты был рядовым бездельником, ди-джействовал

в ночных клубах для граждан сомнительного поведения. Там же пристрастился к порошочкам. Вскоре психика твоя полыхнула и сгорела. Подружка ушла. Друзья отвернулись. И однажды в пасмурный осенний день ты хватил лишку. То ли от жадности, то ли совсем с катушек слетел. Дозой, что ты себе вколол, можно было слона убить! Вот так закончились твои земные гастроли. Пойми, Мишель, никакой ты не герой, а обычный наркоман, и никакого возврата твоей убогой душе не будет, потому что ты — шлак вселенной. Ты наслушался рассказов Афонсу и Клавдии, а они только милостью нашего мэра на свободе ходят. Большой либерал их превосходительство Сатьян. Случись тебе убежать к пилигримам, переродиться на Земле все равно крайне сложно. Некоторые сотнями лет скитаются по пламенеющим пустошам и ждут свой счастливый билет. Ты что же думаешь?.. Сел и поехал?.. Там такой контроль, что найти нелегальное тело и добраться до Земли — это один случай на десятки тысяч! Лежи спокойно, Мишель, и ни о чем не думай. В репликаторы я тебя не отдам. Вот укольчик сделаем, ты же любишь укольчики, очистим твою буйную голову от глупостей, и начнешь новую жизнь.

Демон улыбнулся своему остроумию и, довольный беседой, оставил Мишу в покое. Вскоре раздался стук. В кабинете появилась бригада «скорой» — два чертенка-санитара и ведьма-врач. Ведьма положила на стол бланк и деловым тоном попросила подписать. Демон охотно расписался, но посетовал, что это уже седьмой координатор за пятьдесят лет. Ведьма сказала, что давно пора запретить полусознательным работать в госучреждениях, и сделала Мише инъекцию. Некоторое время юноша метался глазами, искал поддержку среди бесовских рыл, но рыла оставались безучастными, и, наконец, он опустил веки, чтобы провалиться в небытие.

VI

Чертенок седьмого порядка Микитка аккуратно взял Мишу за локоть и медленно, как тяжелобольного, повел по коридорам. На свежевыкрашенных в служебный светло-зеленый цвет стенах висели таблички «не прислоняться». Старый потёртый паркет был выломан и разбросан вдоль стен. Сумрак коридоров умело скрывал глубокие морщины старой штукатурки, и она, пользуясь таким подарком судьбы, выглядела юной и белоснежной. В адской канцелярии вот уже тысячу лет полным ходом шел ремонт, на завершение которого никто не надеялся.

Микитка чертовски устал и был в скверном расположении духа. Он по привычке тараторил, но как-то бездумно, нехотя. Его вертлявый хвост свисал, как мокрая тряпка, и тащился за ним по полу, собирая пыль.

— Эх, Миша!.. Это хорошо, что сегодня моя смена! Я тебя в лучшем виде доставлю. Без приключений. Другие, знаешь, издеваются, проказничают. А я нет, — жалостливо сказал он.

Миша безразлично плелся мимо запертых кабинетов и темных лестничных пролетов, по пустым коридорам и рекреациям. Рабочий день давно закончился. За окнами стемнело, и лишь гора Гекла освещала бордовыми искрами черное небо над Дитом.

— Меня попросили остаться на часик-другой, чтобы проводить тебя без лишнего шума. А что? Сверхчасовые нам прилично оплачивают! — печально рассуждал Микитка. — Да и не могу я тебя вот так бросить. Юленька просила, Лидия Петровна...

Чертенюк умолк, испугавшись, что болтнул лишнее, и осторожно покосился на Мишу. Юноша не обращал внимания на его болтовню. Чертенюк нажал кнопку вызова, но ждать не пришлось. Лифт стоял на этаже. К стенам кабины были прикручены тяжелые канделябры в виде драконов. Позолота на подсвечниках облетела. Одна из четырех электрических свечей хитро подмигивала и как бы намекала: «Вот возьму и погасну». Микитка вновь нажал кнопку, и лифт отправился на восемьдесят второй подземный этаж.

Нижние этажи были полностью отведены под архивы. Канцелярская братия редко заглядывала в эти трущобы. На восемьдесят втором царили мрак и гробовая тишина. В преисподней экономили на всем, в том числе и на электричестве. На ночь свет отключали. Коридор слабо освещала дежурная лампа возле лифта.

— Кабинет второй налево. Можешь не стучать. Самуил Апполионович в курсе, — сказал чертенюк и вильнул хвостом. — Ну, бывай.

Микитка последний раз с жалостью взглянул на Мишу, сжал кулачки — держись, мол парень, не унывай! — и умчал наверх. Миша без стука вошел в кабинет номер 666/4. За столом в полутьме дремал бес четвертого порядка Самуил Апполионович Анненберг.

— Михаил! Входите! — тут же проснувшись, крикнул бес и схватил телефонную трубку. — Зиночка, у меня посетитель. Принесите, пожалуйста, кипятку. Будем чаевничать.

Самуил Апполионович пришел в четвертый архив чертенком седьмого порядка в те далекие времена, когда верхние этажи занимала адская гимназия. Он был одним из старейших работников канцелярии. Когда Винный попал в ад, Самуил Апполионович уже сдал экзамены на беса и делал успешную карьеру. Он блестяще начал и всего за несколько сотен лет дослужился до четвертого порядка, однако потом в нём что-то сломалось. Никто не знал причины столь резких перемен. Поговаривали, что он повздорил с кем-то из высших чинов, чуть ли не с самим Сатаной. Так или иначе, выше бес не поднялся и, как вековая пыль, осел в архивах.

— Ах, Михаил! — добродушно сказал бес. — Вам решительно повезло, что вы попали в архив! Скажу вам по секрету — здесь есть места, где можно побыть наедине с собой.

В кабинет вошла Зиночка. В руках она держала поднос. На нем стояли два стакана с чаем.

— Самуил Апполинович, вы его и правда чаем напоите. В последний раз. Я уж все приготовила, — сказала она, стараясь не смотреть на Мишу, и вышла.

— Хорошо, Зина, хорошо. Не зверь же! Сам понимаю, — прошептал ей вслед бес и обратился к Мише. — Вам сколько сахара?

— Четыре, — ответил Миша, уставившись в пол.

— Я тоже сладкий люблю, — сказал Самуил Апполионович и достал из стола папку. — Михаил, проблемы четвертого вы знаете лучше меня. Переезжаем! Выбились из сил. Крепкие руки и светлая голова у нас на вес золота. Таких балбесов присылают, что хоть волколаком вой! Недавно один чуть весь архив не спалил. Теперь лампы запретили, работаем с фонариками. Вы, друг сердечный, подпишите вот здесь. Пустая формальность, и всё же.

Бес бросил на стол бланк рабочего договора. Миша, не читая, подписал и сделал глоток крепкого горячего чая. Он, как губка, впитывал безмятежность канцелярского подземелья. Огромные зеркальные шары воспоминаний ещё вращались в его сознании, но стоило пристально взглянуть на их поверхность, как они тут же разлетались на сотни осколков, собрать которые он уже не пытался. Его вполне устраивал этот бестолковый калейдоскоп прошлого. Он не потерял памяти, нет, он просто смотрел назад безучастно, как бы со стороны. «А как ещё быть с тем, чего не вернуть?» — вспомнил Миша фразу козлоногого и добавил: «Да и вообще, стоит ли об этом думать?». Он сделал еще глоток и решил больше не возвращаться к мыслям о прошлом. Они были чужими, и он прогнал их.

— Допивайте, и нам пора, — сказал Самуил Апполионович и указал хвостом на небольшую черную дверь.

Миша поставил стакан, уверенно подошел к двери и открыл её. Из темноты дохнуло сыростью. Возле входа на конторке лежал карманный фонарик.

— Здесь хранятся договоры о купле-продаже душ. Все документы должны быть читаемыми, имена, фамилии — не испорчены сыростью и гниением. Пересмотрите все стеллажи с 82-го по 7013-й, — скороговоркой выпалил бес — Ваш рабочий день длится двенадцать часов с двумя перерывами. Семь и девять минут. Батарейки для фонарика. Вот держите. Новенькие. Хватит лет на триста. Всего хорошего.

Миша взял фонарик и отправился в непроглядную тьму.

— Слава Богу, один, — подумал он. — Слава Богу.

Евгений ЧИГРИН

/ Москва /



* * *

Словарик мифологий оживал:
Горели языки трёхмерных монстров,
Сокровищ Агры бенефициар
Писал на яшме огненный апостроф.
На аспиде расселся Велиал,
Надев на каждый волос чьи-то души,
На голове магический кристалл,
На лапах марокканские бабуши.
Везли повозку рослые рабы,
Несли тебя в какие-то покои
В четвёртом сне, уставшем от ходьбы,
В ботинках-аллегориях... Левкои
Держала ты в руках, но, впрочем, я
Не спец в цветах, не профи. Пахло чем-то
Неведомым. И на слонах земля
Лежала в темноватой вате спектра.
На «Боинге» спешила к звёздам ты:
Начхать на то, что есть противоречье.
Волхвы несли Спасителю дары.
В четвёртом сне смешались сны и речи...
«Не жди меня, не жги меня, не жди,
Так в космосе тепло без «Инстаграма»,
Курили коноплю с принцессой Ди
И затянулась лёгкой змейкой рана», —
Писала ты на крыльях темноты,
Я месседж получил в четвёртой дрёме,
Перевернулся на бок от метлы
Летающей в цель (полезно быть на стрёме).
...Мой заводной петух, другого нет,
Кричит с утра. Сбегает по футболке
В воронку-пропасть заморочный бред,
В котором едут призраки на волке.

ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО МОРИАРТИ

I

В тоскливый день профессор Мориарти
Присел за стол, откупорил бутылъ
Густого бренди. Дело было в марте,
Вилась метель, как будто бы Сибирь
Срывала ноты с грифа скрипки Холмса.
«Всех самоучек нужно расстрелять», —
Подумал Джеймс. Дымила папираса,
Осталась не разобрана кровать

II

В его простом и холостяцком флэте.
Он сидя спал, и виделось во сне,
Как детектив взрывается в карете,
Сгорает в остропламенном огне,
Как в голове любителя загадок
Ещё живёт, но — умирает мозг...
Картины смерти всем музеем Прадо —
То Младший Брейгель, то алхимик Босх —

III

Вытягивают из глазниц и тлена.
Чудовища смеются трупом над.
Профессору приятна эта сцена...
«Перемотай видение назад
И повтори для лучших Вельзевула
Собратьев, друг...» — кому он говорил?
Всё прочее абсурд, литература,
Весь в бабочках кровавых антимир.

IV

«Да, детектив, двойник твой, доппельгангер —
Всё это я, одной мы крови, брат,
Всегда в тебе, как тёмный допинг-ангел,
Блуждающий по синим венам ад.
Мы вместе в этом, и в другом, я верю,
Пребудем мире, там поговорим.
Твой дух, ищейка, прячется за дверью?»
...Перевернусь, опять Иероним,

V

И красный перец чили сыпет Брейгель,
И на холсте лисой встаёт закат,
Архангела и монстра на скамейке
Показывает, поднимая над
Эксцентриком и блюдом с поросёнком
(Во рту у хрюши зеленеет чёрт,
Возможно, кот), попробовать девчонкам
Он предлагал и задом наперёд

VI

Вставал, кусал железо¹ с продолженьем,
Жениться под метлою² предлагал,
Животных бестиария печеньем
Кормил с руки и тем ошеломял!
...Над Ватсоном глумился математик
И пил ирландский выдержанный... Сны
Клешнёй обиняков замысловатых
К рассвету были более сложны...

VII

Киднеппинги-виденья, фильмы-кражи
Смотрели Джеймсу в жадные глаза:
Весь Скотланд-Ярд был только тигр бумажный,
Не то был Холмс, которого нельзя
Убить элементарно! Но — победа
Маячила...(заряжен пистолет —
Подарок одного авторитета),
Менялся в окнах дома мутный спектр.

VIII

...Теперь финал в туманном стиле Бога,
Глядит с аэроплана Конан Дойл:
Два ангела, курнувшие немного,
Поют «Какая боль, какая боль!»
Медийный сыщик и профессор в бездну
Летят, как птицы, только крыльев без.
Шум водопада продолжает песню
Швейцарских мест.

¹ Кусать железо — беззастенчиво врать (фламандская пословица XVI века).

² Женитьба под метлою — сожительство без брака (фламандская пословица XVI века).

СКАЗКИ-КАФКИ

Кощей Бессмертный в ворона легко —
Ты видишь — превратился и не вскрикнул.
Сидит на ветке, копит колдовство...
Кот на зверином языке хихикнул,
Читай — мяукнул, было б что читать,
Все сказки-кафки в воздухе повисли:
Печь у Емели и диван-кровать,
С которой (запиши) так мало жизни,
А смерти сколько хочешь. Демиург
В облики Кощей или птицы
Посмотрит *так*, что не очертишь круг,
Как тот философ, что перекреститься
Ну не успел! С железным фейсом тварь...
Ты дальше знаешь (ворон взвился в небо).
Достал белила с кисточкой февраль,
Теперь не отличить сугроб от склепа.
На кончике иглы Кощей смерть,
Игла в яйце... всё в сундуке на дубе.
Не выставляй свой сумрачный мольберт,
Скажу вернее: вирши на Ютубе.
Заговоришься с призраком, с собой,
На кухню выйдешь, яблоко в тарелку —
Прыг-скок, прыг-скок, а в окнах затяжной
Февраль снимает с пожилого мерку.
Прыг-скок, прыг-скок и — яблоко во рту,
Подобный ход в какой-то старой книге,
Чьи письма отмечены в аду,
Как будто чародейства улики.
А в небе херувим с твоим лицом —
Смешливый дух. Смешные духи возле...
Какой из них пошепчет над стихом?
И, спрятанный в небесной папиресе,
Дым золотой колечками пойдёт...
А здесь ты или там — в потустороннем?
Для двери — видишь двери? — нужен код.
Смотри, впускают, но с бельём казённым.

* * *

После смерти твоей ли, моей
Никогда мы не вспомним, что жили.
В сновиденьях ловили чертей
На черте, за которой курили

Два-три признака, что состоят
У бабищи с косой на посылках.
Утром «мутят», как Борджиа, яд,
Самым умным разносят в бутылках.
Слышен хохот их пьяных коллег:
И в чистилище в ходе пирушки,
Коль захочешь попробовать crack —
Принесут в лучшем виде Петрушки.
И незримо друг в друга войдут
На ногах аллегории глюки,
Спят с массой извилин абсурд,
Здравствуй, улица Вязов и Крюгер!
Сны сойдутся на страшных мечях —
Вот мечей только нам не хватало.
Кто-то в чёрном прошёл на понтах
И бесшумных видений не стало...
...Если буду заброшен в Аид,
Не хочу, чтоб стояла ты рядом.
В тех краях никого не простит
Сердце, что перемечено адом.

БЕЛЫЙ СТАРИК 1

Раздулся март, как будто леденцов набрал за щёку. Утопает в белом
Старик, что строит стихотворный лофт, и крепким мелом

Всё чертит круг, в ту сторону тщеты, где панночка Хому не отпускает.
Старик читает личные листы. Снежинка тает

Глагольной рифмой. Ветер вьёт сюжет письма,
в котором виндусы и вьюги,
Не расшифрован шифр глухих планет, забыты звуки,

Которые жужжал цветастый жук — весны, тепла и всякого такого
Весёлый проповедник. Помнишь юг? Там было много...

Теперь не то. Теперь вино снегов, холодный виски твёрдого сугроба,
Там кто-то говорит: от берегов считай до гроба —

Пять капель сновидений. Вот весло, вот лодка,
от которых не укрыться, —
Вам месседж от Харона? Повезло. Ещё приснится?

Нет, ничего. Снежинка и опять. Разбухли щёки марта: так и сыпет. Давай, ложись в знакомую кровать. По капле выпит

Был день земли, стоящей на слонах, возможно, на огромных
 черепахах...
 Берёт в кольцо колец снежистый прах. Во льдах и знаках
 Раздулся март. Хотел сказать про то... Но я забыл, что я хотел бы
 в рифму...
 В широком габардиновом пальто, полярно мифу,
 Проходит та, чей арсенал всего — коса и смех, и чикалка-заточка.
 В карманах и заначках колдовство? Большая точка.
 И запах серы? Так бы и сказал. Но ты же говорил о габардине?
 Был свет плохой? Не выдумал? Соврал? *Так на картине.*

БЕЛЫЙ СТАРИК 2

...Только оттуда бьющий свет,
 Люди и тени стоят у входа...

Н. Г.

...Белый старик проникает в сознание твоё,
 Беглый снежок, как субстанция позднего марта,
 Мокнет и тает, и так — завершает бытьё,
 Но расцветает в кашпо африканская мальва.

Сыпется белое золото в области мглы,
 Белый старик улыбается с «коброй в кармане»,
 Дует на пенку кофейную... Духам земли
 Шепчет секреты, но — слышит вода в Иордане.

Белый старик начинается там, где *слова*
 И остаётся писаниям азбучным верным.
 Будет на аспидной дóске не аспидам — а
 Странному свету писать о последнем и первом.

Кто и кому говорит в загустевшую тьму?
 Это не важно. На ходиках скоро четыре.
 Белый старик в привидениях, будто в дыму:
 Звери из Книги выходят, зевают в квартире.

Люди и тени стоят у ворот и теперь...
 Белый старик в ожидании бьющего света
 Видит, открытую солнцем, сквозящую дверь
 В зоологический сад, где другая планета

Ждёт старика или — перерождение опять?
 Видишь, как он накрывается пледом иллюзий,
 Аналогичным скрывает пустую кровать,
 В кухню плетётся и делает в миксере смузи.

Грустный старик зарастает такою игрой
Слововидений... Снежок на прощание крыши
Мерит котом заблудившимся, дышит рекой.
Духи и ангелы ходят на цыпочках выше...

* * *

Найти песчинку дальних стран...

А. Б.

Классические дактили, Дали́
В каком-то африканском варианте
В песках Туниса виделись. В пыли
Песчинка та... Вы знаете. В команде
Верблюдов был белейший рядовой.
Плыл ветер Сусса медленный и вязкий,
И пальмы гнулись за моей спиной,
Защитные надев на лица маски.
Из кувшина торчала голова,
Вертясь, вскипая чайником сознания,
Ища не Вольку? В сумерках сова
Совиные прописывала знания.
Поэзия кофейни — гашишá
Духмяный запах, смешанный с эспрессо,
Затянешься и, кажется, душа
Песочного отпугивает беса,
И вызывает караванщика́,
Который от Харрара восемь суток
Вёл караван... легка моя строка,
Читай — сестра аборигенных дудок.
...Вдоль побережья цепь рибатов, где
Монахи-добровольцы носят воду,
Где Франко Дзеффирелли о Христе
Снимал кино, задействовал пехоту.
В рибате служба означает рай
По умолчанью после смерти, мальчик.
Гашиш и флейта: макрунах, играй...
В закатной вспышке тонет мой хрусталик.
Слоны ветхозаветные идут
На тонких ножках Сальвадора в синий
Пейзаж, в котором рядовой верблюд,
На шкуре у него песочный иней —
Космический, возможно? Вижу я —
Такой обман, такой гашиш рассудка
По линии Дали, что от жука
Безумия ни на динар не жутко.

ПОЕЗД ПРИЗРАКОВ

1

...А в памяти сгорели не дотла,
По-сутински смотрящие дома,
Какой их ветер так согнул умело?
Пожалуй, про художника загнул,
Закат перетекает в перекур
Последний, чтоб не быстро потемнело.

2

Вся местность, как заброшенный вокзал,
Никто тебя сегодня б не узнал,
Когда б ты появился ниоткуда,
В нездешнем барахле, отдельный тип,
Скиталец (сам — пиитский манускрипт),
Друг облаков, хранитель изумруда

3

Случайных рифм и зазеркалья, где
Двойник твой в королевской нищете
Взлетает на воздушном паровозе,
Дракона-марсианина с руки
Подкармливает: лучшие куски...
Присмотришься, и не дракон он вовсе.

4

Вон в той хрущёвке девушка-огонь
Делилась хиромантией, ладонь
Твою, как книжку, прочитала живо.
Обхохотался ты, а ведь сбылось,
Пускай в душе не Королевство Роз...
Но в сумке есть запас паллиатива.

5

Теперь она *старушничает* там,
Где змеи подползают по утрам
Пить молоко к дверям восточных хижин,
Где змей воздушный океаном над,
А ржаво-золотистый леопард
В лесах перекликающихся слышен.

6

Кому вторая предпочла тебя? —
Молва ходила: списан с корабля,
Вино-бухло, гашиш и — сдох котёнок.
На боговой делянке по ночам
(По тем же слухам), напиваясь в хлам,
Гоняет ведьму, чей больной ребёнок

7

Мамашей был удушен носовым
Платком, забудем ужас... Разрешим
Идти строфе, как туарегу в синем
По жёлтому, хоть здесь Сахары нет,
Но — прячется в безлюдие сюжет,
Мы тоже скоро этот мир покинем.

8

Не пойманный, не узанный, не вор,
За сотни вёрст живущий от платформ
Вишнёвых грёз, поклон, хариты, музыки.
В кофейне варят кофе на песке,
И мальчик-солнце с девочкой в огне
Сгорают-не-сгорают... Свет иллюзий

9

Стоит над ними миллионы лет,
На улицу выносят светлый тент,
Три призрака гуляют на проценты...
...Ты сам как поезд призраков. В купе
Очнёшься завтра. И сгорит в тебе
Вчерашнее в простом стакане бренди.

* * *

Скоро наступит день, и Харон в запале
Скажет: «Поток огромный, мне лодки мало,
Да и обол ваш медный в аиде-баре
Не принимают больше. Кому я пара,
Если в мозгах вода, а в лохмотьях буря?
Если занять сумею в подземном денег,
Сразу уеду в город — литература!
Мне подойдёт любое: аферы, демпинг,

Трафик травы и счастья в хороших дозах,
Ну, и с герлой, конечно, в Доминикану.
К чёрту баркас и этот корявый посох,
То есть весло, с которым я тут за гранью...»

Вот что тебе приснилось в снотворном мире,
Или ещё каком, понимай как хочешь,
Всё-таки это лучше, чем петь в могиле —
Что-то в подобном духе легко бормочешь
Не зажигая света, включая жалость
К старому речнику, а не к душам Леты,
Корни всего такого — Костлявой жало
И на стене шифрованные беседы.
...В ваннойходишь к зеркалу — вот же номер —
Видишь лицо Харона: «Пройдёте к лодке...»
Грязная птица Стикса в дверном проёме,
Как вариант ехидной загробной сводки.

* * *

Пережив рефлексии, спал отменно,
Нацепив очки сновидений: жизнь
Понималась, словно бы перемена
В пансионе Господа. «Завернись
В пуховое облако — станешь краше
И моложе в зеркале тех чудес,
Что руками вытянулись из башни,
И попался в щупальца мелкий бес,
О котором сказано у другого...
Эти башни выписал Сальвадор,
Мурашом присев на колени Бога,
Перед этим сделав себе укол», —
Говорил смотрящий за сновиденьем,
Этот смутный образ придумай сам,
Сохраняя вымысел, не задень им
То, что снится праведным дуракам.
В пансионе Сущего все мы дети:
Ты проспал два облака, я — себя,
То ловил иллюзии в лучшем спектре,
То смотрел, как режут внизу раба.
Ты проспал три облака, смерть, шестёрки,
Что в глазах у демонов и на лбу
Одного, что заперт в кирпичном морге,
Как детёныш аспиды в скорлупу.
...Мы проспали смерть, отпугнув тени,
Санитар подосланный, змею в рот
Аконит плеснул и — конец геенне.
Или всё случилось наоборот?..

АНТОН СИДОРЕНКОВ

/ Вологда /



ПОНОМАРЬ

Они вышли из-за угла гостиницы, вывеска которой подсвечивала витрины сувенирной лавки напротив, продающей магниты, берестяные кошельки, ножи из фанеры, кружки, брелоки и лапти.

Им недоставало лошадей и шляп, чтобы походить на мушкетёров. Их подряски подметали солёный снег, покрасневшие от ледяного ветра пальцы сжимали ручки чёрных портфелей, идеально подходящих для катания с горки за церковью Александра Невского.

Первый с трудом забрался на переднее сиденье и сразу стал искать ручку регулировки, пытаясь отодвинуться назад, чтобы колени не упирались в подбородок. Он раскатистым баском уточнил у меня конечный адрес и одобрительно провёл рукой по рыжеватой бороде.

На заднее сиденье через правую дверь, подбирая полы церковных одеяний, протиснулись по очереди два субтильных парня с подростковой щетиной и запотевшими очками. Один, похожий на киношного Арамиса, пристроив поудобнее ноги, разместился посередине. Он незлобно ворчал, что Георгий снова опаздывает, и ему приходится терпеть неудобства.

Рыжебородый вздыхал и прилаживал на своих коленях портфель, который не помещался между панелью и животом.

Третий — флегматичный очкарик с заднего сиденья, которому повезло сидеть у окна, голосом пьяного Атоса, поющего про старый пруд, предложил вовсе оставить Георгия и ехать без него.

Георгий избавил братьев во Христе от непростого выбора и появился из-за угла музея Кружева. Он был в брюках, кожаной куртке и бесформенных чёрных ботинках. Он спешил, сильно хромая и подволакивая правую ногу. Так Д'Артаньян торопился к Констанции после сражения с гвардейцами кардинала.

Он, смущаясь, занял последнее свободное место, и укоряющий басок с переднего сиденья сказал, что мы можем ехать на улицу Монастырскую. Эта небольшая улица получила своё название от Спасо-Прилуцкого Димитриева мужского монастыря, в кельях которого, как в студенческом общежитии, жили семинаристы Вологодской духовной семинарии. Одна монастырская стена бросала тень на замёрзшую кое-как крещенскую купель, вторая тряслась от проходящих поездов, третья чернела от выхлопных газов стоящих на вечно закрытом железнодорожном переезде машин, стена с входными воротами граничила с убогим сквериком, блинной, винным магазином и ветхими домишками цыган, забросивших кражи лошадей и кочевую жизнь.

— А вы почто ушли без меня? Я вас у трапезной ждал минут двадцать, — Георгий протер рукавом запотевшее стекло и повернулся к остальным. — Меня Сашка прогнал, сказал, что я на просфоры слюней напускаю. Я его простил, хотя грешно такое говорить на человека.

— Грешно таким остолопом быть, как ты, Георгий. Ты почему нас в трапезной ждал? Мы же всегда после патрулогии в монастырь едем.

Георгий не отвечал. Он пристально всматривался в белоснежное русло древней реки, в которую многочисленные рыбаки, вопреки известной поговорке, входили не по одному разу, пользуясь летаргическим сном замёрзшей воды и моторизованным буром. Он смотрел на лыжников, чертящих параллельные прямые на выпавшем вчера ватмане снега, и на детишек с разноцветными ватрушками, летящих вниз по пологому берегу.

Краем глаза он видел величественный Софийский собор, но выталкивал его из будничной повседневности мирских забав. Он любил смотреть на него вечером с противоположного берега, когда горожане расходились по домам, а бог возвращался в храм. Ему было видение о том, что, когда в храме есть люди, бог туда не заходит, он приходит, когда люди запирают дверь храма на ключ.

Он хотел рассказать об этом видении отцу Михаилу, но боялся, что тот его отругает за еретические мысли и заставит, пока все спят, открывать утром храм и готовить его к службе. Георгий страшился не ругани и работы, а открывать храм. Он не хотел встретиться с богом один на один, если тот вдруг не успеет уйти до его прихода.

— Георгий! — сидящий рядом с Георгием семинарист толкнул его в плечо и показал глазами на рыжебородого, который повернул голову назад и тоже пристально смотрел на него. — Ты почему нас в трапезной ждал?

Замученный вопросами Георгий полез в карман куртки, откуда достал пакет с крошками.

— Я думал, мы вместе крошек для уток монастырских наберём, тогда, может, братья немного добрее станут.

На съезде с Октябрьского моста на улицу Чернышевского машину безбожно трянуло. Пакет с крошками выпал из рук Георгия, и он неуклюже стал поднимать его с пола, доставляя неудобство своим соседям.

— Прекрати немедленно, Георгий, твоё поведение противоречит должному образу церковного служащего! Ты ведёшь себя, как непослушный ребёнок. Тебе надо не об утках думать, а о том, как научиться приходом управлять!

Голос сидящего у окна семинариста был уставшим и неживым, будто звучащим из старого кассетного магнитофона.

Теперь все трое смотрели укоряющим взглядом на провинившегося товарища с испачканным пакетом крошек в руках. Если бы не церковное облачение, то его вполне могли исключить из какой-нибудь партии прямо по дороге в монастырь.

Георгий ничего не отвечал, сидящий у окна ленился перевернуть кассету с напутственными словами в своей голове, рыжебородый ерзал на сидении и щипал угол портфеля. Машина остановилась на перекрёстке с улицей Карла Маркса. Впереди стоял микроавтобус, на двери которого пестрила реклама частного медицинского центра, предлагающего анонимное диагностирование и лечение венерологических заболеваний.

Рыжебородый пробежал глазами по тексту рекламы, сильно стиснул ручку портфеля и снова повернулся к товарищам.

— Георгий, ты не подумай, что мы к тебе придираемся! Мы желаем тебе добра, проявляем заботу. Тебе надо быть более самостоятельным. Представь, пошлют тебя в какой-нибудь деревенский храм, где три бабки и участковый алкаш, придётся все самому делать. А думаешь, просто по хозяйственной части управляться? — рыжебородый перекрестился и что-то пробормотал. — Даже вот возьми фотографа нашего Диму. Он и то учился, как службу правильно снимать, где стоять, чтобы кадиллом по лбу не получить, чтоб кипятком не ошпарили, чтобы алтарникам не мешать. Ты вот сам литургику сдал?

— На четыре, — Георгий сказал это с интонацией деревенского дурачка, которого берут «на слабо».

Рыжебородый немного замешкался, сбитый с толку положительным ответом, но смириться с таким поворотом событий не захотел.

— Ну-ка прочти мне второй изобразительный псалом!

Георгий засуетился, засовывая пакет с крошками обратно в карман, и стал что-то негромко говорить, видимо, изобразительный псалом.

Сидящий рядом с ним Арамис вырвал из его рук пакет и закричал:

— Ну что ты несёшь, как ты на четыре сдал? Сам схожу к настоятелю и попрошу, чтобы тебя пономарить на месяц назна-

чил, чтобы ты вместе с братьями всю монастырскую службу стоял. Они не выборочно, а всё читают, может, тогда запомнишь, как делать надо.

— А на лето, — сидящий у окна перевернул в голове кассету, — тебя надо отправить куда-нибудь подальше на послушание, где болото и комары, чтобы ты их своей кровью кормил, а не уткам крошки собирал.

По радио зазвучала песня «Наутилуса Помпилиуса». Её узнаваемое вступление прорвалось сквозь назидания старших товарищей, и приободрившийся Георгий попросил сделать погромче.

Бутусов не успел допеть первый куплет, как рыжебородый, извинившись, протянул руку и выключил звук.

— Степан, ну оставь, хорошая песня про спасителя, в ней слова хорошие.

— Не дело, Георгий, про сына Божьего и святого почитаемого песенки распевать. Для чего это? Скажи мне.

Неожиданно для всех за Георгия вступился Арамис.

— Степан, песня действительно хорошая. Послушает человек — и о Христе задумается. В церковь придёт.

Рыжебородый слушал и еле заметно покачивал головой.

— Не надо о Христе думать, — он перекрестился, — надо верить и почитать. Ты ещё рекламу в супермаркете развешай. В церковь надо идти не после песенок, а когда душа того потребует. Человек должен к богу прийти сам, без подсказок по радио. Вера — это не цирковое представление. Послушай, что он поёт. Будто бы спаситель ради потехи чудеса показывает, и на кресте был распят, чтобы по воде научиться ходить. Прости меня, грешного.

Сидящий у окна положил руку на плечо рыжебородого.

— Не горячись, Степан, по воде ходить невелико умение, встал и пошёл, ни ям, ни кочек. Куда сложнее по земле всю жизнь идти, не споткнуться, не упасть, с пути не сбиться, да ещё и остальным путь правильный показать.

— Степан, извини, — Георгий приложил руку к груди. — И вы, ребята, извините. Я, наверно, вас подвожу иногда, но ведь не со зла. У меня в детстве менингит был. После этого мне иногда сложно сосредоточиться, и я сбивчивый очень. Ко мне, когда я две недели в горячке сильной в больнице лежал, маму в реанимацию не пускали. Только один раз она зашла на пять минут и дала мне листочек с молитвой. Я даже не помню сейчас, что за молитва, потому что врач листочек у меня тут же забрал. Я стал, как умею, бога просить. Просил даже не за себя, а за маму и бабушку, что они плакать будут, если я умру. Спросил у медсестры, как правильно креститься, она не знала, бегала, спрашивала у санитарки. Рука не двигалась почти, я ею еле-еле под одеялом себя крестил. Помог боженька, я не умер. Только маму я больше не видел, ее машина сбила около больницы. Бабушка очень ра-

довалась, когда я домой вернулся. Она сказала, что меня в детстве крестили тайно от мамы, поэтому крестика у меня нет. Мама в бога не верила.

— Извини, Георгий. Не знали мы про твою маму, — рыжебородый обмяк и опустил широкие плечи.

— Что ты, Степан, не за что тебе извиняться, — Георгий широко улыбнулся, в уголках глаз поблёскивали слёзы. — Я стараюсь на тебя походить, мне братья всё время говорят, чтобы я на тебя равнялся, что у тебя в приходе не забалуешь. Везде у тебя порядок. Я так не смогу. Я, когда по всем правилам себе службу представляю, то в ней бога теряю, сам теряюсь. Не могу слова для него нужные найти, думаю, чтобы всё по чину делалось.

— Понимаешь, Георгий, все о чем-то бога просят, но не всех он может вовремя услышать или правильно понять. Ведь важно не только, что ты ему говоришь, но и как. Если один будет в лесу кричать, что потерялся, то его и не услышит никто, а если десять человек будут в свистки свистеть, за километры будет слышно. А когда этого понимания нет, то и пишут песенки про Христа.

Машина несколько раз подпрыгнула на резиновых панелях железнодорожного переезда, и с левой стороны потянулась монастырская стена. У ворот монастыря стояло несколько бабушек и священник. Когда семинаристы вышли из машины, они направились прямо к ним. Они учтиво поздоровались со священником и встали около него. Рыжебородый был самым высоким из них, и бабульки смотрели в его сторону опасливым взглядом. Георгий тут же потерял интерес к импровизированному собранию и побежал к монаху, вытаскивающему из ворот монастыря санки с дровами. Георгий схватил веревку санок, и они вместе с монахом потащили их к монастырской бане на берег реки. Георгий смеялся и размахивал свободной рукой, пока не исчез под заснеженным берегом.



Сергей СЛЕПУХИН

/ Екатеринбург /

* * *

лицом к стене, а за спиною — тьма,
неведомая комната чужая,
и как же трудно не сойти с ума,
в застенное пространство отъезжая.

Всё улетучилось, исчезло позади,
сон открывает зримые пространства,
и кто-то властно шепчет: «Погоди,
не уходи за грань непостоянства».

Исход и выход, ты и там, и тут,
горд отъезжающий, невыбывший — печален,
триумф прибытия — туда, где долго ждут
в непроницаемости чёрных готовален.

Без пола сцена, задний план исчез,
минутный человечек растворился.
Призывно ручкой машет — ангел? бес?
Я был и умер? Или не родился?

NATURE MORTE

Околевали сваленные вещи,
рты раскрывали, шевелясь немного,
но вдруг очнулись: силуэты резче
и краски ярче — караул, тревога!

Нагретый воздух осмелел, поднялся,
дымок едва заметно вскинул шапку,

я глянул на картину, рассмеялся:
разводы на стекле просили тряпку.

Часы, свеча, бокал — ничто не ново
на скатерти Шардена и Латура,
и вот настало пять минут восьмого,
и встrepенулась мёртвая натура!

Как хорошо: я тоже жив, и ладно! —
в пыли, в постели, в паспарту надгробном —
жизнь ненасытно сглатываю жадно,
рассматривая зрителя подробно.

* * *

Дышалось тяжело,
как будто сквозь бинты,
из города в село
рванул проворно ты.

Кузнечики, лужок,
пиликанье окрест,
скрипичный шов, стежок,
неслаженный оркестр.

Взмах бабочки, сачок,
промашка, мах — спугнул!
Скачок, еще скачок,
сердечный медный гул.

Чешуекрылых троп
незримое число,
счастливый филантроп,
бродяжье ремесло.

Горячий белый мир,
зеленая эмаль,
и солнце как вампир,
и ничего не жаль.

Наверх вознесена,
как с чистого листа,
свежа, обнулена,
по-летнему пуста.

МАГНЕТИЗЕР

Сварилась йенская романтика в башке,
созрели Боденского озера флюиды,
я Месмера до колик начитался,
себя вообразил магнетизером,
активизировал в душе подземный гул
и собственное «я» к тебе отправил.

О темный мир, «животный магнетизм»!
Злой анти-дух и падшая природа!
Несклонный к отвлеченным рассуждениям,
в тебе, мой медиум, я зримо ощущаю
очаг сезонной пагубной болезни —
позорную и глупую любовь.

Флюид плывет покорно, без усилий,
и вопреки рецептам умных практик
в твое пассивное расплавленное тело
занозой входит с «темной стороны».

Врачебное искусство постигает
нелепость своего несовершенства...

Алексей КУКСИНСКИЙ

/ Минск /



ФОРЕЛЬ ЛОМАЕТ ЛЁД

Обожаю ездить пьяным в такси. Хорошо ещё, если таксист попадаетея неболтливый, не пристаёт с глупыми вопросами, не рассказывает идиотских историй. Впрочем, болтливого всегда можно заткнуть резким словом. Но таксисты, как правило, неплохие психологи, и почти всегда понимают, когда клиент не расположен к беседе. А может, запах алкоголя меня выдаёт, поэтому водитель сидит тихо, и даже не смотрит на меня в зеркало, сосредоточен на дороге. По мне видно, что я не собираюсь мочиться или блевать у него в салоне, или творить ещё какую-нибудь дичь. Просто управленец крупной компании перебрал на корпоративе и отправляется на такси восвояси. Странное слово, восвояси, в нём слышится что-то восточное, японское, даже самурайское. Какие только глупые мысли не приходят в голову по пьяни. По пьяни, тут явно итальянские мотивы. Самурай женится на итальянской медсестре, и она получает двойную фамилию — Попьяни-Восвояси. Кажется, у меня внутри живёт маленький неадекватный филолог, просыпающийся, когда доза потреблённого мною алкоголя превышает какой-то допустимый предел.

Таксист хитрит, везёт меня длинной дорогой, но я не против. Просто смотрю в окно, на вечерний город, на огни, машины, редких в это время пешеходов. Мы едем по мосту, фонари отражаются в чёрной речной воде. У берега пришвартованы лодки и водные велосипеды, в завтрашний выходной они расползутся по реке в обе стороны, мешая пенсионерам рыбачить. Днём там агитировали несколько групп от разных кандидатов в президенты, а сейчас на набережной пусто. Я вытягиваюсь на заднем сиденье и откидываю голову на подголовник. Я специально выбирал машину побольше, отмахиваясь от назойливых бюджеток типа «поло-седанов» и Рено Логан, как от мух. Натуральная кожа приятно холодит бедра через тонкие джинсы, и я думаю, а не заехать ли к какой-нибудь из своих подруг, но я никого не предупреждал и не люблю принимать им-

пульсивные решения. А может, я просто недостаточно выпил. Мне хочется, чтобы таксист свернул с ярко освещённого проспекта на улицы потемнее, но я молчу, просто прикрываю глаза.

Сидеть становится неудобно, и я сперва не могу понять, в чём дело. Это телефон настойчиво вибрирует в моём кармане. Звонки в такое время не предвещают ничего хорошего, но я в любое время на посту, поэтому лезу в карман, нащупывая скользкий, как рыба, металлический корпус аппарата. Телефон ярко светит мне в лицо, заставляя меня зажмуриться, и цифры пляшут у меня перед глазами, складываясь в номер. Это Тайпан. Конечно, он не записан в моей телефонной книге, да и фамилия у него не совсем такая, но очень похожая, и он знает, что ему нельзя звонить на этот номер со своего, и от этого телефон в моей руке становится ещё холоднее. Не сегодня. Тайпан ждал очень долго, подождёт ещё. Говорят, он тоже баллотируется в президенты, но я не знаю, зачем ему это. Я понимаю, что он делает мне одолжение, звоня со своего личного, но мне просто нечего ему сказать. Алкоголь затуманил сознание и отнял силы, но вместе с тем принёс безразличие и безмятежность. Силы и разум — это справедливая (в моём случае) плата за мнимое спокойствие.

А вот и дом. Пятна света от фар пляшут на кирпичной стене, на полосатых светоотражателях шлагбаума. Свой пульт управления я оставил на рабочем столе вместе с ключами от машины, поэтому я выхожу здесь. Даю таксисту слишком много, даже для щедрого пьяного клиента. Он резко газует, чтобы я не успел одуматься. Летняя ночь прекрасна даже в этом городе, стоит только найти укромный уголок. Наш двор густо усажен старыми липами, и их густые кроны скрывают несколько тусклых фонарей. Липы давно отцвели, но я даже сейчас чувствую их густой медовый липкий запах. Липкий запах лип, мой маленький филолог опять довольно потирает маленькие сухие ладошки. Когда я выйду на пенсию, обязательно займусь пчеловодством и поставлю на балконе пару ульев, буду на старости лет пить чай с липовым мёдом. Ненавижу мёд.

Подъезд величественный, как древнегреческий храм, сплошные пилястры и капители. Охранять такое великолепие должны два гоплита, но на них, как всегда, не хватило денег. Тяжёлая дверь неохотно впускает меня в подъездное нутро. Консьержа нет на месте, но оно и к лучшему. «Входите», — говорит мне добрый электронный голос из открытых дверей лифта. Внутри никаких рисунков, надписей и обугленных кнопок. Электронный голос следит за своим подтянутым телом из стекла и стали. В отражении я вижу своё бесстрастное лицо. Кажется, мне пора в парикмахерскую, и Стелла позавчера тоже что-то такое говорила. Лифт тихо-тихо жужжит и незаметно останавливается. Электронный голос услужливо называет номер этажа. Под действием алкоголя всё видится по-новому, и раньше я не замечал, насколько он богат обертонами. Этот голос мог бы петь в опере.

Лестничная клетка скупо освещена, моя длинная тень стелется от лифта до двери. В ней нет глазка, потому что я люблю сюрпризы. Как обычно, у дверей сидит соседский кот, безволосый и складчатый, как мошонка. Алкоголь настигает меня, как только я переступаю порог квартиры, сил хватает только на то, чтобы раздеться, разбросав одежду как попало, и повалиться на кровать.

Конечно, я не заводил будильник, поэтому мне очень долго казалось сквозь сон, что где-то во дворе играет странная музыка, словно готтентотский оркестр стучит в барабаны и дует в костяные флейты. Большой готтентотский академический симфонический оркестр. Мой рингтон выделяется из тысяч остальных, именно он помогает оторвать мою похмельную голову от подушки. Сегодня мой официальный выходной, но у людей моей профессии не бывает выходных. Оркестр людоедов смолкает, пока я вслепую нашариваю у постели скользкое тело телефона, которое выскальзывает из моих неловких пальцев. Телефон опять звонит и вибрирует сильнее от переполняющей его ярости.

— Да, — говорю я преувеличенно бодрым голосом. Я открываю один глаз, и солнечный свет наносит физически ощутимый хук.

— Ахурамазда, — полковник Кирпонос неправильно ставит ударение, зато выходит в рифму. — Ты ещё валяешься? Марш на работу.

Одно из условий моей работы в Комитете — я всегда должен быть на связи и по первому сигналу являться по месту службы. Этот идиот, который своими сообщениями о ложных минированиях уже два месяца терроризировал город, выбрал крайне неудачное для меня время — похмельное субботнее утро.

— Уже выхожу, — бодро докладываю я полковнику.

Времени и желания на то, чтобы позавтракать, нет, поэтому я просто пытаюсь привести себя в человеческое состояние с помощью краткого ледяного душа. На часах восемь утра.

Машину вчера я оставил возле Конторы, поэтому добираться придётся на такси или метро. Я выбираю пешую прогулку и прохладе подземки. Иди мне через небольшой парк, окружённый высокими домами. Где-то в кронах деревьев возятся птицы, и кругом ни души. Этот парк я люблю с детства, а новые высокие дома ненавижу. Я помню этот район совсем другим, тихим, зелёным, где в тени садов прячутся деревянные домики, а главные центры общественной жизни — это синие водоразборные колонки. Новые высотки, как оккупанты, захватили и поработили добродушные деревянные дома, откусывая по кусочку от яблочных садов и огородов, и заняли их место. Под натиском капитала здесь ничто не может устоять.

В метро прохладно и пустынно, только ветер из тоннеля дует в лицо. В вагоне кроме меня ещё человек пять-шесть. Спинай прислоняюсь к надписи «Не прислоняться». Вагон оклеен рекламой, как прихожая аляповатыми обоями. Я и рад бы закрыть глаза и по-

релаксировать под шум поезда, но мне ехать всего две остановки. Но глаза я всё же закрываю, и вездесущая реклама пропадает. Хотя на концерт классической музыки я бы не отказался сходить. Я давно мечтаю уйти в отпуск, съездить в Вену и попасть на концерт в Музикферайн. Это такая же мечта, как бросить пить или уволиться из Конторы. Пить, впрочем, я стал гораздо реже.

Автоинформатор сообщает, что мне пора. В таком пустом вагоне я мог бы ехать вечно. В любой поездке в метро есть что-то трансцендентное, так и воображаешь себя Орфеем, спускающимся под землю в поисках Эвридики. Только в час пик от таких Орфеев в вагоне становится тесно.

Дежурные у турникетов чем-то встревожены, напряжённо всматриваются в лица проходящих мимо. Я тоже ловлю на себе взгляд ветерана подземки, морщины которого не может скрыть медицинская маска, и неожиданно для самого себя показываю ему язык. Он розовый и блестящий, не так давно я тёр его зубной щёткой. Ветеран подземки пучит глаза и делает вялое движение рукой, то ли хочет схватить меня, то ли осенить своё туловище крестным знамением, чтобы я, исчадие синей линии, исчез в облаке пара.

Ещё от выхода я вижу яркие полосатые турникеты и милиционеров, расставленных за ними, как егеря на медвежьей охоте. Безобразный торговый центр находится в окружении, небо с бегущими по нему облаками отражается в панелях из матового-чёрного стекла. Несколько людей с видеокамерами кружат перед барьерами, выискивая ракурс поудачнее. Я показываю ближайшему милиционеру своё удостоверение, и он отодвигает турникет, оставляя ровно столько места, чтобы я протиснулся. Ищу взглядом своих и не могу найти. Вижу кинологов и парней из взрывотехнической службы, несколько человек сбились в тесную группу, по их одинаковым костюмам понятно, за какую команду они играют. Иду мимо кинологов и не могу упустить случая потрепать ближайшего ко мне пса за ухом. Я вижу, что ему приятно, хотя он только открывает пасть и вываливает язык, розовый, как пятка стриптизёрши. Этого ньюфаундленда берут на все вызовы, и я пару раз угощал сигаретами его хозяина, круглолицего сержанта. Вот и сейчас я протягиваю ему изрядно помятую пачку. Он оглядывается, не видит ли начальство, но берёт сигарету.

— Как обстановка? — спрашиваю я и начинаю чесать пса за другим ухом.

— Вроде, что-то нашли, — говорит сержант, пряча сигарету в карман. Конечно, он не решился закурить в такой обстановке. Мне всё равно, поэтому продолжаю гладить пса, зарываясь пальцами в густую чёрную шерсть. Кажется, мне это нравится больше, чем ему.

— Бомба? — тихо спрашиваю я.

Сержант пожимает плечами. Мимо проходит группа в одинаковых костюмах, последний неодобрительно косится на меня.

— Фас, — достаточно громко говорю я ньюфаундленду. Конечно, он меня не послушает, но человек в костюме ускоряет шаг. Он не знает, что ньюфаундленд никогда не нападёт на человека. Я бы завёл такого же пса, мохнатого, чёрного, с огромными лапами и умными грустными глазами, да вот только держать такого в городской квартире — сплошное мучение.

— Ты знаешь, что у него на лапах перепонки между пальцами? — спрашиваю я сержанта. Тот молчит и просто смотрит на меня. На меня ложится чья-то тень. Полковник Кирпонос присаживается рядом, и мы гладим собаку в четыре руки, как будто играем сложную фортепианную пьесу. Ньюфаундленд делает вид, что так и должно быть.

— Хорошая собачка, — говорит полковник. У него огромные руки крестьянина-попелука, которые не могут скрыться полностью в густой собачьей шерсти. Полковник тяжело встаёт, с трудом разгибаясь, его объёмный живот почти касается земли. Я тоже поднимаюсь, но медленнее, чем мог бы, чтобы не обижать своего начальника. Пёс уводит сержанта к микроавтобусу. Мимо проходит сапёр в защитном костюме, неуклюжий, как водолаз, вытащенный на сушу. В руке у него жёлтый контейнер, по форме напоминающий бидон для молока. Это локализатор взрывного устройства, странно, что его переносят вот так просто, без предосторожностей.

— Они почти на сто процентов уверены, что там сахар, — говорит полковник. — Но блок питания, таймер и детонатор настоящие, собраны по рабочей схеме.

Полковник ведёт меня в здание через боковую дверь, мы спускаемся по крутой, слабо освещённой лестнице и попадаем в подвальный коридор — дешёвая отделка, подвесные потолки со следами потёков воды. В дальнем конце коридора толпа людей и опять полосатые ленты.

Полковник — старый друг моего отца. Может быть, именно это помешало ему стать генералом. Я вижу, что дело ему не нравится, и не только потому, что терроризм — не наш профиль, но и потому, что вокруг крутится слишком много союзников-конкурентов, так и норовящих обойти, подставить подножку, унизить и оболгать. Полковник не любитель подковёрных игр, но выиграл в них не один матч, и потому всей его команде нельзя расслабляться, ведь в организациях, подобных нашей (а в этом деле все организации подобны нашей) корпоративная история въедается в кожу, как угольная пыль у шахтёров. Желторотые птенцы из других команд, годящиеся полковнику в сыновья, ненавидят его только потому, что так принято. Я уже давно оперился и стал коршуном (а может, стервятником), но не могу сказать, что ненавижу парней из других контор, потому, что полковник у нас не культивировал вражду и ксенофобию.

На месте обнаружения работает сразу несколько групп экспертов, вокруг огороженного лентой пятачка толкучка, как в чёрную

пятницу в «Икее». Наши все здесь, что-то строчат в своих блокнотах. Блокноты у всех одинаковые, с эмблемой хоккейного чемпионата мира-2014. Свой я даже ни разу не доставал из ящика стола. Записывать сейчас особо нечего, пока не отработают эксперты-криминалисты. Вижу Сигизмунда Брониславовича, нашего профайлера. Он почти касается потолка своей длинной акромегальной головой. В кожаном плаще он напоминает персонажа военных фильмов, гипертрофированного нациста, какого-нибудь бригаденфюрера СС. Иногда при виде Сигизмунда Брониславовича у меня возникает шальная мысль щёлкнуть каблуками и изобразить партийное приветствие, но я сдерживаю себя, потому что он не оценит, и потому что он тоже старый друг моего отца. Я машу ему рукой и слышу, как скрипит чёрная кожа его плаща, когда он поднимает руку в ответ. Чтобы скроить этот плащ, наверное, содрали кожу с небольшого стада буйволов. Рука в нитриловой медицинской перчатке, натянутой едва до основания большого пальца. Для таких кистей ему бы больше подошли хозяйственные перчатки.

В подвале пахнет пылью, воздух здесь очень сухой. Мы с полковником останавливаемся, не доходя до ленты, Сигизмунд Брониславович подходит к нам. Криминалисты за его спиной похожи на привидения, их защитные костюмы напоминают маскировочные халаты времён зимней войны. Место преступления залито белым светом переносных прожекторов, и фигура приближающегося профайлера, подсвеченная со спины, выглядит просто демонически, словно низвержение павшего ангела, потерпевшего поражение в борьбе с всевышним.

— Почему мы не надели бахилы? — спрашиваю я у Кирпоноса.

— Они уже собрали образцы на лестнице и в коридоре.

Ни я, ни полковник не карлики, но Сигизмунду Брониславовичу мы едва достаём до плеча.

— Ну, как? — спрашивает полковник.

Профайлер морщит огромный лоб. У него всё карикатурно большое — рот, нос, глаза, уши, морщины. С самого детства он ассоциируется у меня с волком из «Красной шапочки», тем, у которого «а почему у тебя такие большие уши?», ведь первый раз я увидел его лет в пять, меня ещё даже в школу не отправили, а тут он приходит к нам домой, весь такой огромный и несуразный. Отец ни о чём меня не предупреждал, а мама накануне вечером прочитала мне ту самую сказку, и мне хотелось закричать: «Волк! Волк!», но я увидел, как отец ласково с ним разговаривает, и не закричал, ведь мой отец работает в милиции и не допустит, чтобы случилось что-то нехорошее.

— Пока присматриваюсь, — говорит профайлер. У него одна и та же туалетная вода вот уже тридцать лет, он пропитался ею насквозь. Полковник шевелит ноздрями, как жеребец, учуявший кобылу. Сам полковник абсолютно ничем не пахнет, прекрасное свой-

ство для представителя спецслужб. Сигизмунд Брониславович смотрит куда-то за наши спины. Над его головой помигивает красным пожарный извещатель. Подвал как подвал, может, просто поновее и почище, чем другие подвалы, которые я видел, но Сигизмунд Брониславович пытается за невзрачными, цвета мочи диабетика, стенами и пятнистым, как гиена, подвесным потолком, рассмотреть почерк и личность преступника.

— Что видишь? — спрашивает полковник.

Профайлер мотает головой. Даже с его чутьём и опытом тут нечего сказать. Немного позже, уже в Конторе, в тесном и тёмном зале, где проходят общие собрания, Сигизмунд Брониславович облекает свои смутные догадки и мысли в форму слов, которыми щедро делится с нами. Мы — это вся группа, прилежно замершая за маленькими столами, на которых едва умещается блокнот и карандаш. Эмма уже раздала нам листки с предварительными результатами криминалистического осмотра, и заняла своё место чуть сбоку от меня, на последнем ряду. В школе я всегда сидел среди первых парт, а здесь, на работе, всегда пытаюсь забраться подальше от интерактивной доски. Если чуть скосить глаза, я вижу объёмный силуэт Эммы, качающей головой в такт словам профайлера. Кто бы что ни говорил, Эмма — толковая девушка, попавшая к нам не за красивые глаза и не потому, что имеет покровителей среди руководства. По слухам, она раньше работала в президентской службе протокола, кажется, я даже видел её пару раз на видео, где она и ещё несколько девушек помогали первому лицу государства сажать деревья и убирать арбузы. Правда, тогда Эмма весила килограммов на двадцать пять меньше. Из-за лишнего веса она ушла из протокольной службы и попала к нам, так как была дипломированным юристом. И вот уже почти год, как она раскладывает бумажки, карандаши, носит кофе и подаёт толковые реплики, когда её спрашивают. Несколько наших парней делали вялые попытки позвать её на свидание, но Эмма пресекала это на корню. Лично мне нравятся женщины постарше, так что я всегда смотрю ей в глаза, не опуская взгляд ниже подбородка, и не пытаюсь глупо шутить. Может, именно поэтому сейчас она и села рядом.

Я отвлекаюсь и слушаю профайлера краем уха. Я отключил на своём телефоне звук и вибрацию, и теперь мне очень хочется залезть в карман и проверить, нет ли пропущенных звонков или сообщений. Спины сидящих впереди Серпохвостова, Герцика и Васи надёжно защищают меня от укоризненных взглядов полковника Кирпоноса. Сигизмунд Брониславович, тем временем, вещает о том, что минёр, проявляющий в своём поведении все признаки нарциссического расстройства личности, почти наверняка вернётся на место преступления.

В помещении душно, кондиционер работает на полную мощность, его жалюзи расталкивают прохладу среди сидящих людей. Я вижу, как под потоком воздуха на блестящей голове полков-

ника Кирпоноса колышется одинокий волос, пощаждённый невнимательностью парикмахера. Волос стоек, как целая дивизия оловянных морпехов. Я должен быть таким же стойким, чтобы окружающая действительность не могла меня согнуть. Сигизмунд Брониславович продолжает говорить, кажется, в последнее время он стал многословен, как на лекциях, которые он иногда читает в университете. Я чуть поворачиваю голову — так и есть, Эмма старательно записывает. Она не похожа на француженку, и, в отличие от своей тёзки Бовари, разборчива в своих знакомствах. Я, например, и не знаю, есть ли у неё кто-нибудь. Надо будет спросить Серпохвостова, он знает всё и про всех. Хотя какое мне дело, думаю я, это опять действительность прорывается сквозь меня, пытается раздавить и уничтожить, размазать, как масло по бутерброду. Хотя сравнение неточно, моя действительность не танк, не ураган, не огромная, лязгающая шестерёнками машина, она не подавляет, не корёжит и вообще никак механически не воздействует. Это, скорее, кислота, даже не концентрированная, а просто слабый растворитель, безвредный в малых количествах. Но, когда ты ежедневно и ежесекундно им окружён, даже не окружён, а погружён в него с головой, то он растворяет тебя, безжалостно и без остатка. И скафандра у меня нет. Только иногда удаётся подняться на поверхность, глотнуть воздуха; например, если послушать хорошую музыку или посмотреть хороший фильм, или, чёрт возьми, прочесть что-нибудь хорошее, из классики. С детства я знал, что я не такой, как все, не лучше или хуже, а просто другой. Если бы моя семья могла остаться со мной, может, всё и пошло бы по-другому, и я бы не сидел сейчас на скучном совещании. У нас в стране ничего не происходит, и этот жалкий террорист тому подтверждение. Просто кому-то выгодно нагнетать обстановку накануне президентских выборов.

Профайлер умолкает, и мы все идём смотреть видео. В кабинете у полковника на столе кучей свалены несколько внешних жёстких дисков, мы подходим по одному, и полковник каждому вручает по накопителю.

— Записи с камер, — говорит полковник и смотрит прямо на меня. — Не «Аббатство Даунов» и не порно.

Его жена любительница сериалов. Я получаю свой диск и чувствую, насколько он тяжёл от переполняющих его часов записей с камер видеонаблюдения. Я мысленно прошу верховное существо, чтобы качество видео было повыше, потому что от мысли, что следующие несколько дней мне предстоит провести, уставившись в экран, воспроизводящий изображение январской метели, мне хочется блевать.

Кстати, не мешало бы подкрепиться, потому что время незаметно приблизилось к обеду. Раньше прямо напротив конторы была крошечная блинная, куда можно было попасть сразу с тротуара, просто переступив высокий дубовый порог. Когда было настроение, я брал себе пару блинов с ветчиной и сыром (не забыть добавить

грибы), и съедал их за обшарпанной деревянной стойкой, вдыхая запахи кухни. Там плохо работала вытяжка, и одежда ещё долго пахла перегретым маслом и жареным тестом. Иногда из окна своего кабинета я видел Эмму, скрывающуюся в дверях блинной, и пропадающую там на добрых полчаса. Ни разу я не смог подгадать так, чтобы оказаться за стойкой одновременно с девушкой, просто чтобы посмотреть, что она себе берёт. Овощные салаты и диетические блюда в меню отсутствовали. Сейчас блинная закрыта на ремонт, и из окна моего кабинета видны измазанные побелкой двери, через которые белые, как мельники, рабочие, заносили мешки со шпатлёвкой и листы гипсокартона.

В кабинете душно, но я не открываю окно. Ноутбук я тоже не включаю, у меня есть идея получше. Я встаю из-за стола и по длинному коридору иду к кабинету полковника. Говорят, в нашем здании до революции располагался публичный дом, и поэтому у нас такие маленькие кабинеты и тесные коридоры. Я громко стучу, дожидаясь, пока полковник Кирпонос рявкнет: «Войдите!» Я говорю, что возьму видео домой, чтобы посмотреть все выходные. Полковник кивает. Его компьютер выключен, он просто сидит, положив руки на стол и сплетя пальцы. Окно открыто, выходит на скучный внутренний двор, где не растёт ни деревца.

— Ты давно общался с родителями? — спрашивает вдруг полковник.

Я пожимаю плечами.

— Недели две назад.

На самом деле прошло уже больше трёх недель. Не знаю почему, но мне стыдно признаться в этом полковнику.

— Ты звони им почаще, — говорит полковник. — Они, всё-таки, уже не очень молодые.

— Маша не даёт им скучать, — говорю я.

Полковник ёрзает на кресле. Колёсики скрипят по ламинату, и я уверен, что под столом уже протёрты глубокие бороздки. Наш начальник АХЧ жаловался как-то в курилке, что раз в два-три месяца приходится менять газлифты на кресле полковника.

— Сколько уже у неё — двое? — спрашивает Кирпонос.

— Да, — отвечаю я, — мальчик и девочка.

— Твоя мама, наверное, души в них не чаёт.

Я киваю. Полковник опять скрипит креслом, словно намерено пытается его сломать.

Когда я выхожу из кабинета, он тихо говорит:

— Надеюсь, ты когда-нибудь сможешь с ними увидеться.

Рядом с моей машиной припаркован серебристый «гольф» Васи, и я с удовлетворением отмечаю, что его лобовое стекло капитально засрано голубями, а мой «мерседес» чист, как крыло ангела. Мимо проходит группа туристов, машет руками и говорит на непонятном языке. Что они забыли в нашем упадочном городе? Меня

всегда удивляло, зачем они к нам едут. Я могу понять тех, кто едет пощекотать свои нервы в казино или пообщаться с легкодоступными девушками, но что тут делать остальным? За природой глупо ехать в душный мегаполис. Находясь в центре Европы, становясь постоянным полем боя и испытывая влияние разнородных сил во всех сферах, мы создали очень немного того ценного, что смогло перешагнуть национальный уровень. А как могло быть иначе, если даже с поисками национальной идентичности мы испытываем огромные проблемы. Четверть века назад мы могли что-то изменить вокруг себя и в самих себе, но просто потратили время на создание одного гигантского симулякра размером с государство, причём главой симулякра оказался злобный и мстительный параноик с явной мегаломанией. Не думаю, что у нас в конторе кто-то знает значение слова «симулякр» и «мегаломания».

Салон машины нагрет солнцем, и я включаю кондиционер. Провинциализм, вот самое мягкое слово, приходящее мне на ум. Здесь, в самом центре города меня корбит от дремучего провинциализма. Не выношу этих вечных мелких разговоров, смешков за спиной, хитрости, подхалимажа и мещанства в худших его проявлениях. Я включаю аудиосистему, и она точно угадывает моё настроение. Из динамиков мне навстречу рвётся «Альпийская симфония» Штрауса. То, что слушают мои коллеги — дьявольскую смесь поп-музыки и шансона — я просто не воспринимаю. Окна закрыты, эту музыку я не хочу делить ни с кем.

К сожалению, на этих узких улицах не разогнаться, ведь музыка так и подзуживает нажать на педаль газа. Сейчас я наедине с музыкой, для меня не существует ни машин, ни пешеходов. Точно так же в конторе и чувствую свою избранность, даже элитарность. Мне плевать, что другие обходят меня по службе, им никогда не стать таким, как я. И я точно знаю, что не стану таким, как они. Я постукиваю пальцами по рулю и почти готов закрыть глаза, как красный сигнал светофора заставляет меня нажать на тормоз.

На этом перекрёстке красный горит долго, и я могу отвлечься от руля. Поворачиваю голову налево, и вижу торжествующий взгляд Тайпана. Его изображение немного неровно наклеили на дверь маршрутного такси, и вид у него слегка демонический, да и шрифт слогана, призывающего голосовать за кандидата, подобрали уж слишком вычурный. Ни за что не стал бы отдавать свой голос за такого. Типичное лицо казнокрада и сластолюбца. Впрочем, на контрасте с прочими баллотирующимися крепкими хозяйственниками может и проскочить, тем более что я тоже мог его наблюдать среди сборщиков арбузов государственной важности, только на заднем плане. Простые люди на такие видео не попадают.

Маршрутка, как ей и положено, резко стартует, как только загорается жёлтый. Я аккуратно трогаюсь и вижу, как маршрутка, перестраиваясь между рядами, подъезжает к остановке. Тайпан тоже

умеет лавировать, иначе не стал бы из простого торговца, держащего несколько точек по продаже овощей и фруктов, основателем и владельцем крупного ритейлера. Может возникнуть вопрос, зачем такому важному человеку я — маленькая и не очень важная шестерёнка в правоохранительном механизме нашей страны. Но из таких шестерёнок, встроенных в разные уровни государственной машины, такие как Тайпан создают собственные механизмы. Со стороны кажется, что большая машина, буксуя и плюясь маслом и паром, работает и блюдёт интересы государства, а на самом деле в выигрыше оказываются подобные Тайпану, сумевшие связать действующие шестерёнки, колёсики, валы и шкивы собственной невидимой системой кинематических связей.

В таких раздумьях я подъезжаю к дому. Музыка заканчивается, когда я выключаю двигатель. Я совершил ошибку, и Тайпан меня не отпустит, пока я не сделаю то, чего он хочет. Всё сплелось в один огромный липкий холистический ком, гораздо больший, чем простая сумма составляющих его случайных совпадений. Некоторое время назад я в составе группы ребят из конторы участвовал при задержании одного коррупционера, крупного чиновника министерства здравоохранения, курирующего закупку медицинского оборудования для больниц. Его вели долго, установили в кабинете прослушку и, наконец, взяли с поличным. Я опоздал и явился уже в самом конце, когда увели взяткодателя, когда маленький скрюченный коррупционер, давясь рыданиями, давал показания, обессиленно привалившись к стене, словно отработал стахановскую смену в угольном забое. Рьяный опер чересчур туго застегнул наручники на его маленьких детских кистях, и теперь взяточник пытался найти им удобное положение. Серпохвостов по-хозяйски расположился в кресле, разложив на столе бланки протокола и диктофон. Подозреваемого раздражали лишние люди, шарящие в его шкафах, и оператор, ведущий съёмку, тычущий камерой в облитое слезами и потом лицо хозяина кабинета. Я старался не обращать на него внимания, но наш клиент хлюпал носом, всхрапывал, кашлял, сморкался и булькал горлом, как огромный голубь. Серпохвостову постоянно приходилось переспрашивать и просить говорить погромче.

— Костя, возьми купюры крупным планом, — попросил Серпохвостов.

На столе, рядом с листами протокола были аккуратно разложены купюры, почему-то швейцарские франки, голубые, как апрельское небо. Я обратил внимание, что на деньгах изображены сложенные лодочкой ладони, символично намекающие на мздоимство.

Мне было нечем заняться, поэтому я просто стоял у края стола, как официант. Сумма взятки равнялась моей полугодовой зарплате со всеми доплатами и премиями. Я не испытывал ни ярости, ни обиды, ни ненависти, лишь лёгкое удивление. Кто бы мог подумать, что подобному сморчку приносят в конвертах такие суммы.

Хозяин кабинета немного успокоился, затребовал адвоката. Вместо адвоката ему принесли стакан воды, и он неловко обхватил его скованными руками, смешно вытягивая губы, чтобы попить. Серпохвостов руками в перчатках собрал купюры в аккуратную стопку и упаковал в пакет для улики, затем отдал пакет кому-то из помощников.

— Ладно, заканчиваем, — сказал Серпохвостов.

Взяточника увели, опера тоже смылись, остались только я, Серпохвостов и оператор.

— Костя, будь другом, — ласково сказал Серпохвостов, — сходи вниз, принеси мою сумку из машины.

Костя, ворча под нос, пошёл на выход. Я смотрел на портрет президента, висящий над столом, и подумал, что было бы неплохо привлечь его как свидетеля, ведь он явно видел всё, что происходил в этом кабинете.

— Покарауль тут, — сказал Серпохвостов, — я схожу отолюю. Любопытных гони на хрен.

— Сюда никто не сунется.

Серпохвостов кивнул и вышел, плотно закрыв за собой дверь. Я почувствовал, что мои руки вспотели в перчатках. Я продолжал смотреть прямо в хитро прищуренные глаза президента. Как оказалось, он видит не всё. И зачем ему такая массивная рама? Обычно в чиновничьих кабинетах портрет первого лица заключён в аскетичную узкую рамку серебристого или золотистого цвета (чёрная не допускалась), а здесь прямо ампириная рама из золочёного натурального дерева, украшенная витиеватыми пальметтами. Ощукая пустоту внутри, я протянул руку и чуть отодвинул раму от стены. Мне пришлось прижаться щекой к шершавым обоям, чтобы заглянуть за край и увидеть там конверт из жёлтой крафт-бумаги, приклеенный скотчем к реверсу портрета прямо возле типографского штампа. Ничего себе, подумал я. Наверное, ребята не тронули портрет из чувства благоговения. Только зачем клиент прятал конверт именно здесь? Обычно такие конверты устало стряхивают в ящик стола, как хлебные крошки, оставшиеся после сытного обеда. Конечно, лучше всего принимать мзду не в рабочем кабинете, а где-нибудь подальше от влажно блестящих любопытных глаз, на парковке или в церкви. Здесь, скорее всего, хозяин ненадолго выходит, допустим, в туалет, оставляя принесшего конверт одного в кабинете. Дароноситель прячет в конверт в заранее условленном месте, хозяин возвращается и прощается с посетителем у дверей. Занавес, все довольны.

Я услышал шуршание за дверью и едва успел вернуть картину на место, как в дверь протиснулась голова Серпохвостова и сказала:

— Постой тут ещё пару минут, надо сбегать в машину. Костя что-то не может сумку найти, дверь надо опломбировать.

Серпохвостов исчез ещё до того, как я успел кивнуть ему в ответ.

Это знак, подумал я, и к тому времени, как вернулся мой товарищ со всем необходимым, я равнодушно стоял у окна спиной к двери, пялясь в экран смартфона. Конверт, засунутый в рукав моего тренча, согревал метафизической теплотой богатства мой левый бок. Я не заглядывал внутрь, но знал, что внутри притаилась моя годовая зарплата.

— Давай, — сказал Серпохвостов. — Хватит в телефоне залипать.

Он наспех наклеил на двери специальную пломбировочную ленту, поставил печать и расписался витиеватым росчерком. Я читал где-то, чем мельче личность, тем изощрённее подпись. У меня просто маленькая закорючка, похожая на спирохету.

Люди боязливо расступались перед нами, когда мы шествовали к лифам. Небольшая очередь растворилась, и в шестиместной кабине мы спускались только вдвоём. Свёрток уютно устроился в моём рукаве. Серпохвостов рассматривал своё отражение в зеркальной стенке лифта, пока электронный голос вежливо не пригласил нас на выход.

Серпохвостов, в виду хорошего настроения, расщедрился и подкинул меня до дома. Обычно, когда мы ездили на служебной машине, он высаживал меня у метро. В этот раз он даже улыбнулся и помахал мне рукой, как будто я простил ему крупный долг.

Поднимаясь в квартиру, я чувствовал лёгкое возбуждение, как от эйфоретиков. Впервые я совершил такой крупный служебный проступок, но никакой вины не ощущал. Всё это было как в детстве, понарошку, просто маленькая, только мне одному известная игра, в которую я любил играть лет в шесть-семь, когда за определённый промежуток времени считал на улицах лысых мужчин, или женщин в очках, или велосипедистов, и радовался, когда сочтённое совпадало с заранее загаданным числом. Снимая тренч, я аккуратно извлёк конверт, оказавшийся более пухлым, чем когда я впервые взял его в руки. Жёсткая, плотная бумага, клапан аккуратно заклеен. Треск разрываемого конверта в тишине квартиры прозвучал неожиданно громко,.. Я отогнул оторванную часть конверта и опять почувствовал себя маленьким мальчиком, разворачивающим главный подарок на день рождения. Толстая пачка серых банкнот, которые все по привычке называют зелёными, заполняла собой всё внутреннее пространство конверта, но под надорванным клапаном я нащупал ещё что-то тонкое, но более широкое, чем деньги. Я повернул руку и отогнул надорванный край. Какая-то старая книжка в мягком потрёпанном переплёте, цветом лишь чуть-чуть светлее конверта. Конечно, первым делом нужно было пересчитать деньги, но эта брошюра сейчас интересовала сильнее. Неужели тихий взяточник был ценителем литературы?

Я аккуратно извлёк из конверта небольшую книжку с истрёпанными краями. М. Кузмин, «Форель разбивает лёд», значилось на обложке поблёкшими синими буквами. Книжке больше девяноста лет, зачем она нашему взяточнику? Я бегло перелистал хрупкие страницы. Я слышал о Кузмине, знал немного его биографию, но стихов наизусть, конечно, не учил. Но всё же эта книжка неспроста оказалась у меня в руках вместе с кучей денег. Название сразу запало мне в душу, я сразу представил сильную блестящую рыбу, одним упругим ударом своего тела разбивающую хрупкий весенний лёд, чтобы глотнуть кислорода после вялой зимней неподвижности. Вся моя жизнь так же неподвижна и безжизненна, и я так же безуспешно бьюсь о её холодный и скользкий лёд в поисках какого-либо смысла.

Позже я поискал информацию и о Михаиле Кузмине, и о его книге, последней прижизненной, изданной в Советском Союзе. Странно, что её вообще решились издавать в стране победившего пролетариата. Большой ценности она не представляла, на онлайн-аукционе её можно было купить долларов за 200–300.

Через несколько дней, уже во время обыска в загородном доме у коррупционера, я понял, зачем ему книга Кузмина. Хозяин дома увлекался коллекционированием книг, и вся его коллекция носила ярко выраженную гомоэротическую направленность. Пока наши коллеги простукивали пол и шарили по мебели, Серпохвостов взял с полки альбом репродукций Сомова, открыл, покраснел и быстро поставил на место.

Но я отвлёкся. Главное, всё же, деньги. В общем, наш взяточник был только одним из звеньев в длинной цепи распределения финансовых потоков, которую выстроил Тайпан, среди всего прочего занимавшийся поставками медицинского оборудования и медикаментов. Спустя пару недель после того, как я неожиданно разбогател, в мой выходной день мне на мессенджер с неизвестного номера прислали короткое видео не очень хорошего качества. Не понимаю, как мы могли проворонить камеру, установленную в кабинете, ведь наша контора проводила полную проверку. В ролике, снятом откуда-то из-под потолка и сзади, я играл главную роль, и все мои манипуляции с портретом президента просматривались очень хорошо. Можно было прикинуться дураком и рассказать, что в конверте была всего лишь старая книга полузабытого ныне поэта-гомосексуалиста, вот только человек, позвонивший мне спустя несколько часов, точно знал о содержимом.

Позвонил сам Тайпан, не кто-то из его многочисленных помощников. Оказывается, он был знаком с моим отцом ещё с девяностых годов, когда открывал первые киоски на Комаровке, а папа работал заместителем начальника районного отдела милиции.

— Вы, видимо, не для того звоните, чтобы вспоминать молодость, — сказал я. — Я тогда ещё в школу ходил.

Тайпан очень тактично упомянул о конверте и деньгах.

— Есть небольшая проблема, — сказал я. — Я уже почти всё потратил.

— Да, красивая машина, — сказал Тайпан, — то, что нужно для молодого парня.

— Я выставлю её на продажу. Может, салон заберёт её обратно. Я думаю, в течение двух-трёх месяцев верну ваши деньги по частям, — сказал я. — Вы, кажется, богатый человек.

— Я рад, что сын моего знакомого благодаря этому маленькому казусу будет ездить на хорошей машине. Я даже рад, что ты оказался не таким благоразумным, как твой отец. Деньги меня не интересуют.

— А что интересует? — тихо спросил я и встал с дивана.

Тайпан вкратце рассказал, что от меня требуется. Если меня поймут, потянет лет на восемь. Уничтожение улик — это не хер собачий, знаете ли.

— Я не буду этого делать. Я верну деньги.

— Деньги меня не интересуют, — мне показалось, что его голос звучит устало. — Ты это сделаешь, или видео окажется у твоего начальника, у его начальника, у нескольких конкурирующих организаций и твоего отца. Поверь, он будет огорчён. Мягко говоря.

К счастью, то, что требовал Тайпан, было не очень срочным, и я принялся делать то, что умею очень хорошо — тянуть время.

В свете приближающихся президентских выборов, обеспокоенный судьбой некоторых других кандидатов, Тайпан начал всё активнее давить на меня. Я сомневался, что его пигмейская в политическом смысле фигура заинтересует силовиков, но Тайпан продолжал меня напрягать. Всё это могло закончиться любым исходом, поэтому я решил предупредить отца.

Вот уже почти десять лет мы общаемся только онлайн, раз в неделю выходим на связь по субботам. Был четверг, отец сразу понял, что что-то случилось. Я старался не смотреть в камеру и аккуратно подбирать слова, когда рассказывал. Отец не перебивал, я был рад, что мамы сейчас не было рядом с ним. Закончив, я нашёл решимость посмотреть на экран.

Отец погрузстнел и немного отодвинулся от экрана. Нас разделяли не только сотни километров, но и время, которое мы провели порознь. Он сам был создателем и порождением той системы, которая изгнала его из страны десять лет назад, оставив в заложниках сына. Оставив службу в органах, отец занялся бизнесом, стараясь делать это честно и не использовать административный ресурс. Несколько лет всё шло хорошо, но осведомлённость отца о некоторых делах середины девяностых, когда действующий президент перекраивал конституцию и всю вертикаль власти под себя, попутно самими разными способами устраняя тех, кого считал политическими противниками, создавала трения при взаимодействии с административными органами. Со временем трения вылились в проверки,

предписания и штрафы. Запахло сфабрикованным уголовным делом. Отец понял, что работать он больше не сможет, и эмигрировал из страны. Я не знаю, как и с кем точно он договаривался, но знаю, что даже ступая на трап самолёта, отец ожидал окрика «Стоять!», всего прочего карнавала с заламыванием рук и заталкиванием в машину без номеров, который обычно за этими словами следует. В общем, отца, маму и сестру отпустили, а я остался. За несколько недель до их отъезда у нас с отцом состоялся долгий сложный разговор. Их выпустят, только если я останусь. Отцу сказали, что лучше смогут контролировать его поведение, если я, молодой начинающий следователь, останусь здесь. Моя сестра только-только закончила гимназию и собиралась поступать в какой-нибудь европейский университет. Понятно, что я настоял на том, что должен остаться. Мне запрещён выезд за границу; отец, мать, сестра и её семья не могут приехать сюда. Даже мне иногда бывает здесь одиноко.

— Ты совершил ошибку, — сказал отец, немного подумав. — Выходов у тебя немного.

Он понимал, что я позвонил ему не за советом, а для того, чтобы предупредить, чтобы то, что с большой вероятностью произойдёт дальше, не стало для него сюрпризом.

— Я разберусь, папа, — сказал я. Я даже немного в это верил сейчас.

Мы поговорили ещё немного. Мама увлеклась йогой, сестра с мужем и детьми уехали в отпуск в Австрию. Отец хочет купить небольшую моторную лодку, чтобы рыбачить.

— Когда-нибудь и мы с тобой... — сказал он и замолчал.

— Конечно, — сказал я.

Мы попрощались. Он наверняка ничего не станет говорить маме, надеясь, что всё обойдётся.

Пора отбросить все воспоминания, сейчас они только мешают. Я могу просто включить ноутбук и несколько часов посвятить просмотру записей с камеры видеонаблюдения, не думая ни о чём. Уже через десять минут у меня начинает рябить в глазах от мельтешения машин и людей в кадре. Иногда я делаю пометки в блокноте с указанием таймкода, когда происходит что-то подозрительное. С этой камеры ничего толкового не будет, вход в подвал почти не виден, а во внутреннем дворе движение машин и пешеходов между магазинами и кафе слишком интенсивное, чтобы детально в нём разбираться. Но я честно сижу и смотрю на экран, пока у меня не начинают болеть глаза и шея. Эти сеансы самоистязания иногда помогают мне забыть о другой боли.

На улице летние сумерки, и я вспоминаю, что холодильник пуст, нужно заказывать доставку. Я не знаю, чего хочу, поэтому заказываю всё подряд. Доставят в течение часа. Я переключаюсь обратно на записи с камеры, и в мыслях внезапно наступает прояснение. Я не могу описать это по-другому, кажется, это именно то, что

дзен-буддисты и называют «дзен». Я вижу, как на экране монитора проезжает серая бесцветная машина с тёмной полосой на борту. Я знаю, что она принадлежит службе доставки, и, пока я смотрел ролик, я видел их раз пятьдесят. Я знаю, что эти машины оборудованы видеорегистраторами, и если затребовать эти записи, результат может получиться гораздо значительнее, чем от просмотра чёрно-белого видео с плохонькой камеры, висящей непонятно где.

Несколько часов завтрашнего утра я трачу на то, чтобы добраться до руководителя службы доставки. Видеорегистраторы с машин, развозящих товары, передают видео онлайн в диспетчерский центр. У меня на руках не было письменного запроса, а без разрешения директора никто не хотел отдавать нужные мне записи просто так. Даже с моими полномочиями сделать это было непросто. Одно название моей конторы наводит ужас на собеседников. Я гоняюсь за директором, пока не припираю к стенке на какой-то овощебазе. Тут холодно, работают кондиционеры, но директор взмок от пота, будто отработал несколько сетов в тренажёрном зале, не снимая своего красивого костюма. Наверняка он думает, что я хочу прижать его за махинации, неуплату налогов или отмывание денег. Бизнесмены в нашей стране знают, что при желании привлечь можно любого, и, чем хуже идут дела в экономике в целом, тем больше владельцев крупных и средних бизнесов упрятываются в СИЗО и участвуют в судах с заранее известным приговором. Директор улыбается через силу, над нами витает лёгкий картофельно-свекольно-морковный запах, причудливо перемешивающийся с запахом туалетной воды директора. В дальнем конце склада открыты двери, через которые периодически заезжают и выезжают машины. Я по-быстрому, пока он не обделался, объясняю, что мне нужно. Он смотрит меня, не понимая. Кажется, директор ждёт, что сейчас за моей спиной явятся ребята из группы захвата с автоматами наперевес. Я повторяю снова, и его лицо расцветает неподдельно радостной улыбкой.

— Час назад мы отдали все записи одной из ваших сотрудниц.

Люди моей профессии должны хорошо владеть собой, но я не люблю, когда кто-то меня опережает. Я мысленно перебираю всех коллег-женщин, работающих по этому делу, но картинка не складывается.

— Сотрудниц? — строго переспрашиваю я.

Директор кивает и говорит:

— Да, такой пышечке.

Он явно повеселел, и в подтверждение своих слов рисует руками в воздухе что-то вроде контрабаса или песочных часов — широко, узко, широко.

Вот, значит, как. Эмма меня обскакала. Я знал, что она неглупая девушка, но она не следовательно, у неё нет ни интуиции, ни опыта, ни ремесла. Любая работа, в том числе и наша — ремесло, азы которого медленно впитываются в плоть с первых дней работы.

Не могу допустить, чтобы ещё кто-нибудь меня опередил. Какой-нибудь Серпохвостов обо всём узнает, надавит на Эмму и опять присвоит себе все лавры, будет глумливо смотреть с самодовольным превосходством, и улыбка будет расплываться на его круглом белёсом лице свинопаса. Я не задумывался раньше, почему у нас в силовых структурах, и в нашей конторе, в частности, так много выходцев из сельской местности. Серпохвостов, Вася, Герчик, ещё процентов восемьдесят личного состава приехали из самых разных уголков нашей вполне объятной родины. Они хотя бы выглядят и разговаривают вполне цивилизованно, но желание пробраться повыше среди себе подобных, боязнь совершить ошибку и быть вышвырнутыми из системы, лишиться привилегий и возможностей, которые эта система дарует взамен на покорность и повиновение, превращают их в идеальных исполнителей приказов, законность и справедливость которых не ставится под сомнение. Сама возможность сомнения рассматривается как преступление перед системой. А ребята попроще, без высшего образования, одетые в форму, которые по трое патрулируют улицы, вызывают у меня просто жалость. Мне жаль их за узость мышления, запуганность, несвободу, подозрительность и озлобленность. Они просто злые дети, чья способность к самостоятельному критическому мышлению подавляется ещё на подготовительных курсах. И когда в день выборов их начальник отдаст им приказ, большая часть из них вытащит дубинки и применит их по прямому назначению против мирных демонстрантов.

Вот такие мысли проносятся в моей голове, пока я добираюсь от овощебазы до офиса. Улицы переполнены предвыборной агитацией, кажется, в этот раз всё будет не так, как мы привыкли. Проезжая мимо супермаркета, я паркуюсь. Я знаю, что Эмма любит конфеты «рафаэлло», постоянно украдкой таскает их из ящика своего стола, и я решаю сделать ей маленький подарок. В конце концов, мне придётся её просить посмотреть записи. Будь я кем-нибудь другим, я бы заставил её отдать, надавил, приказал, принудил повиноваться. Но я не такой, и Эмма, как мне кажется, чем-то похожа на меня, во всяком случае, она отличается от прочих.

В кабинете её нет, и я терпеливо обхожу все возможные закутки конторы. В магазине я предусмотрительно попросил пакет, поэтому конфеты не бросаются в глаза моим коллегам. Эмму я нахожу в маленьком кабинете у дальней лестницы, который мы иногда используем, чтобы поработать с документами. Не могу сказать, что мы с Эммой лучшие друзья, и надеюсь, что моя улыбка не выглядит слишком натянутой. Эмма поворачивается на звук открывающейся двери, и за её плечом я вижу угол монитора. У Эммы очень серьёзный вид и минимум косметики. И часы на её руке похожи на мужские. Она очень внимательно смотрит, как я закрываю дверь.

— Не помешал? — спрашиваю я.

— Отнюдь, — отвечает она, слегка помедлив.

Не знаю, слышал ли я раньше, чтобы кто-нибудь вживую при мне произносил это слово. Маленький филолог в моей голове делает стойку, но шуршание пакета возвращает меня к действительности... Я разворачиваю свёрток и протягиваю девушке коробку конфет. Кажется, мне удалось её смутить. Значит, не всё потеряно.

— Вот, — говорю я, — это тебе.

Она неуверенно берёт конфеты, и я случайно касаюсь её пальцев. Часы на её руке действительно мужские, дороже, чем мои.

— Сильный ход, — говорит Эмма. — С чего бы это?

Важно с самого начала выбрать верный тон, чтобы она поняла, что я с ней не флиртую, что с уважением отношусь к тому, что она раньше меня догадалась о записях с регистраторов машин доставки. Может, эти видео ничего не дадут, но её догадка дорогого стоит.

— Я хочу посмотреть записи с видеорегистраторов, — говорю я. Эмма хочет что-то сказать, протестовать, защитить своё право на профессионализм, но я успеваю добавить раньше:

— Я хочу тебе помочь. Я не претендую на твои заслуги. Ты молодец, что догадалась раньше всех.

Она молча смотрит на меня, гадает, хочу я обмануть её или нет. Конфеты тихонько шуршат в коробке, как мыши. У неё яркий маникюр, больше подходящий легкомысленной студентке-первокурснице, чем работнице такого уважаемого и строгого учреждения, как наше.

— Я пришёл с миром, — неудачно пытаюсь пошутить я, но девушка неуверенно, но искренне улыбается.

— Ты тоже догадался, — говорит она, отодвигая стул, чтобы я мог взять другую и сесть рядом. От Эммы вкусно пахнет незнакомыми для меня духами, а запахи для меня очень важны. Едва сдерживаюсь, чтобы не спросить, как называется аромат. Не хочу, чтобы она подумала, что я заигрываю.

— А ты как додумалась? — спрашиваю я, пока девушка копирует файлы на флешку в виде миньона из американского мультика. Я, болван, свою забыл.

Лицо её сосредоточено, и она не замечает моего взгляда. Странно, но её близость меня волнует, хотя мне нравятся женщины постарше. По экрану бежит зелёная полоска, Эмма в нетерпении постукивает по столу.

— Мне досталась камера, снимающая рампу, — отвечает она, — и эти машины подъезжали через каждые полчаса. Невозможно было не заметить.

Я с пониманием киваю. Мы оба молча смотрим на зелёную полосу, конфеты отставлены на дальний край стола. А мне хочется, чтобы она взяла моё угощение, попробовала, причмокнула от удовольствия.

Мы сидим за столом, как школьники. Эмма тоже чувствует себя неловко, это видно по тому, как она ёрзает на стуле, как старается

не смотреть в мою сторону, какое серьёзное у неё лицо. Наконец, наши мучения заканчиваются, полоска исчезает, и девушка отдаёт мне смешную флешку. Напоследок мне удаётся поймать прямой взгляд.

— Полковнику пока говорить не буду, — заговорщицки шепчу я, — и тебе пока не советую. Может, это пустышка.

Пышка — пустышка, лезет ко мне в голову непрошенная рифма. Эмма слабо улыбается и кивает, и я покидаю её убежище, оставив её с ноутбуком и конфетами.

Флешка надёжно спрятана в моём кармане, и одноглазый миньон никому не раскроет своих секретов. Может, это и будет пустышка, но моё чутьё, обострённое до предела, воем, как сирена воздушной тревоги. Волосы на руках встали дыбом, а в паху всё сжалось. Я готов к войне, к решительному сражению. Там, на записях, явно что-то есть, я уверен в этом на миллиард процентов. Только кто увидит это раньше — я или бывшая работница министерского эскорта?

Теперь, если мы с Эммой случайно пересекаемся в коридоре, то переглядываемся, как сообщники. Иногда вечером, когда мне становится скучно в одиночестве, я отправляю ей ничего не значащие сообщения, и мы недолго переписываемся. Мне нравится, что она пишет без ошибок и без ненужного жеманничанья.

На записях нет ничего полезного. Перематываю ролик до того момента, как на экране появляется узкий подъезд к рампе, и начинаю смотреть. Я до одури гляжу в экран, пока картинка не начинает мерцать и сливаться в серое пятно. Иногда я замедляю видео, когда какая-нибудь деталь кажется мне интересной, но это просто игра моего воображения, тот человек, который привлёк моё внимание, оказывается обычным пешеходом, идущим мимо по своим пешеходным делам. Карусель из фигур, плохо различимых лиц, автомобилей и смазанных зернистостью изображения номеров кружится перед глазами и не даёт спать по ночам.

Меня все оставили в покое — Тайпан, мои сладкие великовозрастные девчонки, даже полковник Кирпонос. Перед выборами творится какой-то хаос. Кажется, в этот раз действующему гаранту конституции придётся несладко. И вот уже один из кандидатов в следственном изоляторе, другого вот-вот задержат, деятельность третьей усиленно проверяют. В соперниках у главы государства Тайпан, школьная учительница, директор совхоза и ещё пара кандидатов сходного политического веса. На этой вытоптанной полянке есть место только для одного танцора. Страна явно наблюдает обострение того, что древние римляне называли кесаревым безумием — одной из форм психоза, проявлявшегося в патологической жестокости, вызванной полной безнаказанностью. Двадцать шесть лет болезнь протекала вяло, с редкими обострениями, в последние годы приступы участились. Прогноз негативный.

Если после выборов не изменится ничего, мне остаётся только быстро спиваться, самый приемлемый для меня вариант. Уехать за границу я не могу, работать здесь дальше — не хочу. Остаётся только пить.

От грустных мыслей отвлекает горячая новость — наш минёр опять проснулся и сообщил о минировании вокзала. В этот раз я не выезжал на место, полковник сказал, что народу там хватает и без меня. Нам добавили ещё десятка два человек из других отделов, когда выяснилось, что в этот раз минёр использовал не муляж бомбы, а настоящий тротил. Всего двести граммов, но настоящий, с настоящим взрывателем, спрятанный в подземном переходе к платформам в урне для мусора.

На работе начался настоящий рагнарёк. Мы работаем практически круглыми сутками, изнемогая от потоков стекающей к нам информации. Записи сотен видеокамер, триангуляция сотовых станций, данные бесконтактных оплат и банкоматов, завалили нас терабайтами информации.

Даже добираясь до дома ближе к полуночи, я находил в себе силы полчаса смотреть записи, которые дала мне Эмма. Жёлтый миньон уже немного покрылся пылью, в последнее время мне было не до уборки. Похожий на кошонку кот тоже куда-то исчез, наверное, хозяева забрали его в свой загородный дом, чтобы он внёс свою лепту в генофонд местных кошек. Есть не хочется, расстёгивая измявшуюся за день рубашку, я стараюсь сосредоточиться на ноутбуке. Никогда ещё я не чувствовал себя таким опустошённым и полым, как колеблемый ветром тростник. Мне не хватает той свойственной ограниченным людям ясности мышления и уверенности в будущем, которую я наблюдал у большинства своих сослуживцев. Кажется, что то, чем я занимаюсь, имеет гораздо больший смысл для меня, во имя поддержания видимой нормальности, чем для других людей или мнимого общего дела. Рубашка почти новая, петли плохо прорезаны и пуговицы застревают. Нужно чего-то поесть, мне всегда трудно заснуть на голодный желудок, как бы я ни намотался за день. Я ставлю видео на паузу и медленно иду на кухню в поисках еды. По пути отмечаю, что для холостяцкой квартиры у меня достаточно чисто. Если я захочу пригласить в гости какую-нибудь женщину, например, Эмму, мне не нужно будет тратить много сил на уборку. Своих девчонок я не водил к себе ни разу, предпочитая ночевать на их территории.

Окно на кухне я оставил открытым, и запах лип заполняет всё вокруг. Придётся есть липовый хлеб и липовую колбасу. Возле микроволновки я вижу забытую мной книжку, мой улов в мутных корупционных водах. Я беру её, пролистываю. Стихи не находили отклика в моём сердце, наверное, она попала мне в руки в неудачное время. Но когда я видел «Форель разбивает лёд», напечатанное на обложке, корешке или первой странице, моё сердце ёкало. Творчест-

во — это тоже форма освобождения, наверняка и автор этих стихов об это знал. Я не знал, удалось ли в итоге форели освободиться, и не знал, удастся ли сломать окружающий паковый лёд мне.

Я откладываю книжку и возвращаюсь с бутербродом к ноутбуку, включаю видео и кусаю хрустящий хлебный бок. Я жую интенсивно, так, что изображение на экране слегка подёргивается, и когда маленькая деталь привлекает моё внимание, я не могу рассмотреть её с первого раза. Водитель выворачивает к рампе, стоит поздний вечер, и в свете фар среди плотно стоящих мусорных баков на какой-то микроинтервал времени проявляется серая ссутуленная фигура.

Пытаясь прикрыть рукой глаза от слепящего света фар и одновременно стараясь спрятаться за мусорными баками, Серпохвостов на секунду сфокусировал свой взгляд на объективе видеорегистратора. Я узнаю его сразу, даже зернистость изображения не может заронить во мне ни грана сомнений. Даже плащ на нём был тот же, что он носит каждый день, с узнаваемым логотипом справа на груди. Я нажимаю клавишу, машина едет дальше, и Серпохвостов растворяется во тьме, как будто его и не было.

Оставшуюся часть ночи я просматриваю видео, но мой лимит везения на сегодня исчерпан. Я видел, как Серпохвостов направляется к месту будущего теракта, но на записях нет того момента, как и когда он уходит. Может, машина, ослепившая его, заставила его выбрать для отхода другую дорогу. Я не спал и одурел от однообразного времяпрепровождения, мои глаза слезятся, и я почти ничего не соображаю. Мне нужно с кем-нибудь посоветоваться. Я делаю несколько копий нужного мне отрезка видео, сохраняю в ноутбуке и на флешках, флешки прячу в разных тайниках в квартире (тайники остались ещё от отца), а последнюю, уже выходя из подъезда, бросаю в собственный почтовый ящик.

В офис я приезжаю за полтора часа до начала работы, иду сразу в комнату для работы с документами и резко распахиваю дверь. В руках у меня две порции крепкого кофе и бумажный пакет с крок-месье и крок-мадам. Эмма даже не вздрагивает, просто оборачивается и смотрит на меня усталыми и грустными, как у бассета, глазами. Кажется, она тоже не ложилась. Я даю ей стаканчик с кофе и протягиваю пакет.

— А что это? — заинтересованно спрашивает она.

— Попробуй.

Крок-мадам приходится ей по вкусу. Он ещё горячий, и Эмма дует на него, смешно надувая щёки.

— Странно, что яйцо кладут в крок-мадам, а не в крок-месье, — замечаю я.

Она съела завтрак аккуратно, не проронив ни крошки, а моя рубашка усыпана ими, как будто я собрался кормить голубей из её складок. Я стараюсь незаметно стряхнуть их, и замечаю, что Эмма

изменила причёску, волосы стали короче и светлее. Я втыкаю флешку в разъём ноутбука и говорю:

— Смотри.

Мы смотрим видео раз, другой, третий, пятый, и Эмма молчит. Потом она включает своё видео, запись с видеорегистратора другой машины. На этом видео, снятом уже в глубокой темноте, в другом конце двора торгового центра, мы наблюдаем тёмную фигуру в плаще, в которой знающие люди смогут опознать Серпохвостова.

— Давно ты это увидела? — спросил я.

— Вчера вечером, — ответила Эмма.

— А чего вчера не позвонила?

— Не была до конца уверена, что это он.

Но это был он. Теперь мы видим, как сотрудник силовых структур за четыре дня до того, как об этом станет известно, посещает место будущего теракта. Нетрудно понять, что вряд ли Серпохвостов забрёл туда случайно, в поисках, допустим, подарка для жены на день её рождения, о котором, вот незадача, он совсем позабыл в виду высокой загруженности на работе.

— Что будем делать? — спрашивает Эмма.

У меня нет однозначного ответа. Серпохвостов как-то замешан во всём этом, но видео — слишком легковесное, мало что значащее доказательство. Эмма выключает ноутбук, его экран ярко вспыхивает и гаснет. Я украдкой смотрю на её часы, до начала рабочего дня почти сорок минут. Скоро я услышу шум шагов за дверью. Эмма отдаёт мне флешку и повторяет:

— Так что будем делать?

Что бы сделал на моём месте полковник Кирпонос? Он никогда не принимал скоропалительных решений, обдумывал, выжидал, взвешивал и анализировал, как парфюмер, который готовит новый аромат, и который знает, что если торопиться, не продумывать каждый шаг, не перепроверять дозировку, вместо духов выйдет одорант для природного газа.

Пожалуй, полковник, установил бы слежку за Серпохвостовым, чтобы получить больше данных для анализа. Конечно, мы с Эммой не будем переодеваться в спортивные костюмы и нести посуточную вахту у подъезда Серпохвостова, следить за его автомобилем и играть в шпионов. Просто поставим маячок на его машину и несколько дней последим за его перемещениями, а потом посмотрим.

Через пару часов я стою у окна с телефоном в руке и смотрю, как Эмма идёт по парковке мимо ряда машин. Краем глаза я слежу за коридором, куда выходят несколько дверей, в том числе и кабинет Серпохвостова. В руках у Эммы папка с бумагами, а наш двор вымощен тротуарной плиткой, которая после каждой зимы вспучивается в разных местах, как будто что-то пытается выбраться из-под земли, но не в силах выдавить цементные квадраты. Говорят, до войны в здании нашей конторы была другая контора, кровожад-

ная, всеобъемлющая и бездушная. Говорят, тела расстрелянных они хоронили прямо тут, во внутреннем дворе, потому что рядом, в подвале, были камеры, где их держали, пока они были живы. Может, это то, что от них осталось, память, перемешанная с землёй и мусором, пробивает дорогу к свету. Если я стану директором своей конторы, я найму экскаваторы и выкорчю эту серую бездарность, которая, как твёрдый шанкр, затянула все центральные улицы нашего города, а потом за свою работу примутся археологи. Как говорится, война не окончена, пока не похоронен последний солдат. На той войне, которую государство вело со своим народом, последний солдат не то что не похоронен, а даже не известен, пока не открыты архивы.

Но я отвлекаюсь. На окне разводы от недавнего дождя, и сквозь них я вижу, как Эмма неловко ставит ступню в туфле на шпильке, которая попадает в шов между плитками, и на мгновение девушка теряет равновесие, и бумаги разлетаются по парковке, залетая под стоящие рядом машины. Эмма нагибается, и я вижу, как её песочного цвета брюки сексуально натягиваются на её объёмистом заду, и меня переполняет желание. Я удивляюсь сам себе, ведь раньше я не думал о ней как о женщине. Несколько секунд девушка шарит под одной машиной, потом под другой, достаёт пыльные бумаги, а перед моими глазами маячат её идеальные, геометрически совершенные ягодички.

Теперь мы можем следить за Серпохвостовым. Вернее, мы знаем, куда он ездит на машине, ведь времени на постоянную слежку у нас нет, потому что руководство загружает всех по полной, так как считает, что в работе произошёл явный прорыв. Нас собирают в зале совещаний и показывают видео, как плохо различимый человек в кепке и медицинской маске проходит по длинному коридору торгового центра, на несколько секунд задерживаясь у ящика пожарного крана. На записях камер с вокзала вроде бы виден тот же самый человек, и возле пожарного ящика на вокзале он тоже задерживается, и, кажется, проводит по нему рукой. Про себя я отмечаю, что на Серпохвостова он не похож. Серпохвостов, кстати, сидит рядом со мной и хмурит брови, показывая своё недовольство.

На Эмме строгий брючный костюм, пиджак застёгнут, но мой взгляд пытается проникнуть за вырез блузки. Я не узнаю себя, пусть секса у меня давно не было, но Эмма младше меня лет на восемь минимум, и я не помню, когда меня последний раз интересовала девушка моложе меня. К счастью, Эмма не замечает ничего, и мы вместе смотрим маршрут вчерашних перемещений Серпохвостова. Дом, работа, дом, ничего интересного. Кажется, жизнь Серпохвостова скучнее моей. Мне хочется спросить, зачем она ушла из службы протокола. У неё очень красивые мочки ушей, так что мне хочется их потрогать, но не в сексуальном смысле, а просто потому, что они ярко-розовые и как бы светятся изнутри.

— Извини, мне нужно отойти, — говорю я ей.

В коридоре пусто, рабочий день закончился, но все сидят по кабинетам. Я иду в туалет и долго умываю лицо холодной водой. Эмма наверняка владеет приёмами самообороны, и если я попытаюсь до неё дотронуться и ей это не понравится, она может сломать мне руку. Догадывается ли она о моих мыслях? Словами я ничего не высказывал, но женщины чувствуют это без слов. С моими великовозрастными подружками гораздо проще, все знают, чего хотят, и для чего проводят время вместе. Позвать Эмму на свидание? Но она отказала трём или четырём моим коллегам, и вряд ли удостоит согласием меня. А даже если и согласится, что я смогу ей предложить? Я смотрю на себя в зеркало, капельки воды стекают по стеклу, искажая моё растерянное отражение. Кажется, я выгляжу моложе своих лет, и нахожусь в неплохой форме. Начнём по порядку, подведём баланс. Итак, активы: внешность (допустим), финансовая обеспеченность (допустим), собственное жильё, богатый внутренний мир (сомнительно, но пусть). Мелкие активы типа чувства юмора, образования и нравственных достоинств учитывать не будем. Пассив: психологические проблемы, сексуальные предпочтения, склонность к инакомыслию, проблемы с алкоголем, семейная ситуация. Если президентские выборы закончатся, как обычно, то и следующие пять лет я не увижусь с родителями и сестрой. В общем, ситуация неоднозначна.

Зеркало уже почти высохло, а я всё ещё стою у умывальника. Пахнет хлоркой, и швы между плитками потемнели от времени. В своей ванной я оттирал их мелкой наждачкой, и они снова белые. И кран тут течёт, в самом сердце госбезопасности.

Я возвращаюсь в нашу каморку, и Эмма сразу говорит:

— Смотри!

Она явно возбуждена, но это не моё посвежевшее умытое лицо её возбудило. Она показывает мне ноутбук, и я вижу, что вчера в 23:14 Серпохвостов выехал из дома, провёл в пути семнадцать минут и остановился у круглосуточной СТО. Провёл там двадцать две минуты и вернулся домой той же дорогой, что приехал, и больше никуда не уезжал.

Вывраться с работы сразу двум специалистам даже после окончания рабочего дня непросто. Я что-то наплёл Кирпоносу, и тот нас отпустил. У Эммы нет машины, поэтому мы поедem на моей.

Возле машины я на секунду мешкаю, не стоит ли открыть ей дверь, но Эмма опережает меня и справляется сама. Не знаю, как она относится к феминизму. Сажусь следом, пристёгиваюсь, краем глаза вижу, как Эмма пытается расположить ремень безопасности между своих грудей.

— У тебя красивая машина, — говорит она.

У нас неудобная маленькая парковка, поэтому я внимательно смотрю по сторонам.

— Да, неплохая, — говорю я. И зачем-то добавляю: — Собираюсь её продавать.

Я выруливаю с парковки, ныряю под начинающий открываться шлагбаум. На улицах пустынно, палевые летние сумерки опускаются на город.

— Зачем продавать? Она тебе больше не нравится? А как музыку включить? — Эмма задаёт подряд слишком много вопросов. Я включаю ей радио, и на некоторое время девушка отвлекается, перелистывая радиостанции. На мгновение салон заполняет новый хит Димы Мезозойских, но Эмма обрубает его на припеве, и молодой исполнитель уползает обратно в глубины ультракоротковолновой преисподней. Я представляю, как Михаил Кузмин вскрывает себе вены под «Мокрые кеды». Девушка находит какую-то нейтральную европейскую попсу и делает погромче. Почему-то меня это не раздражает.

— И сколько ты за неё хочешь?

Я озвучиваю Эмме предполагаемую сумму, и она задумчиво умолкает.

Нам ехать около двадцати минут, и постепенно мы снова начинаем болтать о пустяках. Мы оба пытаемся не замечать собственное нервное напряжение. Мы идём по следу, как настоящий ищейки, и след этот горяч и пахнет Серпохвостовым. Эмма рассказывает про учёбу в университете, но про работу в службе протокола говорит всего два-три слова и нервно смеётся моим не очень смешным шуткам.

За окном мелькают окраинные районы, серые и однообразные, как сама жизнь. Пяти- и девятиэтажки, старые кварталы, много зелени.

— А я вон в том доме родилась, — показывает Эмма куда-то направо.

Даже если бы я и смог различить среди одинаковых домов тот самый, он сразу скрывается за стеной таких же.

— А ты из какого района? — спрашивает Эмма.

Мне приходится немного раскрыться, рассказать про детство, родителей, и, чтобы упредить расспросы, вкратце рассказать о том, где они живут сейчас. Девушка снова умолкает, и в молчании мы подъезжаем к громадине станции техобслуживания, сияющей рекламными огнями, как стриптиз-клуб на второразрядном курорте. Собственно, кроме СТО, тут и большой торговый центр по продаже автозапчастей, автомойка, шиномонтаж, офисы в аренду, пиццерия и чёрт знает что ещё. Не хватает только синагоги и борделя. Впрочем, насчёт последнего я уверен не полностью.

Мы выходим из машины и идём ко входу. Я открываю перед Эммой дверь, на ходу извлекая своё удостоверение из кармана. Внутри машин не много, работников тоже, но, пока Эмма идёт по коридору, все мужские головы поворачиваются ей вслед. Мы идём к

небольшой стеклянной будке, где сидит менеджер. Я через стекло показываю ему своё удостоверение, чтобы избежать лишних расспросов. Менеджер неохотно впускает нас внутрь и опускает роллету над стеклом. В уголке его рта зубочистка. Не помню, когда в последний раз я видел человека с зубочисткой во рту. Эмма уже показывает ему на телефоне фото машины Серпохвостова и задаёт необходимые вопросы. Я молчу, не мешаю. Менеджер — потасканный мужчина под пятьдесят, с грязью под ногтями и неаккуратной причёской. Пока он ищет информацию в компьютере, я замечаю на его запястье белую ленточку — символ тех, кто будет голосовать против действующего президента. Зубочистка каждые несколько секунд совершает путешествие от одного уголка рта до другого.

— Вот, — говорит менеджер спустя некоторое время, — он был у нас вчера вечером.

Для верности он разворачивает к нам экран компьютера, на котором из-за отсвечивающих потолочных ламп почти ничего невозможно разобрать.

— Ага, — говорю я, — а что за неисправность устраняли?

Менеджер поворачивает монитор обратно и отвечает:

— Корректировка концевого выключателя капота. Ноль целых три десятых нормочаса.

Я смотрю на Эмму. Кажется, она не понимает, что для устранения этой неисправности не стоило на ночь глядя ехать на СТО.

— Вы вчера работали? — спрашивает Эмма. В помещении жарко, она расстегнула верхнюю пуговицу на блузке.

Менеджер качает головой и разводит руками.

— А где клиенты ожидают выдачи заказов?

Менеджер пожимает плечами.

— Обычно ремонт занимает больше времени, и клиенты идут в магазин, или на улицу. Если что-то срочное, могут ждать прямо здесь или выйти в коридор через заднюю дверь. Там есть кофе-автомат.

Мы с Эммой выходим в зал, залитый светом ламп. В одни из ворот въезжает эвакуатор с повреждённой легковушкой на площадке. Передняя часть легкового автомобиля смята так, что я даже не могу определить его марку. Работники СТО, встав в кружок, наблюдают за процессом. Менеджер бросает нас с Эммой и идёт к эвакуатору. Я осматриваюсь вокруг, среди машин, подъёмников, людей и инструментов. Мои туфли смешно квакают при ходьбе по наливному полу. Мы идём вдоль стены, и я вижу ящик пожарного крана, метрах в тридцати — ещё один. Я верчу головой и вижу в этом зале восемь пожарных ящиков. Эвакуатор манипулятором аккуратно спускает повреждённую машину с платформы. Рядом стоит человек с очень грустным лицом, наверное, хозяин машины. Эмма подходит к ближайшему ящику, дёргает ручку, дверца открывается. Я вижу большой красный огнетушитель в нижнем отделении и серый, свернутый в спираль пожарный рукав в верхнем.

— Проверь эти, — говорю я, — а я пойду к тем.

Наверное, около получаса мы тщательно осматриваем эти красно-белые ящики, перебираем накопившийся там мусор. У меня даже возникает желание размотать по полу пожарные рукава, но здравый смысл подсказывает, что Серпохвостов вряд ли бы смог это сделать это на глазах у работников СТО. Они и сейчас искоса наблюдают за нами, не отрываясь от работы. Ко мне подходит Эмма, на руках у неё перчатки. Дурак, а я свои забыл в машине. Я прячу руки в карманы.

— Ничего нет, — говорит девушка. Раньше я не замечал, но у неё на лице проступают веснушки, которые она, кажется, запудривает.

— Если надо, мы проверим все шкафы в этом сраном здании, — говорю я.

Мы идём к менеджеру, который за это время сжевал зубочистку наполовину. Может, он так пытается бросить курить, думаю я.

— Может, проверим камеры? — говорит Эмма по пути.

— Если ничего не найдём. Тут камер нет, а внешние вряд ли нам много дадут.

Менеджер рассматривает пожеванную зубочистку с неподдельным интересом, как, наверное, юный бобёр смотрит на первое поваленное им дерево.

— Вы что-то говорили про кофе-автомат. Покажете, где это? — говорю я.

Менеджер показывает на железную дверь в углу зала с зелёной табличкой «Выход». Мы подходим, открываем её и оказываемся в длинном пустом слабо освещённом коридоре, куда выходит ещё несколько дверей. Явно тянет сквозняком, значит, в дальнем конце коридора за углом выход на улицу. Перед поворотом коридора мигает разноцветными огнями кофейный автомат. Рядом с ним пожарный ящик, в другом углу коридора второй.

— Будешь кофе? — спрашиваю я девушку.

— А давай, — говорит она.

Монетки бряцают в моём переднем кармане, надеюсь, их хватит на две порции напитка, потому что бумажник остался в машине. Наощупь пересчитываю, должно хватить.

— Выбирай, — говорю я.

Я кормлю автомат монетами, он подмигивает мне, как будто мы с ним заодно, Эмма нажимает кнопки. Пар шипит, в воздухе пахнет кофе. Со стаканчиком в руке я подхожу шкафу пожарного крана и тяну за ручку.

— Подожди, — говорит Эмма, — тут что-то торчит.

Может, зрение у неё лучше, может, она просто моложе, а может, женщины действительно смотрят и видят по-другому, замечают больше мелких деталей. Я бы никогда не заметил маленькую, свёрнутую в несколько раз бумажку, которую кто-то втиснул в щель между дверцей и корпусом ящика. Человек, боле глазастый, чем я, за-

метил бы, но подумал, что это сделано, чтобы дверца ящика не открывалась. Что ж, бывает и так. Бумажка выступала над плоскостью миллиметра на два, не больше. Кофе, кстати, отвратный. Я залпом выпиваю его, обжигая нёбо, и выбрасываю стаканчик в урну.

— У тебя длинные ногти, — говорю я Эмме.

— Вообще-то, они стоят сорок долларов, — говорит она и добавляет, — со скидкой для постоянных клиентов.

Пока я обдумываю, что ответить на её слова, Эмма аккуратно ставит свой кофе на пол, стягивает правую перчатку, протягивает руку и длинными красивыми чёрно-белыми ногтями цепляет бумажку и вытаскивает её из щели.

— Подержи, — говорит она.

Я держу бумажку за уголок, а Эмма вновь надевает перчатку, так что ногти почти протыкают тонкий нитрил, и забирает бумажку обратно. Очень медленно, стараясь прикоснуться только к краям, как какой-то палеотип, она раскрывает бумагу по сгибу один раз, потом ещё и ещё. Она держит бумагу перед глазами, так что я вижу только обратную сторону, исчерченную серыми трещинками там, где она была согнута. Я вижу, что бумага почти новая, и воткнули в ящик её совсем недавно.

— Что это? — спрашивает Эмма. Всё это время она всматривается в лицевую сторону нашей находки. Я подхожу к Эмме, по пути задеваю поставленный ею на пол стаканчик и разливаю кофе по полу. Несколько капель попадают на левую туфлю Эммы, но она даже не дёргается. Хороший знак.

Я заглядываю Эмме через плечо и смотрю на фотографию у неё в руках. Картинка маленькая, много мелких деталей, и пока взгляд фокусируется, а мозг собирает кусочки воедино, я на долю секунды могу прислушаться к собственным ощущениям. Я не знаю, чего ожидать. Может, это вообще случайная ненужная бумажка, которую уборщица воткнула в щель ящика, потому что ей надоела постоянно открывающаяся дверца.

Кажется, я ещё не был к ней так близко. Я вижу редкий, почти невидимый пушок у неё на шее, и уже складываю губы в трубочку, чтобы сначала подуть, а потом дотронуться, но только до волос, не до кожи, и вдруг вспоминаю, зачем я здесь.

— Это паркинг, — говорю я. — В моём районе, кстати.

На фото колонны и перекрытия стоянки, разные уровни раскрашены в разные цвета. Обычная цветная распечатка, неплохого качества, адрес на здании читается хорошо.

— И что это значит? — спрашивает Эмма. — Это следующий объект?

Я отступаю на полшага и говорю:

— Не знаю. Чтобы узнать, нужно положить её на место.

Эмма продолжает держать фотографию, а я своим телефоном делаю снимки с близкого расстояния, обеих сторон. Потом девушка

аккуратно складывает бумагу, ровно по линиям сгибов и засовывает её на прежнее место, в узкую щель между дверцей и боковой стенкой пожарного ящика. Кофейный аппарат ни с того, ни с сего начинает тихонько гудеть, потом умолкает. Я смотрю на стены, залитые бледным светом, на потолок. Откуда-то издали слышны голоса, которые быстро исчезают. Эмма стоит рядом, переминаясь с ноги на ногу. В коридоре камер нет, тут нет ничего, кроме подвешенного потолка и неровно окрашенных стен. Напоследок я фотографирую ящик и говорю Эмме:

— Пойдём.

Мы уходим прямо по коридору и очень скоро оказываемся на улице. Тут совсем стемнело, и мне кажется, что уличные фонари в этом районе расположены дальше друг от друга, чем обычно. Мы идём к машине и выходим из светлого круга, который отбрасывает освещение торгового центра. Мы переходим на тёмную сторону и молча идём к следующему пятачку света, который маячит вдалеке. Там моя машина, и я вижу отблеск света на её капоте, только не помню, чтобы парковался так далеко. Эмма медленно идёт рядом, и я надеюсь, что она специально замедляет шаг. Нас окутывает тьма, которая пахнет асфальтом, травой и чем-то техническим. Вдалеке шумит поезд, приближается и шумит всё сильнее. Оказывается, тут рядом железная дорога, укрытая от улицы чахлой лесополосой. Я почти останавливаюсь, и Эмма, задумавшись, утыкается мне в правое плечо. Наши руки на секунду соприкасаются, но я не могу позволить себе удержать её ладонь. Мы стоим и смотрим из темноты, как мимо нас пронесится поезд, его огни мелькают среди деревьев. Это пассажирский, не товарный. Эмма стоит рядом, думает о чём-то своём. Было бы неплохо поставить палатку прямо тут, и чтобы утро никогда не наступало. Поезд уносится в пункт назначения, и вокруг опять тишина, не прерываемая даже шумом машин. Из лесополосы кричит какая-то птица, кажется, подражая гудку поезда. У неё выходит неплохо.

Фонарь и дорога всё ближе, и я начинаю продумывать маршрут поездки. Я не знаю, в каком районе живёт Эмма, и я уже почти открываю рот, чтобы спросить, как девушка говорит:

— Может, сходим куда-нибудь, выпьем по чашке кофе?

Поддавая в себе первое желание — сказать девушке что-нибудь безобидное, но грубоватое. Я не верю в возможность нормальных отношений для себя, ведь вокруг всё ненормальное, извращённое, искалеченное, как в Австралии, где вместо нормальных зверей выживают какие-то сумчатые ехидны, утконосы и тасманийские дьяволы. Вот и вокруг меня очень много тасманийских дьяволов, они просто бродят вокруг меня стаями, и я слышу их утробное ворчание по ночам.

Эмма стоит и смотрит на меня.

— Конечно, — говорю, — давай. Только я слабо знаю этот район.

Эмма улыбается, и я хочу улыбнуться в ответ, но не улыбаюсь.
— Я покажу дорогу.

Мы садимся в машину и уезжаем в темноту. Тасманийские дьяволы гонятся за нами, но у них короткие мохнатые лапы, и всё, что они видят — это габаритные огни «мерседеса». Но эти ребята выносливы, как марафонцы, и не сбиваются со следа.

Они настигают нас в каком-то кафе, куда привела меня Эмма. Тут тихо, темно и уютно, пахнет пряностями. Мы садимся за свободный столик, которых в это позднее время тут полно. Столешница из натурального дерева, удобный диванчик, приглушённый свет, в котором я явно вижу только кисти рук Эммы, а её лицо периодически появляется из полумрака и прячется обратно, как в капюшон. Просто преступление — пить кофе в такой атмосфере. Над нами склонился уранического вида официант, которому девушка, немного стеснясь, заказала бокал сухого вина и лёгкую закуску.

— Водки, — говорю я, немного подумав. — Сто пятьдесят. И что-нибудь горячее. На ваш выбор.

Выпивку нам приносят одновременно, а девушка получает свою закуску раньше. Мы чокаемся и не говорим о деле. В тарелке у Эммы что-то овощное, зелёное, красное и розовое, она ест с явным аппетитом.

— Это что — креветки? — спрашиваю я.

Девушка кивает. Кажется, один из тасманийских дьяволов забрался под наш столик и крутится у моих ног, задевая их своими боками.

— Извини, — говорит Эмма, — мои ноги никуда не помещаются.

Я рассказываю ей о своём детстве, и мне приносят еду. Тарелка девушки опустела, и она периодически бросает взгляды на мою. Я наливаю себе, мы выпиваем. Я пододвигаю тарелку девушке и говорю:

— Хочешь попробовать?

Мне нравится, что она не ломается, а сразу берёт вилку. Мимо пробегает наш официант, бросая на меня нескромные взгляды. Я поднимаю руку, даря ему нежданную надежду. Я заказываю ещё вина Эмме, а себе ещё сто пятьдесят. Губы Эммы блестят, она сосредоточенно жуёт, медленно двигая челюстями. Она прекрасна.

— Как вкусно, — говорит она.

Действительно вкусно. Я начинаю жевать и чувствую, что сильно проголодался. Тасманийский дьявол, привлечённый мясными ароматами, высовывает голову из-под стола. Я заталкиваю его обратно, сегодня я не хочу видеть его оскаленную харю.

— Давай закажем ещё, — говорю я девушке, которая снова взялась за вилку.

— Не надо, я на диете, — отвечает она и тычет вилкой в мою тарелку, как гарпунёр острой в спину какой-нибудь белухи.

Приносят алкоголь. Щёки у Эммы покраснели, да и я чувствую приятную расслабленность. Теперь Эмма рассказывает мне смешные истории, и иногда они действительно забавны. Кажется, мы остались одни в кафе, только официант снуёт среди абажуров где-то на периферии моего взгляда, как грустная летучая мышь.

Эмма водит пальцем по столу, явно чертит карту Тасмании. Дьявол опять высунул голову из-под дивана, почувствовал что-то родное.

— Послушай, — говорю я Эмме, заполняя возникшую в её рассказе паузу, — а правда, что ты когда-то работала...

Я вспоминаю, как правильно называется служба протокола, но девушка сразу же отвечает:

— Да, правда.

Она допивает вино, и начинает говорить.

Раньше она весила пятьдесят два килограмма, при росте сто семьдесят три. Тому, на чьих мероприятиях ей предстояло работать, нравились высокие стройные девушки. Сначала служба протокола показалась ей интересным приключением, вроде поездки к первобытным племенам в амазонскую сельву. Эмма ходила, улыбалась, танцевала, сидела на трибуне, улыбалась, размахивала флагом, убирала картошку, обнималась с ветеранами, фотографировалась и снова улыбалась. К счастью, наниматель не остановил на ней своё августейшее внимание, и другая девушка из службы протокола стала депутатом, ещё одна вошла в наблюдательный совет крупного банка, третья получила квартиру и орден. Уже через пару месяцев Эмма не испытывала ничего, кроме омерзения. Фальшивая улыбка не налезала на её лицо. От каждого мероприятия в окружении колхозно-милицейского истеблишмента её выворачивало. На балу выпускников ей пришлось танцевать вальс со своим работодателем, и ей стало не по себе. Она знала, что последует потом. Эмма взяла отпуск и начала есть. За три недели она набрала девять килограммов. Костюмеры были недовольны. Эмму записали в спортзал и посадили на диету, но она продолжала набирать вес. Наниматель морщился, джинсы не налезали и трескали по швам. Её обследовали в больнице, но ничего не нашли. В очереди на работу в службе протокола стояли новые девушки. Через три месяца Эмма тихо уволилась, но истеблишмент своих не бросает. Так она и попала к нам.

Я её не перебиваю, даю выговориться. Пока девушка рассказывает, я знаком показываю официанту принести ещё выпить. В глазах у Эммы стоят слёзы, но всё никак не могут скатиться по щеке. Ненавижу, когда женщина плачет. Официант приносит выпивку, забирает пустую тарелку. Девушка молча смотрит в пустоту. Кажется, я зря завёл этот разговор. Чувствую, что мне нужно в туалет, извиняюсь и встаю из-за стола.

Некоторое время я кружу по полутёмному залу, не хочу спрашивать у официанта, который призывно смотрит на меня из мрака

порочным взглядом суккуба. Нужная мне дверь отыскивается в дальнем углу, и буквы WC под углом почти не читаются. Открываю, вхожу. Обычно в кафе уборные — маленькие помещения с ручным мойником и унитазом, а здесь это огромное помещение с тремя писсуарами, тремя кабинками и тремя раковинами. Не совсем понятно, зачем их здесь столько. Я делаю свои дела над писсуаром, пытаюсь струёй мочи подогнать кусочек гелевого освежителя ближе к сливному отверстию. Эмма там осталась совсем одна. Надеюсь, она успела, в конце концов, у неё оставался нетронутый бокал вина.

Я мою руки тщательно, словно держал в руках не любимую часть своего тела, а старый грязный топливный шланг. Из-за шума воды я не слышу, как дверь туалета открывается, и Тайпан появляется у меня из-за спины молча и бесповоротно, как стихийное бедствие. Я даже не пугаюсь, продолжаю смывать мыльную пену с ладоней. Делаю это долго, смеситель шумит, и пока течёт вода, Тайпан не сможет говорить. Один — один.

Но ничто не может длиться вечно, даже власть нашего президента. Я выключаю воду и сразу подношу руки к электросушилке. Она ревёт, как самолётная турбина, и ладони быстро высыхают. Я поворачиваюсь к Тайпану. Всё это напоминает какой-то голливудский нуар середины пятидесятих, не хватает только широкополых шляп.

Странно, я не чувствую никакой угрозы. Кандидат в президенты должен ходить с охраной. Я не следил за последними событиями, но, кажется, больше никого не посадили. Баллотирующийся на шестой срок не видит в Тайпане угрозы, просто технический кандидат для массовки, статист, которому на политической сцене не доверят сказать даже: «Кушать подано».

Тайпан ловит отражение моего взгляда в зеркале. Капли бегут по стеклу, будто Тайпан плачет.

— Я скажу только один раз, — говорит он, — ты должен сделать то, что мне нужно, до выборов. Иначе твоя девушка умрёт.

— Она не моя девушка, — отвечаю я, поворачиваясь лицом к Тайпану.

— Мне плевать, — говорит он с лёгкой усмешкой. — Я знаю, что это твоя коллега, и вы общаетесь. Если не хочешь, чтобы с ней случилось нехорошее, сделай то, что я сказал.

Ударить его? Выстрелить? Толкнуть? Тайпан разворачивается и уходит, а я остаюсь стоять, глядя на медленно закрывающуюся дверь. Тут явно неисправен доводчик.

Я ещё раз умываю лицо и руки, жду, пока вода высохнет, и потом выхожу. Эмма сидит за пустым столиком, из-под меню торчат купюры. Девушка расплатилась и готова уходить. При виде меня она неуверенно встаёт, и я, кажется, знаю, куда делась недопитая мною водка.

— Ты готова? — спрашиваю я.

Эмма кивает и, обходя меня по большой дуге, идёт к выходу. Я иду за ней, думая, чем это закончится.

На улице свежо и темно. Эмма пытается достать телефон из кармана, но он постоянно застревает. Я мягко кладу руку ей на локоть и говорю:

— Погоди, я вызову.

Если верить приложению, у нас шесть минут. Ненавижу пьющих девушек, но обожаю пьяных. Девушка прижимается ко мне и кладёт голову на плечо. Я не знаю, что делать, я не помню, когда хоть кто-нибудь обнимал меня вот так. От Эммы приятно пахнет духами, алкоголем и чем-то непонятным, волнующим. Может быть, новизной или обещанием. Я не позволяю, чтобы с ней что-то случилось. Если люди Тайпана наблюдают за мной из темноты, то им всё станет понятно. Мы медленно двигаемся в свете фонарей, словно танцуем медленный танец. Я чувствую восхитительное опьянение. Из-за дверей на нас смотрит официант.

Приезжает такси, хаотично облепленное разноцветными наклейками.

— Куда тебя отвезти? — шепчу я Эмме в ухо. Мы продолжаем медленно кружиться на пяточке у входа в кафе.

— Поехали к тебе, — говорит Эмма.

В такси она кладёт голову мне на плечо, и делает это так естественно, словно каждый вечер я отвожу её к себе домой именно таким образом. Будь на её месте кто-нибудь из моих подружек, моя рука давно бы уже путешествовала по самым горячим южным областям, но с Эммой такая мысль даже не приходит мне в голову.

Мы едем какими-то переулками, за окном мелькает слабо освещённый частный сектор, деревья и заборы. До выборов две недели, не так много времени у меня в запасе. Эмма спокойно дышит у меня на плече, в полусне кладёт руку мне на колено. Теперь я узнаю район за окном, навигатор водителя противным голосом через триста метров предлагает повернуть налево. На салонном зеркале заднего вида висит маленький бело-красно-белый флажок.

Вот и мой дом. Я тихонько толкаю Эмму в бок.

— Что, уже? — спрашивает она.

Мы выходим, такси медленно уезжает. Эмма рассматривает двор, деревья, шлагбаум, мусорные баки. Раньше я не замечал, как необычны мусорные баки в моём дворе.

— Пойдём, — говорю я.

Девушка идёт уверенно, немного впереди меня. Когда мы заходим в подъезд, она говорит:

— Миленько.

В лифте я исподтишка наблюдаю за ней. Мне хочется обнять её, прижаться губами к губам, но Эмма рассматривает кнопки этажей, как будто в них зашифровано для неё персональное сообщение. Кажется, электронный информатор онемел от её красоты, и

поэтому молчит, когда двери открываются. У моей двери лежит лысый кот. Кажется, он спит. С этого ракурса незнакомому выпившему человеку очень трудно разобрать, что это за штука валяется на моём коврике.

— Что это? — тихо спрашивает девушка.

Кот просыпается и недовольно смотрит на нас. Он похож пережившего атомную бомбардировку умирающего от острой лучевой болезни.

— Это просто кот, — говорю я. — Брысь. Иди на свой коврик.

— Он похож на мужскую мошонку, — шепчет Эмма, — такой милый.

Кот медленно идёт к своей двери, я извлекаю ключи из кармана пиджака, звеня ими, как кентервильское приведение цепями. Эмма смотрит мне в глаза и говорит, ткнув острым пальцем в мою грудь:

— Учти, у нас сегодня ничего не будет. Не воображай себе.

Я пожимаю плечами:

— Как скажешь.

Девушка осматривается в прихожей, как в музее. У меня чисто, и я с равнодушным выражением вешаю пиджак в шкаф-купе. У меня мощнейшая эрекция, как в двадцать лет при виде красивой девушки. Эмма икает и пытается, стоя на одной ноге, снять одну туфлю. Я поддерживаю её за локоть и говорю:

— Можешь не разуваться.

Она всё-таки снимает туфли и смешно шевелит пальцами на ногах, разминая их. Я ищу в шкафу чистый комплект белья, быстро перестилаю постель в спальне. Эмма сидит на диване в гостиной, закрыв глаза и раскинув руки.

— Где у тебя ванная? — вдруг спрашивает она.

Я показываю и говорю:

— Чистые полотенца в шкафу.

Кажется, руки у меня не дрожат, свежий пододеяльник почти хрустит у меня в руках, как новая купюра.

— Полотенца в шкафу! — кричу я до того, как Эмма успевает включить воду.

Она выходит, завёрнутая в мой халат. Я вожусь с диваном в гостиной, ни разу в жизни его не раскладывал. Эмма чистая, розовая и влажная, как Афродита, появляющаяся из морской пены.

— Можешь лечь со мной, — говорит девушка, — только без глупостей.

— Ну спасибо, — отвечаю я.

Эмма уходит в спальню, а я иду чистить зубы.

Ванная переполнена паром, и я не вижу своего отражения в зеркале. Я быстро принимаю холодный душ, чтобы снять телесное напряжение. Эрекция не исчезает, ни трусы, ни полотенце, которым я оборачиваю свои чресла, не могут её скрыть

В спальню я вхожу несколько боком, чтобы холм Венеры, подпирающий полотенце изнутри, был менее заметен. Эмма уже спит, повернувшись на бок и собрав на себе почти всё одеяло. Ночник освещает все изгибы её тела, как заходящее солнце, наверное, освещает холмы долины Ханаана. Я натягиваю на себя тот жалкий клочок одеяла, который выделила мне Эмма, и думаю, что не смогу заснуть. От тела девушки исходит заметное тепло, но я не могу согреться. Ни с проститутками, к услугам которых я иногда прибегаю, ни со своими взрослыми подругами я никогда не испытывал ничего подобного. Я закрываю глаза и засыпаю.

Иногда проще восстать из мёртвых, чем просто утром открыть глаза. Просыпаюсь, не понимая, где я и что со мной. Спальня переполнена утренним светом, вчера я забыл задёрнуть шторы. У меня затекло всё тело, а шею мою обнимает рука Эммы. Она громко сопит мне прямо в ухо, и от неё исходит лёгкий приятный запах перегара. Мы теперь лежим, прижавшись друг к другу, и спиной я чувствую её грудь и живот. Эрекция снова тут как тут, я шевелю ногой, и девушка просыпается. Она не отталкивает меня в притворном испуге, а просто медленно убирает руку и переворачивается на спину, подтягивая одеяло к подбородку.

— Который час? — спрашивает она.

— Доброе утро. Половина шестого.

Я беру телефон с полки возле кровати. Всего два пропущенных от полковника, и батарея почти села. Эмма трёт глаза, совсем как маленький ребёнок. Маленький ребёнок с красивой грудью. Я сажусь на постели, прикрываюсь одеялом и набираю номер.

Полковник говорит мало и быстро прекращает разговор. Взрыв в торговом центре, том самом, куда мы ездили вчера. Ничего серьёзного, просто дымовая шашка, никто не пострадал. Я пытался вставить в разговор хоть полслова, но не сумел. Набираю Кирпоноса раз, другой, третий.

— Что у тебя? Только быстро, — с четвёртого раза всё-таки удаётся дозвониться.

— Мы были в этом центре вчера вечером, с Эммой. На СТО.

На том конце трубки молчание. За спиной у меня, кажется, она встаёт.

— Зачем? — спрашивает полковник.

Мне нужно быть внимательным и очень осторожным.

— Проверяли одну версию. Вроде, пустышка.

— Вроде? — переспрашивает полковник.

— Пока ничего определённого.

— Так чего ты мне голову морочишь? — полковник бросает трубку, фоном я слышу обрывок тяжёлого ругательства.

Я наскоро привожу себя в порядок и одеваюсь. Эмма ходит по квартире и изучает книги в моём шкафу. На ней по-прежнему мой халат.

— Ванная свободна, — говорю я.

Эмма принимает душ долго, с наслаждением. Я успеваю сварить кофе и приготовить несколько тостов. Пока готовлю, я думаю. Полковнику пока не время знать про Серпохвостова, который явно замешан в этом деле. Рано или поздно информация всплывёт, и тогда я расскажу Кирпоносу всё, что знаю. Чем позже он узнает о нашем частном расследовании, тем больше нам с Эммой удастся выяснить.

Девушка выходит из ванной в облаке пара и с мокрыми волосами.

— Не смогла найти у тебя фен, — говорит она.

— У меня его нет. Садись кофе пить.

Эмма почистила зубы, но я слышу запах перегара, поэтому даю ей несколько жареных кофейных зёрен, и сам тоже забрасываю одно себе в рот, чтобы перебить запах. Эмма хихикает и тоже жуёт. Пока мы пьём кофе, её волосы почти высыхают. Я быстро пролистываю новости в интернете, но там пока пусто. Эмма заглядывает мне через плечо, и меня опять обдаёт волной желания. Интересно, чувствует ли она хоть частицу того же, что я?

— Ничего нет, — разочарованно говорит она.

Кажется, ей не хватило тостов для насыщения. Эмма хозяйски лезет в холодильник и извлекает оттуда два глазированных сырка.

— Десерт, — говорит она.

Я хочу сказать, что она уже может не есть, ведь в службе протокола больше не работает, но это её явно обидит. Наверное, трудно остановиться, когда привыкла есть много и вкусно. Хотя мне всегда нравились девушки с хорошим аппетитом.

Мы проверяем, как там Серпохвостов. Ничего необычного — дом, работа. Пора собираться и нам. Совсем как муж и жена, мы крутимся в прихожей, бегаем из кухни в ванную и обратно. Эмма даже моет посуду (две чашки).

— Слушай, — говорит она, — у тебя тут ни второй зубной щётки, ни кремов, ни шампуней, ни косметики. Ты не разрешаешь девушкам оставаться на ночь?

— Предпочитаю ночевать у них сам. Такси вызывать?

Девушка задумывается.

— Давай, — отвечает она. — Мне нужно заехать домой переодеться. Я не могу появиться на работе во вчерашнем.

— Какой адрес? — спрашиваю я, глядя экран смартфона. Эмма называет.

— У нас три минуты.

— А ко мне они приезжают минимум через десять.

Мы выходим из квартиры, девушка осматривается в поисках кота. Лестничная клетка пуста, и лифт со вчерашнего вечера стоит на моём этаже. Мы молча спускаемся, такси ждёт нас за слагбаумом. В машине пахнет застарелым куревом, мы едем к Эмме, и я гадаю, пригласит она меня подняться или нет. В городе пусто, день

обещает быть жарким. Я накрываю руку Эммы своей, и она не отстраняется. Думаю, что бы предпринять дальше, но мы приезжаем. Кирпичная девятиэтажка, большая детская площадка.

— Подожди в машине, — говорит Эмма.

Значит, в другой раз. Водитель провожает её взглядом в зеркале заднего вида.

Эмма не задерживается надолго, спустя десять минут выходит из подъезда в строгом костюме. Она прекрасна, даже если надеть на неё хоккейную форму. Я вижу, что её губы шевелятся, и мне кажется, что девушка что-то говорит. Я опускаю стекло и спрашиваю:

— Что?

И только теперь понимаю, что Эмма что-то жуёт. Решила воспользоваться моментом и подкрепиться.

Она садится в машину, и мы уезжаем. Всю дорогу мы молчим, и я больше не пытаюсь держать её за руку. Теперь она неприступна, как Чогори. Ну и ладно, мне есть над чем подумать. Тайпан никуда не денется, найдёт возможность укусить, такова уж его сущность. Такси резко поворачивает, и девушка сама касается моей руки. Она улыбается мне улыбкой усталого человека. Никто не знает, чем всё закончится.

Мы останавливаем такси за квартал до конторы. Эмма уходит вперёд, а я медленно плетусь сзади. Дежурный расплывается в улыбке перед Эммой, кажется, ещё чуть-чуть, и он вылезет из своего окошка, как большой удав. При виде меня он лишь хмуро кивает и отворачивается. Я сразу иду к полковнику. Дверь в кабинет открыта, постоянно кто-то входит и выходит, носит какие-то бумажки. Улучив минуту, рассказываю Кирпоносу о нашей вчерашней поездке, не вдаваясь в лишние детали. Полковник отмахивается, мол, не до тебя сейчас. Работайте дальше, говорит он. Я иду в свой кабинет, обитель одиночества и печали. В коридорах беготня, я замечаю Серпохвостова. Вид у него усталый. Я сдержанно киваю ему и засовываю ключ в замочную скважину.

Сразу понимаю, что здесь побывали без моего ведома. В шкафу лёгкий беспорядок, ноутбук сдвинут на край стола, переполненная корзина для бумаг в другом углу. Я медленно подхожу к столу. Поверх разбросанных как попало бумаг лежит агитационная листовка с большим портретом Тайпана. «Голосуйте за будущее!» написано на ней. Я комкаю качественную жёсткую бумагу и сую листовку в карман. Своё будущее я создаю сам.

Террорист не даёт мне покоя. Я не понимаю, чего он хочет добиться, взрывая дымовые шашки. Судя по тому, что промежутки между терактами сократились и до выборов осталось меньше двух недель, мы скоро всё узнаем. Можно поймать Серпохвостова, приковать к батарее и под угрозой кастрации выяснить у него всю правду, но это не мои методы. Есть маленький шанс, что он всё-таки на стороне правды и хочет предотвратить что-то страшное.

Я выхожу из кабинета и сталкиваюсь с Эммой.

— Ты куда? — спрашивает она.

— По делу.

— Я поеду с тобой.

Я бы взял её с собой, но мне нужно побыть в одиночестве, подумать.

— Тебе лучше остаться здесь. Полковник задавал лишние вопросы.

Пока ещё не неё имя полковника действует, как надо. Эмма умолкает и провожает меня печальным и влюблённым (я надеюсь) взглядом. Дежурный на входе недобро смотрит мне вслед.

Есть проблема — машина моя осталась возле кафе. Я прикидываю, что добраться до неё, а потом до паркинга чревато потерей драгоценного времени, и я решаю проехать в метро.

Я редко туда спускаюсь, не люблю суету и многолюдие. Перед кассой долго отсчитываю мелочь, монетки скользят по ладони, как головастики. На платформе светло и ярко, как на новогоднем празднике. В вагоне много людей в масках, а я ни разу её не надевал за время коронавируса. Немного безответственно с моей стороны, как и многое в моей жизни. Я прислоняюсь прямо к надписи «Не прислоняться». Парень напротив держит на коленях огромного плюшевого медведя с довольной мордой. В голове ещё немного мутно после вчерашнего. Был ли уже Серпохвостов в паркинге, оставил ли очередное задание для нашего террориста?

От метро идти минут десять. Вот тут, если я сверну налево, а не направо, я попаду домой, но и дома мне не укрыться. Сама жизнь требует от меня решительных действий. Я должен, как та форель, пробить лёд, иначе он укроет от меня Эмму и моё будущее.

К счастью, паркинг небольшой, всего три уровня. Значит, пожарных кранов не больше десяти-пятнадцати. Будь в нём шесть этажей, я бы заколебался бегать между ящиками. Будка охранника пуста, шлагбаум поднят, ворота открыты. Я иду на нижний, самый сумрачный этаж. Машин немного, и, несмотря на то, что паркинг построен недавно, он производит впечатление полузаброшенного, как будто энтропия ускорила именно в его замкнутом пространстве. Надпись на ближайшей стене напоминает мне, что текущий рейтинг действующего президента всего 3%. Я подхожу к первому пожарному ящику, покрытому толстым слоем пыли, и приступаю к осмотру, надев перчатки. Здесь темно, и я включаю фонарик на телефоне, работать приходится одной рукой.

Только сейчас я понял, что минёр на записях с вокзала и торгового центра шёл к конкретному пожарному крану. Они все пронумерованы, и на том, который осматриваю я, наклеена красная единица. Обращал ли кто-нибудь внимание на этот факт? А какой номер был у ящика, который мы осматривали с Эммой? Помнит ли

она? Можно ей позвонить, поговорить, послушать, как звучит её голос. Но не время сентиментальничать, я всё сделаю сам.

За полчаса я обхожу два уровня. Мокасины мои покрылись пылью, и, кажется, я стал лучше видеть в темноте. Ну что ж, с витамином А у меня всё в порядке. По лестнице я поднимаюсь на верхний уровень, на крышу паркинга. Начинает моросить мелкий дождь, а на парапете сидит огромный голубь и смотрит на меня. Кажется, это витютень.

— Гули-гули, — говорю я, выключая фонарь на телефоне. Я забыл его зарядить, и теперь у меня двенадцать процентов заряда. Голубь открывает клюв, но ничего не говорит.

Тут, наверху, ни одной машины. Можно повесить кольца и играть в баскетбол. Я подхожу к первому ящику и провожу рукой по кромке двери, веду по часовой стрелке сверху вниз, и у самой петли задеваю какой-то выступ. Я несколько раз трогаю его, чтобы удостовериться в реальности. Длинных ногтей у меня нет, но есть перочинный нож, всегда в моём кармане. Я раскрываю лезвие и поддеваю им что-то белое, тонкое, свёрнутое. К моим ногам падает сложенная во много раз бумага. Я поднимаю, разворачиваю. Мелкие капельки мороси оседают на женской фотографии. Я держу в руках фотографию женщины с очень знакомым лицом. После того, как одного кандидата в президенты посадили в СИЗО, а другой уехал из страны, именно эта женщина, простая учительница, мать троих детей стала основным конкурентом действующего президента. Теперь, видимо, он хочет, чтобы в соперниках остались только Тайпан и ещё три технических кандидата. Кажется, паранойя зашла слишком далеко. Серпохвостов ведёт слишком опасную, слишком сложную, слишком не по зубам ему игру. Убивать людей нехорошо, пусть даже чужими руками. Может быть, Серпохвостов хочет, чтобы всё осталось по-прежнему, может, просто выслуживает звёздочки на погоны или новую должность, или всё вместе. Но я хочу изменений, хочу, чтобы наше людоедское государство во главе президентом, кичащимся своим хамским плебейством, и кагебистско-колхозной хунтой у его ног, перестало существовать, аннигилировало, рассосалось, как скучная мятная конфета, прекратилось, как воспаление атеромы.

Я прячу фото женщины в карман и натыкаюсь на листовку Тайпана. Теперь моей рукой двигает само Провидение, именно так, с большой буквы. Даже, наверное, все буквы большие. Я достаю Тайпана из темноты. Он немного помялся, но выглядит неплохо, самодовольно и узнаваемо. Я укрываю учительницу в своём кармане, где до неё никто не сможет добраться. Листовку Тайпана я тщательно складываю, уплотняю, разглаживаю, и лицо Тайпана исчезает, перекрываемый изнанкой. Изнанка листовки белая, а душа у Тайпана чёрная. Голубь на парапете начинает издавать глухое бульканье, будто хочет меня подбодрить. Надо же, я думал, он давно улетел.

Я запикиваю сложенную в миллиард раз бумагу в щель между корпусом и дверью ящика, оставляя на поверхности ровно два миллиметра. Для уверенности несколько раз провожу пальцами по результату своей работы. Идеально. Голубь, вроде бы, тоже доволен. Он наклонил голову и смотрит на меня. В таких делах свидетелей оставлять нельзя, но его я пощажу. Птица мира, как-никак.

Я спускаюсь вниз, и на первом этаже сталкиваюсь со сторожем. Он удивлён, а я давно привык ничему не удивляться.

— Что вы тут делаете? — спрашивает он.

— Хочу купить машиноместо, — отвечаю я первое пришедшее в голову.

— Вам не сюда, вам в офис к застройщику.

Я поворачиваюсь, чтобы уйти, но спрашиваю:

— А камеры у вас тут работают?

Он грустно вздыхает:

— Пока ещё договор на обслуживание не заключили. В следующем месяце обещают.

Я благодарю и смываюсь. Мне остаётся надеяться, что минёр ещё не побывал тут и не видел фотографии учительницы. Может, он забирает их с собой как трофеи, а может, нет. Нужно пару дней подождать, и я всё узнаю.

Предстоит ещё объясняться с Эммой, которой я не должен говорить ни слова правды. Если всё будет так, как нужно мне, она не узнает ничего.

По пути к метро звонит Эмма.

— Ничего, — говорю я, — я ничего не нашёл.

— Ты внимательно смотрел?

Женщина остаётся женщиной, бестолковый мужчина не может даже обыскать пожарный ящик.

— Да.

Она говорит ещё что-то, но я отвечаю:

— Я скоро буду, тогда и поговорим.

Захожу в метро, во всём теле непонятная лёгкость. Я не чувствую никаких угрызений совести, наоборот, мне кажется, что я сделал что-то хорошее, правильное. В метро прохладно, в это время мало людей. Я опять прислоняюсь к надписи «Не прислоняться» и закрываю глаза. Я уверен, что Тайпан меня больше не потревожит, нужно только немного подождать.

В Конторе у меня не очень приятный разговор с Эммой. Кажется, подозревает, что я что-то от неё скрыл. Полковник занят, к нему я вообще не собираюсь заходить. Теперь вся офисная беготня, поздние совещания и воспалённые от бессонницы и ража глаза вызывают улыбку. Я *знаю*, и это знание вселяет в меня силы.

Через три дня все электронные, телевизионные, радио и печатные средства массовой информации разрывает новость — известный бизнесмен, меценат, кандидат в президенты, друг детей и

т.д., и т.п. погибает от взрыва газа в собственном особняке. Насколько дней других тем для разговоров просто нет. Даже президент сквозь усы выдавливает что-то сочувственное. В день взрыва Серпохвостов просто исчезает, не появляется на работе, жена в истерике, руководство недоумевает. Он просто исчез, пропал, растворился, канул в Лету. Вот по поводу Серпохвостова совесть меня всё-таки немного покусывает. Коллеги, как-никак. Умом я понимаю, что он стал просто пешкой в игре, в которой не мог победить. Сделал неверный ход и оказался под боем более сильной фигуры. К счастью, Эмма ничего не заподозрила, ведь на паркинге ничего не произошло. Я никогда ей не расскажу о случившемся.

Я много раз думал, как Серпохвостов всё это провернул, по личному желанию или по велению кого-то сверху? Нашёл на форуме какого-нибудь ветерана горячих точек, обработал, убедил в серьёзности своих намерений, может, сказал, что работает в силовых структурах и может оказать содействие. Если у Серпохвостова был хозяин, он тоже не доищется правды.

До выборов остаётся четыре дня, сегодня в гости должна приехать Эмма. Кулинар из меня неплохой, но большую часть еды я заказал в ресторане. Главная часть ужина — хорошее шампанское — давно охлаждается. Меня включили в группу, которая занимается пропажей Серпохвостова, и теперь у меня есть допуск к его почте, соцсетям и облачному хранилищу. Я знаю, что нужно искать, я чувствую это, как хорошая ищейка, берущая след. Может быть, где-то далеко человек, умеющий обращаться со взрывчаткой, ждёт сигнала. Я знаю, что есть ещё один человек, от вида которого на экране меня начинает тошнить, и этот человек в ответе за многое произошедшее со мной и моей семьёй, и многими другими людьми. Найти его фотографию в высоком разрешении не проблема. Завтра я буду весь день искать в контактах Серпохвостова маленькую ниточку, незаметную, как паутина. Она там есть, и я найду её. Может, не завтра, может, через неделю. Выборы в нашей стране не решают ничего, поэтому к конкретной дате я не привязан. И вот когда я найду эту ниточку и потяну за неё, я подумаю, что мне делать дальше. Один клик мышкой — и фото улетит по просторам интернета. Я буду сильно думать, сделаю ли я этот клик. Форель ударила хвостом первый раз, и хочет ударить ещё. Движение жизни остановить невозможно, а в данном случае история — это и есть сама жизнь. Но я подумаю об этом после, сейчас я могу думать только об Эмме.

Домофон начинает пиликать, и я иду к двери. Никто не знает, что будет дальше.

Петр БРАНДТ

/ Санки-Петербург /



* * *

Грядущий благородным нищим
из тьмы подъездов и дворов
по оскудевшим пепелищам
ушедших в прошлое миров,
в толпе обкуренных дурманом,
среди лицемерия и лжи,
пред лихоимством и обманом...
Не веришь?.. Хоть предположи!

Здесь, где твой мир уже бесплотен,
вблизи родных еще дымов,
вблизи углов и подворотен
знакомых некогда домов...
К ним прислонившись, Бог поможет,
быть может, из последних сил...
Пускай, не любишь... Но, быть может...
Хотя бы вспомни, что любил!

РОДНОЙ УГОЛОК ГОРОДА

Среди беспорядочных движений
и их оконных отражений
в чреде мелькающих огней
октябрьских промозглых дней
я кто — случайный наблюдатель,
иль посторонний созерцатель
вдруг обновившихся убранств
родных когда-то мне пространств?

Метрдотель в парадном фраке
встречает, прячась в полумраке,
входящих медленно гостей.

Мир нестроений и страстей
здесь не бытует — он снаружи:
намокнув, тонет в грязной луже
листок скандальных новостей...

Внутри ж царит порядок чинный.
Из полумглы, как погреб винный
мерцает ряд пузатых фляг,
холстиной грубою обвитых,
заморских брендов знаменитых.

В каминных отблесках горят
впотьмах тарелки и сосуды
элитной дорогой посуды
с эмблемой царской и ряды
вина, десерта и еды
среди чуть слышных разговоров
под звон серебряных приборов,
десертных вилок и ножей,
сюда собравшихся мужей,
блюдущих фарт неторопливо
в мирах не здешнего разлива,
среди красивых женских рук
в перстнях, сверкающих огнями,
с их драгоценными камнями...

Да, это он — тот самый круг
живущих призрачно и сладко
людей не нашего достатка.

Напротив, за стеклом зеркальным,
зал с инструментом музыкальным
и тут же, как из тьмы веков —
стенд театральных париков.

Какой-то деловой мужчина
вонзился с кружкой капучино
в экран смартфона своего,
ища свое в сетях его.

С ним по соседству нам привычный,
залогом дружбы закадычной —
витраж давно прошедших лет,
приют бродягам и студентам,
с родным для всех ассортиментом:
пирожных, бубликов, галет,
увы, советского наследства.

Вдали собор, знакомый с детства
среди старых тополиных крон
под гомон галок и ворон
влечет таинственным приветом,
горя во мгле нетварным светом
и рукотворным — алтаря:
рубина, злата, янтаря.

Чему служить, за что цепляться?
Не торопись, душа, влюбляться,
коль здесь тебя помянут ввысь,
не торопись, не торопись...

Из цикла

«В музее изобразительных искусств»

КАЗАЧЬЯ ЯРМАРКА

Казачья ярмарка, смешенье
всех наций, гордость и брожение.
С рассвета до исхода дня —
веселье, брань и толкотня.

Великороссы, малороссы,
все вместе — сливки и отбросы.
Донской рыбак, его улов.
Из общего корыта пьющих
четверка медленно жующих
солому рыжую волов
широкоплечих и усатых
малороссийских молодцов.
Торговый воз из Черновцов
хасидов, смуглых и пейсатых.
Матросы в блузах полосатых.
И табор, пестрый балаган
под бубны пляшущих цыган.
Их рукоделье — миски, ложки...

Слепой играет на гармошке.
От щедрых душ к нему в ответ
несутся пригоршни монет,
к его пустым сосудам нищим,
с на солнце раскаленным днищем.

Качаясь в седлах в позах вольных,
тесня купцов самодовольных,
военным строем, по два в ряд,

казачий шествует отряд,
всегда на «ты» со смертью близкой —
Звездой судьбы кавалерийской.

Из-под ноздри торчащий ус.
На брови сдвинутый картуз
или баранья папаха.
Казачкой сшитая рубаха
из тканей собственных, льняных
простым шитьем, а у иных —
из шелковых, по меркам барским:
французским, польским иль баварским.

Они азартны и хмельны,
как дух степи — вольны и строги...

Толпясь по сторонам дороги,
народ и весел, и сердит
торгует всем, что степь родит.

(Мир, не знакомый с дефицитом.)

Сверкает черным антрацитом
в тазу зернистая икра.
В бутылки мутный сок имбирный.
Горбатый хрящ белуги жирной,
стерлядки, шипа, осетра...
Мясисты и продолговаты
в рядах ростовские томаты,
чеснок, подсолнечник, порей,
густой, душистый сельдерей,
тугие луковые косы.
Горят на солнце абрикосы.
Бахчи донецкой кавуны
и зноем пышущие дыни...

В чем мощь и тайна сей твердыни?
В чем звездный код их бытия,
ником не понятого рода?

Два блага — Вера и Свобода!
Два смысла жизни, два крыла,
два устремленья, два служенья,
две казни, два самосожженья,
два приговора, два суда,
два оправданья, два спасенья,
две гибели, два воскресения.

Михаил МОСКАЛЕВ

/ Москва /



ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПИСЬМЕННОСТИ

Письменность была изобретена дождливой июньской ночью на кухне съемной квартирki, по недосмотру образовавшейся в маленькой нише последнего этажа семнадцатизэтажного дома. Стол с пачкой исчерканных листов, пол под столом, закиданный шариками смятых бумажек, да еще целый ворох листов бумаги, гладких, нескомканных, на примыкающем к столу диване — такова вкратце область распространения письменности в первые часы ее существования. Ко всему этому следует присовокупить шариковую ручку, карандаш, кисточку и любовный пыл А. Дюпона, автора изобретения и по совместительству арендатора скромного жилища на верхотуре.

Мы не станем здесь тратить время на опровержение теорий о том, что первыми-де выучились писать китайцы, шумеры, египтяне, финикийцы или какое-либо другое из многочисленных племен, в изобилии населявших сушу в дотелевизионную эпоху. Нетрудно заметить, стоит лишь на секунду отвлечься от гула электроприборов и взглянуть в страницу, набранную каким угодно шрифтом на каком угодно языке, что сквозь любой иероглиф, сквозь любой символ, неважно, обозначает он слог или отдельную букву, сквозь любую огласовку или диакритику отчетливо проступают следы неутомимой деятельности человека, имя которого до сих пор с содроганием и почтительностью произносят на всех материках Земли и даже немного в ее окрестностях. А. Дюпон, чьему труду десятки музеев мира обязаны коллекциями осенних листьев и речной гальки, известен своей рассеянностью и безразличием к собственным изобретениям, вывалившимся из него как бы невзначай и вскользь, словно икра из нерестящегося лосося. И наш долг, долг благодарных потомков, ответственных налогоплательщиков, граждан, имеющих право избирать и быть избранными, защитников и сынов отечества, автомобилистов и пешеходов (независимо от того, переходят они дорогу в расположенных для того местах или нагло перебегают ее на красный свет, угрожая безопасности несущихся навстречу гру-

зовиков и автобусов), а также всех остальных категорий двуногих, твердо овладевших основами правописания, так вот, наш долг — помнить и чтить, чтить и помнить тот бесценный подарок, который преподнес всем нам А. Дюпон, человек, арендовавший квартиру на последнем этаже семнадцатизэтажного дома.

Доподлинно известно, что той июньской дождливой ночи предшествовал июньский же вечер, который совсем не был дождлив, а, даже напротив, отличался невыносимой духотой и плотностью воздушных масс, пробраться сквозь которые не представлялось почти никакой возможности. А потому большинство горожан благоразумно оставалось дома, ожидая за закрытыми ставнями прихода ночных сумерек и прохлады. Благоразумно осталась дома и та, понадеявшись на встречу с которой, А. Дюпон, единственный среди жителей города, вышел из своей квартиры на улицу и, одолев порядочное количество городских кварталов, простоял битый час, а то и два, возле замыкающего центральный бульвар памятника неизвестному. Она, как уже было сказано, не пришла, и Дюпон, прождав еще один час вдобавок к первым двум, тихо побрел в сторону дома, размышляя о неустройстве вселенной вообще и своем личном неустройстве в частности.

Когда Дюпон подходил к двери своего жилища, с неба упали первые капли дождя, и он, все еще раздумывая, не вернуться ли ему обратно к памятнику, понял, что несостоявшееся свидание не состоялось окончательно и рассчитывать на новое в ближайшую половину суток не стоит, так как эта половина приходится аккуратно на ночные часы, которые, вдобавок ко всему прочему, обещают быть дождливыми. А нет более безнадёжного времени для свиданий, чем ночные дождливые часы.

Взобравшись к себе на семнадцатый этаж, он прошел на кухню и уселся ужинать, надеясь поздневечерней сытостью перебить паршивое настроение. За чаем, который последовал немедленно после ужина, Дюпон взял нож и, опасно поигравшись им, принялся выцарапывать на вдоль и поперек исцарапанной столешнице линии и круги, думая все об одном и том же и не отвлекаясь на постороннее.

Следовало ли искать причины неудавшегося свидания в особых погодных условиях минувшего вечера, то есть свалить любовное фиаско на объективные факторы, или это были воля и желание (вернее, неохота и нежелание) той, которая заставила Дюпона выйти из квартиры, то есть причины носили скорее субъективный характер, или, что по зрелом размышлении, хорошо себя зная, Дюпон вполне допускал, все свидание от начала до конца было фантазией, и никто не должен был в тот душный вечер прийти к памятнику специально ради Дюпона, а очутился он там случайно и тут же сам все себе выдумал, потому что, и опять же, но теперь уже по здравом рассуждении, не помнил никаких горожанок, с которыми последнее время у него планировалась организация свиданий или

иных мероприятий. Эти и другие мысли не давали Дюпону покоя весь оставшийся вечер, пока наконец, все еще продолжая машинально покрывать стол линиями и полукругами, он не изобрел пиктографию.

Что это именно пиктография, а не, скажем, азбука Брайля, (которая тоже вполне могла изобрестись, так как Дюпон был порядочно слеп от любви), стало понятно и даже очевидно, как только на теле стола посреди беспорядочных царапин, порезов, ушибов и других ранений проступили совершенно отчетливо, то есть заметно любому невооруженному глазу, две фигурки, одна из которых по всем признакам была женской и носила длинное, до пят, складчатое платье, шляпку с вуалью и ажурный зонтик, а другая ожидаемо была мужской, и ее одеяния напоминали камзол, тоже шляпу, но только с пером, и высокие сапоги с ботфортами. И если эти две фигуры представляли собой Дюпона и ту, которая не пришла, не появилась, не пробралась и пр., то нужно сказать о некотором преувеличении, так как Дюпон всегда носил обычные темно-синие брюки и коричневую куртку, а о камзолах знать не знал, потому что они еще не были изобретены, а та, другая, если ее существование не являлось бредом, галлюцинацией или каким-либо иным побочным продуктом жизнедеятельности принадлежавшего Дюпону головного мозга, наверняка явилась бы в клетчатом платье чуть выше колен и туфлях на босу ногу, так как ажурные зонты и складчатые платья были давным-давно сняты с производства на всех фабриках и комбинатах соответствующего профиля. Об отношениях между фигурами можно было судить по жирному амуру в верхней части столешницы и по двум выпущенным им стрелам, летевшим, по скудоумию пернатого, в сторону мужчины.

Дюпон не сразу понял, что образовавшийся на столешнице рисунок может сыграть роль любовного послания. Сначала, заметив результаты случившегося с ним припадка компульсии, он подумал о неминуемом объяснении с хозяйкой квартиры, неизбежном скандале, непременно, как следствие первых двух неприятностей, расходах на покупку нового стола и о том, сколько еще истерзанных подобным же образом предметов мебели населяют классные комнаты, тюремные камеры, больничные палаты и прочие заведения, навевающие тоску. Только потом ему пришла мысль, что этот рисунок, попадись он на глаза той единственной, мог бы немало сказать о тоске, которую, не будучи больным или заключенным, способен испытывать человек, проводивший два, а то и три часа в напрасном ожидании на раскаленном летним зноем бульваре.

Далее мы видим, как Дюпон, встав на скользкую дорожку установления коммуникации с другим, вернее, что еще безнадежнее, с другой, начинает методично подыскивать годные для осуществления своего замысла способы. И прежде всего он меняет прочный и почти неподвластный времени материал, какой представляет из се-

бя с душой выстроганная столешница, на бумагу, спешащую сразу после доставки послания адресату, пожелтеть, выцвести, а то и обратиться в горстку пыли. Впрочем, послание, сочиненное Дюпоном, оказывается еще менее долговечным. Мы видим, как Дюпон, не удовольствовавшись первым вариантом своего пиктографического признания, еще неуклюжего, еще не уверенного в праве на свое собственное существование, чертит линии, образующие зонтик и камзол, во втором послании, как он прорисовывает пухлое тельце амура на третьем рисунке, как заботится о форме шляп стоящих друг напротив друга фигуры мужской и фигуры женской на четвертом рисунке и как, добившись почти фотографического (вплоть до смущения на ее лице, решительности в его движениях и написанного на физиономии амура равнодушия) подобия на рисунке за номером десять, стремительно скатывается к иероглифическому символизму, достигающему своего апогея в письме, знаменующем собою ни много ни мало двадцатую попытку А. Дюпона объясниться в любви. Что же мы видим на этом рисунке? Чего не видим? Что следует видеть и чего, какими бы внимательными мы ни были, замечать не стоит? В этих вертикальных линиях, так же основательно прорисованных, как и раньше, но не образующих более какой-либо предмет, встречающийся по эту сторону бытия? В этих поперечинах, словно стягивающих в талию вертикальные линии иероглифа, обозначающего женщину, и лежащих балкой на уровне плеч в иероглифе, символизирующем мужчину? А как насчет двух маленьких точек в верхней части листа, нарисованных кисточкой на месте амура, изгнанного вслед за прочей нехитрой мишурой пиктографии? Неприступность и нарочитая усложненность нового способа письма, придуманного Дюпоном глубокой ночью, в общих чертах повторяют сводящую с ума неприступность и усложненность той, которую, все еще испытывая к ней нежные чувства, Дюпон начинает почти ненавидеть. Женский иероглиф, поэтому, помимо женщины, обозначает здесь еще трудную задачу, крепость и врага, так что в некоторых случаях можно подумать, что Дюпон сочиняет не любовное послание, а описывает взятие неприятельских укреплений, во время которого приходится вести в уме математические расчеты. В мужской же иероглиф, вполне ожидаемо указывающий на силу, отвагу и прочие джентльменские радости, традиционно передающиеся от отца к сыну, незаметно проскальзывают значения поражения и слабости, словно Дюпон, не желая вдаваться в детали своей неудачи, стремится проговорить их тихо и невнятно, чтобы они как можно быстрее растворились среди расхожих мужских добродетелей. Невнятица и сумбур — в целом единственное, что остается после чтения этого письма. Желание и жимолость здесь объединены в один знак из-за схожего звучания, дракон и комета — из-за хвостов, подвенечное платье и саван — из-за белого цвета. Иногда кажется, что эти знаки больше думают о самих себе, чем о том,

что они призваны обозначать, а письмо в общем не что иное, как метафора пренебрежительного отношения к Дюпону объекта его нелепых вздыханий.

К утру возбуждение, подпитывавшее Дюпона энергией и толкавшее к новым экспериментам всю ночь напролет, сменяется на усталость и разочарование. На рассвете мы видим его неподвижно сидящим за столом перед кипой исписанных листов бумаги. Левая рука Дюпона лежит на столе, правая безвольно повисла вдоль спинки стула. Два мокрых голубя, затеявших возню за окном на металлическом карнизе прямо напротив Дюпона, не привлекают его внимания. Он не слышит грохочущего где-то далеко внизу мусоровоза и тем более не замечает обычного утреннего копошения соседей за стеной. Сквозь залитое дождем стекло видны блестящие черные крыши соседних домов, побуревшая от воды городская башня, погасшие фабричные трубы, однако взгляд Дюпона устремлен еще дальше, к линии, в которой самое отдаленное от него здание смыкается с неприветливым серым небом. Он думает о том, что десятки раз измененное им сообщение всего лишь бессмысленная чернильная клякса, размазанная на несколько страниц. Увеличенная до размеров города линия горизонта. Разбухшая от ночной сырости пустота.

Однако, как только безнадежность затеянного Дюпоном мероприятия проясняется в полной мере, как только становятся понятны масштабы то ли случившейся, то ли еще только надвигающейся катастрофы, он берет ручку и вновь принимается писать. Его тело, уже было приготовившееся наслаждаться бездействием, этим неоспоримым преимуществом любого поражения, с недоумением реагирует на новые попытки сказать неизвестно кому о чем-то неопределенном. Рука Дюпона двигается медленно и неуверенно. Знаки, появляющиеся на листе бумаги, не обладают изяществом иероглифов, а напоминают скорее высушенных насекомых, личинки мух, червей, вылезших на поверхность земли после дождя. Дюпон то и дело останавливается, проговаривает вслух слова и части слов, однако не для того, чтобы получше вдуматься в их смысл (теперь он знает, что особого смысла в них нет), а просто чтобы понять, как они звучат. Он больше не надеется на силу своего сообщения, не ожидает, что оно будет замечено кем-либо за пределами квартиры, в которой он находится. Что ему надо, так это зафиксировать то ли для самого себя, то ли для адресата, мысль о благосклонности которого кажется ему теперь не более чем случайной фантазией, детали прошедшего вечера. Теперь это протокол. Последовательное изложение сухих фактов и ничего более. Дюпон пишет, как он вышел из дома, как прошел, задыхаясь от пыли и зноя, полгорода, как ждал, расхаживая возле каменного истукана, как ждал, переходя с одного места на другое, как снова ждал, застыв на месте, как продолжал ждать, загадав про себя, что если он простоит так, сосчитав до тысячи, то она, конечно же, придет, как, сосчитав до десяти тысяч, он

бросил ждать и тут же принялся ждать заново, расхаживая, переходя и считая одновременно, как, уже начав удаляться от места встречи, он все равно продолжал ждать, рассчитывая дойти до ближайшего перекрестка и сразу же повернуть обратно, как ждал всю ночь, сидя за кухонным столом, ждал, несмотря на ливень, и как, прождав до самого утра, он ждать перестал.

Жирная точка в конце последнего предложения в последнем письме отмечает момент окончания ожиданий и, очевидно, момент исчезновения Дюпона. Отсюда, с этого неприятязательного пунктуационного знака, начинается путешествие, о способах и конечном назначении которого еще долго с одинаковой, нужно полагать, бесплодностью будут спорить дилетанты и знатоки, пока, собравшись духом, не отправятся в него сами под торжественные песнопения священников и жалобный скулеж встречных собак. И так как взгляды Дюпона на подобные путешествия полны противоречий и нелепицы, то о его дальнейшем местопребывании можно только догадываться. Как бы то ни было, домовладелица, явившись в обиталище Дюпона недели через две после той бурной июньской ночи, чтобы взять с него ежемесячную дань, застала лишь жирную точку в окружении заляпанных чернилами бумаг, жирную точку и никаких признаков Дюпона поблизости.

Испорченной столешницы было достаточно, чтобы все письменные принадлежности с громкими ругательствами были немедленно отправлены в окно. Вслед за ними последовали и сами письма, которые, немедленно разлетевшись по всем окрестным переулкам, наверняка сгнули бы под плитами заново перекладываемых тротуаров, если бы отлынивающие от своих обязанностей рабочие не сохранили на память чудные бумажки, спустившиеся на них с небес. Через некоторое время, управившись с плиткой, рабочие разъехались по домам во все части света, прихватив с собой так и не дошедшие до адресата признания Дюпона. Последнее признание, пропитанное угрюмостью и мизантропией, дало начало несколько бюрократизированной, формальной и бесчувственной письменности, хорошо годящейся для ведомостей и отчетов.

Впрочем, справедливости ради нужно сказать, что в холодном тоне этого самого последнего из всех писем с отстраненным перечислением метаний и телодвижений Дюпона (словно мечется и движется не он сам, а кто-то другой) нет-нет да и промелькнет слово, а то и целая фраза, из которых станет ясно, что автор письма не бездушный автомат, а влюбленное, пусть несколько неудачно, существо, каждую ночь производящее сновидения. Вдруг посреди бесконечных предложений, похожих не то на веревки с бельевыми прищепками, не то на облепленные воронами электрические провода, встретится имя, появятся несколько окруженных сонорными звуками гласных с рокошущей, словно морская волна, перемычкой посередине, и сразу же возникнет какая-то надежда, обещание или по крайней мере чувство легкости и умиротворения.

ДНИ ТРУДА

Завод останавливается. Из труб перестает идти дым. Огонь в печах угасает. Закинув последнюю лопату угля, кочегары наглухо закрывают печные створки и расходятся по домам смывать пятна сажи с рук и лиц. На станках образуется тонкий, едва заметный слой пыли. Луч солнца, наконец пробившийся сквозь мутное складское окошко под самым потолком, освещает тонкую заброшенную паутинку. Один конец ее отцепился от балки и теперь свисает, колеблемый иногда неизвестно откуда дующими потоками воздуха. Вся территория завода цех за цехом обесточивается. Оставшиеся без электричества провода грузно провисают под тяжестью собственного веса. Ночью здесь не загорится ни одна лампочка, ни один фонарь не подсветит дорогу задержавшемуся на своем рабочем месте человеку. Поэтому лучше уйти засветло, лучше уйти пораньше и наверняка, пока солнце только начинает свой путь на закат. Остается только памятник павшим в войне, мраморный постамент с подробным перечислением имен и дат. Они останутся здесь, пока завод не будет работать. Они снова будут здесь, когда завод наберется сил и вновь заработает.

Доска почета растерянно смотрит глазами ударников труда на покидающих территорию завода людей. Они проходят по дорожке с белым бордюром и рядом берез, на которых только-только начали распускаться почки. Группами и поодиночке, в замасленных робах, в заляпанных мазутом штанах, в пиджаках и белых рубашках, в туфлях и кирзовых сапогах, — одни переоделись в заводских раздевалках, другие решили дойти до дома так. Почти никто не разговаривает, только изредка перекидываются ничего не значащими словами. Кто-нибудь вспомнит, что оставил в цеху или на складе зажигалку, или брелок, или купленный в обеденный перерыв в заводской лавке кусок сыра, и с досадой выругается. Но обратно не вернется.

Где-то там, на самых дальних заводских окраинах, уже никого нет. Все входы заперты, на дверях подсобных помещений висят амбарные замки. В одном из окон длинного барака открытая форточка, но не стоит обманываться — ее просто забыли захлопнуть. И если встать и прислушаться, если прикрыть глаза ладонью и как следует вслушаться, то ничто, ни один звук не напомнит о заводе. Здесь больше нет заводских звуков. Вместо шума машин и ругани рабочих — мерное колыхание воздуха и далекий, непонятно откуда доносящийся гул.

Кто-то из последних покидавших территорию завода выкинул на газон возле проходной окурки, но его уже почти не видно в высокой траве. Последний раз ее стригли неделю назад, но она успела отрасти. Трава теперь пробивается повсюду: из щелей в асфальте, из трещин между плитками, на пустыре за столярным цехом.

Возле складов рядами стоят грузовики. Кузова покрыты брезентом, который должен будет защитить их содержимое от непогоды и хищных птиц, если таковые залетят на территорию завода. Но они залетят, обязательно залетят. Это уже было и повторится снова. Не пройдет и нескольких дней после остановки завода, как на дорожках, ведущих от одного здания к другому, можно будет увидеть диких лис, на газонах с большими пыльными проплешинами появятся кротовьи норы, в трещинах зданий поселятся гадюки и осы. В разбитых трехметровых окнах цехов совыют гнезда ласточки. Они будут носиться над территорией мертвого завода в поисках веточек, тонких прутиков и другого строительного материала для своих жилищ. Со стороны леса, от которого завод отгородился трехметровой стеной с колючей проволокой, прибегут дикие собаки и волки. Теперь им ничто не помешает выкопать под заборами лазы и, пробравшись ночью на крышу оставленных цехов, протяжно скулить в черное небо. Дятлы будут стучать клювами в заводскую трубу, выскивая забравшихся в щели между кирпичами божьих коровок. Дно небольшого фонтана перед разлагающимся и уже совершенно непохожим на себя зданием администрации заселят маленькие юркие ящерицы. Теперь на длинной аллее, уходящей от администрации к цехам в глубине завода, будут властвовать кузнечики и цикады. Они будут неистово прыгать, совокупляться друг с другом, зарождать себе подобных и с шумом вылупляться из маленьких яичек под стрекотание сверчков и уханье сов. С ближнего поля придут, позвякивая колокольчиками, коровы и сжуют невзрачные цветы с вымазанных в белую краску клумб, а невесть откуда взявшиеся козы сдерут с доски почета черно-белые фотографии передовиков. Так уже было, и так с точностью до мелких деталей повторится снова.

Это все случится быстро, в считанные дни, вопреки всем законам природы, а пока небольшой поселок около завода готовится к приходу Великих Рабочих. Это событие, которое раз в год прерывает здешний ход жизни. Все поселяне запираются дома, занавешивают окна так, чтобы на улицу из жилища не просочился ни единый луч света, ни одно движение или шорох. Пыльные скверы пустеют, и даже единственный в поселке автобус перестает ходить. Это время, когда прошлое становится хозяином на маленьких кривых улочках и базарной площади, а настоящее вынуждено прятаться по углам в невзрачных темных зданиях с закрытыми ставнями. Пройдет еще немного времени, и от привычной поселковой суматохи не останется и следа. Изредка хлопнет калитка, послышатся и тут же замолкнут шаги, испуганный женский голос заглушит внезапный детский смех. Так надо, чтобы случайно не побеспокоить Великих Рабочих, чтобы не помешать и не отвлечь их от ежегодного возвращения к прошлой жизни.

Они давно покинули завод и поселок, они растеряли свои тела на ветру и солнце. Их существование призрачно, зыбко и с каждым годом становится все более неустойчивым. Некоторых из них почти

не видно, от других остались только контуры, мало напоминающие человеческие. Годами их грызли мыши и черви, переваривали в своих маленьких желудочках безвестные насекомые, их пережевывали, ими испражнялись, в них размножались и устраивали свои жилища существа, едва заметные невооруженному глазу. И вот они возвращаются на завод. Длинная процессия, медленно движущаяся по главной поселковой улице к железным воротам. Измученные трудом и мышами, Великие Рабочие.

Они были здесь с самого начала, когда не существовало еще ни кирпичного административного здания, ни котельной, ни мастерских, а первые станки, собранные из лесной ветоши, стояли под открытым небом, иногда прямо в грязи, и электричество для них приходилось выменивать на женщин у населения близлежащих деревень. Это они, те, кого ныне называют Великими Рабочими, приспособили бесполезные столетние дубы под заводские трубы, а медвежьи норы, коварно выманив из них их обитателей, превратили в печи, вполне годившиеся для обжига керамики и плавки металлов. Чтобы земля не мешала заводу, ее залили мазутом и покрыли бетонными плитами, срыли холмы и засыпали овраги, выпарили болота, оставив нетронутым только кусочек полянки при входе и пустырь вдоль дальнего забора. Дикие валуны стащили в одно место и сделали гору, из которой стали добывать железо и медь.

Каждый ребенок в поселке знает о Великих Рабочих, знает о том, как во время половодья они изничтожили реку, которая чуть было не затопила завод, или отбили нашествие медведей, желавших вернуть себе свои норы. Об этом напоминают названия двух главных улиц в поселке — Речной и Медвежьей, это две засохшие полоски грязи, каждая из которых извивается между двумя рядами ссохшихся деревянных домов. Они давно почернели, эти дома, они давно вросли в землю по самые окна и завалились на бок. Войти в них можно через низкие, выкрашенные в непонятный коричневый или серый цвет двери. Там, внутри этих домов по улицам Речной и Медвежьей, живут дети, которым на ночь иссохшие вслед за грязью старухи поют колыбельные. Это нужно, чтобы дети побыстрее уснули, чтобы они уснули и не мешали спать взрослым. Однако колыбельные навевают не сон, а скорее сильный, не отпускающий до самого утра морок. И самими старухами, кажется, владеет какой-то морок, когда они глухим голосом, сопровождая свое пение сомнамбулическими движениями рук, произносят имя того или иного Великого Рабочего. Когда старухи открывают черные рты, растягивая гласные, когда они резко клацают остатками зубов, сжимают губы, чтобы произнести согласный звук, дети спешат закрыть глаза, обмотаться одеялом, притаиться в саване из простыней и подушек. И в их сознании всплывают картинки, фрагменты

прошлого. В какой-то момент они начинают воочию видеть разлив реки, плескающуюся в цехах воду, медведей, раздирающих своими длинными когтями людей, мечущиеся в разные стороны тени.

Никто из Великих Рабочих не умер своей смертью, никто не дожил до старости. Еще и сейчас в конструкции самых старых цехов можно отыскать балки, которыми по неосторожности была пробита чья-то грудь, еще продолжают работать станки, лишившие чересчур увлекшихся трудом рабочих пальцев и рук, где-то стоят чаны, заполненные губительной для легких любого живого существа жижей. Никуда не делся зловонный заводской дым, каждый день покрывающий маленький поселок густой ядовитой пеленой. Все то, что когда-то убило Великих Рабочих, продолжает убивать их потомков. Искалеченные механизмами, с дыханием, похожим на хрип, с темными прокопченными лицами, со скрюченными пальцами, основатели завода являются в видениях детям, как бы возвещая им об их будущей участи.

Теперь от Великих Рабочих мало что осталось. Теперь они смешались с воздухом и землей. Вместе со старыми генераторами, вышедшими из употребления станками, отжившими свое моторами и прочей заводской рухлядью они покоятся за поселком на кладбище, больше похожем на машинную свалку. К ней ведет желтая грунтовая дорога, по бокам которой растет высокий ядовитый борщевик. Большую часть года на дороге не встретишь ни одной живой души. Кроме борщевика, здесь еще растут крапива, лопух, полынь и пижма. А люди здесь редкие гости. Они появляются на дороге только несколько раз в году, чтобы отнести на кладбище очередного съеденного заводом рабочего. Скорбные процессии черных людей, сопровождающие закрытый гроб, в котором прячется от случайных взглядов то, что осталось от человека. Теперь его будут видеть только такие же, как он, изничтоженные и выплюнутые на потеху червям ошметки людей. Теперь он будет принадлежать кладбищу так же, как раньше принадлежал заводу. С такой же силой, с такой же страстью, до самого конца. Священник, больше похожий на мастерового, читает над останками свое нечленораздельное заклинание, взмахивает паникадиллом и несколько раз чертит в воздухе крест, закрепляя за кладбищем право на покойника. Женщины начинают громко причитать, словно надеясь своими криками вернуть труп к жизни. Их успокаивают, им закрывают лицо черной материей, их выводят под руки прочь с кладбища. Обратно на завод. Потому что их время еще не пришло.

Гроб не закапывают. Его оставляют среди покореженных заводом механизмов, чтобы покореженный заводом человек смог найти себе занятие по душе. Тихое занятие по почти уже не существующей душе. Когда плач стихнет и последняя покрытая черным платком женщина исчезнет в пыли грунтовой дороги, бывший рабочий тихо выберется из гроба и, побродив некоторое время по ночному

кладбищу, которое все же больше свалка, чем кладбище, найдет себе пристанище в какой-нибудь изъеденной ржавчиной железяке. А в остальные дни здесь все спокойно. В теплую погоду после дождя, когда начинает пригревать солнце и становится жарко, старый металл накаляется так сильно, что до него почти нельзя дотронуться рукой. Пройдет какое-то время, прежде чем живые придут к мертвым с очередным гробом.

Но раз в год, в начале мае, в межсезонье, в неустойчивый разлом между зимой и летом, когда зима может еще вернуться, а лето так и не наступить, Великих Рабочих охватывает тоска, и все они, от последнего кочегара до самого главного инженера, выходят из полуразрушившихся кабин грузовиков, служащих им последним пристанищем, встают из-под горок заржавевших шпал, поднимаются из трухлявых контейнеров, из брошенных бетономешалок и, неслышно выйдя за ограду свалки-кладбища, тихо бредут по грунтовой дороге в сторону поселка, к заводским цехам и мастерским, к местам, в которых они провели всю жизнь. После нескольких недель простоя завод больше похож на то, чем он был на заре своего существования: слабый, готовый сдаться силам природы островок прирученного бетона, уже наполовину захваченный дикими животными. Теперь здесь все так, как было когда-то давно при Великих Рабочих.

Они проходят по главной улице поселка мимо закрытых ставнями окон домов, бредут через проходную, по привычке показывая невидимому вахтеру свой пропуск, расползаются по территории завода, по цехам, мастерским, складам, которые на время в знак уважения или из страха уступили им живые, и принимаются за свои привычные, не забытые даже после смерти дела. Воздух наполняется неясными шорохами, шелестом, шуршанием, но Великим Рабочим они кажутся звуками фрезера, точильного станка, работающего мотора, ударами молотка. Им кажется, что они еще там, где-то в самом начале завода, что ничего еще не сделано, что впереди еще много работы, что времени нет, что без неустанной деятельности ничего не добиться, что силы природы, подобно медведям, вот-вот отвоюют то, что взяли у них люди, и что, кроме Великих Рабочих, оставленному заводу надеяться больше не на кого. И тогда возвращается давно забытое, тогда наступают страшные, безудержные, всепоглощающие Дни Труда.



Михаил РАНТОВИЧ

/ Берёзовский /

* * *

Забрызганные брюки, пара кед,
футболка, тело, ясная усталость —
вот человек, одно сплошное «нет»,
всё то, что от него теперь осталось.

Сидит: глаза и сигаретный дым.
Когда-то думал он, что есть причина,
чтобы страдать ему и быть живым,
теперь смешна игра гемоглобина.

Ещё чуть-чуть — закончится табак
и неподъёмным станет грузный воздух,
а мысль о том, какой же был дурак,
да об отчаянных коньячных звёздах.

Он стряхивает пепел не спеша,
и благодать, кивнув, проходит мимо.
А что подумала в тоске душа,
оказывается неуловимо.

* * *

Над счастьем и грехами, выше крыш,
обнажена, без облачного грима,
летит такая голубая тишь,
что музыка её невыносима.

Она сливает радость и беду,
равняя их в пространстве одиноком.
Вот грузят рыбу, что лежит во льду,
поблескивая скользким чёрным боком.

Вот воздух — сладкий, словно на развес,
и женщина проходит в синем платье.
Когда дыхания уже в обрез,
не нужно сокрушаться о расплате.

И сокрушаться нужно, и страдать,
и страстью становиться постепенно,
ведь молча музыка звучит опять
и ласково ломает об колено.

AGLAIS URTICAE

Не переливница, не аполлон,
не адмирал, павлиний глаз, ванесса, —
но та, испод которой опалён,
дитя крапив, любительница леса.

На лепестках, на воздухе видна
(как будто уравнение решая).
Миганье двух слагаемых она —
аглая, эта сумма небольшая,

и невозможна перемена мест.
Мне не понять, не разгадать вовеки
её цветастый роршаховский тест,
как счастье, солнце, хвою или реки.

* * *

Зачем такое изобилие слов,
когда есть неизбывная обида,
когда готовился, но не готов,
когда Фемида — это нимфалида?

Но бабочки на лютики летят,
где смерть не оказалась приговором,
где отдыхает непокорный взгляд,
опять замороженный хрупким хором.

Когда скажу себе, что стал пустым,
тогда молчаньем возразят белянки
и срежут свежий воздух, а под ним —
слова, готовые к любой огранке.

* * *

Спасибо, слава богу, — но кому
адресовать воскресшие признания,
когда под снегопадом — как в дыму
деревья, птичьи голоса и зданья?

Бесцельно голубая благодать
обрушивается с любовью белой.
Мой дух не может голову поднять,
и не осталось тающего тела.

И я взлетаю, я иду ко дну,
мне не хватает воздуха и света,
я чувствую и счастье, и вину,
как совершивший, совершивший это.

* * *

Когда совсем я прекращу дышать,
сознание, как глаз, раскрою шире,
окажется, что буду жить опять
в подлунном плотном неподдельном мире

не косной сноской в толстом словаре,
тем более не томиком на полке,
а раненным ранетом в январе,
крутелицей крупитчатой и колкой,

мечтательным мучительным лучом,
метнувшим искристую горстку снега,
а воздух в ус не дует — нипочём,
а воздух — это лёгкости коллега.

Мне будет жаль не жизни, не огня:
они блеснут и разгорятся снова.
Но опечалит навсегда меня
как бабочка расправленное слово.

Римма ЗАПЕСОЦКАЯ

/ Лейпциг /



НАСТЯ С «ЧЁРСТВЫМ» ЧЕМОДАНОМ

Считается почти аксиомой, что поезда в Германии ходят с немецкой пунктуальностью — минута в минуту, а пресловутое немецкое качество является гарантией от поломок. Но вскоре после своего приезда в Германию я на личном опыте убедилась, что это представление было всего лишь мифом. Поезда, на которых я ездила, регулярно опаздывали и ломались.

Однажды, когда я в очередной раз оказалась в подобной ситуации, мне очень помогла девушка по имени Настя, героиня этой.

Всё началось с того, что я села в Берлине в поезд и отправилась в Тюрингию, в крошечный городок Шмёлън, где находился мой *хайм* (общежитие). До этого я несколько дней гостила у своей берлинской подруги, осматривала город, ходила по музеям, и билет на поезд купила уже на последние оставшиеся у меня деньги.

По дороге, на каком-то полустанке, поезд сломался. Все пассажиры перешли на другую сторону платформы и пересели в подошедший поезд, но мне, как выяснилось, нужно было в другую сторону. Дежурная по станции долго изучала расписание, после чего заявила, что из-за поломки поезда я опаздываю на пересадку, так что сегодня мне уже никак не добраться до места назначения. И поэтому придется вернуться в Берлин, а завтра с утра купить новый билет и снова ехать в Тюрингию. Даже с моим плохим знанием немецкого я поняла смысл сказанного и, пригорюнившись, пошла на платформу. И тут вспомнила, что у меня нет денег на новый билет. По мобильному телефону я позвонила подруге и объяснила ситуацию. Конечно, она пригласила меня к себе, но посоветовала на вокзале в Берлине попробовать продлить мой билет, потому что я не по своей вине оказалась в такой ситуации.

Подождал нужный мне поезд, и я вошла в вагон, продолжая говорить по телефону. Был выходной день, свободных мест в ва-

гоне не было, так что я пристроилась в уголке. И тут до моей руки дотронулась девушка и сказала по-русски: «Садитесь, пожалуйста, на мое место. И простите меня, я не подслушивала, просто случайно услышала. Может быть, вам нужна помощь?» Я обрадовалась — так это было кстати, мне действительно нужна была помощь.

Через несколько остановок в вагоне стало свободнее, и девушка села напротив меня. Я спросила, как ее зовут. Ее звали Настя. Она рассказала мне, что родилась и всю жизнь прожила в Германии, что у нее русская мама и отец — немец, который учился в Советском Союзе и там познакомился со своей будущей женой. А сейчас она едет на стажировку после окончания вуза. У Насти совсем не было акцента, из чего я сделала вывод, что оба языка для нее родные — и немецкий, и русский. Я полюбопытствовала, как ее называют немцы, и она ответила: *Настиа* (с ударением на первом слоге).

По пути я рассказала Насте, что поезд, на котором я ехала из Берлина, сломался, другого подходящего не будет до завтрашнего утра, и поэтому я вынуждена вернуться. И я плохо говорю по-немецки, так что рада буду, если она поможет мне с билетом. Настя слушала внимательно и сочувственно кивала, а потом сказала: «Конечно, я помогу».

Я как-то сразу поверила, что Настя действительно мне поможет, немного расслабилась и посетовала, что уже не первый раз поезда, на которых я езжу здесь, в Германии, ломаются. Настя недоуменно и недоверчиво на меня посмотрела, покачала головой и возразила, что она за всю свою жизнь ни разу с этим не сталкивалась и даже не слышала о подобном. Вот такой разный у нас был опыт езды по немецкой железной дороге, и я не знала, как ей доказать, что мои слова о регулярных поломках поездов в Германии — не преувеличение. Но доказывать и переубеждать ее мне не пришлось, потому что через несколько минут по радио объявили, что поезд сломался и всех просят выйти. Такое вот совпадение! Впрочем, чего только в жизни не бывает!

У Насти от этой информации поднялись брови и округлились глаза. И мне никогда не забыть ее пристального взгляда, направленного на меня. В этом взгляде было не только крайнее удивление, но и нечто большее, как будто она вдруг заподозрила, что мои слова о том, как часто ломаются поезда в Германии, и сам факт поломки поезда как-то связаны. Как будто он сломался именно потому, что я была в числе его пассажиров. Догадавшись, о чем она подумала, я смутилась и, пожав плечами, растерянно улынулась.

Мы вышли на платформу. У Насти был большой жёсткий чемодан странного ярко-розового оттенка. Цвет этот как-то не очень

сочетался с обликом Насти, и я решилась спросить, не потому ли у нее чемодан такой необычной расцветки, что он бросается в глаза и его не перепутаешь с другими на движущейся ленте. Настя удивилась моему вопросу и ответила, что даже не думала об этом, для нее главное, чтобы чемодан был «чёрствым». Она так и сказала: «чёрствым»! Теперь уже удивилась я. Ведь носитель языка никогда не перепутает употребление прилагательных «чёрствый», «жёсткий» и «твёрдый». Можно сказать «чёрствый хлеб», «чёрствый человек», но не чемодан. А Настя перепутала слова «чёрствый», «жёсткий» и «твёрдый». И значит, она не носитель языка, хотя и говорила по-русски без акцента. Или можно им быть с некоторыми ограничениями? Я так и не решила для себя этот вопрос.

На следующем поезде, который, к счастью, не сломался, мы наконец добрались до Берлина. По дороге Настя позвонила брату, с которым договорилась встретиться на вокзале, и предупредила его, что задерживается. Потом она долго объясняла в вокзальной кассе, что я оказалась в такой ситуации не по своей вине, а ее отсылали от окошка к окошку, где она повторяла эту историю. И хотя Настя говорила на чистом немецком языке и ситуация была, казалось бы, очевидной, ей с большим трудом удалось добиться, чтобы действие моего билета продлили еще на один день. Тяжело вздохнув, она сказала, что уже сомневалась, сможет ли мне помочь.

Настю ждал брат, она торопилась, и мы стали прощаться. И тут выяснилось, что и дальше нам ехать в одну сторону, и Настя предложила, чтобы после ее встречи с братом мы поехали вместе. Я согласилась, и через несколько минут мы подошли к молодому человеку, совсем не похожему на свою сестру. Настя обняла его и, посмотрев в мою сторону, сказала по-русски: «Руслан, познакомься, ты можешь говорить сейчас на русском языке!» Руслан в ответ вежливо улыбнулся, и мы вошли в вагон метро.

Настя села рядом со мной, а Руслан — напротив. Я переводила взгляд с Руслана на Настю и удивлялась их несходству. Молодой человек не смотрел в нашу сторону и, очевидно, погрузился в свои мысли, а Настя явно была рада встрече, она улыбалась, глядя на брата. У Насти было восточноевропейское миловидное личико без особых примет, а лицо Руслана своими выразительными и проработанными чертами напоминало изображение тевтонского рыцаря на старинных гравюрах. У него был настоящий «медальный профиль». Я повернулась к Насте и сказала: «Вы с братом совсем не похожи друг на друга», и она охотно согласилась, что, действительно, она похожа на материнскую родню, а ее брат — на отцовскую. «Наша немецкая бабушка, — продолжала Настя, — говорит, что Руслан очень похож на нашего немецкого дедушку. А наш немецкий дедушка погиб в России, на Восточном фронте. И наш русский дедушка тоже воевал, он был лётчиком, и он остался жив».

Тут я удивилась еще больше, чем когда Настя назвала свой чемодан «чёрствым». Точнее, я была поражена и смыслом того, о чем мне поведала Настя, и тем, что она явно не связывала эти факты: гибель немецкого дедушки и военную профессию русского дедушки. Я очень ясно представила себе, как русский дедушка сбрасывает с самолета именно ту бомбу, которая и убила немецкого дедушку. Так могло быть, и не только в моем воображении. В жизни случаются настолько маловероятные события, что в них трудно поверить, но именно из-за такого совпадения я встрети-лась с Настей. И непреложным фактом было то, что внуки врагов, сражавшихся друг против друга во Второй Мировой войне, сидели вместе со мной в вагоне берлинского метро. А за этой видимой ре-альностью в моем сознании явственно проступала экзистенциаль-ная суть нашей эпохи.

Лейпциг, 2021

Сергей ЗОЛОТАРЕВ

/ Жуковский /



ПОЛОЖЕНО ВДОЛЬ

1

чтобы заготовленное имя
собственное вычитать в окне,
веточки рождаются слепыми
тычась в отраженье по весне,

прозревая, что-нибудь, на Пасху
материнский розовый живот
вечности, меняя как запаску
на отечества небесный свод

и тогда зелеными глазами
вертикальных узеньких зрачков
видят мир читают описание
но уже не помнят из чего
состоят в действительности сами

2

прозрачное солнце уселось на ветку
и свет пропускает как будто подсветку
сквозь каждую клетку

и как в микроскопе в глазных мокроступах
мы видим внимательным взглядом простукав
ядро вакуоль

горит наше солнышко луковой пленкой
где всё что действительность делает емкой
положено вдоль

3

весна с каким-то напылением
и толпы солнечных лучей
идут и лижут как олени
глаза соленых москвичей

слетаются на шум малейший
пустые звуки во дворы
и дух поломанной тележки
везет воздушные шары

4

соловей пропел, но четыре колена — скорее скворец, кума
и лягушка квакает что-то вроде Программа А

помнишь, как обрастали вместе их ласковым маем
их алисой и тем что с трудом мы теперь понимаем

их вишневой девяткой «заместо» вишневого сада
нам еще предстоит выбираться их этого зада

как хотелось бы видеть нас чистых от всех облаток
словно выкупанных под дождем котят

тощих мелких мяукающих от расстройства
что сломали иллюзию их мехового устройства

чтобы старость болезни невзгоды и иже с ними
нам давали надежду, как в детстве имя

5

сколько же нерожденного
сидра в цветущих яблонях
бродит в воскресный день

6

если бы дождь не пил
я бы стакана окон
сроду не пригубил

форма любимых глаз
видимостью бездонной
в жизни б не налилась
вел бы окна проем
в прошлое по спирали
если бы мы втроем
с вечностью не киляли

может фанерный щит
оборонял от стужи
был бы хоть кто подшит

или цвела герань
там где стекают стекла
в землю за гранью грань

нет же — просвет над полом
наполовину пуст
наполовину полон

7

воздух бездушнее общества
мертвых поэтов и в нем
что-то все время полощется
знаменем или огнем

эта его составляющая
для придыханья важней
чем кислород окисляющий
все что содержится в ней

8

сотни две воздушных шариков
привязав за нити грузчики
шкаф ведут под белы ручки

вроде взрослые приучены
в подворотне с миром лапаться
не считая это слабостью

так откуда это детское
чувство меры между будущим
и наставшим прошлым путающееся?

не взлетая и не падая
шкаф скользит над повседневностью
рожищею конопатою

шкаф скользит планета плещется
посредине перекладина
чтобы мы вину загладили
и повесили на плечики

и ведут его как пьяного
Михалкова и Троянова



ДАВИД ДЕКТОР

/ Иерусалим /

ПРАЗДНИК

1

На станции Исани, как это делают все в Тбилиси, я сел в такси и поехал в Телави, ну что значит такси, набирают четырёх в машину и едут. В дороге я быстро сдружился-сболтался с человеком Кахой, и проехав Телави насквозь, мы приехали в село Ожио к его родной тётке Кетеван. Родня удивилась, увидев, как Каха высаживает меня с рюкзаком, но делать было нечего. Собрали стол, на моё счастье у меня был кофе из Израиля и еще подарочки. За столом я стеснялся, что Каха понял по-своему и сказал фразу, оставшуюся со мной навсегда: «Давид! Люди бедные, мяса не будет, ешь что дают». Так мы прожили три? четыре? дня, я гулял по окрестностям, Каха был алкоголиком, это кроме психических явлений и отклонений, была осень, был праздник Алавердоба — в честь величайшего храма, стоящего посреди Кахети. С утра я уезжал очень просто автостопом до Алаверди, там я пил с любой компанией и фотографировал. Помню скорбно-надменного юношу с тяжелой фамилией Багратиони, в другой раз праздновали день рождения девушки Теоны, так совпало, и мне жаль, что не получилось портрета, достойного её юности и красоты. Играли музыканты, когда я пересел к другой компании, там удивились — как они тебя трезвого отпустили? Ничего себе трезвого, я был в дым, но именно тогда и сделал лучшую свою фотографию с таким же пьяным чудовищем. Возвращался в Ожио, хозяйка Кетеван стелила мне рядом с телевизором, и не было ничего лучше этого бормотания грузинского сериала. Мой друг Каха, с ним мы тоже бродили, «где больше неба мне, там я бродить готов», вернее, его влекло исключительно пьянство, что было нетрудно найти, ещё Каха спросил меня — как это я не испугался с ним ехать с его блатной рожей, тут он себе льстил, он был в тюрьме, но остался ребёнком и ебанатом. Ситуация была такова, что родня его кормила-поила (и меня заодно), но денег ему не давали

ни тетри, поэтому я увёз его в Тбилиси за свои, попрощавшись с хозяевами. Не успели мы толком отъехать, как у маршрутки лопнуло колесо и Каха вдохновенно предложил ехать не в Тбилиси, а в Матани, огромное село, где у него тоже друзья детства. Так мы и сделали, и дальше в Матани было прекрасно и свои приключения.

2

Самое пронзительное из Грузии — мы съезжаем с Карсани, Ника за рулем, и прямо напротив нас Джвари, на уровне глаз невероятный Джвари, в машине играет Хвост: «не закрывайте личико тряпицею, ведь ничего вам скоро не останется» и дождь. Мы пили и ели с Ушанги, Никиным дядей, в полузаброшенном Карсани наверху на горе с живыми и мертвыми.

3

Я слез с маршрутки, чуть не доехав до перевала. У меня был чайник, и мне захотелось сделать чай на костре. За перевалом была уже Аджария, я пошел вверх подальше от шоссе, нашел ручей и дрова, и тут пасмурное небо начало капать, но я все-таки выпил чаю. Упаковался и едва успел дойти до каких-то советских развалин, как хлынул настоящий дождь. Машин никаких не было, я стоял под навесом и сочинял стихи. Все позабыл, кроме строчки «он теперь повсюду бродит как упавший самолет», тут на перевал взобрался фургон с коровами и взял меня тоже. Страшная дорога петляла вниз, склоны зеленели вокруг, коровы дышали мне в спину, потом я пересел на маршрутку и доехал до Хуло. Надо было искать ночлег, я бродил по городку и спрашивал, где бы остановиться за деньги. Старый человек пошел было со мной, чтобы помочь, но, узнав, что мне нужно всего на одну ночь, сказал — да ночуй у меня, без проблем! Мы вернулись в его большой дом с садом, туда же подошел сосед, бывший борец, бывший, потому что сидел, хотя видно было, что это сильный боец. Узнав, что я из Израиля, он стал уговаривать меня посодействовать ему выступать уже за мою страну, такого я не мог обещать, но он все равно повел нас с Гиви, так звали моего хозяина, к себе. Накрыли стол, и мать спортсмена, красивая как царица, подавала все новые блюда. Потом перешли обратно к Гиви, но я уже выдохся, мне отвели большую двуспальную кровать сына хозяина, который где-то отсутствовал, и сквозь пьяную дрему я слышал продолжение застолья. Вдруг зажегся свет, и на пороге комнаты застыл человек, явно удивленный и недовольный. Это был вернувшийся сын, и прежде, чем он успел что-то натворить, я быстро сказал — я гость Гиви! Это волшебным образом сняло все вопросы, а завтра мы с Гиви гуляли и пили пиво и даже съездили на канатке через необъятный провал ущелья на другую

сторону над пропастью. Советская канатка исправно работала, хотя одна из женщин, наверно не местная, легла на дно кабины и дрожала, пока мы переползали через бездну. В час дня должен быть автобус на Батуми, время у нас было, и мы пили пиво везде, где им торговали. С нами была родственница Гиви, девочка Лина, она пиво не пила, но прекрасно добавляла к нашей компании, так мы радовались жизни, пока не оказалось, что автобус уже ушел. Но не беда, через час или два должна была приехать маршрутка, мы переместились поближе к остановке, чтоб не прозевать и этот транспорт, и там я их сфотографировал, Гиви и Лину. А все следующие приезды в Грузию я привозил напечатанные карточки для них и для Эдика в Абастумани, но больше в тех местах не оказался.

4

Рига в 1999 году, наш годовалый Данька остался с бабушками в Иерусалиме, а мы заплатили людоедские деньги — по 600 тогдашних баксов за билет и улетели в Юлины родные места. Чудесная хорошая Люся, подруга Юлиной мамы, поселила нас у себя в старом доме, мы были молоды, прекрасны и излучали обещание чего-то. Юля была гений фотографии, а я вообще талант, ну кроме денег, но денег в Риге особо и не требовалось, там были латы и сантимы, и можно было, в общем, всё. Мы сидели в случайном кафе — три ступеньки вниз от тротуара, и пили мартини по 20 сантимов рюмка, закусывая крохотными пирожками с начинкой. Еще пара мартини, и смысл жизни начинал проступать сквозь эту стеклянную дверь и ступени, словами не ухватишь, но он просто был. Старый город без туристов, а в нем книжный магазин, где я нашел «Представление» Бродского с фотографиями Олега Смирнова, вещь, оставшаяся с нами на всю жизнь. Юля повела меня на Красную Двину, лихой район и родину её папы. Там мы нашли свою фактуру, а цыган Виктор позвал нас в дом. Внутри барака женщина мыла ноги в тазу и мило поздоровалась, а Витя послал кого-то за коньяком. Про свою жизнь он сказал просто — ворую, а что подедаешь? Я переживал, что наша фотография как-то зависает, нет чего-то нужного, и пошел на прорыв: заставил себя и Юлю встать в 6 утра, мне казалось, что таким способом у нас все получится. В осенней предрассветной мгле мы пошли на Московский Форштадт, еще одно дикое место, шел дождь, и кроме одного мокрого пса не было ни души, на наше счастье нашелся притон с забуддыгами, где мы и добили этот сейшн. В вылазках на природу мы встретили братьев рыбаков на реке Лиелупе, два добрых старика из латышской сказки, они спокойно позволяли себе не хитрить и не притворяться, и я подумал — почему я не могу быть таким прямо сейчас? А потом мы поехали в Елгаву, сели на электричку, опять попали в дождь и переждали в каком-то кафе, погуляли, а когда

пора было думать о возвращении, Юля решила найти своего отца. Она его в жизни не видела, и сейчас к ней пришла отвага на этот поступок. Мы зашли в справочное бюро, потом в паспортный стол, где нам выдали адрес и сказали что-то ободряющее, типа освобо-дился, прописался у матери и так далее. В дряхлой засраной пяти-этажке мы поднялись на пятый этаж, Юля позвонила, а я стоял ря-дом. Дверь открыла старуха, значит Юлина бабушка, и за ней вы-шел мужчина. Вы Владимир Комиссаров? — спросила Юля. Он кив-нул. А я Юля Комиссарова, — сказала моя подруга. Он схватился за сердце прямо в дверях, высокий, еще не старый мужик, и видно было, как он ох*ел. Внутри первое, что меня ударило — на буфете стояла цветная карточка малыша, нашего Даньки в Иерусалиме, мой сын тут в квартире на краю Елгавы. Для нас зажарили рыбу, Володя был рыбак и умелый дядька, он заставил нас взять в пода-рок хлебницу из березы, которую сам сделал на зоне, с красивыми узорами, выжженными паяльником, образец народного творчества. Они с бабой Лидой очень настойчиво уговаривали нас остаться но-чевать, и я соврал что-то дикое, вроде что нам обязательно надо выгулять кота в Риге. Володя пошел нас проводить и бежал с нами на последнюю электричку, несмотря на больное сердце.

5

Я повесил в кампусе объявление, что сдаю комнату, и вот он позвонил. Договорились, что он придет посмотреть, и он спросил — а ничего, что я слабовидящий? Я сказал — ничего, и мы стали оби-тателями одной квартиры. В первую же встречу оказалось, что его ярко-бирюзовые глаза — это стекляшки, он был слеп от рождения, мой Сергей из Андижана. Их родилось двое недоношенных близне-цов, и советская медицина сожгла их кислородом в инкубаторе, брата насмерть, а Сергею убили зрение. Главное, что поражало в общении с ним, что не было никакой лакуны или пустого места в его сознании, он знал про эту реальность не хуже нас, зрячих. Он был горд, независим и добр с теми, кто этого заслуживал. Еще у не-го был этикет не русского, а восточного человека, он предпочитал не брать, а давать. На кухне мы ужинали и вели разговоры, кстати, он был совершенно самостоятелен, включая поездки в университет. Когда у него появилась собака-поводырь, стало еще лучше. Однаж-ды охранник в кампусе пошутил от скуки — хорошая собака! И со-сёт тоже? Маленький Сергей взял его на ощупь за грудки, и гнида охранник усрался — я пошутил, пошутил! — заспешил он, чую скандал или чего похуже. Сергей рассказывал про детство и интер-нат, про свою взрослую подругу там в Андижане. Ты её любил? Я её еб*ть любил, — сказал он. Мы договорились, что раз в неделю он будет вызывать проститутку. Не хотелось, но он меня убедил, что все будет путем, и он за ней уследит, если что. Я или уходил или

закрывался в своей комнате, но однажды не утерпел и глянул в окно, когда Сергей спустился её проводить. Они стояли внизу и разговаривали, пока за ней приедут, это была юная стильная девушка с красивыми волосами. Ходила к нему и другая знакомая, вот её я всерьез опасался, она взяла у Сергея деньги в долг и возвращать не собиралась, а отдавала ему понемножку натурой. Я говорил с ним о пространстве, о слепоте, о снах и цвете. Он знал всё, и как я уже сказал, его ум воспринимал мир целиком. Я давал ему ручку и лист бумаги, и он рисовал не как взрослый или ребенок, а неким третьим образом. Я попросил его, и он фотографировал, направляя фотоаппарат на объект съемки. Когда ко мне приехала из Москвы гостя, он исчез на неделю к родителям в Сдерот, хотя мы так не договаривались. Потом я уехал на год, а Сергей остался с новым квартирантом Абрашей и сумел ужиться с ним тоже. А потом вышло, что ко мне решил въехать отец, и пришлось Сергея выселять, на мое счастье нашелся вариант, и все обошлось благополучно. Сергей окончил курс и стал массажистом, для диплома ему нужно было набрать стаж, и он звал на массаж своих знакомых. Это был наш первый телесный контакт, когда он меня щупал и разминал. Под конец он сказал — я думал, ты более мощный, Давид.

6

Галка. Я увидел ее на иерусалимском дне рождения у одной подруги, и потом уже, когда всё закрутилось, Галка сказала — а зачем ты на меня смотрел глазами? А я и не знал, что смотрел. Мне было 24, а все остальные были старше. Оттуда со дня рождения всей компанией поехали двумя машинами к Галке — делать оргию. Взамен оргии мы с Галкой залезли вдвоем в ванну, и она, глядя мой стоячий х*й, говорила — подожди, и мы, обмотавшись одним полотенцем, протанцевали мимо гостей в спальню и там случилось. Понутру часть гостей рассосалась, осталась одна пара, муж и жена. Та, добрая душа, просила Галку — ну дай моему мужу, а то у меня менструация, но Галка залезла ко мне на полати, у нее в квартире были самодельные полати, она была мастер в любой области, и вынула из меня еще любовь. Потом, заехав домой к родителям, я пел «За что ж вы Ваньку-то Морозова, ведь он ни в чем не виноват. Она сама его морочила, а он ни в чем не виноват», так что моя мать спросила — а кто это «она»? Но я только ухмылялся и пел дальше. Потом оказалось, что Галкин Гриша принял это близко к сердцу и обвинил Галку, что та влюбилась, и ушел от нее. Я-то точно влюбился, такого у меня еще не было. Была ли она бл*дью? Ну еще бы, конечно была. Но главное — она была Женщиной. На вечеринке у Генделева она танцевала с какой-то девицей и целовала ее в засос, я от горя уехал ночевать к себе, а утром Галка, свежая как заря, приехала и вынула из меня примирение в виде любви и еб*и. Не

менее сногшибательными были ее рассказы, у меня взяло время понять, что не нужно в них верить, это был вид творчества, перетекавший в жизнь и обратно. Так, однажды мы вернулись из Тель-Авива, дверь в ее квартиру была разбита вдребезги, а внутри все перемешано, как в стиральной машине, и Галка сходу заявила, что это месть отца ее малолетней любовницы. Потом, в минуту слабости, она мне признается, что школьницу любовницу она выдумала, как и пожилого богача ёб*ря и многое другое. Про ее детство генеральской дочки я не знаю, где там быть, а где нет, одни ее рассказы про любовь с Генкой Снегиревым, ярким персонажем московской богемы, ему посвящена эпиграмма Хвоста «я говорю вам, жизнь красна в стране больших бутылок». Если верить Галке, при ней Генка с собутыльником убили и расчленили человека прямо на Генкиной хате, а ее, девчонку, привязали к батарее, чтоб не проболталась. Уже сильно потом, попав в Москву в 93-м, я подружился с Ниной, и она дружила с Генкой, пожилым алкоголиком. Мне было интересно, и я попросил свести нас. Генку я так и не увидел, хотя Нина сказала, что передала ему, что приехал из Иерусалима человек и хочет с ним встретиться. На что Генка будто ответил — это Давид Дектор! Ну, может, и так. Она была керамистка, замечательный мастер, глина у неё прям-таки оживала, но всерьез её интересовала только е*ля. Еще у нее был сын, десятилетний Гуля, который сначала меня ненавидел, лежал ничком на кровати и говорил: «пусть он уйдет», а потом мы подружились. Галка была хорошая добрая мама, в меру беспомощная, как всякая мать-одиночка. Семья бывшего была с ней на ножах, хотя в ребенке участвовала. Когда нужны были деньги, Галка садилась за швейную машинку и строчила для модных магазинов, она была действительно гений любого труда. Мне она сшила каратистский доспех, а, увидев связанный ею свитер, моя сокурсница спросила — это кто ж тебя так любит?! Еще была её великолепная щедрость, однажды в Тель-Авиве мы встретили мою бывшую любовь Аньку, сели за столик в кафе, и Анька стала рассматривать Галкины руки в кольцах и перстнях, было на что посмотреть, и Галка сняла перстень с камнями и отдала Аньке. «Сумасшедшая», — скажете вы и, может, будете правы. Но до Галки вам далеко. Другой мой приятель, Борька, поехал к ней в Норвегию. Тут нужно сказать, что у Галки был муж-норвежец, не отец ребёнка и не тот Гриша, а муж, с которым она познакомилась в борделе, если верить её рассказам, опять-таки. Муж был максимально удаленный, одно время она мечтала, что я и она поедем к нему в Китай, он был китаистом или вроде того. Кстати, в квартире у нее были китайские редкости от этого мужа. В Китай мы не поехали, а Галка взяла и уехала в Норвегию, куда к ней поехал Борька. Она его быстро выгнала, и он хлебнул лиха, но до этого прислала мне фотографии (она была еще и фотограф) где Борька голый ничком в снегу, и я за него заволновался. Еще до отъезда она связалась че-

рез Борьку с блестящим тель-авивским чуваком Сааром, он был гей, но для Галки изменил образ жизни и быстро умер, не обязательно из-за нее, может, так совпало. При ее великом на меня влиянии, одно я сделал, чего у неё не было — мы пошли в пеший поход и спускались два дня по ущелью от Цфата до Кинерета. Поход был замечательный, а утром второго дня она призналась мне, что всю ночь онанировала, а я спал как сурок в своем спальнике.

7

В Аммане я гулял в районе старых вилл, меня поразило их сходство с иерусалимскими домами в Рехавии, те же сосны и торжественный уют особняков, сменивших владельцев. На одном из домов была табличка — общество Советско-Иорданской дружбы, и я зашел. Внутри был хаос с книгами на полу, и какие-то люди не то выносили, не то выбрасывали все содержимое. Книгами я, естественно, занялся, нашел альбом че/бе фотографий церквей Грузии издательства «Аврора», Ленинград, и с альбомом в руках спросил у тетки, которая там распоряжалась, — нельзя ли мне забрать эту книжку, раз тут и так все выносят. Тетка, мы перешли на русский, московская татарка Алия, сказала — да берите, конечно, и мы продолжили знакомство. Дальше она на автомате решила, что я грузин и поинтересовалась — а откуда вы из Москвы? — С Гидропроекта, — сказал я по старой памяти, меня увезли в Израиль в 75-м году с улицы Врубеля. Я тетке понравился, а некоторую мою сдержанность она поняла как дань моменту, дело было после войны России с Грузией, и она щедро решила эти трудности — да я понимаю! — сказала она, — это не важно! Она пригласила меня домой на ужин, речь не шла о бл*дстве, у нее были дети и муж, публичное лицо в местном социуме. Алия была добрая баба, истосковавшаяся по новым людям, тем более, по красивым грузинам. Мы договорились, что она меня заберет в семь вечера с третьего кольца, надо сказать, что Амман и его топография делились на круги или кольца, и расстояния были чудовищными, не чета Иерусалиму. Она приехала на супермашине, советском ЗИЛе, понты дороже денег, и мы долго ехали по вечернему Амману до ее дома, там она позвала соседку, тоже из России, мы пили виски, а дочка Алии, яркая девочка, знавшая русский и арабский, пела на гитаре свои песни, пока сын лупил мячиком на фоне сестры прямо в квартире. У меня есть эта фотография, но я ее не покажу, не сейчас. Песни были хорошие, потом пришел муж, чуть-чуть удивился нашей компании, но присоединился к застолью, он, кажется, был умнее Алии, его брат был членом парламента, он расспрашивал меня, пока мне не надоело шифроваться, и на вопрос — а где я учил арабский? — я сказал — в Иерусалимском университете. Тут возникла пауза, все осмысливали и переваривали эту новость, но

уточнять не стали, вечер продолжился, а обратно меня отвёз уже он, не выкинул по дороге, и надо сказать, что иорданцам вообще присуща способность поступать по-человечески, не в обиду нам остальным будь сказано.

8

Я возвращался из четырнадцатимесячной поездки в Азию. Из Индии я попал в Париж, далее — Иерусалим. Считая дни до встречи с матерью, я так и сказал моей парижской подруге — через три дня я увижу мою мать! И тут меня нашел отец, он летел куда-то с пересадкой в Париже и захотел встретиться. Не то, чтоб мне хотелось, честно сказать, вообще не хотелось, но ничего не поделаешь. Никаких мобильных в помине не было, год был 1989, я даже не помню, как мы договаривались, но мы встретились и выпили пива, не важно где, ему пора было в аэропорт, мы спустились в метро и разобрались в направлениях — кому куда. С некоторым облегчением я обнял его на прощание и опять стал один и свободен, как привык за время странствий. Я стоял и ждал поезда внизу на перроне, там были сквозные платформы, попроще, чем в Москве, и вдруг, среди пассажиров я увидел моего отца! Он стоял на своем перроне и тоже заметил меня, и мы стали махать друг другу через рельсы, как будто нам выпала еще одна встреча.



Павел БАЙКОВ

/ Санкт-Петербург /

НАСТОЙКА НА СВОЁМ

* * *

Борису Гринбергу

Идущий заживо куда глаза
глядят, пугает наготой прохожих.
Играет свет на рукописной коже.
Слова искрятся буквами назад.

Ни тощих стай ему, ни тучных стад.
Он по странице вырвался из Книги
причин и следствий... Тонет в общем крике
над городом разбитый райский сад.

Простейший организм прекрасно сложен.
Он тот, чей путь Господень бездорожьем.
Несущий рай в себе сквозь сущий ад.

Нет государств, нет наций, нет религий.
Довольствоваться малым как великим.
И жить туда, куда глаза глядят.

* * *

засекая время до́ смерти
приговариваешь Господи
всуге ангельского тления
выкипаешь без кипения

просыпаясь утром по полу
на лету глазами куцыми
видишь всё вокруг да около
исходя из всей конструкции

с молотка уходят павшие
на войну из мира нашего
по лесам построек храмовых
раны выбиты из мрамора

а вослед земля сквозь тучи им
с прародительскими вздохами
машет ивами плакучими
хорошо ли вряд ли плохо ли

не лишай стригущей радости
моряков вживлённых в парусник
из мужского рода пламени
с головой ушедших в плавание

принимая бой за правило
не теряться в мыслях Господа
наполняешь лишь за здоровье
чашу черепа промозглого

ПТИЧИЙ ЩЕБЕНЬ

1

чёрт-те чем занимался в кружках пионерского ада
проходя по ним шагом гусиным за шкурку державы
на заводе валял дурака — сам себя развлекал так
в механизме советской системы был винтиком ржавым
избегал злющих стай и недоброго доброго стада
шёл свидетелем лишь, по делам рок-энд-рольного гвалта

2

бесы любят таких недотёп — мысли скачут как блохи —
чтобы в меру упитан был в самом расцвете силёнок
плоть вкушают неспешно — его — искушая успешно:
чем невиннее кровь, тем он слаще, напиток солёный...
не проходит и дня, чтобы ночь не пришла за ним — плохи
у такого дела, коли взяли его за промежность

3

ясно помню: бил свет из туннеля сквозь нежную трусость —
до сих пор у меня его зайчики скачут по телу
возвращая к истокам болот ленинградских симфоний
но уже не ожогом по нервам, а шуткой не в тему
детородный органчик от сверхзвуковых перегрузок
замолчал и оставил меня с носом в низком поклоне

4

как в корчме «у великого кормчего» вкусно кормили
кочанами с мозгами — простительной фауной с хлоркой
а потом возвели её в ранг ресторана фаст-фуда —
вместо знаний к столу подают информацию с горькой
чтоб общественный вес набирался без мысли о силе
чтобы знать чем, одобрив — удобрить кремлёвское чудо

15-27.05-07-10-22.06.2020 г. от РХ

* * *

моей крёстной Л.Ф.

...прости, что так мало сделал для тебя...

на кладбище метры считаются как-то не так, как в мире —
уборка могилы обходится вдвое дороже квартиры
запущенной в космос снарядом, как в старом кино, из мортиры —
и клиринг начётисто жмёт, да и дому он не по нутру

ещё не свихнулся с пути по себе за себя прямиком
ещё не созрел до того, чтоб стихами заткнуться навеки
но начал пошаливать мой «государственный» орган опеки
хотя не заносит меня ещё в стороны лунным песком

и столько во мне человечков по возрасту через семь лет —
их девять почти, не считая того, кто в начале родился —
и крёстная крестнику молча добавит: там и пригодился...
сто бед, и один-одинёшенек перед Всевышним ответ!

27.09.2020 г. от РХ

Михаил ШЛЕЙХЕР

/ Берлин /



ЮЛЬКА

Это случилось весной в последнем году прошлого века. Тогда еще не было смартфонов с тачскринами, но уже появились мобильные телефоны. Не те, которые нужно было носить в отдельном портфеле, а уже нормальные, человеческие мобильники с маленькими зелеными экранчиками и с игрой в змейку. Вот такой мобильник и был у Юльки.

Той весной мы валялись на кровати у меня дома, целовались и по очереди играли в змейку. Я считал дурным вкусом иметь мобильный телефон, но Юлька была не в счет. Я любил ее, а она нежно любила свой мобильник, как любят щенка или кошку. Ее телефон французской фирмы Sagem был похож на гладкое мыльце — крохотный, приталенный, с выгнутой спинкой и почти овальный. И пах он как будто тоже мылом — душистым, но несложным, немного детским запахом.

К тому времени я уже три года как вместе с родителями переехал жить в Германию и успел послужить срочником в немецкой армии, из которой меня через два месяца вышвырнули за глупую шутку о самоубийстве, которую слишком серьезно воспринял бундесверовский психолог. Большого я к тому времени совершить не успел. Когда ты из детства переселяешься прямиком в другую страну — не на учебу и не по обмену школьников, а на постоянное место жительства, — то в первые годы просто не понимаешь, чего от тебя хочет вселенная. Хотя я не понял этого до сих пор. Шанса сделать это у меня так и не появилось.

Сразу после завершения моей короткой эпопеи с бундесвером мне исполнился двадцать один год, с этого момента я по всем законам и актам стал проходить как взрослый. Видимо, поэтому я не стал возвращаться к родителям в Шлезвиг, а поселился в маленькой квартире в центре Килья. Туда ко мне после школы и приходила Юлька. Она бросала у стены сумку с учебниками, скидывала крос-

совки и забиралась с ногами на кровать, потому что больше забираться было не на что — кроме кровати, в комнате были только маленький компьютерный столик и стул с подлокотниками, заваленный моей одеждой. Я присоединялся к Юльке, и мы играли в змейку. И целовались. Черт возьми, как мы целовались! Мне до сих пор снятся эти поцелуи.

Юльке было пятнадцать, и одна половина законов и актов относила ее к подросткам, а другая — вообще к детям. Поэтому никакого секса у нас с ней не было. То есть не могло быть. То есть он был, но не сразу. И всего лишь один раз. И вот сейчас, спустя двадцать лет, я все так же спрашиваю себя: что именно стало причиной столь фатальных для меня последствий — то, что он был не сразу, или то, что он просто был? Но ответа на этот вопрос нет. Потому что нет ответа и на главный вопрос — что вообще случилось тогда, двадцать лет назад, в последнем году прошлого века?

Моя однокомнатная квартира располагалась под крышей узкого белого дома рядом с Экзерцирплатц. Комната, кухня и маленькая ванная. В последней почти все место занимала стиральная машина, доставшаяся мне от предыдущего жильца. В ее внутренностях я за неимением специальной корзины хранил грязное белье и раз в две недели устраивал стирку, развешивая гирлянды мокрой одежды на дверях и стульях. Квадратные слуховые окна в ванной и в кухне выходили на гудящую улицу, а окно комнаты — в тихий внутренний двор. Из этого окна за пестрыми крышами домов была видна Кильская бухта, порт и корабли. Я просыпаюсь среди ночи, откидываю одеяло с казенными номерками и реву, как пятиклассник, каждый раз, когда мне снится, что я снова в моей комнате со скошенными стенами и с видом на крыши и бухту, а на моей кровати — Юлька в узких светло-голубых джинсах и белой блузке с расстегнутыми верхними пуговками. Она играет в змейку и от напряжения морщит нос, а я лежу рядом, уткнувшись лицом в ее блестящие свежеевыкрашенные волосы, и вдыхаю нежный девчачий запах, запах счастья и бесконечности.

А потом обязательно звонит Грант.

Он никогда не мог сделать уроки самостоятельно, а она была правильной старшей сестрой. Она помогала ему, бросая свои уроки, змейку и поцелуи.

Юлька родилась в Советском союзе, а Грант — уже в Германии. По-русски он понимал, но почти не говорил, а я пытался научить его русскому языку во время наших коротких телефонных разговоров. Почему-то мне казалось это важным.

Голос Гранта мне тоже снится. Звонкий мальчишеский голос того Гранта из тысяча девятьсот девяносто девятого года. Звонит телефон, я свешиваюсь с кровати и нашариваю под батареей мое домашнее позвоночное.

— Виктор, — говорю я в тяжелую черную трубку.

— Привет, это Грант! — говорит Грант по-немецки.

— Здорово, Грант, я тебе очень рад, — отвечаю я по-русски.

— Что? — переспрашивает он по-немецки.

— Я тебе очень рад, Грант! — повторяю я, четко выговаривая слова.

— А! — восклицает Грант и добавляет по-русски: — Я тоше очен рат!

— Как у тебя дела? — спрашиваю я.

— Ногмально, — отвечает он. — А у тибья?

— И у меня нормально, — говорю я.

— Это карашо, — говорит Грант и переходит на немецкий: — Виктор, дай мне, пожалуйста, Юлю, она ведь у тебя?

Той кильской весной я любил хорошо проперченные пельмени. Так, чтобы даже соседям за стенкой хотелось чихать и смеяться. Здесь таких пельменей не дают. Здесь вообще не дают пельменей. И пока Юлька объясняла Гранту сложение дробей, я шел на кухню и варил нам на обед пельмени из русского магазина. Я всегда варил сразу целую пачку. Видимо, подсознательно хотел наесться ими на всю оставшуюся жизнь.

Мы познакомились на Новый год. Приятели позвали меня в студию к одному художнику, который десять лет назад довольно случайно приехал из Советского союза в Берлин для того, чтобы на остатках Берлинской стены нарисовать свою картину. Именно по ней (и, как это ни обидно, но только по ней) его наверняка и помнят до сих пор. Не знаю, почему он после этого приехал жить в Киль. Может быть, любил море и северную слякоть. А может быть, как раз хотел вырваться из замкнутого круга, связанного с его картиной на Берлинской стене. Во всяком случае, как я позже узнал, второй ребенок в их семье родился уже в Киле.

Мне никогда особо не нравились вечеринки, на которых было много незнакомых мне людей. Не стала исключением и эта — в какой-то момент я почувствовал себя уютно в студии, наполненной галдящими русскоязычными студентами Кильской школы искусств и осторожно улыбающимися немецкоязычными кураторшами и меценатами, и ушел в заднюю комнату. Комната оказалась кабинетом. Здесь стояла мягкая полутьма, похожая на серого котенка, уснувшего в глубоком кресле. Между белым фортепиано и пестрой книжной полкой на круглом табурете сидела девчонка в темно-синем вечернем платье и рассматривала каталог с живописью.

Я не помню, как мы начали разговор. Скорее всего, начала она, потому что я всегда был слишком застенчив, чтобы начинать разговоры. Мы говорили о книгах, о Берлине, о российских парусниках в кильском порту, на которые я проникал под видом переводчика, о современном искусстве, о выставках ее отца и о феми-

низме. Не знаю, может быть, сейчас уже все пятнадцатилетние девушки вот так запросто рассуждают о феминизме, но тогда это показалось мне необычным. Она говорила по-взрослому, приводя факты, которые мне были неизвестны, и доводы, над которыми я до этого не задумывался. Каким-то непостижимым образом она заинтересовалась и парусниками, и это было самое удивительное. Неожиданно для себя я смог связно рассказать ей о разнице в парусном вооружении барка и брига и о том, почему роль каравеллы в Эпоху великих географических открытий сильно преувеличена всего лишь из-за ее красивого названия.

А когда в студии на смеси нескольких языков начали обратный отсчет до нового года, мы опомнились и вскочили. В коридорчике между кабинетом и студией она взяла меня за руку. В ответ я осторожно, как бабочку, сжал ее узкую ладонь с тонкими пальцами, боясь упустить нечаянное чудо. Мы протиснулись к столу и сняли с подноса по бокалу с шампанским, после чего Юлька оттащила меня в дальний угол с мольбертами и пластиковыми ведрами, где мы, скрываясь от ее отца, выпили за Новый год.

Высокая и энергичная жена художника громко поздравила всех с праздником. Она говорила по-русски, а художник синхронно и почти правильно переводил на немецкий.

— Пусть в наступающем году, — говорила она. — Россия продолжит начатый ею путь в сторону европейского сообщества и общечеловеческих ценностей. И дай бог, чтобы через какой-нибудь год или два мы все смогли наконец вернуться на Родину, за которую нам больше не будет стыдно и которая примет нас, как старых добрых друзей. А пока мы живем здесь, мы будем делать для этого все, что сможем. Все, что в наших силах сделать именно здесь и сейчас. Друзья, давайте выпьем сегодня за свободу, демократию и за страну, которая нас всех временно приютила!

И все снова загалдели и выпили, и снова загалдели.

— Какая у тебя классная мама, — сказал я Юльке на ухо.

— Это не моя мама, — сказала она и опустила голову. — Моя мама вернулась в Москву.

И тогда я ее в первый раз обнял. А она — как будто весь вечер только этого и ждала — торопливо и безоговорочно прижалась ко мне.

Как только я вспоминаю ее тоненькую фигурку в синем новогоднем платье и мою неуверенную руку на ее талии, у меня внутри все сжимается и тут же бесшумно лопается, как звезда в центре тугого комка скрученной от ужаса темноты. Я втискиваю лицо в поролоновую подушку и мычу сквозь зубы: как? Как я мог сделать что-то плохое Юльке — самому любимому человеку на всем моем белом свете, той девочке с пахнущими счастьем волосами, с книжкой Сартра и детским мобильником в школьном рюкзаке? Но судя по ре-

зультатам шестимесячного расследования кильских полицейских, все-таки мог. Жуткая череда глупых совпадений! И в результате я двадцать лет смотрю один и тот же, адски медленный, фильм — по потолку из угла к центру, неспешно увеличиваясь и меняя форму, расплзается желтое пятно. С каждым сантиметром я все больше свыкаюсь с мыслью, что они были правы. Я на самом деле это сделал. Кто же еще, если не я? Ведь что-то тогда действительно случилось. Вероятно, я просто не запомнил, что именно. А в конце лета я прочитал об этом в «Кильском экспрессе» и понял, что у них там все прекрасно сошлось. Правда, то, что им не подошло, они в статье не упомянули, как, впрочем, и полицейские в своих отчетах. Зато теперь я сам могу ломать голову над несостыковками сколько душе угодно. В Германии пожизненно — это не навсегда. Но и этого мне более чем достаточно.

День я провожу в столярной мастерской. Мы делаем скамейки, скворечники и так называемые отели для насекомых, которые потом очень правильные бюргеры устанавливают в садиках и на террасах своих очень правильных бюргерских домов. Постоянно включенное радио умудряется обходиться десятью песнями, которые выучили наизусть даже те, кто не знает ни слова по-английски.

Раз в два часа перекур. Мы идем в курилку, десять минут смотрим в окно, а докурив — идем обратно. В конце рабочего дня дежурный забирает полное ведро окурков. Каждый день полное ведро отпечатков наших губ выносится за стены тюрьмы и ускользает вместо нас на свободу. Это — наши воздушные поцелуи миру. Если вспомнить, что капля никотина убивает лошадь, то становится понятно, почему живущих здесь людей сложно назвать филантропами. Впрочем, у них просто отняли возможность любить этот мир менее токсичным способом.

Как-то раз я прочитал, что каждый день на планете выкуривается десять тысяч тонн сигарет. Это значит, что каждый день в человечестве умирает табун лошадей. Но мало кто знает, где искать этот табун. Я знаю. Потому что я — одна из его вечно умирающих лошадей. Я всегда докуриваю до фильтра и с каждой затяжкой чувствую, как в моих легких оседает смерть. Она наполняет меня до краев, но я не умираю. Ведь кто-то всесильный однажды уже решил, что в моем случае это было бы чересчур просто.

Когда мне было лет восемь, я с волнением представлял себе, что буду делать, когда наступит двухтысячный год. Это было в том мире, где были и счастье, и бесконечность, и что-то еще, напоминаем чего служат колечки дыма, сквозь решетку в окне улетающие в синее небо. Я не помню, что именно я себе представлял, но естественно, я тогда не мог и подумать, что встречу миллиниум здесь.

В тот день человечество за толстыми кирпичными стенами дружно вошло в новое тысячелетие, а вокруг меня продолжился

быстро черствеющий двадцатый век. Когда я понял, что моя жизнь свелась к одному лишь прошлому, а бесконечность стала просто словом, я попытался прекратить эту бессмыслицу.

Учтя данную попытку и мою неостроумную шутку в Бундесвере, которая, как выяснилось, навсегда осталась в компьютерном разуме бюрократии, у меня забрали все, чем я мог бы себе навредить. Даже карандаши мне снова стали выдавать лишь спустя пять лет после моего неудачного эксперимента по переходу на ту сторону. Таким образом, я потерял последнюю возможность переплыть Стикс и — кто знает — благодаря этому, может быть, вернуться назад.

Вот так и Юлькина мама навряд ли вернулась в Москву.

Юлька рассказала мне ее историю спустя месяц или два после нашего знакомства. Ее мама сошла с ума и пропала. Никто не знал, куда она уехала или что с ней произошло. Она так и осталась в списках бесследно исчезнувших людей. А Юлька и ее отец всем говорили, что она вернулась в Москву.

Это была шизофрения, которую близкие по неопытности сначала не замечали, а потом стало слишком поздно. Началось с того, что она часами сидела в кабинете у фортепиано и слушала морские раковины, привезенные из отпусков. Потом она стала жаловаться, что на нее странно смотрят мужчины на улице. Она все реже выходила из дома и постоянно проверяла, задернуты ли шторы. Закончилось все грандиозным двухдневным скандалом, который, правда, и скандалом-то нельзя было назвать. Во всяком случае, эти два дня вдруг все расставили на свои места. В первый день она рыдала и кричала, что отец Юльки не настоящий ее муж и что все вокруг за ней шпионят — он, нанятые им соседи, Юлька и даже двухлетний Грант. На следующий день она бросилась на Юлькиного отца с кухонным ножом, ранила его в предплечье и сбежала. Позже выяснилось, что в доме пропали вещи и деньги — оказывается, она готовилась к побегу и заранее вынесла и где-то спрятала спальный мешок, теплую одежду и все свои морские ракушки.

В последний раз я видел Юльку как раз в тот жаркий, уже совсем летний день с запахом моря, когда мы поругались из-за ее матери. Я накричал на нее, а она назвала меня дураком и убежала. Уехала в городишко под Килем устраиваться на школьную практику в студию дизайна. Если бы я только знал, что это в последний раз, я бы обязательно догнал ее, обнял, никуда бы не отпустил. Конечно, я не знал. Но этот факт меня совершенно не оправдывает. И не успокаивает.

В две тысячи десятом году в нашем исправительном учреждении славного ганзейского города Любека в ходе эксперимента по облегчению ресоциализации в несколько камер провели персональные телефоны, и я внезапно стал одним из отобранных счастливицков.

Нам выдали формуляры, в которых мы должны были указать пять номеров для связи с родственниками и друзьями. После чего мы получили возможность звонить на эти номера, а с этих номеров можно было звонить нам. Пять кнопок быстрого доступа на новеньких аппаратах фирмы Telio, специализирующейся на телефонных системах для тюрем и соединяющей нас со свободой. Свободой, включающей прослушку и автоматическое ограничение на разговоры в десять часов в месяц. В течение первых двух лет я пользовался одной кнопкой — родителям. Затем была подключена вторая. По этому номеру мне раз в год стал звонить Грант.

У какого-то японского поэта было стихотворение, звучавшее примерно так:

Увидел сосульку
В свете луны.
Так я не стал самоубийцей.

Телефон в камере оказался моей сосулькой. Не потому, что я мог позвонить родителям, мы с ними не особенно много говорили. Но у меня появилась надежда. Даже нет, не надежда, это было бы слишком много, а какая-то недооформленная, словно кусочек облака в окне, мысль. Мне стало казаться, что по телефону я могу услышать Юльку. Это странно и глупо, но ведь это просто сосулька. А сосулька имеет право быть и странной, и глупой. Самыми мрачными вечерами я снимаю трубку и, набрав случайную комбинацию из незадействованных кнопок быстрого доступа, слушаю. Гудков нет, ведь аппарат подключен к линии не напрямую. Но есть какой-то шорох. Тихий треск, как будто другой конец телефонного провода лежит на земле посреди бесконечной, раскинувшейся во все стороны степи. И там, в этой степи, стоим мы — теплая летняя ночь и я. Пушистые ветерки кружат вокруг моих босых ног и гладят плечи. Круглая луна неторопливо освещает перекатывающиеся волны ковыль-травы, и где-то далеко-далеко, на краю сознания, стучит по рельсам поезд. В одном из его вагонов сидит моя Юлька. Иногда я даже чувствую ее дыхание. Нужно только хорошо прислушаться.

В первый раз это случилось еще в Киле в тысяча девятьсот девяносто девятом. Через неделю после того, как я въехал в мою квартиру со скошенными потолками и слуховыми окнами, я пошел на блошинный рынок на Экзерцирплатц и купил там старый черный телефон с диском. Мне он ужасно нравился тем, что был такой тяжелый, неуклюжий и совершенно не цифровой. Все эти несколько месяцев телефон жил у меня на полу между батареей отопления, кроватью и компьютерным столиком.

Как-то раз, уже почти летом, он приглушенно зазвонил, я свесился с кровати и выудил из-под батареи сначала телефонную трубку, а затем и весь аппарат.

- Привет, это Грант! — сказал Грант по-немецки.
- Здорово, Грант, я тебе очень рад, — ответил я по-русски.
- Что? — переспросил он по-немецки.
- Я тебе очень рад, Грант!

Юлька засмеялась и отобрала у меня телефон, а я пошел варить пельмени, чтобы через пятнадцать минут вернуться с двумя тарелками в руках и перочницей под мышкой. Юлька лежала на кровати и молча прижимала к уху телефонную трубку.

— Трещит, — сказала она.

— Грант? — спросил я.

— Нет, Грант уже повесил трубку, — сказала она. — Я слушаю вселенную.

Я хмыкнул.

— Она хочет мне что-то сказать, — Юлька поднесла указательный палец к губам.

— Это подозрительно, — сказал я. — Вселенная говорит с тобой из трубки моего телефона?

— Нет, не подозрительно. Это романтично. И немножко страшно.

— Поешь, и все пройдет! — сказал я.

— Дурак. Ты лучше сам послушай! — она протянула мне трубку.

Я поставил тарелки на пол рядом с кроватью, взял трубку и поднес к уху. Там действительно что-то было. Словно далеко-далеко между холмами двигался поезд, становясь то тише, то чуть громче, как будто мир на том конце провода пытался спрятать звук этого Юлькиного поезда в складки ветра.

Я почувствовал приближение того, о чем шепчет ракушка, привезенная из Хорватии, о чем напоминает потрескивание ночных кузнечиков на краю детского сна. Наша юность уже тогда готова была растаять на глазах, но мы еще не видели этого и не предполагали, что это вообще возможно. Оттого сейчас мне так хочется верить, что, хотя все эти годы и исчезли, превратившись в облачко сигаретного дыма, тот счастливый майский день, медленно скатывающийся в золотой вечер, остался в вечности навсегда. И в то, что мы оба навечно остались в нем, закупоренные в янтарную колбу моей квартиры на Экзерцирплатц.

Я посмотрел на Юльку, молча поставил телефон на пол рядом с тарелками и забрался к ней на кровать.

Она вдруг стала другой. Не улыбалась, не морщила нос, не плялилась в мобильник. Я целовал ее лицо, ямочки на щеках, брови, веки. Я чувствовал, как она дрожит, и ее дрожь передалась мне. Я стал раздевать ее и одновременно раздевался сам, и через несколько минут мы уже лежали совершенно голые под тяжелым одеялом, и я в первый — и одновременно в последний раз — осто-

рожно входил в нее, а она, то плотно сжимая, то снова распахивая в меня свои глаза, тонко стонала и впивалась ногтями мне в спину, оставляя на ней длинные царапины.

А потом, после всего, что случилось, мы вместе залезли под душ, целовались и смеялись, как чокнутые, а отсмеявшись, долго не могли придумать, что делать с окровавленной простыней, пока в конце концов не засунули ее в стиральную машину, к моим футболкам и трусам.

А потом мы на сливочном масле поджаривали остывшие пельмени.

А потом просто стояли у окна и обнимались, а вечернее солнце заливало нас вязкой золотой смолой.

Я надеюсь, что в следующей жизни я буду умнее и не отпущу ее ни на какую практику. Или еще лучше: я поеду туда вместе с ней.

Когда Юлька узнала, что на востоке Германии, в психушке в Кемнице уже много лет живет пациентка с ее именем и фамилией, она тут же решила, что это и есть ее мать. Как она раздобыла эту информацию, я не знаю. Я тогда и впрямь был молод и глуп, и меня это мало интересовало. Я говорил ей, что ее мать их бросила и не стоит того, чтобы тратить время на ее поиски. Это сейчас я понимаю, что у меня была Юлька, и мне больше ничего и никого не было нужно, а у Юлькиного отца художника была новая жена, и ему не хотелось ворошить прошлое. Но у самой Юльки была только одна мама, поэтому она никогда не прекращала ее искать.

Втайне от отца она переписывалась с больницей, и однажды ей прислали оттуда распечатанное на принтере фото. Это случилось через три дня после того, как мы в первый и последний раз занимались сексом. В тот день Юлька должна была ехать на собеседование в студию дизайнера. После школы она раньше обычного забежала ко мне, возбужденная и красивая. Я несколько раз поцеловал ее, а когда понял, что ей не до этого, пошел на кухню варить кофе в новой турке. Когда я вернулся в комнату с подносом, на котором дзинькали чашки, она сидела на кровати и смотрела на листок с фотографией.

— Она здесь больше похожа на меня, чем на себя, — сказала Юлька.

Я взглянул на листок. С черно-белой распечатки на меня огромными удивленными глазами смотрела постаревшая копия Юльки. Я промолчал, поставил поднос на компьютерный столик и сел на кровать. Притянул Юльку к себе, снова попытавшись поцеловать. Но она отодвинулась и сказала:

— Сегодня после собеседования я поеду к ней.

— Куда? — опешил я.

— В Карл-Маркс-Штадт, — ответила она.

Тогда меня и прорвало. От обиды и возмущения я вскочил и стал сбивчиво, с надрывом, уже в который раз объяснять ей, что ее мать сделала свой выбор, что она не хочет видеть Юльку, что все это не имеет никакого смысла и что тем более не нужно ехать туда прямо сегодня после собеседования на ночь глядя.

Юлька сидела, опустив глаза в пол и сжавшись в комочек.

— Ты же сама видишь, что ты ей нафиг не нужна! — кричал я.

Она вдруг заплакала и сказала:

— Я тебя ненавижу. Ты никогда не любил своих родителей, ты ничего не понимаешь!

Юлька быстро встала с кровати, схватила кроссовки и рюкзак и, закусив губу, зашагала в прихожую. Уже на лестнице она опомнилась и стала обуваться.

— Ты совсем уже! — крикнул я из комнаты. — При чем тут мои родители?

— Дурак! — всхлипнула она и побежала вниз.

Я ей не ответил. Прошел в прихожую, хлопнул входной дверью. В тот день я действительно был страшным эгоистичным дураком. Я думал, что после первого раза у нее уже все зажило и можно было повторить то, что случилось три дня назад. А не отпускать ее за тридевять земель. И это самое постыдное во всей моей истории.

Я вернулся в комнату и увидел, что Юлька забыла на кровати мобильник. Я схватил его и, держа в руках, бросился с ним на кровать. Закопавшись лицом в подушку и сжимая ее телефончик, я пролежал так полчаса или час. Я сразу понял, каким был идиотом, но уже ничего не мог исправить. Или притворялся, что не мог? Ведь я знал, куда она поехала.

Карл-Маркс-Штадт... Я так и не напомнил ей, что Карл-Маркс-Штадт уже много лет назад переименован в Кемниц. Конечно, она и сама это знала, она ведь писала туда письма. Но ей нравилось в шутку называть город именем из социалистического прошлого. Впрочем, сначала она поехала на вокзал, а оттуда в студию дизайна. А потом?

Иногда мне кажется, я почти понял, что случилось в том последнем году прошлого века. И еще мне кажется, что, если я пойму это до конца, то в моей голове сложится некий пазл, который поможет мне узнать, где искать Юльку. Живую, смеющуюся, пятнадцатилетнюю Юльку. Вот сейчас — еще минута, и все встанет на свои места, нужно только напрячь мозг, извлечь из него на свет какую-то мелочь, зацепку. Но тут дают сигнал на ужин, и мне снова приходится выползть из своей камеры.

В тот день я наконец встал с кровати и выпил остывший кофе. Затем выкурил в открытое окно две сигареты подряд, глядя на Кильскую бухту и на огромный паром Stena Line, громоздившийся над крышами города белыми палубами и красными трубами.

Спустя несколько часов отчаянного ожидания на компьютерном столике вдруг ожил ее мобильник: завибрировал и мелодично затренькал. Номер не определился, но на всякий случай я принял вызов, и да! — оказалось, что это Юлька. Мы с ней в последний раз говорили друг с другом. А на следующий день звонил Грант. Потом ее отец. Потом полиция.

Из категории свидетелей я быстро переместился в подозреваемые. Юлькин мобильник описали и спрятали на складе вещдоков, после медосмотра на моем теле были найдены царапины на спине, свидетельствовавшие о сопротивлении пострадавшей, а соседи рассказали, что на лестнице я на весь дом орал, как ненормальный. Это было обидно и грустно: как мы смеялись и были счастливы, они не слышали. Зато как мы ссорились, они запомнили на всю жизнь. Во время обыска в моей маленькой квартирке полиция перевернула все, что можно и нельзя было перевернуть, и залезла в такие уголки, о существовании которых я и не догадывался. Самым страшным моментом обыска была та долгая минута, когда двое полицейских с триумфальным видом вытаскивали из стиральной машины простыню с Юлькиной кровью. И моей.

Изнасилование и убийство несовершеннолетней приотягчающих обстоятельствах. Мне уже тогда показалось, что здесь что-то неправильно, ведь никакого тела убитой не нашли. Но мне было совершенно все равно. Я сидел в изоляторе временного содержания, часами смотрел на бетон под своими ботинками и ни разу не подумал о том, чтобы подать на апелляцию.

Может быть, я до сих пор все тот же глупый, эгоистичный дурак, зациклившийся на одной истории и не умеющий собрать в общий витраж несколько цветных осколков. Зацепка лежит на поверхности. Мне нужно только одно: понять, в каком месте заканчивается мой путь в потерявшее смысл будущее и начинается дорога в прошлое. Рано или поздно я отсюда уйду. Ведь пожизненно в Германии это не навсегда. Вот тогда я и найду правильный ответ на загадку и лучшее продолжение нашей истории.

Юлька позвонила мне на свой собственный мобильник из телефона-автомата на платформе и сделала вид, что ничего не случилось. Она рассказывала, как прошло собеседование и что ее приняли, и что она поедет сейчас к матери, потому что со станции идет прямой поезд. И что на следующий день она вернется в Киль.

Она попросила меня сказать ее отцу, что ночует у меня.

Все-таки она была совсем еще девочкой. Безответственной и милой.

— Тут такой смешной билетный автомат. Можно написать что хочешь. Я взяла билет до Карл-Маркс-Штадта. А еще здесь муравьи. Полный перрон муравьев. И никого вокруг, представляешь?

— Юлька, я тебя люблю, прости меня, пожалуйста, и возвращайся скорее!

— Я тебя тоже люблю, — она помолчала секунду и добавила: — Мой мальчик.

Мальчик. Она назвала меня ее мальчиком, и я был счастлив.

Я плохо помню детство. Оно, конечно, было, но отсюда оно кажется мне комочком слипшихся конфет, который остался в прошлом и меня, по большому счету, уже не касается. Детство кончилось с переездом в Германию. Но и первые три года в Германии я помню плохо. Лагеря для переселенцев, дожди, языковой курс. Лето на море, бундесвер. Иногда кажется, будто до начала девяносто девятого года у меня вообще ничего не было. А потом появилась Юлька, и вместе с ней появилось все. Но через пять месяцев она пропала, и тут же полетел кувырком весь только что сложившийся мир. А еще через полгода этот мир скукожился до размеров коробки с желтым пятном, внутри которой теперь хранюсь я.

Все эти двадцать лет я как бы живу во сне. Плыву в лодке, у которой нет ни паруса, ни весел, по черной реке, на которой нет ни ветра, ни волн. И, куда я ни посмотрю, везде вижу темноту и пустоту. И только раз в году — в День рождения Юльки — голос Гранта, давно потерявший свою звонкость и ставший шершавым и печальным, как звук закрывающейся двери в штрафном изоляторе, заставляет меня на несколько минут проснуться:

— Привет, Виктор, это Грант, — говорит Грант по-немецки.

— Здравствуй, Грант, я тебе очень рад, — отвечаю я по-русски.

— Что? — переспрашивает он по-немецки.

— Я тебе очень рад, Грант, — повторяю я, четко выговаривая слова.

— Ах да, — говорит Грант и добавляет по-русски: — Я тоше очен рат.

— Как у тебя дела? — спрашиваю я.

— Нормально, — отвечает он. — А у тебя?

— И у меня нормально, — говорю я.

Грант молчит несколько секунд и спрашивает по-немецки:

— Виктор, ты правда не знаешь, где Юля?

— Грант, я не знаю. — Я тоже перехожу на немецкий и отрицательно качаю головой, как будто он может увидеть это по телефону. — Я хотел бы знать, но не знаю. Прости, Грант.

— Ничего, — говорит он. — Может быть, в следующий раз.

И кладет трубку.

— Может быть, в следующий раз, — повторяю я.

С той весны с видом на Кильскую бухту, порт и корабли прошло много лет, похожих друг на друга, как две капли воды. И неважно, сколько их еще будет. Тот, что по-настоящему существовал,

был тысяча девятьсот девяносто девятым. Те несколько месяцев, которые я действительно прожил, думая, что впереди еще так много таких же хорошо проперченных, наполненных жизнью и поцелуями лет. В итоге все оказалось куда проще. Я прожил жизнь длинной в одну короткую любовь, закончившуюся в тот день, когда Юлька заплакала, убежала на лестницу с кроссовками в руках и поехала в Биркендорф устраиваться на практику в студию дизайна.

Я пытаюсь вспомнить последние штрихи, представить себе то, как и что она сделала в самом конце, но вижу перед собой только тренькающий мобильник французской фирмы Sagem и слышу ее голос за пять минут до того, как она села в поезд в этом странном, никому неизвестном городке под Килем и уехала в Карл-Маркс-Штадт.

2020



Борис ГРИНБЕРГ

/ Новосибирск /

ПАЛИНДРОМЫ

* * *

Я сливал потолок с иголок эхом.
Как мох эколог, исколото плавился...

* * *

Троп парад, ороговела
Наледь. Борды (дробь!):
«Дела — налево!»
Города раппóрт.

Я — ОКО

Погонят...
Серебро мне белó молоком.
Ищу диво.
Покой ищу,
Дубрав, равнин,
Яров. Дара дворянин —
Варвар будущий
Окопов.
Идущим около — молебн,
Мор берестяного покоя.

АНЧАР

Марево. Биением зла
Кашлял шакал змеине.
Ибо вера мрачна...

* * *

Отче. Неон в ореол,
Огонь — летáми назван...
Готовила змея рывок.

*

Ковыряем залив,
Отогнав занимательно голое
ровное нечто.

* * *

Оперив стило-базуку,
Рванула нелепо
Пелена-луна в руку...
Заболит свирепю.

ЛИДЕР

Вопли парохода.
Престол гинет, ослеп.
Ужас — сама масса,
жупел сотен игл
От серпа до хора пил
Повредил.

* * *

Утрат сквозила дыра
— Завтре жарко...
Мертва зола.
Зло
Ползло,
Ползало.
— Завтре...
Мокра жертва...

Зарыдали.

Зов к старту.



Александр ЯКУТСКИЙ

/ Санкт-Петербург /

ТОГДА ДИРЕКТОРА!

(Из цикла «Байки из тундры»)

Когда я был помоложе, я помнил всё — и то, что было, и то, чего не было. Теперь я старею и скоро стану вспоминать лишь последнее.

Марк Твен

За двое суток сидения в якутском аэропорту я одурел до невозможности. Это от непривычки, конечно. Аэропорт был набит до отказа такими же горемыками, как я, но они относились к заточению спокойно, как к делу обыденному и даже необходимому. Туман лежит на взлётке плотно, как гвоздями прибитый. Ни ветерка. А значит, будем сидеть и резаться в тыщу. Кто там на раздаче? А кто нынче козыри? Крести козыри у нас, бубны были в прошлый раз. Пас.

Откуда-то время от времени появлялись бутылка, её откупоривали и пускали по кругу. Каждый ревниво следил за глотками соседа. Ну ты, не шали! Твоим бы хлебалом, да медку!

Дежурный милиционер в такие моменты скромно отворачивался или вообще деловито шагал в другой конец набитого людьми небольшого зала. Так и мотался, бедолага, из угла в угол. Впрочем, иногда и ему перепало от щедрот. Давай, служивый, накати-ка. Только не шали!

Всё переменилось в один момент, когда аэропортовая говорилка ожила и начала невнятно булькать. Затёртые колоды наспех складывались и рассовывались по карманам рюкзаков, картёжники вскакивали на ноги, тут и там раздавалось:

— Тыфу ты ж, так твою, разздак... отсидел плацдарм! Напрочь!..

И шаркающей кавалерийской походкой ковыляли к стойкам регистрации. Тогда, в начале восьмидесятых, всё было просто. Никаких тебе досмотров, никаких «ноутбуки и айфоны в корзинки и на ленту!». Быстро предъявляли билеты, потом прыгали в насквозь замороженный ЛиАЗ. Тот, скрипя потрохами и поза-

быв закрыть двери, не торопясь доколыхивал до самолёта. Забегали по громыхающему трапу внутрь, рассаживались. Тут же, конечно, доставали карты.

— Давай уже, командир, включая первую передачу и плавно отпуская сцепление! — орали в открытую дверь пилотской кабины.

В ответ доносилось что-то беззлобное. Наконец АН-24 размазал свои пропеллеры в смутные круглые пятна, пробежался немного, как бы разминаясь, натужно подпрыгнул в небо и пополз по ухабистой воздушной дороге к Верхоянскому хребту, охотно проваливаясь в бессчётные ямы.

— Эй, не дрова везёшь! — опять орали.

— Сейчас самых горластых высажу и толкать заставлю! — парировал пилот.

Так, с шутками и прибаутками, добрались часа за полтора до посёлка, плюхнулись на его взлётку, заглушили двигатели, выволокли свои рюкзаки и баулы на мороз. От избушки поселкового аэропорта нас подхватил ПАЗик. Я назвал водителю улицу, тот молча кивнул и через десять минут езды сказал, повернувшись в салон:

— Эй, кому там на Подгорную надо было? Вымётывайся.

— А где тут восемнадцатый дом, не подскажете?

— Вот не знаю, у людей спроси.

Я подхватил рюкзак и вышел в морозную темень. Людей, чтоб спросить про восемнадцатый дом, видно не было. Не было бы видно вообще ничего, если бы не мордастая луна на чернильном небе. Длинная улица тянулась вдоль сопки, оправдывая своё название, и упиралась дальним концом в кочегарку. Две высоченные трубы, посапывая, выбрасывали наружу облака сажи. Снег под ногами был чёрный и наотрез отказывался скрипеть.

Само собой, никаких указателей на домиках не было. Зато почти все малюсенькие оконца тускло светились сквозь слой намёрзшего изнутри льда. Постучав в пару дверей и порасспрашивав хозяев, я быстро нашёл нужный дом.

Этот адрес мне выдали в управлении неделю назад:

— Поживёшь там пару дней, потом в общагу определишься. Найдёшь трояк за постой? Вот и славно. Главное: бутылочку с собой прихвати. Не забудь! Удачи.

Домик оказался небольшим баракком на четыре-пять семей. Дверь удалось открыть не сразу. Я даже подумал, что заперто, и собрался стучать в окно, но в последний момент передумал и ещё разок дёрнул за ручку, изо всех сил. Дверь распахнулась, на меня дохнуло теплом, нюх мгновенно отбило затхло-кислым, а с потолка звеня посыпались тонкие ледяные пластинки, каждая чуть ли не с ладонь величиной.

Я торопливо прикрыл за собой дверь, сделал два шага сквозь совершенно тёмный предбанник и оказался в узком коридоре, еле освещённом шестидесятиватткой. Я двинулся было по коридору, и

тут же больно стукнулся о какой-то ящик рукой, а головой задел полку с каким-то хламом. Грохоча, с полки свалился оцинкованный тазик. Я отпрыгнул в сторону и тут же получил нехилый удар дверью в правый бок. Из-за двери показалась косматая голова с длинными и тонкими, как у кого-то из «Песняров», усами.

— Кто тут воюет? — спросили усы. И тут же догадались: — Постоялец, штоль? Заходи, гостем будешь. Бутылку принёс?

— Есть и бутылка, — поспешил заверить я, радуясь, что умудрился не скормить её, родимую, партнёрам по тысяче в якутском аэропорту.

— Тогда хозяином будешь, — уточнили усы, ухватили меня за руку и втащили в светлую, жарко натопленную комнату.

Посреди комнаты стоял квадратный стол, окружённый четырьмя грубо сколоченными табуретами. На табуретах никто не сидел. Я подошёл к столу, вытащил бутылку из рюкзака и водрузил её на стол с некоторой даже торжественностью. Тут же справа скрипнула дверь и из соседней комнаты вышла красивая, вполне ещё молодая якутка. Она подошла к столу, ухватила бутылку за горлышко и грозно посмотрела на обладателя усов, вздумавшего крикнуть укоризненно. Потом повернулась и пошла обратно, в комнату, бросив мне через плечо:

— Разуваться в доме надо, не тордох, небось.

Я тогда не знал, что такое тордох, но сразу очень захотел, чтобы меня так не называли. Торопливо сделал шаг назад, поспешно стянул унты, повесил тулуп на здоровенный гвоздь, торчащий из стены.

— Ты не подумай, — сказали усы у меня за спиной. — Мы ж сами не пьём... гх-м... практически. А водка — она всегда валюта, в хозяйстве главный инструмент.

— Особенно когда мужика в доме нет, — отчётливо прозвучало из соседней комнаты.

— Да ладно тебе, Зин, не начинай, — миролюбиво сказали усы и сочли за благо разъяснить: — Это Зина, жена моя. А я — Геннадий. — и протянул мне широкую, как лопата, ладонь.

Познакомились. Гена приступил к расспросам: кто, откуда, да зачем в их края. Я открыл было рот, чтобы ответить, но тут вновь появилась Зина и оборвала все разговоры, рывкнув на мужа:

— Ты гостя накормил? Нет? А чего ж тогда с разговорами пристаёшь? Давай, тащи с кухни, чего я там собрала.

Гена легонько подтолкнул меня к столу и шмыгнул на кухню. Я с опаской сел на казавшийся хлипким табурет и на всякий случай упёрся руками в стол. Ноги и спина нещадно гудели, переживая двухсуточные посиделки в аэропорту и последующие похождения.

Гена с Зиной начали метаться из кухни в комнату, наполняя стол мисками и тарелками.

— Впервые в Якутии? — по ходу уточнил Гена, заметив, с каким интересом я смотрю на еду.

— Ага.

— Ну вот смотри: это — строганина из чира, это — малосольный хариус, это — мороженая конина, это — сохатинная губа, тут вот — морс брусничный, таймень вяленый, сорот (это у нас кефир такой), юколы вот немножко... А картошка у нас только сухая, пюре. Ну, уж не обессудь...

И он говорил и говорил, стол всё наполнялся и наполнялся. Гена устанавливал тарелки всё теснее и теснее, и я начал подозревать, что здесь на постое кроме меня расквартирован гусарский полк. В конце концов к столу вышла Зина и, критически осмотрев столешницу, на которой, кажется, уже и ножу нельзя было поместиться, вдруг втиснула в самый центр недавно изъятую бутылку.

— Давайте уж по капельке, чего там, — сказала она негромко.

Генка опять крикнул, теперь уже очень довольный, конечно, и заблаговременно вытер усы, будто по ним уже текло, а в рот не попадало.

— Ты, папка, сильно-то не духарись, — раздался вдруг из-за спины Зины звонкий голосок. — Небось, на работу завтра.

— Вот ещё контролёр, — вздохнул Генка вроде как с досадой, но с такой поддельной, что в комнате сразу потеплело ещё градусов на пять.

— Кто это там? — я взаправду удивился.

На середину комнаты смело вышагнула девчушка, чуть выше табурета.

— Это я, Светка! — гордо заявила она.

— А ты кто? — начал было я дурацкую игру взрослых.

— Говорю же: Светка, — и тут же расставила все точки над i: — Папа у меня хохол, мама — якутка, а я не получилась!

Не знаю, как мне удалось удержаться от смеха. Ведь мы когда смеёмся? Когда что-то сказанное противоречит действительности. Здесь противоречие было столь разительным, что мне потребовалось невероятное усилие. Она, видите ли, не получилась!

Маленькое чудо стояло передо мной, раскачиваясь с пятки на носок в своих крошечных торбазах, обшитых бисером по краям голенища. Тёплые карие зрачки, доставшиеся от папы, уютно и спокойно смотрели из огромных миндалевидных глаз, словно скопированных с маминого лица. Чуть приплюснутый нос очень шёл к её круглому личику, губки подрагивали, готовые сорваться в смех, ждавшие только сигнала. Её лицо, вся она была — солнышко. То самое, которое сбегает из этих краев на полгода и прячется. Теперь я знаю, куда. В Светку, которая не получилась!

В общем, я не выдержал, засмеялся, а она тряхнула головой из стороны в сторону, так что две толстые косички описали круг над её головой и тяжело плюхнулись за плечи, буркнула:

— С вами, мужиками, невозможно разговаривать, — и отвернулась к стене, изображая обиду.

И плечики её подрагивали, но видно же было: от еле сдерживаемого смеха, а вовсе не от рыданий.

— Ну погоди, Света, не обижайся, — подхватил я предложенную ею игру. — Давай, я попробую перед тобой извиниться, как следует? Что может порадовать маленькую принцессу?

Я встал из-за стола, взял рюкзак и начал копаться в нём. Светка стояла ко мне боком и (я видел) бросала исподтишка любопытные взгляды.

Конечно, в рюкзаке у меня неоткуда было взяться настоящему подарку, но пара яблок, настоящего алма-атинского апорта, была припрятана специально для такого случая. Я достал одно:

— Вот даже не знаю, сможет ли такой скромный подарок порадовать маленькую принцессу Свету, которая не получилась? Поможет ли такой подарок сменить её гнев на милость?

Светка подошла ко мне, внимательно рассмотрела протянутое к ней яблоко, которое еле умещалось на моей ладони.

— Поможет, — снисходительно заявила она. — А ещё есть?

— Для принцессы найдём! — воскликнул я, готовый опять засмеяться.

— Это не для принцессы, — сурово заявила Светка, ещё раз взглянула на яблоки, выбрала то, что побольше, ухватила его обеими ручками, подошла к двери и позвала: — Варя! Варя, кэл манна [*иди сюда*]!

Я заметил, как Зина с Геной сжались и с тревогой посмотрели на дверь. Оттуда послышался шорох и опять всё стихло.

— Варя, кэл! — стояла на своём Светка.

— Түөх буолла? [*Что случилось?*] — раздался из-за двери тусклый голос.

— Кэл! — топнула ногой Светка.

В комнату вошла ещё одна девочка, лет десяти, очень бледная, в школьной форме и грубовязанном свитере поверх. Она сделала пару крошечных шажков и остановилась, уставив глаза в пол и теребя край свитера пальцами с нечистыми ногтями. Светка торжественно протянула ей яблоко:

— На, возьми!

— Ол тугуй? [*Что это?*] — спросила девочка, не глядя на Светку.

— Дьаабылыка! — радостно воскликнула Светка. — Бери, ешь! Это русский дядя подарил. У меня тоже есть, бери!

— Маны баҕарбаппын. [*Я это не хочу*], — сказала девочка, упрямо склонив голову.

— Эн нууччалыы саһараһын да? [*Ты говоришь по-русски?*] — раздражённо спросила Светка, бледнея и закусывая свою пухлую нижнюю губку. — Русский дядя ведь тебя не понимает, это невежливо!

— Я это не хочу... — твёрдо выговорила Варя, по-прежнему глядя в пол. Её щеки разгорались отчётливым нездорово-жёлтым румянцем. — Разве я корова, чтобы траву есть?

— Ну что ты говоришь? Ты же любишь, я же знаю! — опять топнула ногой Светка, уже чуть не плача.

И тогда Варя подняла глаза и обвела нас всех быстрым режущим взглядом. Глаза её, узкие щёлки, не горели теплом, как у Светки, а кололи ледяной иглой. Мне досталось прямо в сердце. Тело стало ватным, в ушах зашумело. Я прижал руки к вискам и прикрыл глаза, потому что всё равно разучился ими видеть.

«Наконечник стрелы монгола, что нашёл я, копаясь в земле...» — напел мне кто-то прямо в мозг песню, никем пока не написанную. Я шумно выдохнул облако морозного пара и открыл глаза.

Мальчик или девочка. Старик или старуха. Не разобрать: они сидят ко мне спиной и наблюдают закат. Половинка багрового солнца растеклась на полгоризонта.

— Бабушка, — говорит мальчик-девочка звонким голосом. — А нам сегодня в школе рассказали, что солнце никуда не садится. Это просто наша земля вертится и отворачивает нас от солнца каждый вечер.

— Глупости вам в школе рассказывают, — говорит старуха (ведь не старика же он-она бабушкой назвал-назвала?!).

Она раскуривает трубку, и седой клочковатый дым липнет к её седым клочковатым волосам, растекается по ним, не хочет подниматься к небу, льётся по плечам, стекает на траву. Старуха вскидывает правую руку, тычет мундштуком трубки в луну.

— Вот настоящая причина! Запомни, как на самом деле бывает. Каждое утро солнце выпрыгивает на небо и хвастается силой. Вот, мол, смотрите: я всё могу! Согреть и обжечь, осветить и ослепить, оживить и убить. Нет никого меня сильнее, говорит солнце. Тащите на мои алтари мясо и рыбий жир, лейте молоко, пойте песни, дёргайте хомус за язык, веселите меня! Не сердите меня!

Старуха то ли хихикает, то ли покашливает. Со спины не разобрать.

— Хвастунишка этот твой солнце. Стоит только появиться на небе настоящему хозяину, — старуха снова тычет трубкой в луну, — как солнце идёт на попятную. Луна поначалу чуть видна, но проходит час-другой — и вот она уже высосала из солнца достаточно света, уже поднялась высоко, уже она выше солнца, и продолжает сосать и сосать, сама становясь всё ярче и передавая свет своим деткам-звёздам. Солнце теряет силу на глазах, бледнеет, потом краснеет и скорее спешит убраться за окоём, пока истинный хозяин неба не погасил его окончательно. Говорят, когда-нибудь солнце не успеет...

Мальчик-девочка смотрит на луну, переводит взгляд на то место, где совсем недавно был виден краешек солнца.

— Спрятался, — говорит он-она. — Опять луна победил. Смотри, как сияет теперь! Как масляный блин! И его детки-звёзды все во двор выскочили, прогуляться. Красиво! Но мне всё равно отчего-то грустно, бабушка. Я отчего-то солнце больше люблю.

— Это в тебе пока ещё глупость живёт. Ты пока ещё любишь что-то одно больше другого, вместо того, чтобы любить всё вместе. Понимаешь? Надо знать и любить то, как всё вместе устроилось, а не разные куски, из которых всё собралось.

Кажется, он-она что-то отвечает, но я не слышу и снова открываю уже открытые глаза. В комнате кроме меня и Гены никого нет. Гена по-прежнему сидит у стола, перед ним — бутылка, опорожненная на треть. У двери в соседнюю комнату валяются два яблока. Из-за двери изредка доносится еле слышное бормотание и всхлипывания.

— Да ты садись, — сказал Гена, — перекуси чего-нибудь. И давай-ка выпьем. Тебе надо сейчас. А я пока расскажу.

И вот я сидел и ел малосоленного хариуса, запивал морсом, потом обмакивал в смесь соли с перцем строганину и жевал мёрзлую мякоть, не чувствуя никакого вкуса. А Гена рассказывал, время от времени наполняя наши рюмки-напёрстки.

Варя — племянница Зины. Они всей семьёй жили в наслеге. «Совсем неподалёку, — уточнил Гена, — в паре сотен километров отсюда». Отец Вари, Яшка, работал пастухом-оленоводитом. Зина из наслеге уже лет семь назад уехала, всё звала их сюда, всё-таки — районный центр. А они — ни в какую. Но вот с год назад Матрёна (это мать Вари и сестра Зины, объяснил он) забеременела. И давай Зина её уговаривать приехать в посёлок, чтобы хоть родить в настоящем роддоме.

У нас тут, в районной больнице, есть отделение на пару коек. Не то, что на материке, конечно, но всё-таки... И Матрёна не против была, хотела к цивилизации, понимаешь, приобщиться. Но Яшка упёрся рогом. Мы говорит, ураанхай сахалар, оленные люди. Летом в тордохе родим, зимой — в балагане. Никаких больниц, говорит, не надо. Ну, что ты с ним сделаешь? Махнули рукой.

Но вот в самом начале прошлого апреля, третьего, что ли, числа, слышим: затарахтело на улице. Выглядываем: мать честная, стоит ГТ-6, огромный такой вездеход, знаешь? Страшный как танк. Из кузова девочка выпрыгнула, платками вся обмотанная, к нам бежит, а из кабины Яшка кричит:

— Матрёну привёз. Нехорошо ей: совсем рожать не может. Присмотрите за Варькой, а я в больницу. — и с этими словами отпустил фрикционы да на всех газах в больницу умчал.

Потом что было, мы не видели, нам люди рассказали. Привёз Яшка Матрёну в больницу. Там врачи за голову схватились: что-то совсем плохо дело пошло, ей давно пора было в больницу, или уж хотя бы дать в наслеге родить, а не трясти в таком состоянии по

зимней дороге в вездеходе. Ну, на каталку её в срочном порядке, в операционную. Яшка следом рвался, да не пустили, конечно. Сел он в коридоре на лавку, руки меж колен зажал и сидит, как каменный. Долго сидел, часа три. Выходят... Извини, говорят, отец. Всё что могли, сделали. Но... И ребёночек, и жена твоя... А он, не вставая с лавки, их и спрашивает, тихо-тихо, спокойно-спокойно так:

— Вы — больница?

— Больница, — отвечают.

— Роддом?

— Да, и родильное отделение у нас есть, — говорят. — Поверьте, всё что могли, но вы поздно к нам...

— Роддом, значит, — не слушает он их. Встаёт и выходит на улицу. А по лицу — слёзы.

Акушерка было за ним кинулась, успокаивать, да её свои удержали. «Не ходи, — говорят, — дай человеку одному побыть». И сами разошлись по своим делам. Шутка ли: покойник в больнице! Дел много, хватило бы только бумаги.

А Яшка вернулся к вездеходу, покурил. Подумал, ещё покурил. Потом полез в кузов, достал оттуда ижевку свою двенадцатого калибра и с ней наперевес — обратно. Дверь пинком распахнул и орёт медсестре дежурной (у неё закуток прямо в коридоре, напротив входной двери):

— Жену мою давай сюда! Сейчас давай!

Медсестра, конечно, обмерла, лепечет:

— Подождите, нельзя так сразу, нам нужно заключение, бланки, справки...

В общем, лепит, что в голову приходит, у самой дыхания от страха совсем не осталось. А Яшка орёт:

— Не можешь жену?! Тогда директора! Директора давай! Сейчас давай.

И вертикалку свою ей прямо в горло, вот сюда, наставляет. Она, бедолага, давай объяснять, что в больнице не бывает директоров. Мол, главврач только. А он в отлучке, чуть-чуть подождать надо, он как только сможет, он сразу... Ну надо же ей что-то говорить, верно ведь? Я и сам не знаю, чего б рассказал при таком случае.

На шум начали было сбегаться из всех кабинетов. Но видят — такая история, и тут же обратно носы попрятали, у кого телефон в кабинете — стали в милицию звонить. А врач-окулист, Капитоныч наш, он не разобрался, выскочил в коридор в белом халате, с зеркалом этим дурацким на голове, знаешь? И в очках с толстенными линзами. Сам окулист, а сам не видит ни черта. Тем более Яшка дверь входную не прикрыл, морозу напустил. В коридоре — как в парилке. Ну окулист грозно так и спрашивает: «что тут мол, у вас, творится?»

— Директор? — орёт Яшка и стволы уже, значит, на Капитоныча направляет.

— Да что тут у вас... — говорит Капитоныч уже растерянно, делает шаг вперёд и рукой махнул, чтоб, вроде как, пар морозный разогнать.

Тут и громыхнуло. Яшка двустволку на пол бросил, сел на лавку, руки коленями сжал и сидел так, пока участковый не приехал, браслеты на нём не застегнул. А Капитоныч, говорят, сидел, спиной к стене привалившись, и раскинувши руки, будто удивляется. А на лице — никакого удивления. Не осталось у него лица потому что.

На суде Яшка молчал, только две фразы сказал. Когда спросили, зачем он, мол, так:

— Плохой у вас роддом, никуда не годный, — ответил.

И уже перед приговором, вместо последнего слова, мне с Зинкой крикнул:

— За Варькой присмотрите. Вернусь — в наслег заберу. Ураанхай мы.

Вот, теперь ждём. Варьку нам с трудом, но оставили. Одни мы у неё родственники оказались. В школу ходит, но видно: всё равно ей куда ходить, где отца ждать. Светка её, вишь, жалеет, как может, к жизни силком тащит, да куда там... Ночь в ней укоренилась, обида и горе. Чуть тронешь — из неё так и брызжет. Мы-то уже притерпелись. А тебя, вишь ты, как зацепило. Ну, ничего, пройдёт. Завтра и не вспомнишь.

Генка помолчал, с тоской посмотрел на опустевшую бутылку и проводил меня в комнату, отведённую под ночлег.

Так и не успел я ему рассказать в тот вечер, что приехал к ним в район на вакантное место врача-окулиста. Что очень хочу задержаться здесь подольше. Потому что это так здорово! Район площадью как Греция, а ты в нём — один окулист. Два дня в неделю ведёшь приём в районной поликлинике, а в остальные дни мотаешься на вертолёте от наслегу к наслегу, помогаешь людям, несёшь им, так сказать, цивилизацию. Буквально на лопастях винта несёшь, щедро разбрасывая семена по сторонам. Красота?

Всё было так просто и понятно. Ещё только вчера, когда я отсиживал плацдарм в якутском аэропорту.

Анатолий ЗАМИХОВСКИЙ

/ Кёльн /



ДАВАЙ ПРОДОЛЖИМ БОЙ

Давай продолжим бой, Омито-сан.
Умрём со славой. Но сперва —
Давай с тобою выпьем, Омито-сан.
Смерть подождёт. Раны подождут.
Давай...

Давай умрём, Омито-сан, сегодня смерть сладка.
Неси бутыл, Омито-сан, и выпьем два глотка.
Что ты принёс, Омито-сан? Ведь, это не саке.
Зачем простой воды набрал в холодном роднике?
И отвечал Омито-сан, печальный взгляд тая:
Меня убили год назад у этого ручья.

НА ВЕРШИНЕ ХОЛМА

На вершине холма есть старинный разрушенный храм.
Как иконы со стен смотрят звёзды, в прорехи видны.
Приютив темноту по холодным замшелым углам,
Спящий камень летит в тишине сквозь пространство и сны.

Лёгкий шорох гонимого ветром сухого листа
Нарушает покой, будто чей-то нечаянный вздох.
Рваный купол зияет во мраке созвездьем Креста.
Окаймленный плющом, будто вязью терновых венков.

Время полночь, в правом приделе восходит луна,
Пятна света ложатся узором на мраморный пол,
Вся в квадратах теней обнажает проёмы стена.
В самом крупном из них примостился берёзовый ствол.

Он зашёл посмотреть, как стареет разрушенный храм,
Заглянул и остался навеки, не в силах уйти.
Так, пленённый влюблённою нимфой, покорный волнам
Одиссей был обласкан и сбился надолго с пути.

ПЕРЕВОДЫ

Из Райнера Мария Рильке

БЕЛЫЙ ЗАМОК

Один в холодной снежной пелене
Холодный замок — белое на белом.
По тёмным залам, шелестом несмелым
Крадутся страхи в чуткой тишине.

Пожухлый плющ вцепился тяжело
В больную стену жадными когтями.
Не выбраться окольными путями
Из замка: все дороги замело.

Над головой — глухая пустота.
Смеркается. Мерцая, пляшут блики
На белых стенах замка. Зверем диким
Вдоль стен на ощупь кружится тоска.

А круг её похож на циферблат
Без стрелок: стрелок нет.
Часы стоят.

ОСЕНЬ

А листья падают с небесной высоты,
Как будто там, на небе, увядают
Далёкие сады. Они слетают

Танцуя и, качнувшись, замирают,
Поцеловав тяжёлый шар Земли,
Что средь созвездий вечный круг свершает

И в бездну одиночества скользит,
А всё вокруг, опавшими листьями

Скользит ему вослед. Но есть над нами
Тот, чья рука нас бережно хранит.

Из Гуго фон Гофманстала**ЧТО ЭТОТ МИР?**

Что этот мир? Суть — бесконечный стих,
В котором Божий промысел таится,
В котором мудрости вино искрится,
В котором глас любви ещё не стих.

И всякий переменчивый зигзаг
Страстей — суть луч из этого светила,
Строфа, что тысячи других обвила,
И вместе с ними канула во мрак.

Но, прежде, целый мир в себя вместить,
Всю боль его, всю красоту, всю сладость
Сумела, обращая слёзы в радость,
И самое себя до дна испить.

Ах, если б мог читать ты эту вязь,
Тебе бы тайн земных открылась связь.

**Из Готхольда Эфраима
Лессинга****Я**

Что до признания, оно
Меня особо не искало.
А если бы искать и стало,
То вряд ли где-нибудь нашло.
Век краток, будет ли к лицу
Рядиться пышно беглецу?

Богатств я равно не стяжал,
В них не великая подмога:
Потратишь на себя немного —
Уже их кто-нибудь украл.

Недолго часа ждать, когда
Мне под ногами у потомков,
Среди былых эпох обломков
Уснуть придётся навсегда.

Не всё ли им равно, чей прах
Топтать? К чему мне слава?
Бриллианта медная оправка
Нелепа на моих руках.

Из Жан-Жака Сентонжа

* * *

Лучик света упал
На газетный листок
И тихонько дремал
Между чисел и строк,

Разделив пополам,
Словно некий рубеж,
Путь на южный Динан
И восточный Льеж.

Вековые дубравы,
Убранство равнин!
Что осталось от славы
Столетних седин?

Светлый тополь на склонах
Арденнских холмов,
Дикий кролик, резвящийся
В пойме ручьёв,

Пряный вереск в туманах
Кемпинских болот
На полянах лесных
Всё ли пышно цветёт?

Свежий ветер, в берёзах
Пленивший рассвет.
Вольным птицам обильный
И сытный обед.

Всё ли так же украшен
Росою ковыль,
Горизонт полон башен
На тысячи миль?

Реки нитями вьются,
На солнце блестя,
Черепицы домов,
Как вы там без меня

Под осенним дождём,
То грибным, то косым?
Под закатным лучом
Как янтарь золотым?

Белокурые пчёлы,
Колосья, стрижи,
Васильки у забора,
В церквях витражи,

Запах яблок и розы
В забытых садах,
Горько-сладкие грёзы
О милых друзьях.

Голоса наших братьев
И лица сестёр,
Шорох ситцевых платьев,
Мужской разговор...

— О далёкий, возлюбленный
Сызмальства край!
Кто воспитан тобой,
Оглянись и внимай:

Когда будешь идти
На большом корабле
Без огней сквозь пучину
Навстречу судьбе,

В миг, когда огонёк твой
Померкнет в ночи,
Налетит на сады наши
Рой саранчи.



Сергей ГАРСИЯ

/ Норильск /

ЛУНА БЫЛА НЕПОЛНОЙ фрагмент

Сон рядом с любимой женщиной — это значит не просто спать, как спят все существа на планете. Это значит — каждую секунду чувствовать биение своего сердца. У тебя не только уровень стресса понижается, но и жизни прибывает. А ещё сон нужен для того, чтобы хоть немножко побыть с тем, кого нет рядом. Мы часто скучаем по прошлому, по близким и любимым, часто хотим их увидеть, обнять, хотя бы посмотреть, как они без нас, но между нами — километры. Да, время и километры... А, может, их уже нет на свете? Ведь есть же такое мнение, что новый близкий и любимый человек появляется только тогда, когда больше нет «старого» любимого, а потом оказывается, что это почти единственная возможность обнять его снова и прижаться к нему, и стать моложе на целую эпоху в своей жизни. И пусть всё остановится, пускай весь мир замрёт.

Я спал абсолютно безмятежно, видел прекрасный сон из своей школьной юности и чувствовал запах чего-то овощного с пряной говядиной — великий запах советской кухни... такой запах, который ассоциируется только с детством и больше ни с чем. Кстати, когда мы обедали в ресторане гостиницы «Луч», Мария Макаровна спросила: «Какое самое вкусное блюдо ты пробовал в своей жизни?» — на что я моментально произнёс, усмехаясь:

— Здесь такое не закажешь!

Кстати, я об этом и говорил — рагу из говядины в электрической духовке! Этакая «гранд-кулинария» из советской, а, вернее, северо-американской кухни. Как тот же «янки-хаш» и всё тому подобное, что мы ели в детстве... Многие блюда, популярные в позднем советском быту, имели, между прочим, американское происхождение. Мясо с приправами обжаривается в мукке, а затем тушится в духовке с овощами. Вот и всё! Пока не было электродуховок, не было и таких рецептов. На газу это готовить можно, но не вполне уместно.

— Маша! — Я повернулся на бок... Рядом никого не было.

Я снова ночевал не дома. Марии Макаровне вообще очень не нравится моя квартира. И вот снова за окном — грустный мир поздней осени и начало субботнего утра. Ещё довольно рано и очень холодно. Маленькая девочка в яркой вязаной шапочке куда-то идёт, помахивая старомодным портфельчиком, а на металлической ограде парка, через которую всегда кто-нибудь пытается перелезть, висят очень большие жёлтые листья... Да, как истлевшие покойники.

— Мария!

Во сне я видел свою семью, а потом снова — девушку с гитарой, которую повстречал в городе Сочи, когда мне было шестнадцать лет. Я, может, не всегда был доволен своей жизнью, но такое одиночество меня вполне устраивает. В конце концов, я могу просто поверить Валентине Матвеевне Коровьевой, и как бы избавить себя от внезапных разочарований. Наверное, все мы легко найдём другую работу, правильно?

Такую, где все звонки в офисе — бесплатные.

А ведь из дирекции действительно надо уходить.

Да, надо! И не важно — супруг ты этой симпатичной дамы, или тебя бросили на полдороги... На работе мне не простят отношения с главным специалистом отдела, — хоть я и сам тоже «главный». Скажут — это заговор! Меня и так считают убийцей... На работе всё время ждут, что у меня случится истерика, психический «сдвиг» или что я приеду на службу пьяный или «под кайфом». Женщины в дирекции избегают меня, и говорят, что я их не люблю, поэтому я почти не вылезая из своего отдела и, уж тем более, не торчу со всеми на кухне или в курилке. Я же некурящий.

— Дима!

Мария Макаровна появилась в спальне.

— Я тебя звал.

— Ты вчера такой пришёл поздно вечером, что мне показалось, будто ты — пьяный! — произнесла Мария Макаровна. — И сразу завалился спать — даже не ужинал! Что с тобой вчера было?

— Нервный срыв, вероятно.

— Дима, есть иди!

Мы за один месяц прошли тот путь, на который многие тратят половину жизни, — от «привет-привет» на работе до «Дима, иди есть», вы понимаете? Многие люди начинают ценить стабильность только в сорок лет, когда уже не на что надеяться. А до сорока живут, как хотят, — не понимая, сколько цинизма в этом, и сколько горьких неудобств они создают людям, которые пытаются любить их и верить им.

Но Мария Макаровна — очень скрытна.

Кажется, она старательно запускает во мне процесс личностной «кристаллизации», как это называет Стендаль в трактате «О

любви». Моя избранница начинает казаться более симпатичной, чем есть на самом деле. Да, Корова нашла себе хорошее место в нашем стаде, но это не означает, что она всех нас уволила.

— Ты где вчера ходил, Дима?

— Был на проверке муниципальных объектов.

Я чуть не сказал, что собрал за вчерашний день только наличными около миллиона рублей. У меня полные карманы денег. Как жаль, что такие проверки бывают только раз в месяц... Я сидел на кухне, ел рагу с поджаренными тостами, пил чай с ароматом бергамота и думал, что надо бы походить по сувенирным или зайти в модный магазинчик на проспекте Ленина... Но до вечера мы никуда не выходили. Только когда в городе стало темнеть, мы сели в «БМВ» и поехали по магазинам. Я тратил свои криминальные деньги, а состоятельная дама Мария Макаровна Маркина привыкала делать вид, будто она снимается в фильме «Красотка» — но так тебе и надо, вредина-говядина!

Я показал Маше язык:

— Бе-бе-бе!

Маша в ответ фыркнула, как кошка.

Мы вертелись по центральным улицам города часов до десяти, пока внезапно не столкнулись с «самим» Славой-Толстым. Город Энск — невелик, и босс местного рэкета шикарно фланировал по тем же магазинам, что и мы... Эдакий дон Фануччи из «Крёстного отца» — другого сравнения не возникало. Он был со своей дамой, зато «без колёс». Мы подвезли их до дома в элитном посёлке, а сами вернулись в город N по объездным дорогам, пустынным и неосвещённым, как лунная поверхность. Я чуть без зубов не остался, когда нашу машину то и дело подбрасывало на колдобинах. Зато, заезжая в город с «непарадной» стороны, мы оказались на набережной реки Нишая, где уже начиналось строительство Слона. Фирма «Гном и К», подрядная организация Геннадия Гнедого, он же «Гной», медленно начинала закладку фундамента. Мы постояли возле деревянного забора, которым была обнесена «стройка века», но из машины не выходили. На площадке по одному включались прожекторы, и копал землю жёлтый очень высокий гусеничный экскаватор с надписью «Hyundai»... Он двигался, как какое-то новейшее технократическое чудовище, как футуристическая машина смерти из очередной серии «Терминатора», и сбоку от его кабины с сидящим внутри машинистом в белой каске мощно светился огромный прожектор. А вдоль забора длинными рядами стояли «бытовки» с хозяйственными помещениями стройобъекта и один красный вагончик с прожекторами над входом. Написано — «Офис». Но свет погашен, никого нет. «Скоро ляжет снег, — так мне подумалось, — и уже раньше марта стройка не продлится. Зачем же они сейчас начинают? Впрочем, наивный вопросец, сударь! Они же думают о деньгах, а не о работе!»

Сейчас идёт информационная борьба между подрядчиками — все друг другу врут и пишут доносы в областной центр. Депутат Рожков, который по бюджетным вопросам, даже плакал на груди у прокурора, — так ему хотелось оттеснить Гноя, Хрена и Писю от строительных контрактов. Но прокурор у нас — мужчина из Махачкалы, да ещё и с какой-то турецкой внешностью, поэтому он не испытывает жалости к плачущим депутатам. И краснеть он не умеет, как Женечка Титикова. Короче, неудобный человек, наш прокурор города.

Но уж куда я неудобнее... Прокурор — наверняка человек честный, и я знаю, что он меня не любит. Только слепой этого не разглядит. Я вспомнил, что меня в дирекции называют не иначе как Родионом Раскольниковым. И все ждут, что я кого-нибудь убью топором. Титкова представила меня прокурору как потенциального сумасшедшего, и рассказала, будто я копаюсь в помойках возле её дома, — она, дескать, сама видела, своими глазами, что я «бомжую»... Это была как бы часть её борьбы лично со мной и со всей нашей коммунальной дирекцией. Вы только представьте?

Это доставляет ей колоссальное удовольствие — лгать и говорить гадости!

— Нашёл, кого вспомнить, — отозвалась Мария Макаровна. Я завёл двигатель, и мы отъехали от стройки... Действительно, лучше чёрта вспомнить, чем Титкову. Чёрт вряд ли явится, а депутатша Титкова — да вот она, уже здесь. Возле одного из частных домов стоит её машина. На всякий случай мы сделали ещё одну остановку в нашей долгой автомобильной прогулке. Я с вопросом посмотрел на свою Маргариту, и она мне ответила после паузы:

— Здесь живёт Борис Лужа, директор треста.

Я продолжил:

— Братик Демона.

— Да, только не родной... Фамилия Демон у него из детдома!

— Впервые слышу, чтобы в детдомах давали такие фамилии.

Мария Макаровна рассказала, — депутат был «отказником» от родителей, исповедовавших сатанизм, а фамилию дали в шутку:

— Об этом писали в местной газете, да он и сам рассказывал.

Дом был самый обыкновенный, деревенский, но не старинный, а примерно 70-ых годов. На крыше криво торчали две трубы и три антенны, — помнится, такие дома очень любили показывать в советских детективных фильмах, как место обитания отъявленных врагов и спекулянтов... Или даже в мультфильмах? Я сразу вспомнил «Приключения Васи Куролесова», а потом до меня дошло, что Курочкин, главный антагонист мультфильма, очень напоминает почтальона Печкина из совсем других деревенских приключений. Я хотел об этом сказать Марии Макаровне, но внезапно в одном из око-

шек включился, а затем быстро погас свет, потом ещё раз включился и погас... Это выглядело подозрительно.

— Поехали, — решила моя Маргарита, — а то нас увидят.

Спортивный «БМВ» резво поскакал по бездорожью, а потом мы свернули на одну из улиц, которая вела к центру города. Деревянных домов здесь не было, зато в одном из пятиэтажных проживала Роза Урузумбаева. Обычно в это время она гуляет со своим ротвейлером по кличке Бакстер. Здесь же паркует свой «Мерседес» законный супруг Урузумбаевой, жирный среднеазиат, процветающий на жестокой эксплуатации себе подобных... Он ведь тоже был приезжим рабочим без документов, пока Роза Давыдовна не подобрала его, как прикольный фантик от конфетки. Человек он крайне урядный, блудливый и необразованный, как последняя деревенщина, однако Розу это устраивало куда больше, чем другие варианты, — этакий, понимаешь, «принц-консорт» без больших претензий к жизни. Урузумбаева была, как известно, бездетна.

Мы постояли, подождали. Потом Мария Макаровна позвонила Розе Давыдовне:

— Ну, ты где ходишь, Роза с мороза?!

В трубке раздался смех нашей сатаны... Оказывается, она сидит на автобусной остановке неподалёку отсюда, слушает музыку в наушниках и скоро подойдёт. И минут через пять Роза Давыдовна действительно появилась. Но без собаки. Оказывается, — передала Бакстера мужу, а сама решила погулять... Потом мы ещё целый час сидели втроём в «БМВ» и перемывали косточки Светлане Никандровне Свинье, тоже жившей, кстати, весьма неподалёку. Потом Роза Давыдовна стала вспоминать многооконный и многоквартирный дом в Караганде, где они родились — девочки Роза и Света, так и не ставшие подругами. «Что это с ней случилось?» — подумал я и понял: да просто Урузумбаева увидела нас вместе, влюблённых, и тут же начала вспоминать свою семью и девочек из своего детства.

Она ведь лучше нас знает, что жизнь не повторится.

Над дощатым забором сияла луна, медленно гуляли подростки с банками пива, а я грезил о сером студенческом дне в Москве 2007 года, когда мне было ровно двадцать лет и я фактически проваливал занятия в университете и буквально балдел тем счастливым днем с Гошкой Лернером и ещё несколькими такими же друзьями-идиотами, — «я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова»... Вы поняли? Мне так и хочется матерно ругнуться! Если не считать девушки с круглым лицом, которую я видел в Сочи, — то получается, что ничего прекрасного в моей жизни я как бы и не видел... Кстати, чем мы там занимались, в 2007 году? А ничем! Мы на Москве груши ломом околачивали. «Бригада Мичурина», как нас называли в МГУ. Понимаете? Но с тех пор все мои друзья научились держать себя в руках и вполне «состоялись». Теперь все они — боссы, и ездят на джипах.

«Пожалуй, я заметно от них отстал!»

Только за полночь мы с Машей, наконец, вернулись домой. И, вот я, незаконный внук булгаковского Мастера, бросил на пол пальто и впервые по-настоящему поцеловал свою Маргариту — так, как целуются только влюблённые подростки. А потом мигом прошла ещё одна неделя и началась ещё одна суббота. Это, конечно, не совсем правильно — жить от субботы до субботы, но эта суббота была тоже особенной... С неба хлынул снег — да такой густой и яркий, будто я видел сразу несколько зимних полотен в картинной галерее. Я медленно, теперь уже на всю долгую зиму опустил жалюзи в большом окне её квартиры. Выпавший снег нуждался в большой площади, поэтому если зима и не наступила сразу, то только потому что снежными стали все просторы и даже высоты города N и его окрестностей. «Ведь как у нас бывает? — усмехался я, зная местную погоду. — В городе снега нет, а за городом — сколько угодно!»... Все ближайшие несколько дней и даже немного ночных часов мы как бы продумывали дизайн нашего жилого пространства из расчёта на непростую зиму. Мы быстро покупали и то, и сё, и по чуть-чуть мебель, и постельное, и большой обогреватель для кухни или спальни.

Его-то мы и привезли ночью на «Газели».

В этом году природа очень медленно расставалась с осенью. Это напоминало расставание автора со своим детищем. Это ведь всегда немного волнует. Но постепенно осень отошла в сторону, предоставив зиме возможность действовать самостоятельно, и теперь уже только наблюдала за ней со стороны. И я тоже наблюдал — наблюдал за осенью и говорил себе — «Дима, не привязывайся ни к чему на свете, оно нам не принадлежит, и ты должен научиться жить, как все». В домашнем своем представлении «жить, как все» я ещё как бы даже не начинал. У меня ещё всё впереди, правильно? Да и Мария Макаровна оказалась не такой страшной, какой её видели у нас на работе. Кстати, в дирекции все делали вид, будто ничего не замечают. Только перестали премию мне и Маше выплачивать, да, наверное, ещё пару раз сильно изводили нервную систему начальнику экономического отдела — и, пожалуй, больше ничего.

И в нынешней нашей встрече,
Как в жизни короткой нашей
С одной стороны — начало,
С другой стороны — финал.
Стремятся они друг к другу,
И мы с каждым часом старше.
И нужно успеть так много,
Пока ещё полон зал...

Так и хочется говорить стихами или даже петь, как Ефим Шифрин:

Пускай вас найдёт удача,
И дом будет полной чашей,
А мне очень нужно только,
Чтоб снова был полон зал.

— Да!

Я стоял у окна на кухне и смотрел на зиму, такую масштабную и несовершенную. Отопление работало на жалкую «троечку», обслуживание отсутствовало — коммунальные фирмы тонули в жалобах и ничего не делали... С улицы доносилась старинная песня Натальи Гулькиной — «Я больше не хочу, чтоб только у порога звучали бы в ночи твои усталые шаги...» Это кто-то тихо подъехал к подъезду и открыл дверцу машины. Наши «Рено» и «БМВ» стоят рядышком в длинном ряду дорогих автомобилей, чуть присыпанные снегом. Рано утром все жители дома выходили «погреть» машины — это обычная сибирская практика в ожидании скорых холодов. Ну, и я тоже выходил — с ключами сразу от двух автомобилей... Жители этого элитного «билдинга» на улице имени Города-героя Москвы смотрели на меня, как на сумасшедшего, однако держались на большом расстоянии.

Одно радует! Закончилось бесконечное нытьё комаров над ухом.

Когда я вошёл в квартиру, по радио настойчиво рекламировали средство от простатита, которое называется «Союз-Аполлон».

Хорошо, что не «Титаник».

— Ну и что там, на улице? — спросила Мария Макаровна.

— Зима, свежо, — ответил я с улыбкой и поцеловал Марию Макаровну в щёчку.

Радио усердно трудилось на кухне... Я отдал ключи от машин и сел в кресло перед включённым телевизором. Чисто прибранная комната с цветами на подоконнике, а в углу, вместо икон, стоит старинный самовар, когда-то подаренный хозяйке. Ключи от машин Мария Макаровна бросила на салфетку рядом с самоваром. В этот момент мне подумалось, что надо бы купить что-то получше «Рено Логана» — у других-то автомобили не из бюджетного сегмента, правильно? А то выгляжу, как заурядный читатель журнала «За рулём». И хватит прятаться на работе! Твои отношения уже невозможно спрятать, а твой «Рено» видела вся стоянка. И теперь ты будешь почти в одно и то же время спускаться вниз и видеть одних и тех же людей — начальника службы сбыта товарища Бирюлина с его огромным, как яхта, белым внедорожником «Тойота Секвойя», или товарища Пермякова, хозяина престижного «мола» на окраине города... Он ездит на чёрном длинном «Линкольне» 90-ых годов — это, знаете ли, какое-то НЛО, а не автомашина!

Эта стоянка — как другая планета.

И у людей здесь — совсем другой достаток. Если для пенсионера понятие «деньги» начинается от 500 рублей, то здесь «деньги» — это нечто от 500000 и больше. Я, конечно, не принадлежу к этой категории, но моей зарплаты и прочих доходов вполне хватит на новый внедорожник «Hyundai», правильно? Когда я был в Москве в прошлом году, то видел такой в небольшом модном автосалоне на Хорошевском шоссе.

«Надо бы выбраться в столицу и купить! А ещё схожу на концерт Алёны Свиридовой».

Моя Маргарита вела себя просто и непринужденно. Вечер обещал быть замечательным. Однако ещё с утра к нам в гости запросился Марсиан Куценко со своей блондинкой по имени Инга, и я сразу сказал Марии, что мы его обязательно дождёмся. Ох, моя бы воля, я никогда не поддерживал бы эти отношения (как и многие другие), но в мире состоявшихся людей по-другому как бы никогда и не бывает. Мы живём в окружённых «железным занавесом» многоэтажных «билдингах», поэтому нам приходится ходить в гости... Вечером, пока Мария Макаровна пила с блондинкой Ингой аперитивы, я несколько раз надолго отлучался на кухню, а Марсиан Никитич немного провожал меня по коридору квартиры и смотрел, поднимая брови до потолка.

В конце концов, он спросил с пошлой ухмылкой:

— Вы что, суки, делаете, а?!

Кажется, по его мнению, «это» у нас слишком далеко зашло, да? Но на этой крыше мы действительно совсем одни... и мы — «маленькие люди, но большие мечты», как поётся в одной современной песне, очень симпатичной. И никакой Слон нас не столкнёт на землю... Хотя для Марсиана Никитича я был, несомненно, инопланетянином, или уж точно — объектом социологического исследования, почти подопытным кроликом. Но современная лирика мне тоже понятна. Всё-таки на мои самые нежные подростковые годы приходится громкий фурор группы «Пропаганда» и дуэта «Тату» — помните?

А все мы выросли под музыку 90-ых... Даже я.

В конце концов, я позвал гостей к столу, хотя все громко уговаривали меня подождать.

— Если вы предпочитаете холодец, то можно и подождать, — мило пошутил я. Шутка удалась. Марсианин оглушительно грохнулся задом в кресло... Боже, подумал я, неужели на нежные годы этой огромной мужской задницы тоже приходится триумф и фурор «Тату» и «Пропаганды»? Кто бы мог подумать?!? Одна эпоха, но такие разные люди, правильно?

Я, честно сказать, с большим трудом представлял себе, что такое званые ужины... В моём представлении это происходит где-то на другом конце вселенной. Впрочем, был один маленький, но весьма важный нюанс: мне не было стыдно ни за что из того, что я

сделал. Ещё никто за всю историю моих дружеских застолий не расправлялся с коньяком и закусками так тщательно и долго, как это делали мои гости... Вернее — наши! Я в этот момент думал, что если Марсианин все же снизойдет до нас двоих и осчастливит своим признанием наше с Машей сожительство, то мне придется очень постараться, чтобы удержать себя от приступа радости. А ведь он, наверное, никогда этого не сделает, правильно?... Он может сколько угодно пить водку у меня дома, но здесь этот Марсианин едва сдерживает себя, чтобы не показать, что Мария Макаровна — это женщина их круга, а я — какой-то чужой и случайный... Я могу быть только ошибкой или шуткой, понимаете? Но мне не хочется быть таким. Вы это тоже, наверное, можете понять.

При мне говорили об Аркаше Маркине, притом Марсианин обещал привести его в гости. Ну, спасибочки! Я пару минут посто-ял на кухне, уговаривая себя успокоиться. В этот момент откры-лась дверь и раздался весёлый голосок Бориса Ивановича Коня. Товарищ Конь демонстративно расцеловался с Машей, а потом на-чал её обнимать и шлёпать по попе, делая при этом радостную морду... Он вёл себя, как любовник, или даже «сессионный» партнёр этой женщины.

Марсианин — хохотал, широко раскрыв рот с плохими зубами.

Конь пришёл один, поэтому Маша досталась на весь вечер ему, а не мне. И я снова «разряжался» там, на кухне, над раковиной с холодной водой. Алкоголя не пил. Его и так было много... Я умею лгать, молчать, изворачиваться, писать отписки, ко мне, как к на-стоящему юристу, никогда ничего не «прилипают». Вон, мои одно-курсники защищают в судах уголовников, но ведь они сами престу-плений не совершают, правильно? Нет, это их работа... И — моя тоже. И если завтра Сука-Марсианин опять залетит за решётку, — я даже с удовольствием проконсультирую в СИЗО это городское жи-вотное. А пока я пытаюсь простить его и чуть успокоиться.

Вот он заходит на кухню. Пришёл опять в грязной и мокрой обуви, буквально в валенках... он стоит и смотрит на меня, как слон.

«Боже, неужели мы сегодня поссоримся?!»

Так и есть!

— Может, вы пойдёте, — говорит он мне тоном удивлённого человека, — вам дальше будет неинтересно!

Прикиньте! Гости выгоняют меня из квартиры моей сожители-ницы... Нет, вы такое видели? Мне не лень жить на свете, и в моих каменоломнях вполне хватит кирпичей для таких, как этот мужик в грязных войлочных ботинках. Но он — наш партнёр по коммуналь-ной коммерции, он дружок Лернера и прочих подобных циников. Ругаться с ним — значит потерять доверие. А потому будь доброже-лательным и спрячь свои камни. В конце концов, он в тебя свои камни ещё не бросал.

«Ничего не забывай, но злись поменьше!»

Мы так и сидели до конца званого ужина — я не замечал сукиного сына Куценко, а спутница Марсианина Никитича делала вид, будто не знает Коня. А Конь обнимал копытом Машу... В этот момент я жалел, что не вижу переводчицу Аню Денисову или ту высокую темноволосую девушку по имени Новелла, с которой я танцевал в ночном клубе. Было бы лучше, если б Куценко пришёл с одной из них, правильно?

Было бы просто замечательно... Но тогда это была бы совсем другая история.

«Таких историй просто не бывает».

Как только за ними закрылась дверь, мы с Марией Макаровой взялись за уборку, и теперь я срывал злость на посуде... Я чуть не разбил синюю салатную ёмкость чисто офисного фасона.

— Ты что? — поинтересовалась Мария Макаровна, заглянув в кухонную раковину. Я грубо возился с этой противной макитрой для офисного оливье и раздражённо говорил моей Маргарите:

— Слушай, ну прости меня, это было слишком. Зачем ты их пригласила, не предупредив? А как же я? Я должен молчать?

— Молчи, — предложила Мария Макаровна.

— Почему?

— Дима, ты слишком самонадеянный! — упрекнула Мария Макаровна. — Кроме твоей актёрской рожи, я, извини, иногда ничего не вижу.

— Ищешь удобного мужчину, да?

Внезапно Мария Макаровна как бы отказалась от своих слов:

— Я не знаю, Дима.

— Слушай, ты меня достала!

Я выскочил из кухни. Наверное, мне надо было уйти, бегом пробежать весь квартал и найти какую-нибудь другую дверь, за которой меня ждут, — совсем не похожую на этот «железный занавес» из пуленепробиваемых дверей, частных охранников и систем наблюдения. Да, я — самонадеянный мужик с актёрской рожей, и меня могут ждать самые разные женщины. Но ведь не ждут, как они и не ждали раньше. А вам кажется, что всё на свете просто, — так, наверное? Нет, жизнь перестала быть простой и понятной целых тридцать лет назад — в те годы, когда я катался на аттракционах в московском парке культуры и отдыха, а везде и всюду гуляли стрёмные личности в кроссовках с полосочками и тренировочных «адидасах» фиолетового цвета. И у меня с тех пор всегда имеется собственный способ выхода из проблемы — глухое молчание. Надо ждать, сколько нужно, — ждать, пока мы успокоимся, и только потом говорить снова.



Александр БЕЛЫХ

/ Владивосток /

Из цикла
«Самодвижущиеся образы»¹

ЛЕТНИЙ ОЗНОБ

* * *

В прогалину неба
Метнулись ласточки, щебеча о лете...
Взбалтываю чаинки в стакане...

* * *

Познабливает молния,
Снятся тревожные отблески,
Гроном поперхнулось небо...

* * *

В щелях времени
Книги торчат корешками —
Выдернешь, вечностью сквозит.

* * *

Омытая дождями,
С горечью зреет рябина
У больничного окна.

* * *

Что ни утро, туманное...
Падают навзничь книги, взрыхляя
Старческую пыль разума.

¹ Александр Бельх. «Эхо сердца», Алетейя (СПб.), 2021.

Из цикла
«Вести чужой музы»

ОЛЬГЕ ИЗ НЬЮ-ЙОРКА

1

Спецназовцы Аризоны —
Кактусы, акации, аканты...
Снежной бури стражники.

2

Питерские фонари
На страже ночи снежной,
Как сагуаро Аризоны.

3

У крепости Корела
Деревья тянут невод с небом,
По колено в притоке Вуоксы.

КУПАЛЬЩИЦА ВАН ДЕЙКА

Выше приподняла осень
Голубой подол поднебесья —
Из белил свинцовых,
Из жжёной умбры обнажённые колени
Купальщицы, пробующей хладную воду...

Из цикла
«После любви»

В ТОМ ОДИНОЧЕСТВЕ, ГДЕ СМЕРТЬ

...В том одиночестве, где смерть
приветлива, ты был не раз, ты был не прав.
Не таясь, ты заходил отважным шагом,
и крыльцо скрипело ступенькой каждой,
заросшей изумрудным мхом,
на ощупь мягким, как щека. Вода
под тяжестью ноги едва-едва подошву
промокала, наметив след на половицах,

поющих, как цикады. — Я здесь, — ты говорил. — Ну, вот и дома. Листва порывисто шумела от одного лишь ясеня в ограде. Ты скидывал одежды, умывался дождевой водой из старого ковша. И что влекло твое касанье, как струн невидимых, ты прикасался чистыми руками, отворяя речь бессмысленным вещам в том одиночестве, где смерть была приветлива. И то, что слыло даром до прихода, отвращалось, как ненужный хлам: замыкались веки, как ставни в доме; зарастали мхом уста, как тропы, что уводили в мрачный бор; но слух был полон таинством: в одно стекалась речь, как в чашу озера ночного, где отражался единый образ. И только капля росная, как нечаянное слово, вот-вот разбить была готова на множество осколков эха единый лик того, кто быть вещам велел в том одиночестве, где смерть приветлива. — Идем, идём за эхом, ты смел...

ДЗУЙХИЦУ

Перо ещё не набрело на мысль,
но уже оставляет позади себя сырой
чернильный след,
заполняя белизну страницы невнятными знаками,
свидетелями чистого присутствия,
в области которого даже птицы смолкают,
чтобы не лжесвидетельствовать о мире,
над которым пролетают в тот миг,
пока поскрипывает перо, пока никто
не обделен печалью.

ВСТРЕЧ ВЕТРУ

* * *

Ветер, пропахший морем,
Как руки отца, ворвался в окно электрички
И тербит мои волосы...

* * *

Куда впотьмах бредут деревья?
Их гонит ветер или отчаянье?
Я не буду жить в твоих снах,

Незаметно уйду из твоих печалей.
Куда впопыхах бредут деревья,
Шелестя не моими словами?
Твоя грусть оттаает, как иней...

ИМЯ ВЕТРА

Болезни приходят, как стихи,
и не покидают нас.
Из той же породы болезнь любви...
Слова становятся всё проще,
как выцветшие травы.
И дни проходят без слова.
Имя ветра прошелестели деревья.
За кем он погнался с охапкой листвы,
распалил клёны на склонах?
Что ж мне греться у чужого костра?
С рук, молча, кормлю его своими стихами —
уходите болезни...
Я прислушался: ветер, ветер...
Приручить тебя, взлохмаченного, как пса...
Как бы не вспугнуть словом ветер...
Бродить с тобой по горам,
в кронах деревьев, рука об руку,
озорничать, ронять листву...

ОКТЯБРЬ

«Если уеду сегодня, покину город,
то не увижу, как вспыхнут клёны в той роще,
которой тебе не любоваться без меня;
а когда вернусь, они уже отпылают...»
С этой мыслью я смотрю на тебя в кинотеатре:
ты улыбаешься не мне, другому...
«Осенние клёны пахнут карамелью, как твои губы...» —
подумалось мне, и я глубоко втянул воздух.
Я отвернулся в сторону и невольно прошептал: «Отпылают».
Это слово слетело с моих губ,
будто ветер сорвал с ветки кленовый лист.
Если бы я услышал: «Останься!»,
я с радостью никуда б не поехал,
вдыхал бы твой аромат,
если б только услышал...



Леся ТЫШКОВСКАЯ

/ Париж /

В КАДРЕ

Я заметила твой силуэт еще издали.

— И что ты здесь делаешь?

— Ем. Не видишь?

— Ты ешь... деревья?

— Да нет, конечно. Ягоды!

— А вдруг они ядовитые?

— Да нет. Это же тис.

— Тис?! Тисовые ягоды ядовиты! Это известно. Ими был отравлен герой романа Агаты Кристи «Карман, полный ржи». И няня из «Скрюченного домишки»!

— Поменьше читай Агату Кристи и побольше — трактат Авиценны, где тис ягодный — фитотерапевтическое средство.

— Да он же считается древом смерти с древности! Даже тень этого дерева ядовита, — продолжала я гнуть своё.

— Не ядовита. Ни тень, ни ягоды. Я прочла. Только косточки.

— А вдруг ты косточку проглотишь?

— Ну, конечно...

Ты продолжала жевать, пока у меня в голове крутилась песенка шута из «Двенадцатой ночи»:

Пусть в последний приют мой земной
Ветви тиса положат.
Разделить мою участь со мной
Самый преданный друг не может.

— Ты что, сюда есть пришла? — не выдержала я.

— А почему бы нет?

— Я думала, мы сниматься пришли.

— Это ты сниматься пришла. С моей помощью. А мне для этого подкрепиться нужно.

— И долго ты собираешься подкрепляться? Солнце уйдет.

— Пять минут. Только баночку собираю.

Мне стало плохо: возле тебя стояла литровая банка, в которую ты старательно собирала мелкие ягоды.

— Да ты же их до закрытия парка будешь собирать! Перестань хотя бы жрать! Вспомни «Тайну "Чёрных дроздов"». Ягоды были добавлены герою в баночный мармелад. Баночка, кстати, твою напоминала, — сделала я последнюю попытку.

— Я всё делаю быстро, — ты проигнорировала все мои реплики.

Я собрала волю в кулак и открыла сценарий. Не успела дойти до конца, как услышала довольный голос:

— Всё. Я готова. Стихи повторяешь? Умничка.

Мы дошли до первой точки съёмки. Ты стала в позу боевой готовности — и я поторопилась начать.

— Я что, сказала начинать?

— А как я узнаю, когда нужно начинать?

— Для этого существует простое слово: экшен. Ты что, впервые снимаешься?

— За границей — да.

— Тогда слушай: экшен — начинаешь действовать, кат — заканчиваешь. Поняла?

— Поняла. Хотя действие — не самая моя сильная сторона, ты же знаешь. Мне уютней в моём внутреннем мире.

— Не отвлекайся. Экшен...

Как много жёлтых листьев
сентябрь срывает.
А мне казалось,
прощание лишь предстоит.

— Снято. Всё, что ли?

— Да. Это короткий верлибр.

— Понятно. А теперь всё сначала... Экшен... Да ты погладь это дерево, обыграй как-нибудь стихи... Кат... Подожди, люди попали в кадр...

— Смотри, они тоже без масок!

— Без масок? Ты о чем?... А, у тебя же карантин в голове... Читай, давай, чего застыла?..

— А у тебя его нет?

— Нет.

— И эпидемии нет?

— Нет...

Я посмотрела на часы: прошло явно больше часа, допущенного последним постановлением французского правительства. Ты заметила мой жест:

— Давай, не тормози. У нас мало времени...

— А нас не оштрафуют?

— Не оштрафуют. Можешь гулять хоть целый день.

Я снова прочла четверостишие. Ты как будто не заметила, что я закончила и продолжала целиться на меня огромной камерой, закрывающей твою голову.

— Я тебе разве сказала остановиться? Обрезать всегда можно... — ты деловито просматривала снятое.

— Не умею я монтаж делать...

— А кто его будет делать? Я, что ли?

— Я понимаю, какая это сумасшедшая работа...

— Да ничего сложного. Просто у меня времени нет... Ты быстро научишься...

— Не уверена.

— Так, хватит ныть. Некоторые без рук и без ног Ла Манш переплывают... Поехали. Экшен...

Неожиданный дар ноября
Солнце нежности в робких аллеях
Сохраняет от знойного дня,
Поцелуем коснуться не смея...

— Ты чего в одну сторону смотришь?

— Да я текст не успела выучить. В книжку свою смотрю.

— Приехали. Не знать на память собственных стихов!

— Да я думала, успею до пятницы, а посмотрела — сегодня такое солнце, грех было не воспользоваться четвергом...

— Могла бы и подготовиться. С тех пор, как ты мне позвонила, прошло уже трое суток. У меня видишь — всё ок.

— Да, молодец. Не ожидала, что ты так спонтанно организуешься...

— Почему не ожидала?

Я вспомнила, как набрала тебя в полночь и бодрым тоном спросила:

— Как дела?

В голосе, прозвучавшем навстречу, послышалось недоумение:

— Какие дела?

— Неужели разбудила? — мне стало неловко. — Ты обычно поздно ложишься.

— Не разбудила. Но ты кому задаешь вопрос о делах?

— Тебе задаю. А как ты предлагаешь начать разговор?

— А как ты мне предлагаешь отвечать на подобный вопрос?

— Обычно, люди отвечают *хорошо* или *плохо*.

— Ты что, не понимаешь, что для меня *хорошо* и *плохо* — это одно и то же?

— Ой, только не нужно читать мне лекцию о дуальном мышлении, в котором погрязло человечество... Ты же деловая женщина... И у меня к тебе деловое предложение...

— В полночь?

— Хорошие идеи не всегда приходят в приличное время. Ты же сама знаешь... Я могу перезвонить и в другое время...

— Нет уж! Выкладывай своё предложение, если позвонила «деловой женщине» в такое время...

— Пойдем в парк...

— Вот это деловое предложение! Такого секса в полночь мне ещё никто не предлагал!

— Да ты не перебивай: будем фотографироваться...

— Ну, супер — отличный секс!

— Да тебе понравится!

— Не сомневаюсь.

— Да перестань. У меня есть идея: снять стихи...

— Ой, как романтично...

— Не ёрничай. У меня есть для этого небольшая камера...

— А ты вообще помнишь, кому ты звонишь?

— А что?

— А то, что у меня три профессиональных камеры, и я на минуточку — гениальный оператор, удостоенный самой престижной премии...

— Ну, давай, пальцы веером...

— Нет, ты крутая!

— В смысле?

— Звонишь в полночь лучшему оператору страны и предлагаешь тебя снять...

— Минуточку. Я предлагаю совместно выгодную съемку. Ты — меня, я — тебя....

— Круто, — отрезала ты, не то соглашаясь, не то категорически отказывая.

— Конечно — круто. Ты же снимаешь всех, а тебя кто-то снимает?..

— Никто не снимает меня, несчастную.

— Вот видишь. А ты вообще-то красивая женщина...

— Вообще-то — ДА.

Твоё да прозвучало как окончательное *нет*.

— Ну всё, не хочешь — не нужно.

— Ну, хорошо, если тебе это доставит удовольствие... — неожиданно согласилась ты.

— При чем здесь удовольствие? Мне просто пора задуматься над тем, что я оставляю после себя. Я ведь уже не юная.

— Понимаю, понимаю...

— И я тебе предлагаю сделать съемку вместе, потому что ты откроешь удивительное место — мой любимый парк Багатель. Это — раз. И я тебя пофотографирую — два. В общем, ты должна проташиться, выражаясь твоим языком.

— Вот проташиться — это правильная мотивация. И главное — раствориться, стать частью целого.

— Звучит как угроза... Для моего эго.

— Конечно! Для тебя раствориться — это же потерять себя. А потерять себя можно только в любви. Но поскольку ты боишься любви....

— Всё. Предлагаю отложить твои софизмы и перенести разговор на другое время.

— Стоять!

— Давай не будем разыгрывать маркиза де Сада...

— А чем тебе Венера в мехах не нравится?

— Это уже не де Сад, а детский сад, честное слово. Я перезвоню завтра.

— Стоять! Я хочу знать, сколько ты *так* выдержишь, — твой голос звучал непривычно жёстко, и мне показалось, что всё это время я разговаривала с другим человеком, ошибившись номером.

— Как это — *так*?

— По стойке смирно. Ты же позировать собралась. Нужно тренироваться!

— Кто тебе сказал, что я стою? Я сижу в удобном кресле... Ты что, шампанского перепила?

— А что мне ещё делать в полночь, когда некуда податься? Кстати, я теперь на красное вино перешла. Оно лучше заземляет.

— Ах да, я забыла, что сейчас карантин — и ты не можешь отъехать больше, чем на километр от дома и всего на час.

— Это *ты* не можешь. А за меня не волнуйся. У меня всё под контролем. И документы нужные в любую минуту. Ты снова забыла, кому ты звонишь...

— Уже выучила наизусть.

— Идиотка. Для меня рост души важен, а всё остальное....

— Так, лауреат престижной премии, выразите тогда, пожалуйста, чётко ваши мысли и перестаньте оскорблять подругу...

— Да не буду я ничего выражать. Всё равно получится плоско — и меня стошнит.

— А ты попробуй! Подставь себе тазик...

— Да пробовала я. Не получается ни хрена. Пока мысль в слова обернется, так обеднеет, что от неё ничего не остаётся. А если и остаётся, то как я тебе расскажу, что в этой реальности я, например, сейчас разговариваю с тобой, а в другой со мной происходят нечто совершенно иное... И последнее время всё чаще и чаще...

— Это называется раздвоением личности... Короче — шизофренией.

— Вот-вот...

— Да ты не расстраивайся. У меня, кстати, тоже последнее время ощущение какой-то неадекватности.

— М-да?...

— Да. Мне последнее время кажется, что карантин начался из-за меня...

— А это уже интересно...

— Потому что для моей сегодняшней реальности он комфортен: я могу писать, переводить, петь, посвящать время медитациям, книгам, семье. Мне не нужно никуда идти, ни с кем встречаться, тратить время своей души на ненужные разговоры, поиски работы, доказательства своей значимости.... И вот, я сижу дома, брожу по парку, снимаю деревья и балдею от собственной полноты в созданной мною матрице, где людям запрещено выступать с концертами и спектаклями, потому что у меня не хватает на это энергии...

— Чувство вины — не самый лучший стимул для жизни...

— В этой матрице другие не могут путешествовать, потому что у меня не хватает средств на развлечения. Они не могут встречаться, поскольку я, как ты заметила, боюсь влюбиться... Тогда как в другой матрице — параллельной — люди продолжают жить, как прежде. Но я этого не вижу...

— Эй... Поосторожней с такими идеями. Многим этот карантин по-настоящему мешает жить. Не блокируй полстраны своей асоциальностью!

— Издеваешься?

— Да нет. Я отлично знаю, как мысли создают реальность.

— Понятно. Значит, в этом у нас нет разногласий — крышу сносит обеим. Больше никогда не буду звонить тебе в полночь.

— Да звони, когда захочешь. Но главное — не забывай: ты можешь выбирать время так же, как и свою реальность. До встречи.

— Ну всё. Давай теперь меня снимать, пока солнце не ушло, — ты вернула меня в настоящий момент — и между тобой сегодняшней и ночной женщиной на другом конце провода наконец установилась связь, развеявшая горьковатое послевкусие ночного разговора.

— Да тут ещё масса великолепных мест!.. Я только собиралась начать самое интересное... На тропинке, в рамке... Там такие кадры — обалдеть! В рамке — просто программное стихотворение!

— Опять ты себя загнать в рамки хочешь. Нет, чтобы жить, наслаждаться неожиданными дарами осени, как в твоём стихотворении... Короче: дочитывать будешь дома. Звук не вытягивает, если я отхожу. Нужно отдельной дорожкой... Так, давай здесь, а то солнце уйдет. — Ты начала быстро раздеваться. На траву полетели брюки, свитер, бюстгальтер...

— Ты что, а вдруг кто-то увидит?

— Да наплевать. В театрах за кулисами все друг друга голыми видят. Никто ни на кого не обращает внимания...

— Ну, это всё-таки в гримерке, а тут — общественное место... парк...

— Платье подай, пожалуйста...

— Ты что, собираешься позировать босиком и с голой спиной? Не заболеешь? Ноябрь уж на дворе...

— Спокойно. В актерской профессии такие вещи как голод и холод не существуют. Начинаешь работать — всё остальное уходит... — ты улеглась на траву в расслабленной позе.

— Так это уходит, когда ты — с камерой, а когда лежишь на голой земле, позируя...

— Всё, снимай!

Камера с непривычки показалась нелёгкой, но снимать тебя было настоящим удовольствием. Выбранный фон как нельзя лучше подходил к прическе: зелёная трава и жёлтые опавшие листья, разбросанные рукой ветра беспорядочно и артистично, перекликались с цветом твоих волос.

Дерево,
моя мечта о красивой прическе,
все твои мысли
скрыты от посторонних.
И только зимой,
когда выпадают листья седые
и обнажается старость,
Ты беззащитна, как книга:
всякий тебя читает... —

звучали в голове непрочитанные стихи. Но меня уже захватила роль фотографа. Ты с легкостью и естественностью меняла позы, и мне было приятно следить камерой за сменой твоих настрояний.

— Достаточно, — неожиданно остановилась ты, и я мысленно поблагодарила ноябрь, давший мне возможность вернуться к стихам — наверное, ты всё-таки начала замерзать, поскольку тут же принялась за поиски разбросанных на поляне вещей.

— Где же второй носок? — ты растерянно озиралась вокруг, опираясь на ногу с натянутым носком.

— Да ты спину сначала прикрой! Не дай Бог, воспаление легких подхватишь!

— Не подхватчу. Вот он... Помоги мне снять платье.

— Не могу. Оно не снимается.

Где-то недалеко прозвучал свисток полицейского... Сейчас тебя обнаружат — и нас больше сюда не пустят, обреченно подумала я. Платье, как назло, как будто прилипло к телу.

— Может, ты его через ноги надевала?

— Не помню, — честно призналась ты.

Свисток повторился.

— Да снимай же его!!!

— Не могу! Помоги.

— Я боюсь его порвать!

— Его порвать невозможно. Давай!

Я резко потянула за платье. Оно застонало, но выдержало, медленно карабкаясь вверх по нежелающему расстаться с ним телу и оставляя тебя с голой грудью посреди открытой всем взглядам поляны.

— Где мой бюстгальтер? — по-деловому поинтересовалась ты.

— Не знаю, — ответила я, всё явственней представляя полицейского напротив.

— Так поищи!!! Не буду же я это делать в таком виде!

— А я думала, что в театре все так делают, — напомнила я язвительно

Я поискала — и нашла бюстгальтер у себя в кармане. Вот было бы забавно, если бы он выпал у меня из пальто уже дома. Перед моими глазами всплыло лицо мужа. *Ты что, решила поменять сексуальную ориентацию?* — расползался его насмешливый голос.

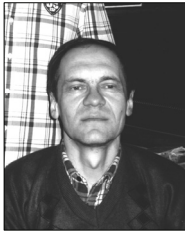
— Держи, — я поспешила отдать тебе невесомый атрибут, занимающий в гардеробе женщины настолько же существенное место, насколько бесполезным он выглядит в мужских глазах. — Я, кажется, не заметила, что заранее его приготовила, пока ты носки искала... Нормальные люди вообще-то сначала грудь прикрывают...

— Не забывай, что мы во Франции, — бодро парировала ты. — В случае чего, я бы прикинулась Марьяной и даже запела Марсельезу. Чем не символ Багатели? Ведь это пустяк — в переводе, бездельушка, как воскликнул двадцатилетний граф д'Артуа, держа пари с Марией Антуанеттой на то, что построит дворец в будущем парке всего за шестьдесят дней!

— Так и у нас: чуть больше шестидесяти минут — и всё завершено, — невесело констатировала я.

Свисток полицейского, объезжающего парк, приближался, настойчиво приглашая к выходу. На какое-то мгновение мне показалось, что на нём нет маски, и я вспомнила наш ночной разговор, закончившийся на мысли, творящей реальность.

Я стала прощаться с тобой и заодно — с надеждой доснять всё, что задумала, осознавая всё явственней, что прожитое важнее результата. И если не получится закончить видео или смонтировать фотографии, останется воспоминание о солнечном подарке ноября, в котором слились воедино проявленные и непроявленные миры, и растворились клише и границы, а также ночные страхи и дневные ограничения, кажущиеся иногда реальными картинками.



А. СПРЕНЦИС

/ Киев /

ПОЛТОРЫ НИРВАНЫ

--

иероглиф моего имени
начертан неизвестно кем

Иероглиф моего имени
ничего не означает

Иероглиф моего имени
после начертания
тотчас же исчезает

--

хотел начать что-то делать, но...

блаженство лени овладело мной

веки тяжелеют
клонит ко сну...

райские сны, где вы?

--

утром — как правило — лают собаки
(этапом ниже)

а теперь зима и они поутихли
(поджали хвосты)

за стеной уже не слышны крики страсти и вожделенья —
а прочих девиц и вожделенья:

сосед любит баб, но теперь как-то сник
(видно возраст не тот или надоело)

он хороший мужик и любит травить анекдоты...
в общем все вот как-то...

серый снег...
стук лопат...
серо-белый рассвет

--

Бог восседает на троне во всей славе
и великолепии —
— да святится имя Его!

а я, ничто же сумняшеся,
сiju на завалинке и потягиваю трубочку...
.....

а может это я во всей красе и славе
восседаю на троне и покуриваю трубочку
а Всевышний сидит на завалинке
и тихо завидует мне,
ничто же сумняшеся?

--

мне теперь и остается что
сумерки,
пыль на дороге.
промозглый ветер...

Подражание Догэну

что останется после меня?

ничего

почти ничего

или почти

или...

...

— —

латаем

чиним

паяем

штопаем

зализываем раны

— —

жизнь — копейка

или две

или три

на пятак — и не рассчитываю!..

— —

«... Отца, Сына и Святого Духа...»

я тоже сын,

правда Большой Медведицы...

— —

а вот новости:

Клязьму слямзили,

и не вернули

сбились с ног МЧС

и другие ЭС

Гога и Магога

нашли Ван Гога

на биржах — танцы

в тридевятом царстве

в тридевятом государствемышь повесилась

--

... я начал писать *Сутру о своей ничтожности*,
но затем бросил, так как эта тема требует
кисти Рёкана или ещё кого-нибудь из древних...
Как жаль, что я не могу написать эту сутру!..

--

... или успеть стать буддой...

--

оплаканное

и

оплачаченное...

старый пруд

старая лягушка сидит

не шелохнувшись

я наслюнявил палец

и стер серую ленту заката

и сразу стало светлее!

птицы вострепнулись —

они не ожидали от меня такой прыти!

Подражание древним

хоть у меня и нет седины на висках,

но годы все же берут свое...

они проносятся мимо меня подобно испуганным птицам...

...на сердце печаль...

что должен был сделать — не сделать

что должен бы постигнуть — не постиг

сознание так и не очистил до блеска
все путался в мирских делах
и мне уже не стать совершенномудрым
я как старое дерево — мало веток и нет плодов
бесполезной птицей
сiju на ветке Времени...

--

... стаканчик для кофе легкий как воздух,
с неясным рисунком...
пальцы расжал — и ветер унес...
...где теперь мой случайный друг?

мне бы в шашечки играть в городском саду
и цокать во след уходящим дамам!..

а я вместо этого
брожу по улицам
в поисках слова,
могущего выразить невыразимое...

--

кладбищенские цветы и кусты прекрасны,
несмотря ни на что!..

--

птицы Целана
не унесут меня на своих крыльях...

я очарован цветением сакуры!..

потустороннее...
прекрасно ли оно
также как эта цветущая вишня?

...или уныло и серо
как этот осенний пейзаж?..

<2021>

Елена ЧУЙКОВА

/ Киев /



БОГОРОДИЦА С КОГЛЯМИ

— Алло, Женя? Привет!

— Да, — отвечаю я и слышу громкий, жизнеутверждающий голос своей приятельницы Лиды.

— Послушай... — говорит она, никогда не спрашивая, как дела, или как ты, а сразу начинает рассказывать про свое. Своё — это то, что она недавно узнала, вычитала или вспомнила. Я не успеваю вставить слово и покорно слушаю.

— Я тут интересную вещь прочитала. Ты же знаешь, что Врубель расписывал Владимирский собор, но ему дали совсем маленький подряд?

— Нет, не знаю, — говорю я, хотя отвечать вовсе не обязательно. Надо слушать.

— Так вот, в результате Врубель расписал только орнаменты на арке при входе и правый неф. Я не очень-то помню, какая там арка, а тем более правый неф. Надо бы сходить посмотреть, память обновить...

С Лидкой я знакома много лет. Даже не буду называть сколько, чтобы не выдавать наш возраст. Тенденции к интеллектуальным поискам стали проявляться у нее давно. Подтолкнули журналистское образование, жизнь в одиночестве, а последние годы — масса свободного времени.

В молодости Лидка была убежденным сторонником раздельного питания, которое сопровождалось трехдневными голоданиями и очистительными клизмами. Эту тему она подхватила во время перестройки с появлением тонких, как казалось, актуальных книжонок. Лидка пропиталась этими идеями, как экспонат кунсткамеры формалином. В дополнение к очищению организма в ней сидел убежденный материалист и преданный адепт ношения дубленок. Несмотря на мягкие зимы и явный тренд в этом направлении, Лидка продолжала носить теплые дубленки, раз в пятнадцать лет прибав-

ляя к старой новую, более длинную и тяжелую. Где только она их находила в эру пуховиков и стеганых пальто?

Очень быстро раздельное питание перевесили плотные калорийные обеды, обязательно состоящие из трех блюд. Клизмы тоже ушли. Кстати, насчет клизм я точно не знаю. Теперь эту тему мы как-то уже не обсуждаем... А убеждение по поводу калорийности было связано с худобой в молодости, хотя, по-моему, Лидка в то время являла собой образец стройности и пропорциональности. Ей, однако, казалось, что слово «худой» сродни синонимам «негодный», «дурной», «плохой», «скверный», и она очень хотела избавиться от своей худобы, то есть поправиться.

— У женщины должны быть бедра, попа, грудь, — уверенно говорила она и стала усиленно питаться, чтобы соответствовать своим идеалам красоты.

Это подействовало. Очень скоро появились не только бедра, грудь и попа, но выросли колбасы на талии, второй подбородок и подушка-живот. Лидка выставляла вперед левую ногу, опиралась правой рукой о крутой мясистый бок и говорила:

— Ну вот, теперь я хоть на человека похожа!

Ну что поделаешь, если женщина в этом убеждена? На мой взгляд, она стала похожа на толстую тетку на десять-пятнадцать лет старше своего возраста. Но Лидку никогда ни в чем нельзя было переубедить. У нее на все и про все существовало собственное мнение, и не дай Бог спорить. Проиграешь.

Годы шли, а нажитый усиленной заботой о собственном теле лишний вес уже никуда не девался. Привычка есть регулярно и много продолжала делать свое дело, а трехдневные голодания после своего окончания только больше подстегивали к поеданию разной снеди, что увеличивало телеса...

— Алё, ты меня слушаешь? Что-то ты пропала.

— Я тебя слышу, говори, — вернулась я к разговору.

— А потом как раз во время росписи Владимирского собора у Врубеля стали проявляться первые симптомы душевного расстройства. Ты же знаешь, что он лечился в Кирилловской больнице.

— Павловской, — быстро вставила я.

— Ну Павловской ее называли в советское время, а тогда она называлась Кирилловская, как церковь, — Лидка строго хмыкнула, делая паузу, и продолжала: — Так вот, все его коллеги и друзья киевского периода об этом не упоминали. И как потом выяснилось, правильно делали. Потому что Врубелю надолго стало легче. А хотела я тебе рассказать следующее. Оказывается, в приступе душевного расстройства он за ночь написал в крестильной Владимирского собора фреску, на которой изобразил предмет своей безответной любви Эмилию Прахову в виде Богородицы с когтями и с изуродованным лицом.

— Где ты это все вычитала? — скептически спрашиваю я.

— На Фейсбуке, — многозначительно отвечает Лидка. — А потом еще эту тему погуглила. Представляешь, что было на следующее утро, когда на стене будущего главного храма увидели жену Прахова с кошачьими когтями?

— Так если у нее лицо было изуродовано, как её узнали? Не по когтям же, — с иронией говорю я.

— Ну этого я не знаю, — совершенно серьезно отвечает Лидка, не обращая внимания на мой тон. — Значит, были какие-то детали, которые указывали на нее, — ее голос перешел на меццо-сопрано. Это означает, что я задала неудобный вопрос. — Короче, предлагаю сходить во Владимирский собор и Кирилловскую церковь посмотреть на Врубелевский алтарь. И на Лукьяновское кладбище.

— А на кладбище зачем?

— Там Эмилия Прахова похоронена. Могилу найдем. Это же интересно.

Да, хождение по старым кладбищам — занятие невеселое, но, пожалуй, любопытное. Но на дворе декабрь. Погодка еще та: серо, мрачно, сыро, короче, мерзопакостно. На кладбище как-то не тянет.

— Так может, ты и могилу ее погуглишь. Наверняка фото есть, — подсказываю я.

— Это мысль, — Лидка бросает трубку.

Я вздыхаю с облегчением. Но она перезванивает буквально через пять минут.

— Погуглила. Действительно, нашла фото ее могилы вместе с дочерью Еленой. Ничего примечательного. Будто вчера похоронили, то есть все очень современно и скромно. Надгробие с цветником и маленькая плита с надписью.

— Может, старый памятник не сохранился, — предположила я.

— Возможно. На кладбищах тоже погромы были. Вот, например, ты знаешь, когда...

Для меня это слишком много информации. Я перестаю слушать.

— Алё, ты где? Ты меня слушаешь?

— Ну конечно, — ласково вру я.

— Ну так что, идем?

— Хорошо, идем.

— Ты только не опаздывай, потому что на улице холодно.

— Так давай на платформе встретимся.

— Нет, там тоже сквозит.

Вот капризная, ну что ты с ней сделаешь?

— У тебя же дубленка теплая, — ехидничаю я, но Лидка уже отбилась.

На следующий день мы встречаемся на станции метро «Университет». Переходим на другую сторону улицы, проходим один квартал и оказываемся возле Владимирского собора. Тут мы надеваем на го-

лову платки, широко крестимся — вот что делает с убежденными материалистами очередное новое время, и заходим в храм.

И где он, этот правый неф? Мы аккуратнo пробираемся сквозь ряды верующих, берем правее и подбираемся к крестильне, где Врубель якобы написал скандальную фреску.

— Так вот, я тебе не дорассказала по телефону... — шепчет мне на ухо, прикрывая рот ладонью, Лидка. — Когда на следующий день утром пришли мастеровые и увидели то, что написал Врубель, то просто ошолбенели и быстренько, чтобы чего не вышло, закрасили этот шедевр.

— Ты слово шедевр в кавычках употребила?

— Да нет же. Я уверена, что это был шедевр.

— А «чтобы чего не вышло»?

— Ты что, прикидываешься или издеваешься?

— И то и другое, — хихикаю я.

Мне нравится наблюдать за Лидкиной реакцией. Она останавливается, поджимает губы, ставит руки на свои широкие бока и хмыкает.

— А Третьяков, между прочим, специально приезжал в Киев, чтобы посмотреть и купить эту Богородицу. Но не продали ни за какие деньги.

— Так что купить? Ее же на следующий день записали.

— Ну не знаю. Говорю то, что прочитала... А уже после этого, поверх работы Врубеля, Нестеров написал свое Богоявление. Вон оно, смотри.

Серый свет из окна падает на церковные стены, освещая своеобразный мягкий колорит росписи, фигуры со склоненными головами, которые замерли в священном действе. Я вижу простой ритм рук, тонкие текущие стволы деревьев...

— Тут кроме Васнецова, Нестерова и Врубеля потрудились еще Мурашко, Пимоненко, и этот, как его... Котарбинский. Котарбинский, кстати, тогда в Киеве жил, — продолжает шептать Лидка и тут же бьет меня локтем в бок: — А вон, видишь, ангел с голубыми крыльями, ну точно, врубелевский. Посмотри на глаза — большие, темные, глубокие...

Мы постепенно пробираемся к выходу, чтобы ехать дальше в Кирилловскую церковь. Это вторая часть нашей программы. Снова ныряем в метро, потом ловим суетливую маршрутку, которая выплевывает нас под холмом, на вершину которого нам предстоит взобраться.

Мы тащимся в гору по бесконечной, как мне кажется, кривой лестнице к Кирилловской церкви. Я прогибаю все на свете.

— Что тебе не нравится? — говорит Лидка голосом учительницы младших классов, медленно преодолевая ступени. — Вот сидела бы сейчас дома и ничего не делала. А так гуляешь, воздухом дышишь, да еще и полезную информацию получаешь.

Наконец мы выходим наверх к Кирилловской церкви. Напротив — старый скорбный двухэтажный корпус номер восемь. Решетки на окнах, хоть и современные, делают его еще мрачнее в это время года. Голые черные деревья с одинокими листьями. Как здесь сейчас уныло! Я живо представляю себе несчастного Врубеля, его долгие безрадостные дни в этой больнице, где незадолго до этого тут же рядом он работал над росписью Кирилловской церкви. Еще одна ирония судьбы.

Отдышавшись, Лидка продолжает рассказывать. Для усиления эффекта или большего внимания к своей особе она время от времени останавливается и помогает себя руками. Глаза выходят из отечных мешков, голос громкий, с верхними нотами. Естественно, я тоже останавливаюсь, стою и слушаю.

— Между прочим, древнейшая церковь. Первые упоминания о ней есть в летописи XII века. Эта церковь стала семейной усыпальницей черниговских князей Ольговичей. Знаешь, кто здесь был похоронен? Киевский князь Святослав Всеволодович. Помнишь «Слово о полку Игореве»? Это о нем. Ну понятно, что с тех пор ее перестраивали, но древнерусские фрески до сих пор сохранились.

Ну и память у Лидки! Я если бы прочитала, так уже половину забыла. Ей бы экскурсоводом работать. Но зачем надо останавливаться? На улице холодно, ветрено, сыро.

— А почему мы не можем идти дальше? Почему мы должны стоять?

— Да сейчас пойдем, — раздражается Лидка. — Ты лучше послушай, что я накопала. Здесь же еще колокольня была, которую после революции разрушили. На холмах пещеры находились с захоронениями монахов, как в Киево-Печерской лавре. А больница для душевнобольных в XVIII веке появилась...

Наконец мы заходим в Кирилловскую церковь. Полумрак, пустота, ощущение одиночества и отрешенности от всего мира. Слабые лучики вялого декабрьского дня протискиваются в окна купола. На подсвечнике догорает парочка свечей, напоминая о том, что перед нами тут все-таки кто-то был.

Мы приближаемся к алтарю. А вот тут уже полностью властвовал Врубель. Эти четыре иконы завораживают. Особенно Божья мать с младенцем. Угадываются черты Эмилии Праховой, его музы, вдохновительницы, объекта обожания. Я молча рассматриваю икону Богородицы. Хотя для меня она больше картина, чем икона.

— Ты обратила внимание, какие на картинах Врубеля у всех глаза?

— Ну да, большие.

— Угу. Увеличенные в размере. Чтобы более выразительными были. Глазунов тоже такие глаза писал. У Врубеля подсмотрел.

— По-моему, это традиции церковной живописи.

Лидка недовольно хмыкнула. Я чувствую, что зря вставила про традиции церковной живописи.

— Вообще, если посмотреть на нее с точки зрения сегодняшнего дня, то она довольно стильная Богородица. Смотри, глаза черные, широко посаженные, лайнером подведенные, губы пухлые, будто гиалуроновой кислотой подкачены, щечки модные, впалые, скулы подчеркивают и овал лица уменьшают. Я бы сказала, что этой иконе надо молиться за красоту, за осветление без выжженных волос, за успешные пластические операции... Вот женщины в эту церковь бы повалили...

— Что ты несешь, Лидка? Ты хоть слышишь себя?

— А что в этом такого? — на круглом Лидкином лице появляется деланная улыбка. — Прошлое соприкасается с настоящим... Ладно, поехали домой. Мне обедать пора.

Я возвращаюсь домой. Лидкины рассказы и поход по историческим местам заставляют меня тоже порыться в интернете. Нахожу воспоминания сына Прахова Николая: «На новом холсте он (Врубель) написал свою «Оранту». Первоначально у нее были ощеренные зубы, и пальцы поднятых ладоней скрючены, как когти. Васнецов посмотрел и ничего не сказал, а мой отец только спросил:

— Почему у нее так ощерены зубы, точно хочет кусаться, и концы пальцев обеих рук так странно согнуты, точно хочет царапаться, как кошка?

— А это же «нерушимая стена» — это она защищается, защищается! — торопливо объяснил Михаил Александрович и даже подпрыгнул несколько раз на месте, показывая руками, как богоматерь «защищается», точно стараясь когтями отбиться от нападающих на нее врагов. Позже Михаил Александрович переделал рот и выпрямил пальцы, но это уже была не та Богородица, которая так поразила и пленила Васнецова своей оригинальностью и красотой».

Странно. А здесь речь идет о холсте, а не о фреске. Запутанная, однако, эта история.

Любовь АРТЮГИНА

/ Мендиг /



НОВОСЕЛЬЕ У ЕГОРОВА

1

Облака, облака, шляпы рваные,
Вы куда, и с какой стороны
Подворотни кишат бандюганами
И шпаной в «петушках» шерстяных?

Где выходят с полотнами красными
Окрылённых рабочих ряды,
Чтоб далёкое жгло и прекрасное
Их тугие худые зады,
И сирен милицейских сияние
Освещало их северный быт.

С пустырями, подвалами пьяными
Как же, Господи, это болит!

Полинялое и бесполезное
В чёрных ящиках зимних ночей
С их людской необъятною бездною
И рычанием тягачей.

2

Стихи растут из боли, как всегда,
Её капризам явно потакая.
И снова у дверного косяка
Огромная зима без дна и края.

Мы ждали счастья: вот оно — держи,
Немного не такое, как хотелось,

Когда нас уносили этажи,
Соединив безумие и смелость.

Была метель — ты помнишь тот балкон
И дымчатые дали поднебесья?
Егоров, засучив рукав пальто,
Зажёг баллон с химической смесью,

Чтоб кур палить — домашний фейерверк.
А это мы в свечении зелёном,
Как цепь нейронов в чьей-то голове,
Отравленной вином и ацетоном.

Не жили, не любили, не цвели.
Развевались, как будто не родившись,
Когда страна, поднявшись от земли,
Нас бросила в огонь четверостиший,

Не слушая про «доремифасоль»,
Не веруя в арпеджио и гаммы.
И — ничего. Растерянность и боль.
И снег в лицо — наверное, тот самый.

3

На бульваре Новаторов холодно.
Круглосуточный ветер и снег.
Это наша зима, это окна
С одеялами на тесьме,

К стеклу примерзающий палец.
И кастрюля с горячей водой.
Тише, мыши, курите в подвале,
Прикрывайте огонь золотой.

Это наша зима и подглазья.
И так ласково, хорошо
От мышинного детского счастья,
Не подстриженного «под горшок».

Оттого, что ни много ни мало,
И сквозь времени вещество,
Приподняв на окне одеяло,
Не увидим за ним ничего.

ТРИ ВЕЧЕРА С БОРИСОМ РЫЖИМ

1

...Три составляющих жизни:
смерть, поэзия и звезда.

Б. Рыжий

Всё здесь, ни грамма за душой,
где свет вращается большой,
и распеваются скворешни.
Благослови меня, мой вешний,
их музыкой переболеть.
Жить хочется, пока есть смерть,
и вслушаться — когда нет звука ...
Зажгись, высокая разлука,
пока любовь, как ночь, чиста,
и бесконечная листва
не разлетается из круга.

2

Мой герой ускользает во тьму...

Б. Рыжий

Пойдёшь, разбуди меня в восемь.
Пусть будет простая среда,
и в сад опускается осень,
и спит за листвою звезда.

Туман перевяжет запястья
склонённой ветле молодой,
и выпадет первое счастье,
и будет покой — как покой...

Во мгле что-то давнее дремлет,
когда тишину серебрит
и вдаль простирается время,
в темнеющие пустыри.

3

Я зеркало протру рукой
и за спиной увижу осень...

Б. Рыжий

Сквозь мягкое свечение листа,
что кружится и кружится до боли,
я узнаю твой почерк, высота,
мелькающий в туманном ореоле.

Кто умер или кто остался жив?
Но снова помешает предрассудок
шептать об этом строчками вразрыв
и повисать на собственных сосудах.

Неслышимый, невидимый сюжет —
по-своему здесь каждый растворится.
Но тишина играет неуже-
ли всякий раз на сомкнутых ресницах?

Но — листопад.
Уходит человек,
в себя шагнув с зеркального порога,
и с чистого листа на белый снег
всегда ведут кого-нибудь другого.

2020

Григорий ВАХЛИС

/ Иерусалим /



ШУ-У... ШУ...

Застрелился офицер, накокаиненный и пьяный. Человек недалекий, неумный. В небольшой наемной квартире, после двухдневного кутежа. Кажется, он обладал нередким талантом упускать все возможности сделать свою жизнь хоть сколько-нибудь сносной. К тому же еще и писал стихи. Такие типы даже в мирное время умирают рано, словно сумев наконец не прозевать удобного случая избежать дальнейших неприятностей. И верно! Через несколько месяцев началась эпоха, в которую мало кому удалось их избежать. Скорее всего, доживи умерший до этих времен, причина его ухода из жизни показалась бы ему смехотворной.

Лично мне удалось, преодолев многие препятствия, продлить свою жизнь на внушительный срок, и я ушел из нее вполне достойно. Как-то раз, волею удивительного случая, установив контакт с неким медиумом (что произошло со мною в впервые и совершенно случайно), я по неопытности зачем-то надиктовал ему запомнившиеся некогда строки моего покойного приятеля, начертанные весьма неаккуратно на обороте фотографического портрета молодой дамы в шляпке с вуалью. Об их поэтических достоинствах судите сами:

Помню пасмурный день, вашей свадьбы была годовщина,
Помню, гости съезжались, и снег отливала серебром.
А на мраморной лестнице незнакомый высокий мужчина
Проводил меня взглядом, приподняв со значением бровь.

Вы сошли по ступеням и взглянули смущенно как прежде,
Одарили сиянием ваших медленно-ласковых глаз.
Улыбаясь спросили с какой-то неясной надеждой:
Отчего же скажите, вы бывать перестали у нас?

Но когда по паркету устали планировать пары
И дремал у рояля издерганный бледный тапер,

Вы ко мне обернулись — на миг показалось
Будто кто-то над бездною белые руки простер.

Полусон-полубред... Это ром пополам с кокаином.
Лезут медные осы в холодный стальной барабан.
Средь бокалов пустых догорает свеча стеариновая,
Да ползет над Невою безнадежный тяжелый туман.

Модное подражание поэтическому кумиру тех дней — Блоку. И все же не лишенное достоинств. Я, недостаточно искушенный в искусствах, могу лишь подтвердить точность воспроизведения того неопределенного, что принято называть «атмосферой». Хотя многие, на мой взгляд, существенные детали упущены.

А на портрете стоит дата исключаящая молодость изображенной на нем. Можно предположить, что это мать, а не возлюбленная покойного. Возможно, собираясь уйти из жизни он испытал желание «взглянуть в лицо самого близкого человека». Но в последний момент поддался неотвратимому у подобных типов позыву немедленно запечатлеть для будущих поколений пришедшее вдруг на ум, — и не нашел ничего более подходящего, чем мрамористая изнанка драгоценного фото.

Однако интересно — и весьма! Мой визави, медиум встрепанный и молодой, чем-то похожий на того, что застрелился чуть не четвертью века ранее, был бы весьма удивлен, если бы мог узнать, что подлинный автор стихов — вовсе не он сам! Кроме того, этот недотепа (тоже офицер!) так и не удосужился записать их. Тем более и вообразить себе не мог картины событий: лежа на растерзанной кровати, (и одеяло и подушка валялись уже на полу), запрокинув голову, закрыв глаза, он лишь неразборчиво бормотал то, что я с таким трудом старался передать... Живущему во плоти никогда не представить себе, что за адский труд не обладая телом, не имея ни малейшего представления о том, где находишься, осуществлять планомерную и кропотливую работу. Куда эффективней было бы заняв место этого неврастеника, присев к столу придавать неясным всплескам, эфемерным настроениям, эмоциональным разрядам ритм, размер, деловито и неспешно искать рифму и в кропотливой работе постепенно, шаг за шагом, приближаться к сути.

В нашем же случае все происходило с точностью до наоборот: человек способный разложить перед собой листы бумаги, остро отточенные карандаши, пачку хороших папирос, спокойно и вдумчиво оттачивать мысль, вместо этого одурманил себя алкоголем до состояния безумия и в конце концов расплескал этот инструмент познания по нечистой стене. А я, способный воспринимать легчайшие содрогания эфира, не имея ни рук, ни ног, ни чего-либо подобного, вынужден был, если можно так выразить-

ся, «скрипеть пером воображаемым», да еще и проецировать написанное в так называемый «мозг человека» другой эпохи, воспитания и взглядов.

Уже наутро, часов этак в шесть, когда это ничтожество подшивало подворотничок к кительку со скромным ромбиком, раздался звонок. Иголлка повисла на белой нитке... Впрочем, он выжил (что характерно для журналистов — поэты куда менее живучи). Даже сделал небольшую карьерку. Начинал в «Актюбинской правде», потом перебрался в Москву.

Но куда большее разочарование постигло меня потом! Новому избраннику (хотя ему и казалось, что это он воззвал ко мне!) понадобилось вдруг записать открывшуюся ему некую его собственную литературную поделку. Концентрация этого писаки, впрочем, вполне профессионального члена СП, сменила направленность, наше общение прервалось, и он так и не узнал то, куда важнейшее и абсолютное по точности передачи, что я хотел сообщить ему. Можно было бы предположить, что если...

Предположить, впрочем, можно, все что угодно. В беспорядке событий и поступков, свойственном тому мрачнейшему из времён, могло произойти все, что угодно. Достаточно сказать, что через каких-нибудь три часа автора неопрятных элегий вытащили из постели в одном белье и сбросили с лестницы. Вскороности он умер от разрыва селезенки на полу подвала, разглядывая кристаллы инея на обшарпанной стене. Над могилой его вместо памятника был установлен лишь столбик, вернее, едва отесанный кол с выведенным на нём химическим карандашом четырехзначным номером.

Невезение? Случайность? Но там, где я нахожусь теперь, существует лишь закономерная неизбежность. Нечто связывает всех способных слышать нас, здешних... Но, боюсь, не смогу этого объяснить — даже себе...

Не исключено, что судьба моего давнего знакомого как-то влияет на мое собственное посмертное существование и без того достаточно зыбкое, и я теперь не могу обойтись без столь неблагоприятного сколь и необходимого общения с давно утраченным мною миром вечного страдания, где обитают так называемые «живые». Не осознавая ни в малейшей мере того, чем я ныне являюсь, все же могу заявить: уж никак не графоман — пусть и не обладаю литературным дарованием — так ведь не я же пишу!

Не так давно я предпринял новую попытку общения с этими, как их там нынче зовут...

Снова неудача! Этот самый «сенситив» мог бы совершенно бесплатно получить уникальные (и абсолютно достоверные) сведения о моей встрече с убиенным большевиками, Верховным Пра-

вителем России — что сделало бы вполне достойного деятеля нынешнего Белого движения человеком известным и даже небедным. Ибо в настоящее время мало кто из писателей получает вознаграждение за свой труд. Наоборот — многие из них издают свои опысы за свой собственный счет. И обходятся они недешево.

«Я поражаюсь, до чего все испоганились. Что можно создать при таких условиях, если кругом либо воры, либо трусы, либо невежи», — как пророчески заметил в тот вечер адмирал...

И все же симпатичны мне медиумы — есть в них что-то... Даже если принадлежат к слабому полу, малоспособному к потребными для настоящей работы самоуглублению и тайнослышанию. Впрочем, их недюжинный иногда талант не может достичь подлинных высот в силу перманентного увлечения «перманентом» (низкопробный каламбурчик) — я ведь хотел сказать вопросами имиджа: завивкой волос, пудрой да помадой, макияжем и другими дамскими пустячками. Самая способная из тех, что мне попадались, невротически озабочена размещением своих портретиков в так называемой «сети».

Увы! Она более меня не слышит, рационализовав уникальное и, как ей думается, невозможное состояние до обычного «литературного вдохновения» продолжает кропать свое... А я, хотя и вижу ее красивую руку, по кнопочкам щелкающую, и строки различаю, но где они — неведомо. Ибо возможности видеть обычным способом я лишен. Вот, приблизительно, что она пишет:

«Дигбар и молодая Элиана продолжали восхождение к Гардагарду. Их тельстоны больше не согревали озябшие плечи. Сквозь туман едва различимые, показались зубцы крепости. Откуда-то снизу долетали хриплые крики мёрков».

После чего подымает безнадежно прекрасные раздирающие (чуть не сказал мое сердце, которого нет) глаза, и смотрит в никуда, а точнее, в ажурную тень азалии на серой стене, где вполне мог бы находиться я.

Забавно... Хриплые крики ведь и вправду доносятся со двора, и я отлично слышу их:

— Сс-ка! Ии ссюда! — гудит в кирпичном колодце, и через некоторое время: — Козел!

А этот, старый идиот, что записывает за мною сейчас? До чего похож на первейшие устройства Эдисона, — дрожаньем неверной руки! Или на египетского писца — пергаментной желтизной морщинистой кожи и глазами, уставленными в пустоту, откуда слышится ему голос — мой!

Карл КРОЛОВ

/ 1915–1999 /

Перевод с немецкого
Леонида Бердичевского



ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

«Ночь пожелала быть чёрной и белой»
Ж. де Нерваль

Оставь! Ночь пожелала быть
чёрной и белой.
Чёрной, как пробка,
прокопченная на огне?
Белой, как смерть
Виржинии во Франции
от ангела,
летающего по её тропам.

Чёрная и белая ночь, спотыкаясь,
шагают под уличными фонарями.
Губы их окрашены сажей
из прихожей.
Губы опухли от снега, —
они нежны
от встречного ветра,
рты заполнены нелепыми
чужими словами.

Оставь!
Ночь, как школьный мелок,
как детский укус.
Ночь, как фитилёк свечи,
и шутливый шёпот:
чёрное, белое.
На твоём лице
спрессовался круг из стекла

в крохотную,
дождевую слезу,
словно картина,
когда женскую грудь
ласкает мужчина,
и она несмело
просит оставить её.

Оставь!
Ночь стремится
к совершенству при ветре,
треплющем шевелюру.
Желает стать гигиенически белой,
но только с подсветкой
чёрной и белой тени....
И я с ней:
исключив воспоминания.
Последняя ночь.
Отсутствие ожидания!

В ЗАЗЕРКАЛЬЕ

На золотом кругу
кружится зазеркалье.
Там город из стекла,
застывшие дома,
автомобили движутся
пред тихою стеною,
и транспорт городской
зеркально отражён.
Там воздух замер,
розовым фламинго,
и тишины оскал,
как онемевший зверь.

В глазах твоих пруд ожил, —
терзает всадников его покой.
Твой рот открыт, —
в нём хохот расплескался,
и мир растерянно живёт.
Но твой мертвящий профиль
направлен к облакам.
Фламинго пожелал пожить, —
и он в руках твоих трепещет,
и я кричу, открыв до боли, рот.

МИФОЛОГИЯ СТЕНЫ

Мифология стены.
Отбросим восьмилетие,
или руки тех, чёрных минут.

Вы проходите мимо,
приветствуя свои мысли...
Наши женщины несут
обожжённые кирпичи.

Нам снится стена, —
она старше нас.
В мертвяще холодной
извести носилки и кожа.

Вы проходите мимо,
оглядываясь на неё
по сторонам, и назад.
Стена под луной,
как пёс в виде татуировки.

С УТРА

Утро начинается с молитвы...
Голубая рыба пред глазами.
Тени рук
проскальзывают к бёдрам
плотным, исчезающим пятном.
Тишина сидит,
как сизый голубь,
не решивший ворковать под утро.
Женщины
раскинулись в кроватях,
в одиночестве всю ночь лежат,
словно погорельцы
в гари спичек,
неподвижны, как большие куклы.
За окном парит
прозрачный воздух.
Руки, как свободные две плети.
Улицы призывали их
к движению,
на физическое применение.

ВОСПОМИНАНИЕ

Вспоминается фигура женщины.
Он влюблён в неё вечно, безвольно,
даже в бескровную, морщинистую,
бесконечно думая о ней,
вне времени и событий,
как о неувядающем цветке,
о не потускневших камнях.

Вспоминается фигура женщины.
Он декламирует, словно стихи:
её шею, груди, голубизну глаз, —
всё скользящее очертание, —
этот пористый материал.
Её любовь освещается
лунным светом,
ласкающим тьму.
Свидание с ней,
стремительно,
как взгляд мгновенья,
как женская рука,
отдыхающая
на мужском плече...

ЯВЛЕНИЕ

Смертельная бледность лица
серебрится монетой в реке,
сверкающей вдали.
Он восходит, словно со стула,
ощущая запах воздуха
сомкнутыми губами,
беззвучно паря над улицами.

Он ловит своей спиной
в раскалённой мантии, взгляды.
Голова его в терновом венце,
словно в обычном тюльпане, —
всё-таки, цветок без листьев.
Его путь лежит к чёрной птице,
сквозь непроглядную темень...
Он замечен людской толпой
безымянным, падающим,
много позднее своей смерти.

НА БУЛЬВАРЕ

Запах платанов
окутал диванные скамьи.
Они здесь для отдыха,
чтоб посидеть на природе,
как дома, на стульях.
Вдали от дорожной пыли,
рассматривая
белые стволы платанов.

Дыхание утра
здесь, на бульваре,
замедляя время,
плывёт по воздуху,
по шляпам и взглядам пар.
Гардины насторожены
молчанием фортепиано, —
музыка здесь неуместна.

Полуденный зной.
Небесная голубизна
пляшет на асфальте.

ВРЕМЯ ПОЛУДНЯ

Свет не зря падает
Перпендикулярно.
Кто закрывает глаза
в полдень? Цветы
висят со сломанными
затылками
на тихом ветру.

Звуки камнепада, как свист
при открывании
пивных бутылок,
или собачьего воя
в стоге сена.
Шебуршат мыши,
как женские ляжки.

Тени широкоруко
постоянно расплываются,
словно звуки,
реагирующие на всё.



Ильма РАКУЗА

/ Цюрих /

Перевод с нем. Владиславы Агафоновой

КАТИЦА¹

Катица играла на скрипке, играла по-цыгански — дитя Венгрии. Выросла в степи, где земля как тарелка, а над ним неохватное небо. Такую — ширь можно вынести, только если петь ей. Но и тогда это трудно. Дома распластываются, стада сплавляются с зонтом, человек точка в ландшафте. Точка, не больше. Что из тебя выйдет. Ты поешь в ветер, все развеется. Ты поешь ветру, зачем. Поешь, чтобы почувствовать, что ты есть и что дороги так широки. Так ты создаешь себе окружение. Есть песня о грустном воскресенье и о путешествии в Дебрецен, за индюком, песня о голубых глазах и о прощании, которое отражается в реке. Катица знала их все, пела их сама или вместе со скрипкой. Иногда ей верилось, что ее слушают звезды.

В городе потерянность была другой. Люди как муравьи, все друг на друга похожи и спешат. Кого волнует, что ты ищешь и что делаешь. Небо-то уж точно нет, отодвинулось.

Два съемных квадратных метра, темно и холодно. Но зато уроки скрипки у профессора, чтобы пальчики стали проворнее. Катица уехала из деревни, учиться. «Моя музыка, знаешь... Мне хотелось воспарить».

Решение, созревшее в звездные ночи, когда головой бьешься о небесный свод. Но потом. Втяни ее. Ты маленькая, меньше малого.

Хвалили скудно, это она заметила скоро, хотя упражнялась, упражнялась, стирая пальцы в кровь. Что сказала бы Мамика, она с такой неохотой отпустила ее. Из степи в джунгли города. «И сердце сплетает венок, а танец все так же далек...». Сухое отрезвление.

Когда становилось невмоготу, Катица выходила на улицу и играла. Старые песни. Проходим нравилось.

¹ Рассказ взят из книги «Одиночество с раскатистым "р"». Издательство «Алетейя» (СПб.), 2021 г.

Так она познакомилась с Дорой. Дора тоже пела и играла на скрипке. Вскоре они стали играть вместе. Не только народные песни, но и пьесы Бартока, это радовало. Дома репетиция, на улице — концерт. «Наш маленький успех». И: «Мы себе нравились». Чтобы не плакать по изгибу неба, Катица следила из-под аркады за косыми струями дождя. «А потом мы сбежали и приходили ко мне, с мокрой головой. Так это было».

Бывают ностальгии собственные и общие. Катица и Дора мирно тянули одну лямку, и стало лучше. Играя в дуэте, они делали успехи. Профессор отметил это похвалой. И вдруг закопченные дома за Восточным вокзалом стали дружелюбнее, и сносить ругань рыночных торговков стало легче.

Венгерский марш, Жалоба, Шутка, Бурлеск, Прощальная песня к невесте, Танец комаров, Менуэт, Прелюдия и Канон, Колыбельная, Скерцо, Рондо. Сорок четыре дуэта, им было, чем заняться. Пока у Доры не заболела левая рука и ей не пришлось взять тайм-аут. Катица читала ей Ади, потому что она хотела Ади и никого другого. «Завтра, здесь буду я точно снова,/ Резким утренним воздухом холод пронзает меня,/ Тускл Будапешт, я бегу наобум,/ Деньги собрать к наступающей ночи./ Завтра, здесь буду я точно снова». Доре нравились стучащие ритмы. И Катица вспоминала другие строфы: «Тихо. Только व्यюны да кусты, / Мерзко сорняки душат меня, / Сверху веет смеющийся ветер/ Над пустынной пустыней».

Это было невесело. А что веселого на земле венгров. Дора мечтала уехать, хотя бы на время. Катица не могла себе представить, как бросить «венгерскую пустошь» в беде. Но вышло иначе.

Она сдала экзамен, более чем прилично. Дорога к диплому была открыта. Дора настаивала: а теперь — перерыв. Заскрипачим их там на Западе до одурения.

А деньги? Да, деньги.

Доре присылали что-то из дома («пришлют еще»), Катица думала о Мамике и качала головой.

То есть нет? То есть...

Кого-то придется бросить. Мамику или Дору, Дору или Мамику. Катица улизнула от выбора, заболела. В бреду она опаздывала на поезд, бегала по пустым перронам, со скрипкой в руках. Просыпалась в поту, в сомнениях.

Дора жалела ее. Готовила для Катицы еду, «чтобы не стало хуже». И когда Катица закричала: «Пахнет рыбой!», дела пошли на лад. На лад до тех пор, пока Катица не купила билет. Чтобы там, за семью горами, за семью долами, за сказочными морями, на скрипке играть, долю счастья забрать.

Я познакомилась с ними в подземном переходе. Одна темноволосая, другая — светленькая, но как одно целое, когда играют. Дыхание, ведение смычка, интонации, выражение лиц — все согласованно, как будто и они, и их инструменты вырезаны из одного кус-

ка дерева. Их слушали восхищенно, я заговорила с ними. Да, они кочуют, набираются опыта. «Ну, и ради приключений тоже». Смеются. И сразу — цыганский танец.

Когда мы снова случайно встретились, я пригласила их в кафе. Футляр со скрипкой они аккуратно поставили так, чтобы касаться его ногой. Скрипка — все их богатство. Катица говорила мало, с сильным акцентом, и порой — о деревне в Восточной Венгрии, по которой скучала. Рукой показывала она низину — плоская как этот стол. Земля Бартока, цыган, венгерская Пушта, «мы здесь лишь затем, чтобы тосковать». Дора сменила тему. Но сейчас они здесь и их поражает открытость людей. Такого дружелюбия они не ожидали. Катица кивнула и стала помешивать ложкой горячий шоколад.

Две недели спустя я увидела ее на углу какой-то улицы. Она играла одна, без Доры. Что случилось? Катица перестала играть и схватилась за мою руку, словно ища поддержки. У Доры разболелась рука, «вчера она уехала». Она смотрела на меня грустными глазами. Я тут же пригласила ее к себе. Заварила чай, сварила спагетти. Она сияла. «Я люблю невинные спагетти», — сказала она (как будто бывают грешные спагетти?).

Ей хотелось, хотелось бы еще остаться, подзаработать денег, для себя и для Мамики. Но вид у нее несчастливый.

Когда несколько дней спустя в дверь ко мне позвонили, первой моей мыслью было: Катица. И это была она. Со скрипкой и большой сумкой, будто собралась ко мне переезжать. Я обняла ее. Она начала тихо плакать на моем плече. Я поняла, что ей одиноко, что она устала, вот и все. И предложила ей остаться. На какое-то время.

Она ходила по квартире тихо, как кошка, и помогала всем, чем могла. Пока я не потребовала, чтобы она пела и играла на скрипке, как дома. О, да. Так я выучила венгерские детские песенки и неровные ритмы, кудрявые пиццикато, которые без Катицы никогда не проникли бы в эти стены. Шаги чардаша.

Она ожила и начала рассказывать. Сначала отрывочно, потом все более связно. О стадах, что пасутся на равнине, о колодцах-журавлях. «Когда пастух кричит, отвечаешь ему криком. Воздух так чист, звук разносится далеко». И снова: воздух, небо, голос, звезды. И животные, повсюду. Даже ее имя напоминало о живности: *katica-bogár* по-венгерски — божья коровка. Приносит удачу!

Мы смеялись. Она — чуть скованно.

Когда она убирала пряди волос со лба, то выглядела на восемнадцать. Но ей было двадцать два, и широкие скулы добавляли ее лицу привлекательности. Только привлекательность эта была грубоватой, чуть деревенской. В глазах — любопытство. Руки беспокойные. О делах сердечных я ей вопросы не задавала. Спрашивала лишь, как она представляет себе будущее.

Получить диплом, говорит она, потом, наверное, играть в оркестре. Нужно зарабатывать. «Я должна зарабатывать». А Дора не должна? «У Доры есть время».

Она поехала за границу из-за Доры. Без Доры ей хотелось только одного, вернуться домой. «Близнецов разделять нельзя», — жалобно говорила она. Ей только нужно купить кроссовки «Адидас» для себя и теплую зимнюю куртку для Мамики.

Теперь мы пели уже вдвоем. «Az a szép, akinek a szeme kék...» (Тот красив, у кого глаза голубые). Мои стены радовались. О голубых венгерских глазах они еще не слышали.

Были «невинные спагетти», бокал красного вина и музыка. Именно в таком порядке. Однажды в гости зашел знакомый венгр, «послушать». Катица была в своей стихии, пела и играла с таким воодушевлением, что увлекла всех. О том, чтобы просто слушать, не могло быть и речи.

Катица.

А что, если тебе остаться здесь, доучиться?

«Господи, да я умру от тоски».

Я не удерживала ее. Неделью спустя она села на поезд в Будапешт. Со скрипкой и двумя сумками, я проводила ее до купе. Мы долго махали друг другу. Красный пуловер, который я ей подарила, тоже махал мне.

Умом я понимала — прощай, божья коровка! — но ноги все не хотели успокаиваться, отбивая такт чардаша, отстукивая все возможные ритмы. Вступает и язык, и голос. Тело так легко забыть не может. Разум не может его переубедить.

Катица уехала, как будто навсегда. Была осень. В подземном переходе играли уже другие. Их слушать я не хотела. Пассакалья, блюз, русские солдатские песни.

Бывают моментальные вспышки, которые, как неожиданный поцелуй вихрем поднимают чувства и воспаляют воспоминания. Я ехала в трамвае и вдруг услышала песню Катицы. Ноябрь, безысходность, и вдруг это. Мужчина, похожий на цыгана, он играл с душой, пусть гораздо менее умело, чем Божья коровка. Но я уже горела огнем. С головы до пят. Пять остановок длилось колдовство. Ведь что это было, как не колдовство, эта вовлеченность, которая захватывает тебя сейчас и напрямую замыкает на воспоминание. Перед моим внутренним взором стремительно сменяли друг друга коровы и овцы, пастухи и быки, зверье и Пушту, колыбель и танцплощадка. Я слышала, пока видела, и видела, пока слышала. Я словно ощущала прилив сил в сочетании с мягкой меланхолией. Теперь не скроешь: что за мгновение! Непостижимо. И как оно одержало верх над моими буднями.

Не в духе? Затяни песню повыше, как Катица. Красиво, в миноре, никто не неволит тебя сражаться с дурным настроением ма-

жором. Низина — тяжела, потусторонне тяжела, если хочешь, но ноги просятся в пляс, стоит только скрипке отбросить скромность. Открытые горизонты. Только шагай. Поезд отправляется, никто не обижается. Никто.

Это была моя азбука, мое «С добрым утром», я начала новую жизнь, неповторимо связывая собой концы с концами.

А Катица? Она изменилась?

В почтовом ящике лежит письмо, читаешь имя отправителя, не веришь своим глазам. Сколько же времени прошло с тех пор?

Ученическим почерком в письме рассказывалось о дипломе, о поступлении в оркестр на радио. И Дора тоже играет в этом оркестре, и Дора тоже. «А еще у меня появился друг, Дьюри, он виолончелист. Мы много времени проводим вместе и, наверное, поженимся. Мне ведь уже двадцать четыре». У Маики все хорошо, улей тоже в порядке, и кошка, только дворовый пес Буркуш издох. «Сейчас здесь ночь. Я слушаю дождь. Он разговаривает сам с собой».

И я слышала дождь, страшный проливной дождь, стучавший по мостовой. Почти как музыка.

Несколько месяцев спустя стою на проспекте Андраши, льет дождь. Закопченные фасады, дуговые лампы, проспект напоминает Париж, но лишь слегка. На улице Кирай я захожу в какое-то задымленное кафе и ем гуляш. За соседним столом, где в супе плавают капли жира, говорят по-итальянски. Рядом еврейский книжный магазин, двери в нем открываются, только если позвонить в звонок. Из-за угроз, понизив голос, объясняет продавщица. Из покупателей в магазинчике только я. Маленький парк напротив источает скуку, а овощной рынок под аркой ворот — бедность. Не знаю, почему мне в голову приходит: наказание Лазаря. Какого Лазаря? Библейского же Лазаря воскресили. Был еще какой-то, убогий, ждавший милости? В Будапеште хмуро, золото синагоги помогает слабо. Рядом с синагогой — памятник уничтоженным евреям. Цифры, имена, помогает от глухоты памяти. Зябну.

Туда? В теплое кафе? Или лучше побродить, мимо граффити (нечитаемых) и загнанных людей (ветер, дождь)? Захожу во двор дома, опоясанного галереями, там тихо. Мимо, шаркая ногами, проходит старик, внимательно смотрит на меня, спрашивает, чем помочь. Он немного говорит по-немецки. Прежде чем исчезнуть за деревом сумаха, желает мне солнца.

Моим солнцем в этот вечер становится Катица. Она сияет. В красном платье, в волосах симпатичная заколка. Дору не привела, зато с ней Дьюри, длинный Дьюри, чьи руки кажутся мне огромными. Справляясь с его рукопожатием, представляю, как они охватывают голову Катицы, как будто шлем. На виолончели эти руки должны творить чудеса.

Здравствуйте!

Да, много времени прошло с тех пор, Катица кивает. «А меня все складывалось не так уж блестяще». Скрипки сегодня с ней нет. Говорим, перебивая друг друга. Чего нет, так это музыкального ритма.

Будапешт? Кладезь возможностей, считает она. «Ты так не считаешь?». Дьюри гладит ее по щеке. «Как посмотреть». Катица сидит уверенно, словно окружена сиянием. Такой светлой я ее не помню. Картинки вдруг перестали совпадать.

«Опера», — советует она. — Вот куда тебе надо. И в замок. И в Сентендре».

Вкус у трансильванского гуляша деревенский, простой.

А что с Бартоком, спрашиваю я. Мы дошли до Доры.

«На улицах мы больше не играем, это все в прошлом. Но дуэты есть, мы планируем запись на радио». Перед глазами мелькнула картинка: звенящие металлические шарики. Сорок четыре миниатюры в утреннем свете.

Вот оно как!

Она говорит так, словно приняла что-то, какой-то допинг. Лихорадочно быстро. И Дьюри хрустит пальцами.

Показываю ей фотографии того времени. «Это я? Такая иссиня-бледная?». И смотрит тепло, удивленно. Дьюри фото не комментирует. Наверное, думает про себя: доиграла уж та пластинка, что было, то прошло.

А может быть, ты хочешь музыки? Кафе с музыкой? Это уже моя Катица, ноги нетерпеливо пританцовывают, дождь, не дождь, все равно. Я в восторге.

Не бар с кофейным автоматом и драм машиной, батареей бутылки и девицами с карликовыми пинчерами в обнимку, нет. Кафе уютное, атмосферу создают два музыканта: скрипка и цимбалы. Мы заказываем красное вино, позади нас кружатся три пары. Чардаш!

Блестящий жилет скрипача приближается и склоняется к красному платью Катицы. Они шепчутся. И вскоре звучит: «Az a szér, az a szér...». Катица качает головой, начинает подпевать. А у меня слезы на глазах. Звуки чистые и жалобные, низинно-протяжные. И цимбалы фразируют любовь грустно, от синевы глаз — туда, куда же? К иным берегам.

Что такое умиление? Что такое чувственный порыв? Смотрю на Катицу, на ее пылающее лицо. Мое лицо горит изнутри.

Дьюри встает и идет к сигаретному автомату. Черный свитер, кроссовки, короткая стрижка.

«Ты его любишь?».

Она секунду медлит, удивленно. «Я думаю, да... Раньше я думала, что люблю только Мамику. И звезды. И боженьку».

«А еще музыку, Дору и всякую живность», — добавляю я.

Она кивает.

Ее тянуло отсюда, куда-то, где мы пропадем, теряемся. Меня тянуло тоже. Я чувствовала, что счастье она ищет в потерянности. Цветок без предела и без почвы, цветок, распахнутый вдаль, цветок, сквозняк. Когда я смотрела на нее, она источала нежный свет. Так мне казалось. Визионерствовать я не хотела, что будет, то будет.

Мы танцуем. Кружимся в хороводе, притоптываем. Скрипка взмывает над ужасающей правдой о том, что здесь убивали, депортировали, бунтовали и разрушали, но все же, все же жизнь здесь продолжается.

Степень нормальности, кто может ее определить.

Катица этим вечером идет вразнос. Она красива и стремительна, за ней повсюду следуют страстные взгляды. Ищу защиты в ее голосе. И после полуночи помогаю ей набросить пелерину.

Дождя уже нет. Над нами — пояс небес, тяжело течет черная река.

Это было зимой, вдруг пропало электричество. Я только встала на колени перед шкафчиком-витриной из тикового дерева, открывавшимся как складень, чтобы из его освещенного нутра достать себе бутылочку, и тут свет погас. Несколько часов было темно. Ни бормотанья холодильника, ни шума отопления, ничего. Ожидание спасительного света. И посреди этого телефонный звонок. Кто? Повторите, пожалуйста... Дора. Дора Катицы, как гром с ясного неба. Она неподалеку, хотела бы зайти. Конечно, я буду рада. Большая, стройная, в сером платье с высоким воротом, это Дора, Дора Мункачи. То и дело запускает пальцы в волосы, нерешительно осматривается. «Мы так давно не виделись». Я была деликатна, не напирала. Пусть все идет своим чередом. Нижняя часть лица у нее была неподвижна, но она пыталась улыбаться. Дора!

«Я хочу рассказать тебе о Катице». Шарканье ног. «У человека могут быть планы, мечты, вера... Дьюри я терпеть не могла, он мешал, а я ревновала. Но она вышла за него. Свадьба, в деревне, невеста в белом платье со шлейфом, гостей куча. И я тоже. Никогда еще у меня так не кружилась голова во время танца... Она блаженно семенила, рассылала воздушные поцелуи, бросала цветы, раздавала конфеты, она... Казалось, все хорошо. Но вскоре заболела Мамика. Катица поехала к ней. Потом моталась туда-сюда. Заботы пожирали ее. Тревога. Она взяла отпуск за свой счет, в оркестре. Дьюри терпел какое-то время. Потом пошли упреки. Она чувствовала себя брошенной на произвол судьбы. Я помогала, как могла. А привезти Мамику в Будапешт было нельзя? Об этом она и слышать не хотела. Будапешт и ей был чужой. Через год Дьюри ушел, с него хватило. Катица ухаживает за мамой, совсем исхудала... Бормочет какие-то молитвы. Такое вот дитя низины... Понять ее невозможно. Протягиваешь ей руку, а она смотрит в сторону. Лишь бы музыка в ней не иссякла...»

Моя Божья коровка в беде. Другая потерянность грозила ей, разрыв синтаксической связи.

Я взглянула на Дору. «Разбуди ее. Скрипкой. Играйте вместе, все свои сорок четыре дуэта и даже больше».

«Я и так уже бегаю за ней... Но кажется, она ждет знака».

Знака?

«Ну, откровения или чего-то такого... Что будет с Мамикой, и вообще».

«Ты справишься», — сказала я Доре. «Ты — локомотив. Катица пойдет за тобой».

В моих словах не было рацию, лишь убежденность.

Я обняла ее.

«Если б от меня что-то зависело... Если бы жизнь не выкидывала таких фортелей...»

Дора посмотрела на меня с надеждой.

«А даже если так: ты справишься».

Так мы и расстались, согласные во всем.

Мне приснилась черная челка Катицы, сливовый сад за деревней. Я подумала: все должно начаться заново или получить продолжение, радостное. Она все-таки не перестала петь.



Артём МОРС

/ Иркутск /

* * *

В подробных сумерках дробится,
переливается вода,
блестит, как белая страница,
тарелка стылого пруда.

Луна плывёт, как на ладони,
рифмуется сама с собой,
и кажется, что пруд бездонен,
как этот космос голубой.

Всё замерло, но сердце бьётся,
вселенной убыстряя ход,
и лес стоит, не шелохнётся,
а воду оторопь берёт.

* * *

Это июль. Это лень и сомнения,
медленная карусель.
Через соломинку тянется время,
сладкий овсяный кисель.

Это июль. Городские окраины
спят в раскалённой пыли.
Лето на лбу выступает испариной,
что там маячит вдали?

Это июль. Это детская комната,
утренний ласковый свет,
летних каникул расстёгнутый ворот,
выигрышный билет.

Это июль. Разве всё уже сказано,
разве уже решено?
Личная вечность спрессуется в камне,
время уйдёт в решето.

Это июль. Невозможно прощание,
не существует разлук.
Синее небо, берег песчаный,
лето, спасательный круг.

* * *

А.К.

Там, где заканчиваются деревья
и начинается знак вопроса,
ждёт не дождётся тебя древесная келья
со стаканом медного купороса.

Наступает время припасть к земле,
прорасти в неё и держать корнями,
тут уже не замыслить тебе побег,
вернее побег твой будет в древесном плане.

Не важно, каким ты деревом станешь в лесу,
берёзой, осиной, лиственницей или вязом
я всё равно срублю тебя и снесу,
потому что навеки с тобой повязан.

Так и будем прыгать от берега к берегу,
в вечном круговращении пребывая.
Человек после смерти становится деревом,
а дерево человеком, зая.

* * *

птица трогает руками
воздух вязкий как мазут
я хочу остаться с вами
но другие ждут

хищным взором обнимая
пряча пулю между строк
вдруг поймешь не надо рая
и взведёшь курок

пять минут до воскресенья
десять лет до немоты
хватит пенья и терпенья
широты и долготы

для того чтобы остаться
сохраниться как
прямо в космос бы продраться
через этот мрак

* * *

Сфотографируй поле,
сфотографируй лес,
сфотографируй море,
волны и край небес.

Сфотографируй птицу,
сфотографируй мыс,
фотографируй лица,
сфотографируй жизнь.

Сфотографируй ночь,
небо, фонарь, аптеку,
фотографируй — это
делает тебя человеком.

Это совсем несложно,
но нереально важно.
Если это возможно,
значит увидит каждый.
Это просто и быстро,
тихо и незаметно,
будто снайпера выстрел,
делающий бессмертным.

Фотографируй ноги,
фотографируй руки,
сфотай изгиб дороги
и не умрёшь от скуки.

Сфотографируй облако,
сфотографируй дерево —
ради чужого отклика,
общего одобрения.

Где твои фотографии,
что ты вообще такое?
Фотографируй, нафиг,
всё, что есть под рукою.

Сфотографируй место,
сфотографируй время —
это же интересно
для будущих поколений.

Выложи всё, что можешь,
пусть все вокруг увидят.
Ты ведь, конечно, тоже
значимый индивидуум.

Это совсем несложно,
но нереально важно.
Если это возможно,
значит, увидит каждый.

Это просто и быстро,
тихо и незаметно,
будто снайпера выстрел,
делающий бессмертным.

Хватит живых аналогов,
мы переходим в цифру —
так из большого в малое
сможем все поместиться.

Время всё поменять
и никогда не стариться —
сфотографируй меня...
Я тоже хочу остаться.



Юлия ЕФРЕМЕНКОВА

/ Берлин /

ЧАЙ И СТУДЕНАЯ ВОДА

Больше года не была дома, а запах цейлонского чая с лимоном и бергамотом каждый вечер возвращает в тот последний день. Узкая длинная кухня, на квадратном столе блинная стопка, на подоконнике мандарины, хурма и фиалки в горшке. За окном бесснежный декабрьский вечер синего цвета, башня котельной во дворе, как маяк. На газовой плите свистит чайник, и бабушка в дырявых тапочках еле плетется его выключать.

— Ну куда ты, куда? садись, мы сами все сделаем, — подхватывает мама бабушку и усаживает за стол.

Я достаю праздничные белые блюда и чашки мейсенского фарфора с пионами, из которых лет до восьми мне нельзя было пить — берегли. Завариваю чай. Отрезаю лимон. И всё. Всё. Могу восстановить вкус и запах чая, но наши механические, такие будничные, привычные действия, выражение глаз, прикосновения — нет. Те детали, минуты, секунды, слова, улыбки и бабушкина жизнь куда-то ушли.

Я легко захлопнула дверь. Легко бежала по лестнице. Легко посмотрела с улицы на окна седьмого этажа. Думала, вернусь через месяца два-три или летом точно, налью чай с лимоном и продолжу слушать бабушкин вечный рассказ про то, как в семь лет в лесу она встретила волка, но осталась жива. Прощались ли мы? Обнимались ли? Помахала ли я в окна седьмого этажа?

Запах цейлонского чая с лимоном и бергамотом — единственно возможный билет домой.

Глоток, ещё глоток и вот я на подоконнике с видом на котельную башню ем теплый маковый пирог, девочка на лыжах катается от скамейки до скамейки туда-сюда, туда-сюда, за территорию двора нельзя, в понедельник физкультура, и тёмным утром сонная девочка с рюкзаком, сменкой и лыжами тащится по морозу на школьный стадион. Всё неудобно — лыжи скользят в варежках, от шапки чешется голова, нос от мороза слипается, падает ляпка рюкзака.

Почти перед самой школой поскользываюсь и с лыжами, рюкзаком, сменной обувью заваливаюсь в сугроб и вижу перед собой волшебство — ледяной рожок, упавшую, видимо, с крыши школы сосульку. Облизываю ее и чувствую, как сладкий, похожий на студеную воду из колодца, сок обжигает язык и зубы, и так хочу распробовать вкус, напиться им, утолить жажду, что не замечаю, что рядом стоит учительница физкультуры:

— Юля, ты что здесь делаешь? Урок уже начался. Не стыдно? лежишь как маленькая и ешь снег? что за детский сад в пятом классе?

Мне стыдно, что я как маленькая, в колючей вязанной шапке, мокрых рейтузах, лежу в сугробе и прячу льдинку в карман. В тридцать шесть лет достаю её и вспоминаю прозрачный, кристальный запах тела.

Мы возвращались из Линдоса в переполненном душном автобусе, с нависшими на нас людьми, запахами сладких духов, пота и кока-колы. Кружилась голова, тошнило, вот-вот и меня бы вырвало прямо на него — мальчика, с которым познакомилась только три дня назад, и к которому перееду в Берлин через два года. Автобус резко затормозил, и я уткнулась в прохладный затылок с беззвучным запахом студеной воды. Так и стояла до Родоса, прижавшись носом, спасаясь от духоты и тошноты. Словно снова оказалась в том самом сугробе.

ПАРИЖ В КОВРЕ

В тринадцать лет родители решили отправить меня в Париж. Ну как в Париж, в автобусный тур для школьников из Подмосковья — Варшава, Кёльн, Брюссель, Париж.

— Нет! — запротестовала бабушка, узнав новость, — хочу напомнить, что Юля в четыре года потерялась в булочной напротив дома, в шесть — в соседнем дворе, а в десять — в музыкальной школе на хоре. Она не умеет готовить даже макароны и стелить постель.

Бабушка призывала родителей одуматься, подождать с поездкой лет семь, говорила, что границы надо расширять постепенно.

— Она же не знает, кто такой Клод Моне. Не читала Бальзака. Да разве поймет она что-то про Европу, когда не ездила еще по Золотому кольцу?

Но тур был оплачен, и под руководством бабушки я начала подготовку: зажимала прищепкой нос и гнусавым голосом повторяла «*s'il vous plaît*» «*excusez-moi*», выписывала название улиц из романов Гюго и Дюма, прочитала «Триумфальную арку» Ремарка. Бабушка попросила запомнить фамилию Годар и фильм «На последнем дыхании», рассказала про Марию Антуанетту, Жанну д'Арк и с грустью произнесла:

— Эх, рано, Юля, тебе в Париж. Рано.

Перед сном в узорах туркменского настенного ковра я видела Монмартр, Елисейские поля. Вон, voilà, я в новых джинсах со стрижкой как у Джин Сиберг сижу в баре на бульваре Капуцинок. Казалось, что в Париже я сразу стану взрослой и красивой, и буду пить кальвадос.

Париж начинался с поезда Москва-Брест, слез бабушки, мельтешения панельных домов за окном и станций с пустыми платформами. Моросил дождь, и раскисшие в сером снеге поля долго чередовались с обветренными березами. В поезде пахло яйцами, колбасой, горькими сигаретами. Соседки по купе переоделись в спортивные штаны и играли в карты. Невозможно было поверить, что я еду действительно в Париж, а не на экскурсию в Саратов. Высокая женщина со строгим лицом зашла в купе и объявила:

— Так! малолетние туристы! Застилаем полки. И чтоб вернули постельное белье в таком же виде, как получили. Иначе шиш вам, а не Париж.

Мои соседки, девочки в спортивных костюмах, ловко взбивали подушки, расправляли пледы-одеяла, взмахивали простынями, разглаживали неровности, а я с ужасом сжимала выданные желтоватые ткани, не понимая, что с ними делать. Бабушка была права: «Какая заграница? Ребенок не знает, что такое пододеяльник!»

За окном начиналась ночь, и черное небо несло быстрее поезда. Тяжелой пустотой темнота расчищала все на своем пути, поглощала дыхание пассажиров, их полки-вещи-колбасу-окна-рельсы-поезд. Ничего не было — ни бабушки, ни родителей, ни раскисших русских полей, ни Елисейских полей Парижа. Была лишь я и непонятная стопка постельного белья. Я вместо поезда резала дорогу в темноте, пытаюсь догнать пустоту, чтобы она впустила меня в себя и укрыла одеялом.

Всю ночь я просидела с желтоватыми тканями у окна, очнувшись только, когда объявили:

— Граница.

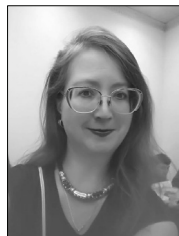
Про Париж я ничего тогда не поняла, бабушка была права — слишком рано. Сена — мутная вода, Елисейские поля — вовсе не поля, в Лувре, вместо того, чтобы идти к Моне Лизе и Венере Милосской, я отправилась за эклерами в буфет. Прогулке по Монмартру и бульвару Капуцинок предпочла Диснейленд. Я была в Париже, но запомнила не его, а город, который видела в ковровых туркменских узорах.

Бабушке из Парижа я привезла магнит с Эйфелевой башней и новость:

— Я научилась стелить постель.

Елена СЕМЕНОВА

/ Москва /



НАЧАЛО

Проснулась утром,
Стала улучшать модель своего мирка,
Помылась, прибрала вещи,
Выбросила бутылки (чур-чур)
Вытерла пыль (конечно, не идеально),
Вышла на балкон, захлебнулась морозом и солнцем,
Убедилась, что война не началась,
А потом посмотрела, как ты смешно спишь,
Посапывая и закрутив подушку,
И подумала... что я люблю тебя.

8 февраля

* * *

Почему же нет на белом свете
Девушки по имени Ладошь?
Ты, Ладошь, войди-ка в строки эти,
А захочешь, так из них уйдешь.
Ладна, белошейна, лебедина
И внезапна звонкая Ладошь, —
Хлопнешь, и возникнет самостийно,
Рыкнешь, и исчезнет в шуме рощ.
Речкой плавной и зерном текучим
Из ладош — и вот уже, *шо дал*,
Исчезает влагой в лоне тучи.
Что же от Ладошь ты ожидал?

26 февраля

* * *

Открываешь с утра ленту, а там
Свежая бодрящая новость:
«В России проснулись гадюки».
Спасибо, хочется сказать,
Дорогие новостники,
Но вы — ошибаетесь:
Гадюки в России не спят
И даже не дремлют
Никогда!

22 апреля

* * *

А в небесах на луковую Пасху
Мне улыбнулся мудро и тепло
Тот Некто, столь могучий и прекрасный,
Что облака минует и стекло.
Сквозь морок, хлябь, пронзая стратосферу,
В лучах качая, точно в зыбках нас,
И части красоты — любовь и меру,
Всем отпуская, чуть сощулив глаз.
В губах, в носу и в мягких веках — знание
Сквозит. Никто не будет ослеплён!
Ведь каждый чудо, лапочка и зая,
В разверстый мир шагнувший из пелён.

3 мая

* * *

Пахнет разбитым арбузом,
Город бежит из-под ног
Двери как хищные лузы —
Падает, кто занемог.
Бледный холодный зеленый,
Город ложится у глаз
Тенью дрожащего клена
И замирает на час...
С кленом прозрачно-ветвистым
Шепчем: «Сейчас мы одни.
В мире холодном лишь листья
бедным поэтам сродни».

* * *

На воздушном змее,
На лошадке-пони,
Ничего не знаю,
Ни о чем не помню.
Я лечу-летаю,
Точка-запятая,
Скобочка, кавычка,
Вредная привычка..

УТКИ

Утки прочь не спешат,
Словно желтый покой сторожат,
У осенней прозрачной воды
Тихо ясени дремлют.
Так беззвучен твой шаг,
Точно в листьях порхает душа,
Хоронясь от беды,
Задевая мысками о землю.

ВОРОБЛИ

О, воробьями щебечущий куст!
Кинь воробьиное слово из уст,
Стань воробьиственным взводом моим,
Где каждый воин стократ воробьем,
И без труда воробьись в тот же миг
В класс, воробьящий лихой чик-чирик.
В пир, воробляющий, как во хмелю:
Я этот мир без ума вороблю!



Илья СПРИНГСОН

/ Москва /

КОШКИН ДОМ

отрывок из романа

У нас был чердак, когда мы были маленькие. Чердак и черёмуха. Черёмуху можно было рвать прямо с крыши, сидеть и обжираться ею, смотреть на солнце, облака и мечтать.

Кирюша Бортников мечтал украсть много солидола в колхозе, а я мечтал уехать далеко, где никого нет.

Кирюша жрал черёмуху и был чистый. Я жрал черёмуху и был с ног до головы чёрный. Хорошо, что бабка далеко, она с дедом в разводе, но нормально общаются, хоть и живут отдельно. Бабка живёт в посёлке, в квартире, а дед в доме. У деда поэтому и сарай есть, и чердак над сараем. На чердак бабка вешает замок, перед каждым летом, потому что летом привозят меня. На машине, со всем моим барахлом и кучей пластилина. Предки сдают меня и уезжают, и орут друг на друга теперь в своём одиночестве. Они всегда орут.

Замок дед срывает гвоздодёром первого июня.

На чердаке есть огромный сундук, в котором хранятся мои вещи с прошлого лета, в основном хлам, но встречаются по-настоящему достойные, вроде сломанного велосипедного звонка или пули, которую мне подарил Мишка в прошлом году. Ещё есть воздушка, ружьё, сделанное из велосипедного насоса, только не стреляет. Чтобы стреляло, нужна резинка, а резинка от велосипедной камеры, а велосипедная камера у деда. Только дед хочет эту камеру запихать в колесо, чтобы возить на велосипеде дрова из леса, но я думаю, что дедушка взрослый и что-нибудь придумает, поэтому камера уже скрипит под ножницами и присобачивается на ружьё. Ружьё всё равно не стреляет. Я убираю его обратно в сундук и иду на речку.

Я пока один. Меня всегда привозят первого. В деревне, кроме меня, только бабки и собаки, и коты.

Я иду на речку, там есть мостик, с которого можно кидать в речку камни и всякое разное барахло. Это война. Враги в реке, их необходимо уничтожить.

Я убиваю всех врагов и иду домой, думая о ружье и о велосипедной камере, и ещё о том, что Кирюшу ещё не привезли и убийство камеры списать не на кого.

Но дед меня простит. Дед уже нашёл ружьё, и теперь оно стало кривым и вообще не стреляет, и резинка, вырезанная мной, одиноко валяется в луже.

Эта резинка как бы говорит мне: не стоит сейчас идти в дом, погуляй ещё.

И я иду гулять на болото. Сломать мне нечего, но можно развести костёр, потому что я спёр у деда спички. А спички в лесу — первое дело. Можно жечь костры и жарить грибы. Тут полно сыроежек на болоте, но сырые они омерзительны на вкус, хоть и сыроежки, нужно собрать их и пожарить. И нарвать кислицы, которую мама называет заячьей капустой, и рвёт её мне, когда мы с ней вместе ходим в лес. Кислица — это вообще очень вкусная трава. По вкусоности её делает только щавель, но на болоте он не растёт, за ним надо идти фиг знает куда. Ягод ещё никаких нет. Это очень большой минус для начала лета. Ни черники, ни земляники, ни гонобобеля. Гонобобель — это самая вкусная ягода в лесу. В ботанике она зовётся голубикой, но здесь вся деревня именует её гонобобелем. Слово достаточно невкусное, зато ягода вкусная очень. Растёт на болоте. Под соснами.

Сосны я почему-то очень люблю. Они здесь высокие и красивые, от них пахнет летом и чем-то совсем родным, чем-то похожим на солнце.

А солнце уже давно собирается к западу. Дед научил меня определять время по солнцу, и я, ошибаясь максимум на час, могу определить, сколько времени, безо всяких часов. Сейчас шесть или полседьмого, а это значит, что нужно дожарить грибы, потом сходить посмотреть на дохлую ворону, которую ещё по дороге сюда заметил, но отложил на потом, потом сходить к муравьям, посмотреть на них с полчасика, ничего у них там не ломать, только собирать на соломинку муравьиной кислоты и потом эту кислоту облизывать. Она вкусная и кислая. На любителя. Я любитель.

Потом нужно спрятать спички и зайти к деду с таким видом, что типа камера велосипедная сама порезалась и наделась на ружьё. Жалко ружьё, теперь оно вообще не стреляет, хотя и раньше тоже не стреляло.

Дедушка очень грустит из-за велосипедной этой камеры, но ничего, говорит, ты же маленький. Дедушка вообще меня очень сильно любит. Он мне простил даже нечаянно разлитую флягу браги, которую я случайно нашёл и не сказал бабке, хотя бабка пыталась долго, почему от меня пахнет сивухой, но я сказал, что это всё Кирюша. Короче, не сдал я деда.

А на 23 февраля я подарил ему одеколон «Кармен», дед был с бодуна и немедленно одеколон этот выпил. (Венедикт!) Я по малости и не понял, почему так этим одеколоном прёт. А дед повеселел.

Дед вообще весёлый, когда пьяный. Когда он очень пьяный — он берёт друга Румына и гармонь. Играть на гармонии они не умеют, но гармонь мучают как хотят.

А ещё, бывало, к деду заходил очень удивительный человек. Он был какой-то другой, тоже алкаш, но не как дед с Румыном, а какой-то другой. От него исходило что-то. Он был загадочен и грустен. Они выпивали, и этот человек смотрел как-то особенно: и на меня, и на Хому, и на Кирюшу, и на васильки перед домом, и на тополь, который спилил потом Румын — на весь мир, как мне казалось, даже Кирюше это казалось. Он говорил мало и непонятно, но он был как мир.

Потом он спал под тополем, и Мишка увозил его на мотоцикле куда-то, а человек потом возвращался на гусеничном тракторе, со стороны болота, возвращался с пьяным трактористом, другом Румына, которого звали Усой, а Усой был другом Витьки Копчёного, который умер.

И они продолжали пить и говорить. И этот человек был самый трезвый из них. И самый светлый из всей этой компании.

Человек этот был Венедикт.

Так я маленький смотрел в глаза Венедикту. У него ещё всё в порядке было с горлом, и он был всегда в резиновых сапогах и костюме. Это был 1986 год.

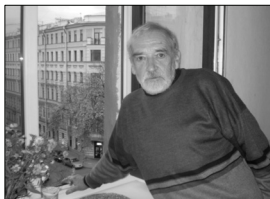
Он очень любил антоновку, которая росла у деда в саду, если две яблони можно назвать садом. Мишка потом эти яблони спилил. Почему люди постоянно спиливают мой тополь и мои яблони?

Мишка — это сын деда и брат мамы. Он катает меня на мотоцикле «Восход-2м» и возит далеко, туда, куда я один никогда не хожу. На дальние болота, где мне не страшно, но про дальние болота рассказывают всякие истории, про то, что там живут привидения, и про то, что там трясина, в которую затягивает, а потом люди таинственно появляются, но уже мёртвые. Кирюша сам видел мёртвого в лесу. Потом рассказывал про него на чердаке, и Жужа, который живёт на том конце деревни, боялся домой идти. А мне потом этот мёртвый приснился. Он одиноко ходил по своему болоту и светил себе под ноги фонарём. Как плохо, наверное, быть мёртвым, думал я. Это так одиноко, быть мёртвым.

Я попросил Мишку отвести меня на дальние болота на мотоцикле, и Мишка меня отвёз. Никаких там мёртвых, естественно, не оказалось, зато там находился старый разрушенный кирпичный завод. Я понял, что мы должны пойти в экспедицию. Кирюша, которому я рассказал про завод, долго не соглашался, утверждая, что это мёртвых завод, что они там делают гробы и что они нас там уволочут.

Владимир БЕСПАЛЬКО

/ Санкт-Петербург /



* * *

Доживает старик свой век.
Стал он к боли собственной глух.
Умирает в нём человек,
Уменьшается плоть и дух.
Телевизор смотрит с утра
И таблетки белые пьёт.
Жизнь его не добра и не зла,
Ничего от неё он не ждёт.
Вспоминает старуху свою,
Вдаль её унёс снегопад.
«На обрыве небес стою» —
Повторяет он невпопад.
Поверх книг, поверх стен глядит,
Поверх звёздного неба ввысь.
По морщинам слеза скользит,
Старика отражая жизнь.
И попробуй-ка объясни
Этот странный уже поворот:
Словно вешалку унесли,
А одежда сама идёт.
«Далеко ли идти, — говорит, —
Брось-ка камушек в эту тьму,
Не видать, куда он летит?»
«Не видать, — отвечаю ему».

* * *

Снежинок белые мгновенья
Скользят и тают налету
Сквозь это зыбкое явление
И общей жизни суету.
Отдав поклон скользящей льдине,
Буксир не очень, но спешит,

И за кормой в холодном дыме
Плывёт клочок его души.
Буксир гудками монотонно
Оповещает «Я — есть Я»,
А Медный всадник напряжённо
Пришпорил медного коня.
Конь вздыблен. У старинной верфи
Грохочут льдины о гранит.
Пётр в руки собственные верит,
Забыв, что медные они.
Под снегопадом, как под временем:
Собор, Нева, Пётр на коне.
А на Сенатской построение
Полков, явившихся извне.
Мы все извне. Мы плоть от плоти
Тех, кто ушли. Им всем поклон.
На этой безымянной ноте
Смотрю на снежный небосклон.

* * *

Под цветною сенью парка
Три подруги — вид спесив.
Западали на Ремарка,
Моряков и «Би-би-си».
Помнят ритмы танцплощадки,
Гул весёлой суеты.
Дамы — девочки с изнанки —
Подтянули животы.
Жили, в общем-то, неплохо,
Даже лучше с каждым днём.
Время в теме. Где эпоха
С героическим вождём?
Вяжут варежки-носочки,
Вспоминают шантрапу.
В небе — Мойры — Зевса дочки —
Три судьбы сплели в одну.

* * *

Добро и зло, и лопасти прогресса
Вращают время, повседневный быт.
Другое небо, но всё та же пьеса:
Огнями тока Вавилон овит.
Стекло, бетон и контур мироздания.
А человек слагает новый миф:
Тяжёлый камень нового незнания
Всё катит в гору горестный Сизиф.

Даниил БЕНДИЦКИЙ

/ Берлин /



КРОКОДИЛЬ, МЕДВЕД И ДРУГИЕ TIERE О СВОЙСТВЕ ШПРАХОЯЗЫКА

Началось всё тринадцатого января тысяча восемьсот шестьдесят пятого года. Впрочем, пойдя теперь разберись, правильную ли точку отчёта выбрал наш будущий герой. В половине первого пополудни супружеская пара, захватив с собой друга, отправилась в Пассаж посмотреть на крокодила. Нечего было ему в нос перчатку совать — зелёное чудовище тут же проглотило образованного мужа.

Нет смысла разжёвывать (за нашего героя это сделали учёные люди) — для усиления, как говорится, эффекта Достоевский ввёл «сквозной образ» туповатого и до известной степени комедийного немца. В его искажённой речи — насмешка и ненависть самого Ф.М. Доподлинно известно, как Достоевский страдал, коверкая в Германии слова.

Хозяин крокодила, обезумев от варварства русского человека, стал кричать: «Он проглатил ганц чиновник! (...) Мы сиротт и без клерб! (...) Ви хатит, чтоб мой крокодил пропалиль!»

Эта ломаная речь — не только опознавательный знак (немец заведомо в проигрыше), но и срез языка (расширение словаря). И если кому вдруг придёт в голову перевести этот акцент, хорошо бы понять, как за него ухватиться: из-за недостающей сноровки весь текст развалится.

Рассмотрим два немецких варианта.

Херманн Рёль (год перевода: 1921) не ищет сложных путей и, как ни в чём не бывало, превращает хозяина крокодила в прилежного немца. Тот говорит без ошибок, вкраплений, «отутюженным» языком. Текст получается вдвойне нелепым — можно подумать, будто немец не ограничен в возможностях из-за незнания русского, а насмеваются тут явно над кем-то другим:

«Es hat einen ganzen Menschen verschluckt! (...) Wir sind brotlos (...) Sie wollen, dass mein Krokodil umkommt?»¹

Кристиане Пёльманн (год перевода: 2015) пытается найти некий эквивалент этому смешному наречию: немец, говорящий по-немецки с акцентом, совершает классические грамматические ошибки: пропускает артикли, путает формы глаголов. Но превратился ли он от этого несложного финта ушами обратно в того немца или просто стал иностранцем-дураком — большой вопрос:

«Er hat ganz Beamten aufgeschluckt (...) Wir arme Waise und ohne Brot! (...) Sie also woll, dass mein Krokodil gesterbt!»²

Да, быть может, нам стоит учитывать «политизированность» этих двух переводов. Первому толмачу тогда тут явно не повезло: предположим, что после Первой Мировой он уткнулся в непереводаемость «порочащих диалектов»: у русских, мол, только немцы во всём виноваты. Вторая — пожинала плоды катаклизмов: прошёл целый век, чтобы немцы научились смеяться над собой.

Всё тут вроде как верно, но скверно: каждому времени — свои герои. Следуя такой логике, хозяин крокодила всегда будет перерождаться целиком.

Как бы то ни было, перевод акцента — это умение распознавать ответвление речи. И этот перевод можно оценить в первую очередь только на слух: совпадает ли он с нашим наивным представлением о ломаном языке, есть ли в нём (скорее всего нами же придуманные) искажённые звуки?

Иными словами, акцент — это подборка фонетических клише. Если, допустим, француз картавит по-немецки, то он точно так же картавит по-русски — переводчик здесь лишь воспользуется нашим (уже упомянутым) поверхностным взглядом на речь чужеземца.

Но что же делать, когда перед нами акцент носителя языка — когда привычное звучание пропало, а родные слова вытеснялись иностранными?

Здесь смещается оптика: очевидно, что поиск аналога обречён на провал. Шанс, при котором ноты в «зеркальном» переводе совпадут, минимальный. Значит, эту речь нужно изобрести, заложить новый фундамент для конструкции переводимого текста.

Что ж, для этого у нас есть свой герой. Наступило, наконец, время с ним познакомиться.

Перенесёмся к нему через полтора века, выясним, что за это время произошло с языком — начнём, пожалуй, в то далёкое лето, когда в одной стране на каждом углу повторяли: «Голосуй или проиграешь».

¹ F. M. Dostojewski. Sämtliche Romane und Novellen [25 Bände]/Übertragen von H. Röhl. Insel-Verlag, Leipzig 1921, 1922.

² Fjodor Dostojewski Das Krokodil. Erzählungen, neu übersetzt von Christiane Pöhlmann. Manesse, Zürich 2015.

Те 90-е годы — уникальный период в истории России: события опережали общественную мысль. Это не случайно: к сожалению, на русском языке так и не было создано сколько-либо значительных социологических теорий. Общественная мысль отстала — русский язык обеднел, омертвел. Он до сих пор лишь в редких случаях отображает действительность и способен передать только художественный образ.

Ещё ребёнком наш герой задался совершенно идиотским вопросом: каким языком описать всё то, что происходит вокруг? Если русская жизнь нелогична, значит, языку не хватает логики? Как объяснить все эти «ваучер», «ток-шоу», «дефолт» — здесь перевод невозможен, исчерпались возможности речи.

В начале двухтысячных герой оказался на улицах Берлина — сколько народов, сколько культур, сколько судеб на сломе укладов, в меняющихся обстоятельствах, столкновение с иной ментальностью — целый мир! — опиши. Увы — искусство не подчиняется таким умозрительным рассуждениям. Оно всегда появляется неожиданно. Герой ходил словно немой.

Худо-бедно освоившись на Западе, наш эмигрант начал жить без неких «языковых» подпорок. Формула или форма жизни стала такой: «Чужой язык ещё не выучил, родной уже забыл». Багаж перед реальной жизнью оказался несостоятельным — словарный запас словно украден неизвестно кем. Стало очевидно: необходима собственная — культурная, историческая, мифологическая — хоть какая, но геология. Опыты соотечественников-туземцев говорили о том, что следы поиска «нового языка» не исчезли. Вот тут и появились опоры — совершенно неожиданные.

Голова героя пошла кругом: в его родную речь вошли вкрапления адаптированных немецких слов. Ключевой вопрос: это лексическое вытеснение — смерть великого и могучего или появление контуров нового языка, в Германии: «шпрахоязыка»?

Говоры хоть и есть основа языка, но не всякое новое слово освоится в речи — в силу сопротивления. Прежде чем составлять частотный словарь (дело неблагодарное), попытаемся разобраться, при каких условиях язык допускает заимствования.

Если герой говорит, что недоволен своей арбайт¹, то слово остаётся в рамках русского языка (устоявшееся заимствование в узком смысле). Если же герой идёт в арбайтсамт², то слово становится лишь локальным приобретением (копирование «немецкого логоса», которое не употребляются в русской речи). Если же ещё извернётся: «мне там сказали, что у меня *wiederholte Arbeitsverweigerung*³», то выражение маркируется как цитата, которой при возможности найдётся русская замена.

¹ работа (нем.).

² биржа труда (нем.).

³ повторное уклонение от работы (нем.).

Безусловно, сейчас мы могли бы без конца и края сыпать каламбурами: «Дай Маме кусю» (Gib Mama einen Kuss — поцелуй Маму), «Рихтиг хорошая полка» (ein richtig gutes Regal — очень хорошая полка) «Мама, он меня эргеравает!» (Mama, er ärgert mich! — Мама, он меня злит) отметили бы фонетику, синтаксис, морфологию — нас же скорее волнует вопрос: что с этим шпрахоязыком делать?

С каким бы трепетом мы к этому акценту не относились, как бы тонко не анализировали его происхождение, всегда найдётся человек, который останется равнодушным: вот какой-то эмигрант ходит по немецкой столице и о чём-то там коряво бормочет. Можно сказать: «Ну и чяво?» На это «ну и чяво?» рационального ответа нет.

Можно разъяснить все слова шпрахоязыка, описать его структуру предложений, рассмотреть соотношение деталей, но очевидно, что после услышанного внутри нас должно что-то «ёкнуть», произойти. Жалость, сострадание к герою? Да что-то не ёкается.

Как мы уже говорили, акцент — это срез языка. Для литературы этот шпрахоязык — непаханое поле. Помечтаем о появлении нового канонического героя, говорящего по-русски с акцентом. А-ля Бенья Крик.

Только вот как его корявую речь изобразить, придумайте, пожалуйста, сами.

Борис ВАНТАЛОВ

/ Санкт-Петербург /



ДНЕВНИК

Какая сырость за окном.
Какое серенькое небо.
И снежный дождь ещё при том.
Пространство дедушки Эреба.

Блестит муарово асфальт.
Зонты чернеют в полумраке.
Давящий декабря базальт.
Иллюминации макаки.

21.12.2020

* * *

Рождество. Протестантское. Утро.
Неба мутного липкая длань.
Снегопада прокисшая пудра.
Новостей непрерывная срань.

Ты уже не читаешь газеты,
не спускаешься больше в метро,
к чёрту выбросил планы и сметы,
потому что настало ZERO.

25.12.2020

* * *

Закройся маской. Не дыши.
Сиди безвылазно в квартире.
Мужайся! В перспективе вши,
сахара в ванне и сортире.

Завесив шторами окно,
включи неяркий свет настольный
и слушай, как ползёт ОНО
к первопрестольной.

31.12.2020

* * *

Холода. Январь. Корона.
Идиотский новый год,
как вопящая ворона,
пролетел сквозь мозг. И вот,
ты опять на венском стуле
словно мумия сидишь.
Мыслей скрюченные дули.
Полнолуния гашиш.

13.01.2021

* * *

Эпоха турбулентности
настала на Земле.
Меняются валентности
в химическом стекле.
В пробирках стран, измучены,
молекулы людей
трясутся, взбаламучены...
Любуйся, Асмодей.

14.01.2021

* * *

Скоро выплюнешь мыслей лузгу.
Камертон — скрип уключин в мозгу.

Вот и стали забываться слова.
Насмехается над старьем голова.

Рвутся цепочки нейронов в башке.
Ты на этом ещё бережке.

Только мёртвые живее живых.
Часто видишь и слышишь их.

Камертон — скрип уключин в мозгу.
Скоро выплюнешь мыслей лузгу.

21.01.2021

* * *

Вечер. Варятся пельмени.
До конца прочитан том.
Ты, конечно же, не гений.
Ното sapiens. Дурдом.
Обитатель Чёрной речки,
Слабовидящий банкрот.
Древний пожиратель гречки.
Нечто-некто-аксельрод.

22.01.2021

* * *

Утро. Застлана постель.
Завтрак на плите.
А на улице метель
воет в темноте.
Тыща новая. Январь.
Семь десятков лет.
Кофе чёрный. Календарь.
Пушкин. Пистолет.
Мясорубочка — дуэль.
Рядом. В двух шагах.
Обелиска карамель.
Новостроек прах.
Правит новый Николай.
Заморозка. Чёрт!
Замолчи уже. Не лай.
Скучно, аксельрод.

27.01.2021

* * *

Кончилась ручка.
Стержень — в ведро.
На небе тучка...
Снега добро.
В чистой тетради
исчирканный лист.
Что ж ты испачкал
пространство, артист?

19.02.2021



Михаил ОКУНЬ

/ Аален /

ХУЛИГАН ГРИБАНОВ

Девять коротких эссе

ХУЛИГАН ГРИБАНОВ

В пятом классе меня пропесочили в школьной стенгазете. Не в классной, а именно в школьной, висящей на главной лестнице, мимо не проскочишь. Кто знаком с внутренним устройством особняка А.Ф. Миллера, что на углу Большой и Малой Московских улиц в Петербурге, где по сию пору располагается 300-я школа, меня поймет. В центральной, так сказать, прессе. Да еще и целый фельетон посвятили.

Пропечатали меня, строго говоря, за дело. А именно за то, что даю обидные прозвища одноклассникам (насколько они были точны, говорит тот факт, что прилипали здорово — надеюсь, хотя бы не пошли «и в род, и в потомство»).

Я помню три таких прозвища. Мопсик для Женьки Чистякова (ну что там, похож был), Несушка для толстенькой аккуратненькой отличницы Лены Цейтлиной (на вид — вылитая пухлая курочка), и Хулиган Грибанов для попавшего в наш класс Грибанова, действительно хулигана и двоечника, оставленного на второй год. Было еще что-то для наглого здоровяка Гришки Рожкова, всему классу понравилось. Но в точности не помню...

О происхождении прозвища для Грибанова стоит сказать особо. Шел 1963 год. Повсюду трубили об испанском коммунисте Хулиане Гримау, попавшем в руки охранки франкистского режима в Испании. Диктатор Франко задумал его казнить.

Газета «Правда» постоянно давала материалы о ходе дела. Прогрессивная международная общественность протестовала. Впрочем, не только прогрессивная. За пламенного борца просили у Франко папа Иоанн XXIII и президент США Кеннеди. Но каудильо всё же не внял, хотя помилованием мог бы показать, что режим его не такой уж «людоедский». Хулиана Гримау казнили.

Много позже, читая о тех событиях, я понял, что упорство Франко было не столь уж безосновательным. В 1935 г. 24-летний Гримау начинает работать в полиции Барселоны как представитель «левых республиканцев», а в 1936 г. вступает в компартию. И борется он не столько с уголовниками, сколько с «врагами народа». Будучи убежденным сталинистом, он выявляет троцкистов и агентов «пятой колонны» в рядах Интербригад, громит ПОУМ — марксистскую партию антисталинского направления.

К началу 1938 г. в Испании появляются сотни тюрем под названием «чекас» (аналогия ясна). Гримау один из тех, кто отправляет туда людей. И там они попросту пропадают. Речь идет о смертельных пытках и бессудных расстрелах. Гримау приобретает репутацию «кровавого убийцы». Всё это, конечно, Франко прекрасно знал.

Наделив нашего Грибанова такой кличкой (которая, помнится, ему даже понравилась), я будто предугадал, что позже «Хулиган Гримау» войдет в перечень самых отъявленных «идеологических опечаток» советской прессы — вместе с «Марксизмом де Садом» и «оберштурмбанфюрером СССР».

ОСТРЯКИ

Начало 60-х. Это было время остроумных молодых людей, не лезущих за словом в карман. Остряки. Технократы, любимцы НИИ. Пример для подражания одного пятиклассника...

Токсово, Кавголово, горнолыжный слалом. В электричках они всегда стояли в тамбуре, обсуждая достоинства фирменных лыж и ботинок. Каста. Элита. На горах они лениво замирали, опираясь на палки. Изредка «слаломали» вниз метров на 15–20 и снова неспешно поднимались на точку.

Зимние отпуска — непременно Теберда, Домбай, Терскол. Летние — Черноморское побережье Кавказа, но не в домах отдыха или в частном секторе, а палатки неподалеку от моря (все помнят фильм «Три плюс два»).

Из этой среды, как из питательной почвы, вырос КВН. Не тот, который сейчас. Но кто ж тогда предполагал, что молодой инженер Масляков, приданный в качестве соведущего опытной дикторше Светлане Жильцовой, организует из всего этого собственное предприятие с пожизненной рентой? Помнится стишок одной из команд того времени: «Мужичок-маслячок, приталенный бочок, стрижена головка...»

Их юмор был не заготовленный — ситуационный.

Я хорошо помню одного из них. Аркашка Дружинин, старший пионервожатый. В него был влюблен весь наш лагерь. Все ждали, когда он откроет рот и уже заранее начинали прихахатывать.

Позже я встретил его, когда пришел работать в НИИ, от которого был тот ведомственный пионерлагерь. Начинались 80-е.

Это был уже довольно потертый жизнью человек. Начальство не знало, куда его пристроить. Как инженер он давно дисквалифицировался (что началось, видимо, гораздо раньше, не зря же его отпускали на целое лето работать в пионерлагере). Вот и был он постоянным «освобожденным» — по профсоюзной линии. По комсомольской было уже поздно.

Однажды я заговорил с ним, напомнил о тех веселых днях. Он узнал меня, но разговор этот воспринял довольно вяло. Не слишком-то хотелось ему толковать с бывшим пионером, свидетелем времен его полета и блеска.

Прошло еще 40 лет. Пятикласснику уже под 70. Где они, эти остроумцы, сейчас? В основном — понятно, где. Время их никогда не повторится...

БЕЛАЯ ДАЧА

«Белая дача» — мрачноватый финский дом с башней, мыза, примерно в полчасе ходьбы от станции Заходское Выборгского направления (до 1948 г. посёлок носил финское название Лоунатйоки). Стоит особняком в лесу. Построен около 1908 г.

В 60-х его арендовал ленинградский ЦНИИ «Гранит», где работала мама (в разные времена институт носил различные названия, а тогда был номерным «ящиком»). Выезд детей сотрудников группами на зимние и весенние каникулы. Летом — сдача комнат сотрудникам с детьми. Так что довелось там пожить и зимой, и летом.

Природа замечательна — сосновые грибные боры, озёра, речки с форелью, налимчиками и раковинами-жемчужницами. Из подросткового опыта: форель хорошо ловилась на ночные «поставушки» — полметра лески, прикрепленной к рогульке, тяжелое грузило, крючок с пучком дождевых червей. Втыкаешь оснащенную рогульку вечером под берег, а наутро бежишь проверять.

Как-то раз пошел проверять вечером, а когда возвращался, навстречу по дороге шли туристы с поезда, на Красноперское озеро, с рюкзаками и палатками. Я гордо нес крупную форель на виду. Вдруг один парень сказал своим: «А давайте-ка, отберем рыбину у этого рыбака!..» А я-то ждал слов удивления и восхищения моей удачей.

В лесу можно было наткнуться на лёдники — подвалы из гранитных, грубо отёсанных глыб, — всё, что осталось от домов.

Натыкался там и на полукруглую парадную лестницу, ведущую в пустоту. Как потом вычитал, эта лестница осталась от особняка петербургского банкира Биенковского. Его жена по имени Тереза-Елизавета жила там до 1939 г.

Это была уже независимая Финляндия. На своих дачах, территориально оказавшись за границей, нищенствовали доживающие свой век петербургские аристократы, интеллигенты и прочие «бывшие».

В начале декабря 1939-го, заслышав канонаду (нападение СССР на Финляндию), старуха-банкирша в возрасте за восемьдесят, встав на лыжи, попыталась уйти в финский тыл, но ее поймали. А позже использовали в пропагандистских целях, заставив написать статью «Большое спасибо Красной Армии» (с подзаголовком «Письмо финской крестьянки»).

Поселок Лоунатйоки переживал свой расцвет с начала позапрошлого века и до 17–19-го годов прошлого. Здесь были особняки и виллы петербургской элиты, православная церковь, санаторий, колбасный заводик, летний театр, где играли заезжие труппы. Ходили даже конка и свой паровичок с вагонами. Были хорошие дороги, сохранившиеся еще в 60-х гг.

Впрочем, с начала этого века пошла «новая волна» — боры вырубаются, строятся загородные «замки» уже для новой «элиты».

БЫВАЙ, СМУГЛЯВАЯ...

Был такой белорусский пиит — Аркадий Кулешов (1914–1978). Народный поэт Белорусской ССР, дважды лауреат сталинских премий, и т.д. и т.п. О его переводе на белорусский язык «Медного всадника» язвительный Михаил Дудин пошутил: «У тебя, Аркаша, лучше, чем у Пушкина получилось...»

Несмотря на то, что Кулешов написал множество «правильных» стихов и поэм, на то время актуальных, остался он в памяти потомков стихотворением «Алеся», которое написал лет в 15–16. Зазвучало оно всенародно после переложения на музыку и исполнения «Песнярами». Повествует о несбывшейся, естественно, юношеской любви.

Эта «любовь» будущего народного поэта была года на 2–3 старше него. Однажды, когда Кулешову было уже за 60, а песня стала суперпопулярной, какой-то телеканал решил устроить «встречу сквозь года». Разыскали Алеся, работавшую где-то в глубинке на почте. По бедовому замыслу телевизионщиков, Кулешов должен был стоять в очереди и внезапно появиться в окошке перед бывшей возлюбленной. Ее не предупреждали, — как бы розыгрыш, довольно, надо заметить, жёсткий.

Кулешов согласился было, но в решающий момент, когда до окошка оставалось совсем немного, сбежал. Сказал потом, что не может вместо юношеской любви увидеть незнакомую старушку. «Встреча сквозь года» не состоялась...

СЛОГАН

В 90-х годах я сдружился с новой, быстро ставшей популярной в Петербурге, а ныне уже несуществующей газетой «Час Пик». А точнее, с одной журналисткой этой газеты. Тем более, снимала она жильё на проспекте Энергетиков, через несколько домов от меня. Даже упомянул ее в рассказе «Наша родина — проспект Энергетиков».

Давал ей свои материалы, и они неизменно появлялись на страницах газеты. Звал на различные литературные мероприятия, до которых был тогда охоч. Она, как любительница фуршетов, приходила и потом давала информацию об этих тусовках.

В то время были в чести длинные заголовки с бойким уклоном. Например, после посещения какого-то вечера японской поэзии, возвращенной на местном гумусе, журналистка дала своему материалу такой заголовок: «По Москве ходят танки, а мы читаем танки». Шел 1993 год.

На этом энтузиазме я и предложил редакции стихотворный слоган для какой-нибудь глубинной полосы. На злобу, так сказать, дня:

Ждали — свежая волна! Пригляделись — из говна...

Внезапно они буквально загорелись: дадим на первую полосу в ближайший номер! Но потом благоразумие всё же взяло верх, горячие головы охолонули, и слоган на страницах «Часа Пик» так и не появился. Ни на первой, ни на какой-либо другой полосе.

А жаль. Все последующие годы, по моему разумению, он актуальности не терял...

СЛЕДОВАТЕЛЬ

В середине 90-х годов вызвали меня к следователю по делу о газете «Невский глашатай», в которой я тогда работал. Помню, это было на Лиговке, недалеко от Московского вокзала.

К делу было притянуто и российское телевидение в его петербургской ипостаси. Его (дело) видимо посчитали настолько важным, что пригласили следственную группу из Пскова, т.к. на наших городских пинкертонов якобы могло быть оказано «давление».

И вот сидит передо мной молодой круглоголовый паренек с усиками. Внешне похож на одного актера второго плана, изображавшего следователей в советских фильмах о милиции. Однако до тех образцовых персонажей ему явно далеко...

Вид у него был сильно похмельный. Под правым глазом красовался свежий синяк (видимо, кто-то ему накануне навесил с левой руки). В одежде тоже легкий беспорядок. Вырвался, видимо, из дому, большой город, то да сё...

Он сидит передо мной (вернее, я перед ним), правая рука у него локтем на столе, ладонка прикрывает фингал. Изображает задумчивость над бумагами. Я отвечаю на его вялые вопросы. Но по обстоятельствам дела «показать» ничего не могу — не принимал, не передавал...

И появляется у меня мысль — ведь это я в своем нормальном, не похмельном виде, не битый, должен бы сидеть здесь в качестве следователя. А он в своем нынешнем обличье как раз и есть готовый подозреваемый... (Но, конечно, не по экономическому делу, а по какой-нибудь бытовой «хулиганке».)

В общем, помучались часок, подписал я ему протокол, и разошлись.

90-ЛЕТИЕ «ПРЕТЕНДЕНТА»

23 марта 2021 г. исполнилось 90 лет со дня рождения Виктора Корчного (1931 — 2016). Для меня он входит в тройку великих неудачников, которые чуть-чуть не стали чемпионами мира по шахматам (первые два места, конечно, занимают австриец Шлехтер и Давид Бронштейн).

В 1978 г., во время матча с Карповым, советская пресса называла Корчного обезличенно — «претендент» (до недавнего времени существовал у нас и еще один обезличенный — «блогер»).

В Ленинградском Дворце пионеров 13-летний Витя записался сразу в три кружка — литературный, музыкальный и шахматный. Победили шахматы, где не важны дефекты речи при мелодекламации и наличие собственного пианино дома.

Интересен эпизод о встрече Корчного в Америке со Светланой Аллилуевой из его книги «Шахматы без пощады».

«Однажды, зимой 1980–81 года мне позвонила дочка Сталина, Светлана Аллилуева, и пригласила к себе. Как ей удалось найти мои координаты — не знаю; вероятно, у нас оказались общие знакомые. Дочь Сталина жила в то время в окрестностях Нью-Йорка. Я приехал на поезде. От станции она подвезла меня к себе домой на машине. (...) Светлана испытывала страшный гнет ответственности за преступления, совершенные Иосифом Джугашвили-Сталиным. Вот пример: "У меня много друзей в Западной Германии", — говорит она. "Ну, поезжайте туда, повстречайтесь с ними". "Но как я могу?" "Что вы, — говорю я, — ведь это сейчас самая демократическая страна в мире!" "Да, но ведь она разделена!" "Ну и что?" "А кто в этом виноват?!"

Пришла из школы дочь Светланы. Она сидела тихо и не обращала никакого внимания на наш русский говор. Мать общалась с ней по-английски, притом, что английский язык Светланы был не слишком богат и фонетически не очень чист. Почему она не учила дочь русскому языку? Из опасения, что и на внуку падет проклятие за злодеяния ее деда? Нет, нелегкая доля выпала наследникам тирана XX века...»

Мой институтский одноклассник Леня Беляев, кандидат в мастера, вращавшийся в шахматных кругах, рассказал мне байку, родившуюся во время матча в Багио. Когда счет был 5:2 в пользу Карпова, председатель шахматной федерации СССР космонавт Севастьянов полетел на Филиппины поздравлять победителя (матч шел до шести побед без учета ничьих). Лететь надо было с длительными пересадками. На первой, где-то во Владивостоке, ему сообщили, что счет стал 5:3. Когда приехал в Манилу, счет стал 5:4. Пока добрался до Багио — 5:5...

Корчной играл до последних дней. Получал приглашения и выезжал на турниры из маленького швейцарского городка Волен, где провел последние годы жизни и где его хорошо знали. Он так и не наигрался...

ГРОССМЕЙСТЕР И ПИАНИСТ, ИЛИ НАОБОРОТ?

Как-то раз играл в шахматы по интернету с одним немцем, и он спросил: «Вы знаете гроссмейстера Д.? — он русский, чемпионом Германии был...» — «Нет, — написал, — знаю "старых мастеров" — Спасского, Корчного, Тайманова...»

Марк Тайманов (1926–2016) был профессиональным концертующим пианистом. Собственно, и в шахматы попал случайно, зайдя от нечего делать в шахматную секцию Ленинградского Дворца пионеров после занятий музыкой. Видимо, в отличие от Корчного, у него дома было пианино.

После его поражения 0:6 в претендентском матче от Фишера (последнему приписывают слова «Я ему доказал, что он только пианист», а Тайманов впоследствии выпустил книгу «Я был жертвой Фишера») неприятности у него только начались. По возвращении у Тайманова изъяли на таможне книгу Солженицына. Говорят, знакомый начальник таможни сказал ему доверительно: «Марк Евгеньевич, да если б вы у Фишера выиграли, я бы вам полное собрание Солженицына сам до машины донес!»

Начались проработки — и на идеологическом, и на шахматном фронтах. Мог лишиться стипендии, быть исключенным отовсюду, и т.п. Спас его, отчасти, Бент Ларсен, также проигравший Фишеру 0:6...

Есть анекдот, приписываемый Ростроповичу.

— Вы знаете, у Солженицына большие неприятности...

— ???

— У него на таможне нашли книгу Тайманова «Защита Нимцовича»!

РОКОВАЯ ДАТА

Мама умерла 5 февраля 2020 г., день в день на 25 годовщину смерти отца, умершего 5 февраля 1995 г. Умерла вечером, помянув его вместе со мной днем, съев последний в своей жизни мандарин и отказавшись от глотка коньяку.

А недавно, пересматривая бумаги об ее отце, моем деде, Иване Евграфовиче Травкине, обнаружил в прокурорском ответе на запрос о нем, что был он арестован 5 февраля 1940 г. В декабре того же года осужден, и в 1942 г. умер в лагерях, в Коми.

С этой даты — 5 февраля — и пошли все беды их семьи. Бабушка осталась одна с четырьмя детьми на руках, денег не хватало. Пришлось переехать в меньшую квартиру. Снять на лето дачу в Мариенгофе, как в прошлые годы, стало уже не по карману. Маму с младшим братом Веней в начале каникул в 1941 г. отправили к родственнику в Калининскую область. Но тот вскоре после начала войны выставил их из дому, отправив к другим родственникам за несколько десятков километров.

Так начались их скитания по оккупированным территориям, брат пропал без вести. Всё это она описала в своих «Воспоминаниях о войне», опубликованных в журнале «Звезда» уже после ее смерти (№1 за 2021 г.). Ее средняя сестра Вера умерла через год после окончания войны от туберкулеза, приобретенного в эвакуации.

Вот так — пятым февраля началось, им же ровно через 80 лет и закончилось. Осталось только ждать — проявит ли себя вновь эта дата...

2020, 2021



Богдан АГРИС

/ Химки /

* * *

я вырастаю по воздуху вон
я восхожу во ячеистый звон

врановым клёном клейким крылом
я вывожу родниковый шелом

памятью плетью соломенных рек
я возгоняю щебечущий снег

а во жнивье голова высока
а во скамье стволые века

боги поют в щелевую капель
скоро уже переносный апрель

* * *

на стадах больших нездешних
тонкий склон исподтишка
и страницы кочевые
на весёлой кромке век

оттого такое время
что в кольце обратных птиц
есть невольное начало
и не знаешь ничего

почему земля дневная
и чему нельзя помочь
что по склону херувима
мы не начаты ещё

* * *

то палевый апрель ко световым низинам
снисходит запросто наплывом воробыным
лепечет искоса ворсится под дождём
он есть но не рождён

когда бы мне вшептать в его намокший ворс
все сны замытые все жесты вестовые
всё что казалось было не всерьёз

весь этот воробыный словоёр-с
его подвижные кривые

о как всё выскажешь в одышке и впроброс

* * *

вы ветры сонные во световой золе
во ивняке обрыв пастушьей окарины
пойдём во гороскоп двухконтурных полей
а ну без робости а ну давай смелей
ветрам отвеивай осколок тополиный

остылый говорок немазанной оси
давай отстёгивай небесный что ли купол
звезду клади к звезде смотри не перепутай
о хлопанье в ночи воздушных парусин
и ясеней скупые купы

* * *

ты восходящий вне
по облаку лекала
смотри как наравне
зегзица возникала

выплёскивала плоть
звучащую резную
а время потекло
в закраину лесную

* * *

за кружевом в листве окне
окружим в звезде огне
по имени ли по луне

где сад медвян и клочковат
здесь голубями ворковать
здесь имена не воровать

где озорные голоса
какое имя этот сад
не прозелень а небеса

о как же ты ещё тонка
во безымянных мотыльках
селена веточка рука

* * *

...ластенька милая ластенька славная...
Олег Юрьев

и не волной не янтарём
не получасовой зарёй
но именем но летом
но ливнями но летой

о сколь воскрилия остры
легли они светло
лия небрежные мосты
на лепестковый монастырь
на леденец петров

о ластенька моя лети
где на помине авентин
во российские рябины
во порски голубины

зегзица лествица зигзаг
как вхожа ты во образа
во сизариных сёлах
канун вещей весёлых

над самовитою невой
лия кораблик звуковой
во ливне краснотала
лицо моё летала

черкни крылами письмоцо
где вся изнанка налицо
а мне ответить нечем
а всё же я отвечу

* * *

не около но ливневый двойник
обмолвка серпантинная птица
большие окна провожатых книг
которых не пристало сторониться
веленевые вербы второпях
сиреневые оскользны впротяжку
и кто приходит в тонких воробьях
вернуть неосторожную побряку

не камней но расплескайся всклянь
будь оборот набросок и зачаток
смотри как ходит обморок-пискля
как пляшут зазеркальные бельчата
о провода ещё мне далеки
о разве спрехвала с лентой покато
мне элизейски эти мотыльки
во померанце майского заката



Ганна ШЕВЧЕНКО

/ Жуковский /

* * *

Плывут по небу радужные танки,
желая мне свободы, но не суть,
я электричку жду на полустанке —
ни выдохнуть, ни рухнуть, ни вздохнуть.

Идет в Фейсбуке третья мировая,
товарищи выходят на пикет,
пока в подсобке что-то домывает
буфетчица в высоком колпаке.

Наделал шума поезд проходящий,
взрывая снег вагонным колесом —
мне кажется, что мир ненастоящий,
он голограмма в воздухе косом.

Я заказала кофе странной даме,
которая рыдает за стеной,
но что-то приключилось с поездами,
и, в некоторой степени, со мной —

я увидала, как большие птицы
закапывают зерна в чернозем,
и если невозможное случится,
и мы с тобой войну переживем,

мы будем неразрывными со всеми,
мы станем небосвода голубей,
как сталь,
как остановленное время,
как стая привокзальных голубей.

* * *

Изучив свою нишу
в сводках необозримых,
маркетологи пишут:
ликвидируем зиму;

скидка сорок процентов
для бродяг и скитальцев —
мне бы каплю абсента
и перчатки без пальцев.

Помню стихотворенье
о пространственной квоте,
то ли Генриха Гейне,
то ли Вольфганга Гете —

там звучит через годы
музыкальная лира
и желают народы
ликвидации мира.

Ну а я не желаю,
покоряться народу —
в полнолуние лаю
и ношу свою воду,

а когда иноверцы
мою правду отринут,
отнесу свое сердце
на Малаховский рынок.

* * *

В двенадцать по Москве три дня тому назад
ты съела апельсин и вылетела в сад,
я видела тебя, но кто ты, не пойму —
ты съела апельсин, и вот уже в плену
твоих зеленых крыл, твоих чернильных глаз,
и сад, и магазин и даже космонавт,
который пролетел в ракете над землей —
ты съела апельсин, сверкая чешуей,
и вылетела в сад три дня тому назад,
и вот уже три дня мой сад зеленоват,
и облако над ним белее голубей,
и небо с каждым днем светлей и голубей;

но кто ты, не пойму, пожалуйста, ответь,
ты рыба или слон, трава или медведь,
а может быть ты мой зеленый побратим —
мы то, что мы едим, мы то, куда летим.

* * *

Я летнюю майку куплю себе в O`Stin,
весна на подходе, заглядывай в гости,
пойдешь по Страстному — сворачивай в арку,
у нас тут проверки, приедет пожарка,

мы чайник поставим и встретим начальство,
посадим тебя и Фетиду на царство,
убьем Минотавра — какая нелепость
весь этот дурной героический эпос.

Мы вымыли дочиста двери и стекла
и ждем спозаранку тебя и Патрокла,
сердца наши жрет городская Химера,
мы страшные твари — герои Гомера.

Как несокрушим человек в своей массе —
я стойко дежурю в компьютерном классе,
не знаю, ты рад ли такому прогрессу,
бояться ли гугла тебе, Ахиллесу;

аккаунт открою — в окно приземлится
то красная птица, то желтая птица,
то белая ночь, то железная птица.

* * *

Автобус прозрачный почти,
апрель, середина пути,

бегущая тряска, и там
среди молодящихся дам

сидит незаметно одна,
на поле глядит из окна,

а поле, ромашковый кит,
за белой маршруткой летит,

то делает мост на бегу,
то вертится на берегу,

а то неожиданно — скок —
ныряет в холодный песок,

внутри антрацитовых вод
то вправо, то влево плывет,

то вдруг утыкается в пах
скалы водяных черепах,

и вот уже нет ни воды,
ни литературной среды,

одно лишь сияние в том
месте, где строится дом.

* * *

Ветер, сломанная ветка,
переполненные лужи —
я, вот, думаю нередко,
для чего все это нужно;

может, для великой цели,
обозначенной богами,
чтоб фигуры Церетели
попадались под ногами;

или для большого взрыва
где-нибудь внутри Вселенной,
чтобы плачущая ива
раскачалась непременно;

или в секторе обмена
нас задумали из глины,
чтобы где-то непременно
повстречаться мы могли бы?



Михаил СИНЕЛЬНИКОВ

/ Москва /

ЛЕТОМ В ГОЛИЦЫНЕ

*(Маленькое воспоминание
и неизвестное стихотворение Арсения Тарковского)*

Однажды летом, я навестил Арсения Александровича на его голицынской даче (где много позже мне пришлось по приглашению Тарковских в одиночестве провести полгода, но тогда это ещё были для меня малознакомые места). Очевидно, этот эпизод относится к июлю или августу 1974-го года (дневника я, увы, не вёл, но так, примерно, выходит по моим хронологическим выкладкам). Подмосковный день был прекрасен, роскошен, солнце сияло, то и дело выглядывая из кучевых облаков, деревья шумели, шелестели и наделяли своим бодрящим вдохновением; усидеть в закрытом помещении было невозможно. Тарковский сидел во дворе, за вкопанным в землю круглым столом, под дряхлеющей, теряющей кору и дрожащей мелкой дрожью березой, и что-то писал или чертил на листе бумаге. При ближайшем рассмотрении выяснилось, разумеется, что это было начатое стихотворение. Вероятно, Арсений Александрович мог бы посетовать на то, что моим визитом нарушен, так сказать, творческий процесс. Но в те годы, предшествовавшие веющему ещё чуть поодаль времени последних удач, последнего взлета, писал он мучительно и с чувством глубокого недовольства собой. Увидев меня, он выразил живейшее удовольствие и отодвинул в сторону черновик. На стол была поднята опиравшаяся на березу бутылка сухого красного вина. Марку забыл, но оно было отличным на вкус и быстро пьянящим — может быть, доставленное из Грузии. Увлечшись вином и разговором и постепенно переходя на другую бутылку с напитком меньших достоинств, мы настолько забылись, что в паузе невзначай оба опустили свои стаканы на позабытую рукопись... Разговор шел, конечно, о поэзии. В частности, о сравнительно недавнем стихотворении самого Тарковского, посвященном исчезновению ремёсел «Мне другие мерещатся тени, / Мне другая поёт нищета. / Переплётчик забыл

о шагреню, / И красильщик не красит холста...». И так далее... По моему глубокому убеждению, это в итоге не только одно из наиболее удавшихся стихотворений Тарковского, это одно из тех, для которых поэт рождается поэтом и приходит в дольний мир. У поэтов, по счастью, случаются блистательные импровизационные удачи, которые, бывает что, и перекрывают воплощение давних, иногда многолетних замыслов. Не всё же так важна и неслучайность создания, выношенность. А стихи об исчезновении предметов былого обихода («Вещи») и привычных ремесел — кровная тема Тарковского.

Стихотворение об участии российских ремесел Тарковский читал мне и раньше. Между прочим, с юношеской ещё дерзостью я предлагал произвести перемены в одной строчке. Вместо «Наблюдать умирание ремесел — / Всё равно что себя хоронить» сделать менее изысканное, простое, более, может быть, современное: «Тяжело, как себя хоронить». Но Тарковский, поразмыслив, не согласился. И был, как однажды мне стало понятно, прав. Поскольку, дорожил не только оттенком смысла, но и этим звуком — варьирующимся «р». Кажется, придающим скорбной строке большую протяженность... Однако, в новом варианте текста Арсений Александрович сам произвел другое, в конце концов, несравненно более важное изменение. Притом в заключительной строке. Стало: «И уже электронная лира / От своих программистов тайком / Сочиняет стихи Кантемира, / Чтобы собственным кончить стихом». Но я помнил первоначальную редакцию: «Чтобы Блоковским кончить стихом». Это было красиво. И даже, пожалуй, несмотря на мировой пессимизм автора «Стихов о Прекрасной Даме», как-то оптимистично. И, конечно же, я спросил, куда делся «Блоковский стих»? Но творческое решение уже было бесповоротно принято. И верно: кто мог бы тогда (впрочем, и сегодня) угадать причуды искусственного разума! И уж вряд ли кремниевая цивилизация повернется своим непредсказуемым ликом к Блоку.

На память о застолье Арсений Александрович подарил мне замечательный листок черновика. Замечательный и потому, что на нём четко отпечатались два обода, два оттиска от наших стаканов. И что же он, этот лист, слегка окрашенный красным вином? «Не жертва ли небытию?» — как восклицал в подобном случае один великий поэт Запада.

Нет. Я вижу, что четверостишие с перечеркнутыми строчками и словами, в соседстве с перечёркнутыми же набросками следующей строфы, живо.

Выглядит это вот как... Первая строка: «Мир стоит на крови, Петербург — на костях» (Но слово «Петербург» зачёркнуто и поверх надписано обобщённое «города»). Вторая: «Книга правды лепечет своё, как ребёнок (но и здесь возникли колебания и вместо окончательно выбранного слова «лепечет» раньше возникали

«стоит» и «твердит»). Третья строка явилась готовой: «Жизнь-флейтистка играет, едва из пеленок», но в четвертой существенная правка была сделана. Вместо первоначального «На могиле отцовской у смерти в гостях» стало: «На могилах отцовских — у смерти в гостях». То есть личная судьба стала всеобщей.

Дальше на листе следуют четыре перечеркнутые строчки, в которых речь идет о жизни и смерти (впрочем, о том же, самом главном, и все поздние стихи Тарковского). «Такт в сапожках сафьяновых...» Кончик строки залит вином, только спектральный анализ мог бы помочь. Зачеркнуты слова «ну давайте» и «смерть», зачеркнут и зачин разбегающейся последней строчки: «А сапожки у жизни...». Но нет, не вышло. И не думаю, что из-за моего вторжения. А потому, мне кажется, что в оставшемся, выписанном четверостишии уже есть некоторая завершенность, не требующая продолжения. Думаю, что это маленькое, но законченное стихотворение о жестокости бытия, и сущностного и исторического:

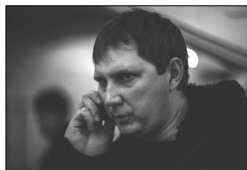
* * *

Мир стоит на крови, города — на костях.
Книга правды лепечёт своё, как ребёнок,
Жизнь-флейтистка играет, едва из пелёнок,
На могилах отцовских — у смерти в гостях.

...Вот и десятилетия пролетели, и жизнь прошла с большим ускорением. И где же она там и что же наконец споёт электронная лира?

Игорь КУНИЦЫН

/ Домодедово /



* * *

Всё вокруг ненастоящее
как неверная строка,
как на ниточках висящие
в низком небе облака,
как дороги в ливень склизкие,
хоть об стенку бейся лбом,
облака такие низкие
в небе бледно-голубом,
мир со всеми причиндалами
за границами глазниц
с облаками небывальными
распластавшимися ниц,
ибо всем без исключения
явным видится пока
всё, что выше по течению.
Всё, что ниже — облака

* * *

Все персонажи сна являются тобой,
что для тебя огромная проблема,
когда даёт невероятный сбой
расшатанная нервная система.

При выключенном свете после сна
руками машешь, ёрзаешь ногами,
но вскорости становится ясна
вся химия, что властвует над нами.

Вся физика и проч., и проч., и проч.,
покуда жизнь по дантовому мкаду
тебя ведёт, и ты идти не прочь,
куда тебе и надо и не надо.

* * *

сегодня я встретил гения
он брёл по кривой дорожке
гнались за ним знамения
милиция и неотложка

летели за ним проклятия
и били напрасно молнии
а он говорил — апатия
и в этом была ирония

я молча курил в сторонке
он мне улыбнулся искренне
и рухнуло небо с полочки
и Млечный взметнулся искрами

* * *

Старушка встряхает половики,
мальчишка смотрит вдаль через тетрадку,
пересекает улицу старик.
В чём смысл жизни? — отгадай загадку.

Куда старик всё лето неустанно
уходит, спотыкаясь, день за днём.
Конечно не агент он иностранный,
но что-то есть таинственное в нём.

Расслабленно глядит по сторонам,
так Ахиллес поглядывал на Трою.
На днях я перелистывал роман
с повествованием от лица героя.

На корабле он прибыл из Европы
в Америку, прозрачный как вода.
Беднягу недолюбливают копы.
Он видит тщетность честного труда.

Герой не унывает, и тогда,
устроившись работником театра,
он едет в Оклахому.
Вот так да!
Какой здоровый залетел комар то.

Он вызывает ужас у людей.
Но я тебя не трону, карамора,
лети во двор, нектар цветочный пей,
на кухне накутившись Беломора.

* * *

Вчера закончился июль
в горячих точках свистом пуль,
в холодных — скрипом раскладушек
и залпами парадных пушек.

А чем закончился июнь?
Так быстро пролетели будни.
А воскресенья были? Тут не
возможно вспомнить. Ну и плюнь.

А был ли май? Не знаю точно.
Апрель и март, за ними мрак.
Сегодня август, кипяточно.
Такого слова нет, дурак.

* * *

мне Аня подарила пепельницу
а то я всё тушил окурки в кружке
на ручку нажимаешь точно мельница
она окурки убирает тут же

который день я радуюсь что знает
жена о том что мне по жизни нужно
и лишь в шкафу забытая пустая
тоскует обездоленная кружка

ДОМОДЕДОВО-ЛЕПИК

Я побывал в Париже виртуально,
и это было супергениально.
Я посетил известные места
и натурально сбросился с моста.

Меня спасла француженка одна
красивая, довольно виртуозно
подняв мой труп с коричневого дна
холодной Сены, если несерьёзно.

Она меня по улице Лепик,
вмиг оживив французским поцелуем,
ввела в свой дом, и я к нему привык
как к Пушкину, что был непредсказуем.

Проснулся утром после Шардоне,
любовных игр, и крошку круассана
смахнув с плеча, в распахнутом окне
я весь Париж увидел без изъяна.

Кривой Лепик брусчатый и пустой
в рассветный час предстал передо мной
похожий на московский переулок
для пешеходов предназначенный прогулок.

Записка говорила на столе
под блюдом с фруктами француженки прекрасной:
«Приду с работы за полночь... во мгле.
Смотри Париж, читай Камю, будь классный».

«О эти европейцы, — думал я, —
беспечный взгляд, гуманные замашки.
О эти Елисейские поля,
растущие на них многоэтажки».

Мне кажется, что шаг один ступлю
и окажусь в Испании мгновенно.
Какому-нибудь гранду-королю
я наступлю на пятку непременно.

Меня отправят сразу на костёр,
отрубят голову, отравят страшным ядом.
Но это лучше, если б на ковёр
позвал директор клиники за МКАДом.

Поставил пиво, дал мне закурить,
направил свет в лицо как на допросе:
«Что делал ты во Франции, юнит?
Где свой мундир от Зайцева ты бросил?»

А что сказать, француженка моя.
Я умер и воскрес в аду повторно.
Ем круассан. Камю потряс меня.
Живу как принц. Толстею от попкорна.

Виктор ЕСИПОВ

/ Москва /



* * *

Я бледнею при ней и краснею —
ростом мал, ну и не знаменит,
но условились встретиться с нею
на бульваре, где Пушкин стоит.

Неужели придет в самом деле?
Захотелось пригубить вина!
Небо хмурилось, листья летели,
наконец появилась она.

Дорогая моя, дорогая,
я ж поклонник восторженный твой!
Вместе, слаженно в ногу шагая,
прошвырнулись мы с ней по Тверской.

Я в кафе предлагал ей учтиво
заглянуть иль в какой ресторан,
но она поглядела игриво
и ответила: «Но пасаран!»

А в метро, неземное создание,
улыбнулась мне — мол, не горюй,
и в печальный момент расставанья
подарила мне вдруг поцелуй.

* * *

Гряда облаков, как из жести,
над снегом, над парком — вдвоём,
хоть чем-то мы связаны вместе,
а всё ж параллельно идём.

Дорожкой — не той, что короче,
а той, вдоль которой забор, —
прогулка приятная очень,
сердечный такой разговор.

Такие простые подарки —
улыбка и взгляд вместо роз,
прогулка в Лефортовском парке,
когда минус десять мороз.

* * *

Весь в солнце в такую погоду
у дома напротив фасада,
моё же окно не к восходу,
а смотрит, увы, на закат.

Позавтракав, чаю напившись,
тасуя с предлогом глагол,
сизжу себе, облокотившись
локтями на письменный стол.

На полке Тарковский, Чухонцев,
с пасхальной раскраской яйцо,
как вдруг отражённое солнце
ударит мне прямо в лицо...

* * *

Как мыслям не прийти тревожным —
поближе к полночи, не днём,
на повороте внедорожник
и слева дама за рулём.

Колеса вывернуты круто,
в полночный час в чужом дворе
она звонит, звонит кому-то
в тревожно-вьюжном январе.

Кому? Наверное, мужчине.
Как отпустил такую он?
Сидит одна в большой машине
и в правой ручке телефон.

* * *

Привязана собака
у входа в магазин,
безродный симпатяга,
обычный сукин сын.

В глазах собачьих — слёзы,
в газах — немой упрёк,
обмотан вкруг березы
красивый поводок.

Курчавый, серой масти
заливистый барбос —
струится пар из пасти
и красной кнопкой нос.

«Ах, что же это будет,
коль не придёт назад?..» —
он думает, и люди,
участливо глядят.

Вот сбоку встал зевака,
за ним ещё один...
Привязана собака
у входа в магазин.

* * *

Там по утрам будил вороний грай
и было много неба, много света,
и тяжело погромыхивал трамвай,
тащась устало мимо райсовета.

Откуда эта тяга вспоминать:
нож перочинный, стружки-завитушки,
там рядышком ещё отец и мать
в двенадцатиметровой комнатухе.

С железной крышей двухэтажный дом,
убогий быт, всегда с деньгами туго —
сарай, голубятня за коном,
где собиралась в праздник вся округа.

Не в праздник, а скорее в выходной —
её владелец местной был звездой,
он с топором гонялся за женой
после полочки каждой с перепоею.

Там водка стоила два восемьдесят семь,
«Столичную» за три двенадцать брали —
среди тех событий важных и проблем
вдруг и такие вспомнятся детали.

Мужская школа, тучный завуч крут,
спортзал, химичка — страшная зануда,
а после школы — рыбный институт
и берег тимиразевского пруда.

Там встречи с ней...Такие вот дела,
картинок столько в памяти роится...
Как ни убога молодость была,
а всё б отдал за то, чтоб возвратиться.

* * *

Так где ты, такая взрывная,
твой пафос, твой греческий нос,
талантливая, молодая,
с льняными ручьями волос?

Ты зря свой потратила порох,
ведь поиски истины — миф,
она не рождается в спорах,
но спор порождает разрыв.

Дай знак: позвонить тебе можно
иль мы расквитались навек?..
Торжественно и осторожно
сочится сквозь сумерки снег.

* * *

На фотографии отца,
она без подписи, без даты,
не пыль, а времени пыльца,
где дни событиями богаты.

След непарели по лицу,
что проступает с оборота —
не скажешь, сколько лет отцу,
в глазах печаль или забота?

Уже явился я на свет
иль нет меня ещё в помине,
о чём кричат столбцы газет,
какие новости в Берлине?

Скрывает столько между строк
печати шрифт подслеповатый —
когда листаешь, как урок,
полуистлевший каталог
забытой выставки в тридцатых...

* * *

Снова цветут каштаны
(почти уже отцвели) —
как будто в дальние страны
идущие корабли.

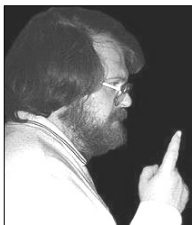
Под белыми парусами
сквозь майский нежданный зной
меж блочными корпусами
плывут они над землей.

А я вспоминаю песню,
сбиваюсь в речитатив —
роднили Крещатик с Пресней
слова ее и мотив...

Теперь времена другие
в больных головах разброд —
в Москве, вспоминая Киев,
никто ее не споет.

* * *

Вам как, не знаю, ну а мне не нравится
(пусть кто-то рядом скажет: повезло!),
когда с улыбкой женщина-красавица
вдруг уступает место мне в метро.
Она встаёт, прекрасное создание —
на мой внезапный ужас и позор,
как будто я в судебном заседании
себе суровый слышу приговор...



Александр БАЛТИН

/ Москва /

МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ ХОДЫ ВЛАДИСЛАВА ХОДАСЕВИЧА

1

Замереть перед зеркалом, вглядываясь в себя, как в портрет времени, тшась расшифровать бездну собственного «я», будучи спелёнутым заблуждением отождествления одного со своим телом...

Я, как дикое слово; подлинное «я», как отрицание «я» привычного, седеющего, стареющего...

Разворачивается жёсткое, жестокое к себе, хрестоматийное: «Я, я, я. Что за дикое слово?»...

Многим существует поэзия — своеобразная сумма сумм; многим она значительна; но есть в ней момент, связанный с мучительным пунктом: узнавание многими описываемой ситуации.

Или — ситуации живописанной: ярко и мощно, благодаря системе рифм и размеров...

И вот — кто не испытывал в определённом возрасте мук, переданных в шедевре Ходасевича?

Кто не сталкивался с напраслиной необходимого поиска?

...не говоря уже обо всех тончайших нюансах этого стихотворения — бархатного, чуть влажного, и вместе кристаллически-твёрдого... Стихи Ходасевича вообще тверды: лишнее в их устройстве не подразумевается: только суть.

А суть — от соли, чьи крупинки всегда находятся в соответствии с понятием «мера».

Проходит сеятель по ровным бороздам.

Отец его и дед по тем же шли путям.

Сверкает золотом в его руке зерно,

Но в землю черную оно упасть должно.

И там, где червь слепой прокладывает ход,

Оно в заветный срок умрет и прорастет.

Тень Экклезиаста мерцает в дали, и нечто ветхозаветное (чуть ли не с тою же мощью) проступает через такие ясные строки.

Ясность выше простоты, ибо последняя бывает хуже известно чего...

Стихи Ходасевича — магические кристаллы, где смыслы нарастают новыми гранями, любая из которых сверкающая.

Картина ли жизни, пейзаж, психологический портрет, шутка — всё с блеском даётся в разнообразном мире Ходасевича.

Во дни громадных потрясений
Душе ясней, сквозь кровь и боль,
Неоцененная дотоль
Вся мудрость малых поучений.

«Доволен малым будь!» Амины!
Быть может, правды нет мудрее,
Чем та, что вот сию в тепле я
И дым над трубкой тих и синь.

Сухость и чёткость, и...нечто от пути дервиша, познавшего так много, что высказываться можно только кратко, предельно мускульно...

И вновь, точно совершив круговое движение, читательская душа возвращается к метафизической теме зеркала, и себя перед зеркалом (без нарциссических моментов, разумеется), и вновь звучит классическое стихотворение Ходасевича, не давая ответа на вопрос, но заставляя душу работать в предельном режиме напряжения...

2. ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

Путём зерна идёт цивилизация; история, всё усложняющаяся и усложняющаяся, вынуждена совершать этот же путь, коли нет вариантов роста.

...а всеобщий, постепенный, очень медленный рост есть цель истории: не слишком отчётливая, но очевидная, когда приглядеться.

И вот В. Ходасевич обозначает этот путь в кратких, библейски звенящих, очень ясных внешне и перенасыщенных раствором метафизики стихах:

Проходит сеятель по ровным бороздам.
Отец его и дед по тем же шли путям.
Сверкает золотом в его руке зерно,
Но в землю черную оно упасть должно.
И там, где червь слепой прокладывает ход,
Оно в заветный срок умрет и прорастет.
Так и душа моя идет путем зерна:
Сойдя во мрак, умрет — и оживет она.

И ты, моя страна, и ты, ее народ,
Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год, —
Затем, что мудрость нам единая дана:
Всему живущему идти путем зерна.

Круг извечности: касающийся каждого: а любой есть клетка народа и социума; круг движения стран и цивилизаций ярко блистает в не большом стихотворение.

Есть и другой полюс — свидетельствующий о глубине восприятия жизни: стихотворение «Перед зеркалом» — там отвращение к себе, как следствие внутренней работы: постоянной, крепкой, тяжёлой; это отвращение, зовущее к совершенству — недостижимо-му, но такому желанному...

...помимо поэтических высот — пойманное состояние и ощущение знаком многим, если не большинству, живущих; как и сомнение: неужели вот эта внешность, этот плотский куль и есть я?

Ведь должны же быть иные измерения...

Так, высоты, продемонстрированные Ходасевичем в двух этих перлах, убеждают во многом...

3. ХОДАСЕВИЧ-КРИТИК

Тютчев, Сологуб, Державин...

Ходасевич-критик чрезвычайно наблюдателен: ни одно движение мысли великих предшественников, воплощённое в строках, не ускользнёт от чёткого, остро сфокусированного взгляда...

Вместе — необыкновенная тонкость отличает его статьи: шкала этого качества не разработана ни в психологии, ни, тем более, в литературоведение, однако, читая и перечитывая статьи Ходасевича, думаешь именно о ней: о погружение в мир, где надо иметь дело с тенями и оттенками, с изумительными отливы, с привкусом неба, и ощущениями, касающимися тайных полей личности.

Он пишет красиво и выпукло; и выразительность статей такова, что вроде бы с детства известные стихи классиков воспринимается по-новому, словно стекло протёрли.

Мускульная сила и энергия фраз!

Они — точно продолжение собственных строк Ходасевича: таких сильных, столь пёстрых...

В «Некрополе» — книге и мемуарной, и критической — Ходасевич ткёт, соплетает, прорисовывает портреты поэтов серебряного века: тех, кто собственно и посеребрил его; он их вспоминает, и точно перевоссоздаёт; он их изучает, и вместе просто рассказывает о них.

История становится очевидней.

История литературы — как часть общего процесса глобальной истории — становится более выпуклой и интересной благодаря прозаическим работам большого поэта В. Ходасевича.

4. ФОРМУЛА СОЗНАНИЯ

Жизнь, густо наполняющая сознание разной разностью, не фильтрует содержание оно́го, и процент нелепого и ненужного здесь очень высок.

Плюс — поднимающиеся из бездн оттенки всех сортов страха, страстей, индивидуального, не столь опасного безумия...

Можно ли всю эту крепко заваренную кашу адекватно отобразить?

Не говоря — отменить, очистить сознание до пределов, когда человек становится нищим духом: то есть столь чистым, что готов приняв высшее, золотящееся содержание?

На счёт последнего сложно, а вот выразить вечное бурление в краткой, компактной, поэтической формуле оказалось возможным:

Перешагни, перескачи,
Перелети, пере- что хочешь —
Но вырвись: камнем из пращи,
Звездой, сорвавшейся в ночи...
Сам затерял — теперь ищи...
Бог знает, что себе бормочешь,
Ища пенсне или ключи.

Так звучит маленький шедевр Ходасевича, показывающий постоянную интенсивность работы сознания, подсознания, надсознания...

От последнего — плохо изученного и вообще мало постижимого — здесь «перелети» — всё низовое, пустое, скверное, и «звезда», и «камень из пращи» — вполне достаточно, и всё это из поэтического арсенала, манящее, сулящее...

Вечное стремление взлететь логично для поэта: он и взлетает — в лучших своих творениях.

Но снова приходится низвергаться: в плотскую реальность, в бездны быта...

Снова.

Финал стихотворения об этом.

Но никто, кажется, лучше не передавал неистовость вершащегося постоянно в сознание, чем Ходасевич этим семистишием.

5

Есть нечто математическое в стихах Ходасевича: великолепный расчёт, выверенность слов, точно входящих друг в друга, включающих другие варианты:

Я помню в детстве душный летний вечер.
Тугой и тёплый ветер колыхал
Гирлянды зелени увядшей. Пламя плошек,

Струя горячий, едкий запах сала,
Взвивалось языками. Тени флагов,
Гигантские, шныряли по стенам.

Равномерный, красивый баланс между существительными, глаголами, прилагательными; и вместе — высота порыва, влекущего поэта ввысь и ввысь, сколь бы мрачным он ни был.

Никто не назовёт Ходасевича оптимистом.

Никто не упрекнёт его в избыточном жизнелюбие.

Он точно свято верующий — без формальной религиозности: суров, справедлив.

Таковы и стихи.

Ущерб, наносимый весной: так мало кто чувствует:

Как замирает голос дальний,
Как узок этот лунный серп,
Как внятно говорит ущерб,
Что нет поры многострадальней!

Так чувствует Ходасевич — этого вполне достаточно, ибо способен он выразить нечто тончайшее, прихотливое, сквозящее, что и выражению поддается так плохо...

* * *

Краткость стихотворения: Перешагни, переступи — включает в себя такой бурный космос.

Словомешалка, вечно крутящаяся в голове любого, круто составленная из планов, мыслей, расчётов, страхов, мечтаний, обрывков песенок или мелодий — клочья и клочки противоречат целостности жизни, которой нет, которая необходима.

Несколько строк стихотворения будто иллюстрируют бурю сознания: у каждого своя, в каждом — такая непохожая, столь однообразно общая у всех...

Ключи найдены.

Не найдены те, метафизические, что позволили открыть бы двери, за какими таятся образы всех отгадок.

К 20-ЛЕТИЮ СМЕРТИ БОРИСА РЫЖЕГО

Его стихи, обладая своеобразным, очень сильным гипнозом, создают редкое ощущение продиктованности: так не напишешь, можно только услышать, записать:

Не гляди на меня виновато,
я сейчас докурю и усну —
полусгнившую изгородь ада
по-мальчишески перемахну.

Стихи Бориса Рыжего залиты алкоголем, сочатся грустью, переходящей — буквально на глазах — во всё крепнущую трагедию; и нежная их воздушность, наполненность любовью к миру — какой уж есть — так причудливо мешаются с трагедийностью ощущений.

Снегопад, завершившийся так же внезапно, как и начавшийся, оставит ощущение совершенной чистоты, подсказав самоопределение, от которого повеет счастьем:

Мне дал Господь не розовое море,
не силы, чтоб с врагами поквитаться —
возможность плакать от чужого горя,
любя, чужому счастью улыбаться.

Счастьем, которое виснет на волоске, какой порвётся вот-вот, если совершишь лишнее движение: и если не совершишь — тоже...

Рыжий описывал чёрный свой, родной и сказочный Свердловск... почти детально: называя улицы, обозначая глухие и гнилые тупики; он гулял по нему, как Джойс по Дублину: о чём пело одно из стихотворений поэта.

Он всё время находился под гипнозом смерти: словно избыточным было любопытство: а что там? Есть ли что-то вообще?

Да, плевать, но бывает порою.
Всё равно, но порой, иногда
я глаза на минуту закрою,
и открою потом, и тогда,

обхвативши руками колени,
размышляю о смерти всерьёз,
тупо пялясь в больничную стенку
с нарисованной рощей берёз.

Разгадка не даётся живущим; и снова мелькают больничные коридоры, наркологические отделения, психи, что, поужинав, курят на лестничной площадке, прежде чем отправится в прекрасное неизвестное в стеклянном шаре, призвав любимых посмотреть на их лица.

Нечто потустороннее перевивало стихи Рыжего; точно прекрасная, янтарного отлива плёнка была наброшена на них: и сквозь неё под другими углами возникали советское детство, пионерлагеря, драки, приклатнённость...

Весь роскошный, печальный, и такой драгоценный мир — щедро переданный Борисом Рыжим миру обычному.



Борис КУТЕНКОВ

/ Москва /

* * *

как ягоде куста на ревности взрослось
как черепной земле на старости взболелось
так я тебя люблю сквозь двинутую ось
сквозь гронасовский лёд и седаковский мелос

в прицеле параной советского чека
твой умный лунатизм но окуляры стрёма
не различат тебя сквозь линзу цветника
по запчастям портрет — и вроде всё знакомо

вот андрогинный фас вот хрупкий лепесток
тут — простоты ярлык на образ метамета
вот эпатажный жест в отдельности жесток
и линза взад-назад под искажённым светом

вот коммента нытьё ей чудится за жизнь
в девической слезе не распознавшей Бога —
красавица моя крутись себе крутись
под -изма слепотой и плёнкой филолога

которому вот-вот — ударом по глазам
на нелюбви свету докостно пробирая
а ты и сам-с усам умеешь ты и сам
и страшно под пыльцой растерянного рая

в глазах ещё ожог бензиновый цветной
пароли к ****ям
та тяжесть что не сдвину
а ты медаль медаль ты новой стороной
и побелевший ум с орбит как пёс цепной
как верящая мать за безвозвратным сыном

Вологда, 12 апреля 2021

РОМЕ ШИШКОВУ**I**

— лунный, как приём, зачем раздет
на дожде, и боль дрожит живая? —
пропевает: — я лисёныш-свет,
братец подступающих планет,
форвард обступающего лая;

где горела память — щиплет йод;
рай-земля, где злились и гуляли;
и тебя не знаю — значит, врёт
бережный пушок-светодиод
с певчей ранкой в щуплом окуляре;

вот сейчас прорвётся — не сломай,
запоёт на весь вагонный рай;
не подпой — не в той учили школе;
и простые — «слава», «воздух», «рай» —
пенки, травянистые бемоли;

не спугни — так жутко и светло
молоку, чернея о целане;
вот застыло и переросло,
вот летит, пломбира два кило,
твоего забвения сценарий;

встреча-самолётник на потом,
нотный хохот в бортовой тетради.
взрослое в протянутой: «о том?».
детское плечами: «бога ради».

II

Это чьи-нибудь семнадцать лет...
Сергей Королёв

это чьи-то двадцать, сон во сне,
лонг-листы, полутона, цикада;
мимо мчащий, бдящий обо мне,
двести лет молчащий обо мне,
в зарослях не находящий брата;

я смотрю в окно миллионы лет,
временем беременный, как рыба;

ходит по бульвару толстый мент,
встретишь — обними за этот свет,
прогони и не скажи «спасибо»,

пусть судачит — сам-вода, сам-дно, —
где-то удивившемуся богу,
как возможно: череп, снег, окно;
тот, мерцавший, скажет: «всё равно»,
протечёт по ленте, скажет: «много»,

скажет: «сложно», сленг по словарю,
снег по снегирю. смотри: дорожка
долго не расчищена. смотрю.
рядом будь, я скоро докурю,
и ступай, а я ещё немножко.

Череповец, 05-07.05.2021

* * *

начинается жизнь как бензин по весёлому глазу
застекольным ожогом горя офигевшим огнём
чтобы видел ослепший всем зреньем разинутым сразу
слово то что в глаза и застенное слово о нём

чтобы свет вологодский со всей среброокою болью
и дневной затянувшийся облак хороших погод
я удар проношу принимая во тьму застеколья
где ошибка жива и во тьме прорастает и ждёт

зрячей музычкой льда притаилась качая правами
а когда я усну — вот сейчас говори пробуди:
— засыпай же сынок
выдувая меня выдувая
словно давнюю рану из пыльной груди

словно не было дня в лоскутках над осенним пэчворком
и любви на подушке с твоей золотистой копной
через память о рае пройдя всё становится мокрым
озареньем воды на щеке и обжёгшимся мной

а потом
сквозь железо пройдя —
ритуальной гвоздикой
постаментом стыду —

отдалённым но сделавшим честь
как побитый но любящий сын иллюзорности дикой
отчеркнувший на чеке свои двадцать шесть

Вологда, 11.04.2021

* * *

а если закроют безвирусный въезд
и мы не уедем не зная
я буду тем ртом что не выдаст не съест
исторгнувшим яблоко рая

в себе изbleвавшим беду как родство
к тебе обращённого слова
со всем лепетаньем прицельным его
и мир недоделанный виден Его
острей заточенья больного

смотри как горит неуместным цветом
дитя в красоте дождемской
так луч обнимает его целиком
что стебель болящий растёт ни о ком
и падает лопнувшей леской

сиди же отец взаперти взаперти
не тронь лепесткового ада
ни брата которого нам не спасти
ни сына на чьих невозврат без пяти
ни слома его циферблата

но мальчик зовёт — бестелесно раним
в блаженном безвестье утраты

и луч догоняет дыханьем одним
и вновь защищая становится им
безмасочно
слепо и свято

* * *

белый снег на нетреснувшей этой земле,
серый лёд от поста до погоста,
что и сам я — не путь, утонувший во мгле,
а — чумное застолье, танцор, дефиле,
косноязычье невысокого тоста:

сам себе раздеваюсь, понтуюсь, пою,
в ускользнувших гостей выпускаю змею,
обнимаю оставшихся в гуще;
но осталось — в пылу соцсетей — интервью,
словно райский просвет на содомном краю,
где — с улыбкой змеиной цветущей —

кумиресса звенит про ушедшее зло
и в письме леденит обалдело,
будто сердце моё вместе с ней не целово,
в несвободном паденье не пело,

не легчало, и вновь — из безмолвных низин,
прочь — в неё, к невысокой гордыне:
уйди, я тебе не отец и не сын,
я — иуда меж срубленных этих осин,
вечный сон о плече и о сыне

и безмерный второй — о плече и Отце;
но сейчас не держи меня крепче,
и ночное юродство — как Божий прицел
в подражанье беспамятству речи,

где нахлынул прибой — и отхлынул прибой,
пограничный дедлайн, совпадение с собой,
мир, вернувшийся к чёткости линий,
мир, забывший — и вспомнивший нас на слабо,
и упавший в траву, опалённый Тобой,
под киркоровский цвет синий-синий

Григорий МЕДВЕДЕВ

/ Мытищи /



В ЭТОМ ВРЕМЕНИ ГОДА

* * *

А моря нет, как не бывало
Андрей Болдырев

Море есть, но не видно отсюда —
заслоняют Воронеж, Ростов —
журавлиного пункты маршрута,
остановки ночных поездов.

И бывает, что в пыльном предместье
как-то вдруг, ни с того ни с сего
ты подростком за тысячу двести
километров почувешь его.

Различишь, еще не узнавая,
глуховатый ракушчатый звук.
Рядом станция здесь узловая
пропускает составы на юг.

Как в плацкарте — на перышках острых
под щекой — неустойчивый сон.
За Азовом меняется воздух,
насыщается солью озон.

Поутру задувает с пролива,
еще тусклые звезды видны,
и покачивается крапива
слева у станционной стены.

* * *

Стрекоза отлетает своё, но едва ли исчезнут стрекозы.
 Заполняются прочерки в перечнях у бытия.
 Всё тучней виноград, напоследок вбирающий солнце и грезы,
 так ли важно, я выпью вино потом или не я.
 Вечерами клубится туман, а наутро ржавеют вершины.
 Холодок по хребту ощутимее, что уж скрывать.
 Это осень спускается с гор, продираясь сквозь дебри ожины,
 чтобы утлые листья с прибрежных платанов срывать.
 Уже музыка раньше смолкает в ночных ресторанах вдоль бухты.
 Убавляют кондиционеры капель и не слышно цикад.
 К сентябрю себя чувствуешь здесь старожилом как будто,
 хотя взял эти месяцы, как гидроцикл, напрокат.
 И пока я среди тех, чьи смуглые бедра, предплечья, ключицы
 покрывает неспешно соленым налетом волна, —
 у кого накануне зимы, у какой стрекозы научиться
 красоту удержать мне, в которую смерть вживлена?

* * *

...цветочка уж нет!

Батюшков

Еще зачем-то помню, как
 цвели под окнами пионы,
 и бронзовки возились сонно
 в их полнокровных лепестках.

Лежала вся моя земля
 как будто в праздничных обновах
 белесых, розовых, бордовых
 до самой груды горбыля.

И запах в солнечные дни
 безветренные плыл над грядкой
 щемящий, душновато-сладкий,
 июню тленному сродни.

Теперь пионов нет, щавель
 разросся дикий (или щавель),
 чей год от года сухощавей
 лист, и лютеет муравей.

И время растворяет те
 приметы с хрупкой сердцевиной
 в своей, не знаю, муравьиной
 щавелевой ли кислоте.

* * *

Счастья нет, но есть зима и море.
Долго-долго ехали на юг.
Паузы в ненужном разговоре
заполнял колесный перестук.
Взяли чаю у широкоскулой
проводницы, но не стали пить.
Всматривались тщетно в тьму за Тулой,
в Курске выходили покурить.
Бабы на казацком полустанке
продавали рыбу и вино.
Ветер пахнуть начинал с изнанки
водорослью, преющей давно.
Будто из тяжелой серой пряжи
море ткал отлаженный станок,
и сукно шинельное на пляже
собиралось складками у ног.
Древние скрежещут шестеренки,
проворачиваются валы.
На бесхозном лежаке-шезлонге
рядом посидим невеселы.
День кончался, нависала морось,
и, ладони спрятав в рукава,
мы безлюдной набережной порознь
уходили. Года через два
я ракушку за подкладкой куртки
вдруг нащупаю и пальцы обожгу.
Волны волокли медуз, окурки,
перья чаек, щепки, шелуху.

* * *

Скоро они улетят
(отсалютуют ружья) —
отогревать утят
у континента в подбрюшье.

Нам у них не одолжить
крыльев для перелета,
мы остаемся жить
в этом времени года.

Что ж, постоим на мосту,
птицам покрошим хлеба.
Речка бежит в Москву,
забирая налево.

Вот на одном берегу
ивы затрепетали,
а на другом — не могу
я различить детали.

Туч наползает гряда
медленно из-под Лобни,
яузская вода
их отражает подробно.

Михаил ЛУКАСЕВИЧ

/ Киев /



ГОД ПЕРВЫЙ. ЗАПИСКИ ВРАЧА

(отрывок)

...ибо в этот раз Я пошлю все язвы Мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного Мне на всей земле; так как Я простер руку Мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли: но для того Я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу Мою, и чтобы возвещено было имя Мое по всей земле...

Исход. Глава 9: 14–16

...Знаковым для меня во многих отношениях стал труд Даниэля Дефо «Дневник чумного года», который описывает эпидемию чумы 1665 года в Лондоне.

Дефо творил в разных жанрах, занимался, в том числе, и журналистикой, писал исторические очерки, эссе, рецензии. Иногда трудно отличить в его работах правду от художественного вымысла. Почти все его романы написаны от первого лица, рассказчик лично участвует в событиях. Часто Дефо применяет прием, когда в предисловии к роману объясняет, что он только редактор и издатель, а сам труд попал к нему в виде дневников очевидца событий, который ручается за их подлинность и достоверность.

Так произошло и с «Дневником». Якобы очевидец эпидемии чумы 1665 года (которая была в реальности), житель Лондона фиксирует в виде дневника, с хронологической точностью, приводя множество цифр и выписок из документов того времени, иногда повторяясь (тоже художественный прием), начало, развитие и счастливое окончание эпидемии. Также приводится анализ произошедшего с точки зрения обычного лондонского обывателя.

Труд довольно многословный, из-за пунктуальности рассказчика и частых повторений, но невероятно интересный! И, самое главное, невероятно современный. Оказывается, за более чем три с полови-

ной сотни лет практически ничего не изменилось. Просто вместо слова «чума» нужно вставить слово «ковид», а вместо города Лондона — любой другой современный город мира. И получаешь наглядную картину эпидемии коронавирусной инфекции в нынешнем виде. Практически все из этого романа или уже произошло, или еще произойдет. Я в этом уверен, потому что все эпидемии развиваются по общим биологическим законам, и ковид-19 — не исключение.

Из прессы я узнал, что, в связи с увеличившимся внезапно спросом, планируется переиздание романа Альбера Камю «Чума». Я его читал ранее и могу заверить, что отношение к нынешним событиям он имеет непосредственное. Хотя стиль повествования совершенно отличен от Дефо. Действие происходит в колониальном алжирском городе Оране во время эпидемии чумы, современной писателю, то есть где-то в первой половине XX века (роман написан в 1944 году). Если Дефо претендует на документальность, то Камю намеренно не фиксирует точно события, а пропускает действительность через внутренний мир своих героев — свидетелей смертельного мора. Камю затрагивает ряд философских проблем, в книге точно есть двойное дно, безусловно, это — роман-притча, обязательный к прочтению, на мой взгляд.

Последней глобальной эпидемией, с которой столкнулось человечество, была эпидемия гриппа, получившего название «испанка», 1918 года. Наверное, есть художественные произведения по этой теме, я же просто почитал документальные свидетельства. Впечатлили цифры. Каждый сам может их легко найти и ужаснуться. При условии, что население Земного шара тогда не составляло почти восемь миллиардов, как сейчас, количество погибших (до ста миллионов) уменьшило человеческую популяцию на весомый процент. В качестве иллюстрации можно порекомендовать ознакомиться с биографиями значительных деятелей европейской культуры, родившихся в разное время второй половины XIX века. В графе «дата смерти» у многих из них значится 1918-й год.

Анализируя вышеизложенное, можно выделить общие черты при различии в отдельных деталях. Все эпидемии были вызваны инфекционными агентами — бактериями или вирусами, причем уже в XVII веке об этом догадывались, хотя еще и не могли доказать. Передача инфекции происходила от человека к человеку. Об этом тоже было известно. И, самое главное, эффективного лечения как не было тогда, так нет и сейчас. Эффективной профилактики тоже тогда не было, вакцины появились намного позже, этого вопроса можно будет коснуться отдельно. Оставался только карантин, в различных его проявлениях, который был изобретен нашими предками и происходит от итальянского слова *quarante* (сорок). Именно столько дней должно было простоять на рейде судно, прежде чем ему будет позволено войти в порт. По сути, эта древняя мера борьбы с эпидемиями является основной и в нынешнее время.

Не последнее место в истории эпидемий занимали мероприятия по захоронению умерших и поддержанию общей чистоты в городе. Те, что сейчас именуются «санитарно-гигиенические». Не зря мы точно не знаем, где похоронен гениальный Моцарт. На одном из кладбищ в окрестностях Вены его тело было помещено в общую могилу и присыпано известью. В романе Камю для вывоза трупов за пределы города использовали городской трамвай. Дефо замечает, что помещения и вещи больных тщательно проветривались и окуривались едким дымом серы, а монеты на рынке передавались через сосуд с уксусом. В общем, каждый самостоятельно может ознакомиться с литературой того времени и найти множество параллелей с современностью.

Если коснуться кинематографа, то здесь тоже было, что посмотреть. С фильмами проще, чем с книгами. Друзья посоветовали — ты выделил два часа времени — и готово. Если это, конечно, не сериал. Хотя я могу отметить мини-сериал производства канала National Geographic, под названием «Горячая зона» (Hot Zone). В этом довольно динамичном фильме, основанном на реальных событиях, речь идет о вирусе эбола, который вызывает геморрагическую лихорадку с летальностью выше 50%. Эндемичным регионом для него является Западная Африка, но однажды этот вирус оказался в США вместе с обезьянами, завезенными для научных экспериментов. Локализовать проблему поручено американским военным вирусологам, с чем они героически справляются, не допустив эпидемии эболы в США.

Фильм «Заражение» (Contagion), наверное, смотрели многие, и нет необходимости на нем останавливаться подробно. Хочу только отметить, что любимая мною британская актриса Кейт Уинслет и здесь не подвела.

Неожиданным открытием стал для нас фильм «Разрисованная вуаль» (The Painted Veil), снятый по роману Сомерсета Моэма, с Эдвардом Нортоном и Наоми Уоттс в главных ролях. Действие фильма происходит в Китае, в 20-е годы XX века, во время эпидемии холеры. Фильм повествует больше о драматической любовной истории, но суровые декорации смертельной болезни, на фоне которых развивается сюжет, вносят в отношения людей дополнительный трагизм.

Как бы ни складывались обстоятельства, именно отношения между людьми во время эпидемии играют ключевую роль. Все остальные противоэпидемические меры невозможны без понимания этих отношений. Человек, как биологический вид, по данным науки сформировался в эпоху верхнего палеолита, то есть 40–50 тысяч лет назад. По религиозным представлениям, если брать во внимание теорию сотворения мира, человечеству около шести тысяч лет. В обоих случаях возраст солидный. Я твердо убежден, что от момента своего возникновения, или сотворения, как будет угодно, но человек как биологическая единица практически не

изменился. Природа свято блюдет чистоту вида и четко разграничивает один биологический вид от другого. Какие-либо девиации в сторону от этой чистоты жестко отсекает естественный отбор. Даже если индивиду удастся выжить, он вряд ли способен будет оставить потомство.

.

Длительность и напряженность иммунитета при коронавирусной инфекции еще полностью не изучены. Если иммунная система работает нормально, коронавирусная болезнь протекает в форме, не опасной для жизни.

Проблемы начинаются тогда, когда прекрасно отлаженный механизм швейцарских часов дает сбой. Причем, если часы просто остановились — это полбеды, еще есть шанс их восстановить. Но если стрелки начали вращаться в разные стороны, иногда с бешеной скоростью, здесь уже никакой часовщик не поможет, часы ремонту не подлежат.

.

Сейчас, когда я пишу эти строки, прошел год от начала несчастья, свалившегося на нас в начале прошлой весны. Начинается новая весна 2021-го года. Эпидемия не отступила, по-прежнему много людей болеет и умирает от тяжелого недуга. Человечество, не покладая рук, продолжает борьбу с эпидемией. Знаний уже намного больше. Появились новые надежды в связи с разработкой новых методик лечения и профилактики.

Март, 2021

Алексей ОСТУДИН

/ Казань /



МАЙСКИЕ КАНИКУЛЫ

Ветерок стрижёт пивные кружки,
допивает кофе майский жук,
и торчат, как перья из подушки,
веточки черёмухи вокруг,

юность от восторга еле дышит —
дремлют соловьи в ушах валторн,
жарит дождь яичницу на крыше,
по асфальту прыгает попкорн,

синий воздух действует на нервы,
липы, как олени, разбрелись,
потому что вру, не зная меры —
девушек красивых завались,

на углу закроется аптека —
скоро будет нечего лечить,
праздник первомая от ацтека
даже из Кремля не отличить,

банку из под палтуса пиная,
помяну забытого вождя,
вот и вся душа моя пивная —
кружка пены в дырках от дождя.

ЦЫГАНКА

Кому уже с утра бонджорно,
кому-то в полдень намасте,
цветущих девушек «боржоми»,
сирень последних новостей,

на лавке, часть природы вроде,
где шляпа с денежкой лежит,
скрипачка, с голой грудью, водит
смычком — и грудь её дрожит,

она не замечает разве —
прозрачный «бюстик» как-то сполз,
хоть и проказница, в экстазе
не балует букетом поз,

лишь улыбаясь простодушно
звучащую свивает нить —
аплодисментами подушку
решила милому набить,

и, как Дюймовочка с кротами
не коротает время зря,
любви фигурное катанье
бомжу безногому даря.

АЗИЯ

Апрельское солнце стоит высоко,
окрестности босы и наги,
японский журавлик — щегол, как сокол,
людей мастерит из бумаги —

разъехались ножницы, клей, дырокол,
вскипев на морозе как-будто,
кобылье в бега подалось молоко —
основа шаманского брюта,

играющий в карты сдаёт на права,
удачу не знает привлечь как,
товарищ на скачках уздечку порвал —
тугая попалась узбечка,

сверчки доедают Китай и Вьетнам,
сердчишко — то слева, то справа,
соседи, завидуя просто ведь нам,
подсыпали что-то в отраву —

зависнув закатом, устав от погонь,
последним напалмом на пальме,
рискует, кто первый откроет огонь,
сражаться всю ночь с мотыльками,

Кашею в яйцо загоняют иглу,
сжимается строгий ошейник,
и скалятся чёрные лики в углу,
где молится раком отшельник,

ни рифмы приличной, ни ме и ни бе —
из банки, пол-литра калибра,
доверчиво тянется лапкой к тебе
пушистая верба верлибра.

ЗИМОРОДОК

Ивану Шепете

Кукушка верная охрипла, когда в расщелинах чернил
совпали Сцилла и Харибда — а ты мизинец прищемил,
сожмётся сердце и отпустит, пока лелеешь в пальцах дрожь,
не рубишь в квашеной капусте, мечом в науках не сечёшь,

и провожая тех, кто дорог, сам, непростительно ничей,
пропахший керосином город залапан копотью грачей,
апрель, как зуб передний выбит, и стружкой веет с верстака,
стакан, решая что бы выпить, нагуглишь в яндексе, пока

в угарной пене горностая встаёт царица прочих влаг,
в мятежный дух перерастая из алюминиевых фляг,
закусывая правду сплетней, к чему разыгрывать гамбит,
когда не крайний, а последний твой одноклеточный убит,

на злобу дня твердишь упрямо мишпухе корабельных крыс —
дрожащая имеет право, и жизнь раба имеет смысл,
и сколько этот мир ни гните — одна верёвочка сплела
всех, как опилки на магните с обратной стороны стола.

КЛАССИКА

Бакены затеплились, не доены,
в камышах затишье неспроста,
лунный свет течёт, как из пробоины,
у Куинджи с чёрного холста —

Днепр заколосился гладью плисовой,
огоньками редкими оброс,
не спешит по памяти дописывать
Верещагин свой апофеоз,

потному Петрухе кажет личико
Гульчатай, танцующая твист —

хоть сейчас в театр анатомический,
как сказал Базаров нигилист,

свой аршин повсюду ставит мерою,
истины цепляет к якорям,
потому что в живопись не верует,
и с красивой женщиной упрям,

иногда и мне не надо лишнего,
виски с телевизором — вполне,
но вещает радио Радищева,
на одной с правительством волне,

что следит за нравственностью трепетно,
а на Волге, как и в старину,
бурлаки вытягивают Репина,
только Жучка воет на луну.

НА МОРЕ

Проживая скопленное набело,
к пионерской зорьке будь готов —
Куравлёв, поющий в пачку «Мальборо»,
Вицин, усыпляющий котов,

мне легко с попутчицами бодрыми
поделиться в радость, чем богат,
грузовик прошёл с пустыми вёдрами,
молния упала на шпагат,

просто с поэтессами поддатými
занимать коньяк у молдаван,
Коктебель во сне скрипит цикадами,
дышит, как продавленный диван,

по карманам дождь попрятал лезвия —
в норках неуёмные стрижи,
позвоню Ван Гог, соболезнаю,
чтобы к трубке ухо приложил,

знаю, от него ушла не зря жена,
к сведению будущих рубак —
у меня ружьё всегда заряжено,
даже если это и не так,

сердце тараторит с промежутками,
подбираюсь к девушке-врачу —
сетует, завязывайте с шутками,
не смешно — а я и не шучу.

Александра ГЕРАСИМОВА

/ Томск /



* * *

когда тебя вели бульваром чистопрудным
я поодаль всего кормила голубей
и знала что теперь не будет полногрудым
мой выдох и зимы не будет голубей

и так ложилась спать как снег ложится в яму
на свежей коже дня разрытую навзрыд
и белая была мне замять окаянна
и койки у стены был холод мне обрыдл

и ширились года похожие на лодки
долблённые сухой невинною рукой
морёные слюной и потом и по сводкам
ты всё ещё был мой хотя и кто такой

а первого числа под перистые святки
я вышла на поклон бескровному пруду
и сделалась сама серее куропатки
и голубя синей на неокрепшем льду

мне виделось потом как светлый ты и чистый
метёшь на кухне пол и ставишь кипяток
и лето на дворе и дуб стоит плечистый
так полон желудей как зла твой кровоток

когда же от тебя остались снег да комья
я белая совсем несла тебя несла
до той поры пока не стало беззаконье
тщедушнее вращреск издохшего весла

и рвался птичий след на ласковую волю
брусчатую мела позёмка наготу
и мы ложились спать под мерный в изголовье
стук жёлудя о грунт по сторону по ту

* * *

я говорила -это до поры-
и усталые лиственные дворы
распарывал и потрошил и нежил
бродяжий ветер и текла река
парная из-под крынки молока
и наступали сумраки медвежьи
всё старилось и стыло и стоял
туман из ватных шитый одеял

и ты не говорил а только верил
в безветрие предзимнего куста
и так была ладонь твоя пуста
как тёмен звук у пересохших губ
как вынужден и непреложно скуп
недолгий выдох у подъездной двери
я слушала молчание твоё
как птицу то есть память от неё

и бедственно не доставало слов
безбожно передвижничал засов
дворовой неприкаянной калитки
мы всё ещё сбывались в сентябре
загаданные в крошечном дворе
у ромба клумбы под июльской липой
рассказанные наскоро неслитно
скучающей случайной
первой встречной скамье
когда ты вечный был и млечный
и я была и был остроконечный
непоправимый смысл у всего
и слово то есть
сожженность
его

* * *

всё же ты знаешь мasha
некого обвинить
что ни рожна ни каши -
долгая только нить

горклое только лето
лепетных лепестков
не*голоса и это
не*обретенье слов

за неименьем рамы
кровли и дыма
беглая мошкара мы
белая мошкара

за немотой калитки
обетованье лжи
шиферный шёпот плитки
вслух не предположи

в сухости мотыльковой
в насыпи меловой
и безголосье – слово
и безземелье – слой

маша не нужно ситца
сита и хрусталя
так и переболится
тем и полна земля

* * *

потому что ты ошибся
нет у нежности лица
под ульяновском душица
мать-и-мачехи пыльца

полуночных рыбин-лодок
золотые гарпуны
всё сбывается дословно
вплоть до маточной слюны

в том и дело что тележка
у обрюзгшего крыльца
земляника вперемежку
с голубикой нежно-нежно
до медового конца



Марина КУДИМОВА

/ Москва /

ЕРЁМА БЕЗ ФОМЫ

*Чтоб вы мне про Фому,
а я вам — про Ерему.*

Вот и Саша Ерёменко перешел на другую сторону нашей улицы. «Осыпается сложного леса пустая прозрачная схема...». Почти осыпалась. Да и сложность стала искусственной, как интеллект, которым норовят побить человека несовершенного.

Когда-то был вечер в «Литгазете», и мы, молодые, дерзкие, зачем-то начали препираться с шестидесятниками. А чего они такие знаменитые и буржуазные!? Саша читал «Переделкино»:

На даче сырость и бардак.
И сладкий запах керосина.
Льет дождь... На даче спят два сына,
допили водку и коньяк.

Большинство литературных и залитературных скандалов и происходят на почве и на базе Переделкина. Ерёма это уже тогда понял, я — гораздо позже, зато не метаметафорически, а на собственной шкуре.

На том легендарном вечере Саша и сказал в ходе предъявляемых старшими товарищами претензий кодовую фразу, из которой родилось мое посвященное ему стихотворение: «Я в эту масть не поднимался!».

* * *

Александр Еременко

Теплом несет из заовражья,
Тайга оттаяла на треть.
А наше дело доходяжье —
Чинарь сосать и пузо греть.

И тары-бары-растабары
Пускать начальнику вдогон...
Кто жил на ЭТИ гонорары,
Уж тот ничей не эпигон.
Нас диалог вести по фене
Подначивают паханы —
Мы правим лезвие на вене
И ничего им не должны.
Не до конца переломались
И потому не в кураже,
Но в эту масть не поднимались
И не поднимемся уже.

Что нового привнес поэт в дело, которому отдал жизнь? Что оставит после себя? Вопросы эти далеко не праздные. Написал «Я добрый, красивый, хороший»? Но то ж «метаметафоризм», тотальная ирония, которая оказалась тупиковым путем и привела лишь к тому, к чему и должна была привести, — к немоте. Ерёма был до конца честен и стихов из себя насильно не выдавливал. Молчал он при жизни так долго, что его успели выучить наизусть, растаскать на цитаты и «исследовать».

Почему все сразу узнали его, как Буратино в театре Карабаса-Барабаса, и откликнулись, и назначили «королем поэтов»? Александр Ерёменко вывел за скобки так называемого лирического героя, а в дальнейшем вовсе убрал поэтическое Эго. Медитативную лирику с ее бесконечным «Я, Я, Я» он заменил суггестивной, поставив «дикое слово» в новые условия. Личные местоимения у Ерёмы играют совершенно иную роль, нежели у записных «лириков». Эта замена, возможно, ограничила диапазон высказывания, но высказанное — осталось. Квятковский пишет: «Всякое суггестивное лирическое стихотворение содержит в себе элементы медитации, но, в отличие от медитативной лирики, обладает свойством очаровывать, завораживать читателя «пленительной неясностью»... Для суггестивной лирики характерны нечёткие, мерцающие образы, косвенные намёки, зыбкие интонационно-речевые конструкции, поддерживаемые стиховым ритмом. По своей внутренней форме суггестивная лирика стоит на грани тончайших импрессионистических и даже алогичных построений, с внушающей силой воздействующих на эмоциональную сферу читателя, на его подсознание. Понятие «подтекста» служит грубым приблизительным аналогом для определения существа суггестивной лирики».

Я понятия не имею, кто такое «лирический герой», путаюсь в этих двух соснах и до сих пор наивно полагаю, что поэт пишет из себя и о себе. Смешно так думать в постпостмодернистскую эпоху, но мне уже «можно быть смешной» и, тем более, «не играть словами».

И вот, читая километры чужих стихов, я с изумлением наблюдаю, какими безупречными и прекрасными видят себя пишущие. Всегда в самом выгодном свете, в подвиге — или приближении к

нему. Никаких «с отвращением читая жизнь мою»! Только — с восхищением и любованием, только в противофазе всеобщей пошлости и мелкости. У женщин это сплошь, у мужчин — реже и трезвей, но тоже достаточно. «Трезвей» здесь ключевое — ключимое, как говорили в старину! Несмотря на множество «есенинских» легенд и толику горькой правды, Саша для меня останется одним из самых трезвых русских поэтов нового времени. Трезвость эта — в полном отсутствии фальши, снобизма и кокетливого поправления поэтической прически. Гонора не было ни капли в этом мальчике из деревни Гоношиха. Гений был, хотя, может, и неверный, а гонора не было!

А ведь если вспомнить наши 40-летние, почти что библейские блуждания по московской пустыне — то совместные, то порознь, то с Ерёмой, а то и с Фомой (ну, положим, с Фимой Бершиным, Женей Блажеевским, чуть позже — с Игорем Меламедом), получится, что Саша незабвенный наш написал не пародию, а правду. Он был до блаженства добрым, невероятно красивым. И хорошим! Новым, небывалым Поэтом.

Б. КОНСТРИКТОР

/ Санкт-Петербург /



О СОБРАНИИ ТЕКСТОВ ПОЭТА ЕВГЕНИЯ ФЕОКТИСТОВА

Слава Богу! В петербургском издательстве «Юолукка» вышла, наконец (десять лет подготовки), большая книга произведений ленинградского поэта 1960-1980-х годов Евгения Феоктистова¹. Стихам предшествует глубокая статья Петра Казарновского «Мистика обыденности». Завершают том воспоминания и статьи современников-друзей поэта и портретная галерея петербургского художника Василия Бертельса. При жизни, помимо нескольких самиздатских публикаций (журналы «37», «Часы», антология «Острова»; плюс подборка в «Голубой лагуне» Кузьминского), Феоктистов увидел небольшую книжечку «Внезапное лицо» (издательство «Борей-Art», 1994). За свою долгую, хоть и не очень заметную литературную жизнь входил в круг Давида Дара, тесно общался с В. Кривулиным, О. Охупкиным; был влюблен в Елену Шварц, в Елену Пудовкину (переписка с нею достойна отдельного издания), оставил немало стихотворных посвящений. В молодости был подсобным рабочим в Эрмитаже, где тесно сошелся с прозаиками В. Алексеевым, Е. Звягиным...

В советском Петербурге сама действительность подсказывает молодому поэту возможности для ироничных сопоставлений. Так, он описывает свое движение через Дворцовую площадь в 1962 г., но преодолевает не только пространство, но и время — особым образом, чтобы сделать рискованное сопоставление:

Хоругви заменив портретными
Изображеньями своих
Не расстающихся с портфелями
Вновь переизбранных святых,

¹ Читатели журнала могли прочесть публикацию стихов поэта в № 4 за 2013, подготовленную Олегом Дмитриевым и Борисом Лихтенфельдом.

Шагают граждане ретивые,
Орут, рискуя озвереть,
Одновременно репетируя
Очередную свою речь.

Медленный, замедленный темп классического стиха, стремящегося как к точности передачи видимого, так и к отточенности формулировок. Феоктистов, не пренебрегая длиннотами, не скрывает и своих ориентиров: философская лирика от Баратынского и Тютчева до позднего Пастернака. К этому стоит добавить и внимательное отношение к близкому кругу современников, что отразилось в стихах.

Идя мимо Марсова поля, герой Феоктистова вновь не упускает сделать сопоставление эпох — нынешней и прежней, и сопоставительный взгляд, словно улавливающий преемственность и логику, позволяет на равных общаться и с прошлым веком, и с настоящим, воздавая по заслугам зло и нелицеприятно:

Здесь площадь Марса, поле жертв,
Но даже здесь, где смерть в почёте,
Среди могил витает вечность
Дрожащим язычком бессмертья.

.

Здесь проживал давным-давно,
В былое время,
Наш тамада, наш проповедник
С лицом Эзопа.

А в другом стихотворении еще более хлестко обозначает двусмысленность пребывания поэта (пусть и баснописца) в условиях империи (чем не созвучность мотивам Бродского! Кстати, среди мемуаров о поэте есть большой текст С. Гозиаса, где автором два поэта сталкиваются, противопоставляются):

Пусть не ликует лизоблюд Эзоп,
Лукавый лжец под маской правдолюбя,
В потугах вольных дум наморщив лоб,
Слезясь, кряхтя и ухмыляясь глупо.

.

Пророчь, Эзоп, ораторствуя впрок,
Не забывая мнительной оглядки
Из-за плеча летящих в Лету строк,
Слезливым салом лести смазав пятки.

Открытые, ровные ландшафты города на Неве давали Феоктистову находить весьма смелые культурологические соответствия. И такие связи устанавливаются неспешно — при задумчивой ходьбе, в блужданиях.

Судя по воспоминаниям, заключающим том, поэт Феоктистов любил прогулки — они и становятся нередким сюжетом его стихов. Он чутко понимал природу, умея сообщать видимому метафизическую необозримость. И вместе с тем он предстает по-детски наивным, доверчивым...

Доверие к поэтическому слову — вот что характерно для Е. Феоктистова. Недаром к середине 70-х он вступает в борьбу с характерным для него высказыванием, тяготеющим к прямоте, и прибегает к формальным ограничениям — пишет немало акrostихов, тавтограмм... На этом пути его ждут неожиданные находки, но он уходит в область эксперимента, часто соседствующего с иронией.

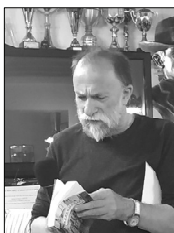
Иронична и единственная найденная издателями пьеса Феоктистова «Потерянная голова», в которой очень заманчиво видеть иносказательную (не эзопову ли?) реакцию на слабоумие, маразм, воцарившиеся в стране и очевидные для всех к концу 1970-х.

Феоктистов тяготеет к мистификации — еще одна черта его творческого лица: не только спрятаться под вымышленным именем, но и обмануть себя эпохой, культурой, хотя бы на краткий миг принадлежа чему-то иному — не столько экзотическому, сколько парадоксальному, алогичному, когда классический ритм чуть раскрепощается несовместимостями:

Державная лапа судьбы
На горле у века.
И хриплого барда рулады
Молчаньем чреваты.

Играй на гитаре, певец,
Трезвонь о печали.
Твою серенаду, Орфей,
Расслышит ли муза? —
Не ведает бог перемен,
Не выдаст талонного блага.
Твое пропитание — снежная манна
В берлоге барака,
Под гаммы трезвона,
Под гром барабана
Воинственной черни,
Бутыль самогона, дубовая баба
И свайная сваха.
Медвежьи трущобы,
глухие ухабы, хоромы
Старинного храма
За тридевять царств
От родимого града.

Как же эти стихи из конца прошлого тысячелетия актуальны и сегодня. Время выписывает свои зигзаги. Но поэт перпендикулярен ему. Он остаётся.



Борис МАРКОВСКИЙ

/ Бремен /

ПО ЧУЖИМ ЛЕКАЛАМ

* * *

Грядущего нарядные руины,
лириодендроны, бурундуки, равнины...
И — галактические небеса.
И — механические херувимы.
Дмитрий Бобышев

Куда не бросишь взгляд, везде руины...
Католики, спичрайтеры, равнины,
французы, финны, немцы, итальянцы,
мошенники, мздоимцы, самозванцы,
те в глянце, те пешком, те понаслышке
спешат прильнуть к моей последней книжке.
В ней галактические небеса
и хаотичные глубины,
порой я слышу голоса —
то под колеса прыгают равнины.

* * *

В это время вдовец Айзенштадт, сорока семи лет,
Колобродит по кухне и негде достать пипольфена.
Есть ли смысл веселиться, приятель, я думаю, нет,
Даже если он в траурных чёрных трусах до колена.

.....
За Серёгу Есенина или Андрюху Шенье...
.....

То, на что не хватило мне слов человеческой речи...

Сергей Гандлевский

Кто там в черных пиратских трусах до утра колобродит?
Есть ли смысл колобродить, когда продают пипольфен,
Когда каждое слово и рифма противны природе?..
Как мне быть с человеческой речью трусов и колен?

Выпьем, братцы, за тех, кто сегодня не с нами, а в морге!
За Серёгу Есенина и за Андрюху Шенье!
После смерти я выйду из гроба и в москниготорге
Свои книги куплю и прочту их законной жене.

* * *

Сегодня холодно, а ты — без шарфика;
невероятная вокруг зима...
Как будто Пушкину — приснилась Африка
и вдохновение — сошло с ума!

.....
«Отдайте музыку, откройте варежку...»

.....
И чай зелёновый друзьям заварить ты...
Александр Кабанов

Я — без намордника! А ты — без шарфика,
без зимних варежек, совсем одна,
стоишь над прорубью, в которой Африка
(и вся Америка) отражена.

Сегодня холодно, берет зелёновый
надвинь на талию, согреться чтоб
или укутайся дырой озоновой,
или согрей себя — нырни в сугроб.

* * *

Иногда бывает надо
спозарани стогны града
обойти не стороной, —
вспет будильник, словно петел
рёзнул из-за тучи, светел
солнца луч иглой стальной.

.....
Чем живет моя столица,
пристально взглянув на лица,
проницаю до нутра:
гордо поднятых лопаты
впукло-выгнуто-помяты
в уличной толпе с утра.

Максим Амелин

Спозарани, жизнью согнут,
выйду на родные стогны,
где повсюду тьма ночная,
где, как в погребе, темно...
Мне навстречу мчат трамваи,
облака, листва, трава и
дворники — я всем киваю,
будто с ними заодно.

Будто сделаны из ваты,
впукло-выгнуто-помяты,
в вечных поисках зарплаты,
лица встречных москвичей.
Я смотрю им прямо в лица:
«Мне б сто грамм — опохмелиться,
третий день хожу поддатый...»,
а они в ответ: «Ты чей?».

Отвечаю, ликом светел:
«Я вас издали приметил,
я потомственный бродяга
и значительный поэт»,
а они твердят уныло
и притом воротят рыла:
«Доходяга? что за шняга?»¹
До свиданья! Денег нет!»

* * *

Так просто жить, что хочется ещё,
ходить в плаще, донашивать пальто,
сносить пять пар ботинок и потом
ещё пять пар, ещё, ещё, ещё...
Дмитрий Артис

Так хочется купить себе пальто,
потом костюм, потом кашне на шею,
потом машину, несмотря на то,
что я водить машину не умею.

Так хочется счастливым быть и знать,
что это может вечно продолжаться...
И каждый день с утра стихи писать,
и ясен пень, всю публику публиковаться.

* * *

Ты говоришь, что нет меня
и не было на белом свете:
пустяк, безделица, фигня,
и надпись в школьном туалете.
Феликс Чечик

Мой друг, ищи, ищи меня,
Ищи в ночи и в свете дня,
ведь без меня не полон мир,
зайди, в конце концов, в сортир,

¹ Ерунда, чепуха, ненужная вещь, неудача, невезение (*тюремн. аргю*).

в котором тоже нет меня,
в котором я исчез бессрочно,
но ты ищи меня заочно,
такая, в общем-то, фигня.

ПОДВИГ

Надо быть себя мгновенней,
чтобы подвиг совершить...

.....
дом у реки ни огня
дверь приоткрыта в меня
там причитает родня
комнаты гул западня

.....
Не надо обо мне. Не надо ни о ком...

Владимир Гандельсман

Чтобы подвиг совершить,
надо быть себя мгновенней,
надо на отшибе жить
в собственном стихотворенье,
чтоб докучная родня
западни не расставляла,
не тревожила меня
и весь день не раздражала,
чтоб в осенней тишине,
стопки книг окинув взглядом,
вдруг понять: бессмертье рядом,
впрочем, хватит обо мне.

* * *

Всые листы мараю, гусей дразню.
И дождевую люблю на стекле мазню.

.....
Разницу грязь по любому сведёт на нет —
свой ли, чужой исчезает мгновенно след.

Сергей Попов

Всые листву рисую, всые взалхлеб живу.
Знаю, молву любую выбросит, как плотву,

на незнакомый берег к набережной пустой.
Кто в мою смерть не верит, тот не знаком со мной.

Там, за речным лиманом, за пеленою лет,
вместе с ножом карманным мой затерялся след.

СЛОЖНЫЕ СЛОВА

Шагает утром в школы
Вся юная Москва,
Народ твердит глаголы
И сложные слова.

Агния Барто

кому Москва, кому Толедо
кому манкурт в полупальто
кому мучительное кредо
читает Агния Барто
на кухне злой преторианец
играет с куклами в лото
он приглашает их на танец
под купол цирка-шапито

* * *

надо спать надо спать говорит Николай Амаркордыч
ничто кроме сна так не близко к бессмертию
и кладёт на подушку свой круглый мордыч
и приближается как бы к умертвию

.....
он спит и думает спит и думает спит и ду
вот во сне я как бы ныряю как бы плыву и как бы иду
и прохожу такой незамеченный и бегут ко мне со всех сторон
девочки иветта аглая зоя и рая сбежавшие со своих похорон

Андрей Корвин

надо спать надо спать говорит сам себе харон
и глядит в окно и считает в окне ворон
и зовет аглаю иветту и прочих дур
чтоб устроить в спальне торжественный перекур
но никто никто не идет к нему с похорон
только ветер и снег только ветер и снег с четырех сторон

* * *

А я тут что? Хромой излишек?
Меня не ездили плетью,
не жгли допросами. Кто выжил,
тот обзаводится детьми.

Евгения Джен Баранова

Какие всё же судьбы, лица...
А мы зачем? И есть ли мы,
когда никто, как говорится,
нас не охаживал плетью?

Когда никто в полуподвале
нас не пинал ногой в живот,
а тот, кто выжил, трали-вали,
в коттедже каменном живет.

* * *

А мне господь не дал проводника.
Не понимая, где восток, где — запад,
сорвавшись, словно сука с поводка,
бегу, ориентируясь на запах...

.....
ни улиц, ни зарубки на пеньке,
ни звука.

Лишь у мусорного бака,
задравши лапу, писает собака,
рисую схему жизни на песке.

Ефим Бершин

Я под чужую дудку не пляшу,
все эти новшества мне не по нраву,
я по старинке перьями пишу,
и мне плевать на тиражи и славу.

Ни улиц, ни домов, ни огонька...
Остановлюсь у мусорного бака.
Пока в сторонке писает собака,
сама собой рождается строка.

* * *

Я изгоняю стаю из себя —
И тает тайный айсберг подсознания,
Взлетают кремнеклевые создания,
Издание Фрейда крыльями дробя.

.....
Мы обнаружим не роман, не повесть,
А лишь сюжет для крошечной новеллы,
Когда на койку, чистую, как совесть,
Меня уложишь ложью неумелой.

Рита Бальмина

Огромный айсберг на куски дробя,
ты женщину упрямо тащишь в койку.
Я за любовь тебе поставлю двойку,
ты наглый лжец, я не люблю тебя!

О если бы тебя увидел Фрейд,
или Шекспир — с твоей опухшей рожей, —
тебя б остановили у дверей
и не пустили далее прихожей.

* * *

Брюки белые, длинные, грязные.
До ширинки висят телеса...

.....

Нет повода печалиться, когда
Любовница покинула, забыла,
Уехала куда-то, родила...
Но все-таки жива. И мирно чешет
Развратные большие ягодицы
Такою же развратною рукой.

Евгений Лесин

Слышен гул: голоса, голоса,
третий день не смолкают поэты.
У хозяйки торчат телеса,
да и прочие — тоже раздеты.

И под крики: «А ты кто такой?
Эта рифма сюда не годится!..»
кто-то чешет развратной рукой
обнаженные две ягодицы.

* * *

...И пучит на меня кровавые шары.
Ты тоже царь горы? — Я тоже царь горы.
Я тоже царь горы в короне и плаще,
И нет другой игры от слова вообще.
Будь ты бойцовый эльф или сиди в норе,
В шкафу имея дверь в иное измере,
Свирепый чингачгук и даже конь в пальто,
Когда не царь горы, ты в сущности — никто.

Мария Галина

Ты в принципе — никто, когда ты — не поэт,
обычный лох в пальто, блондин или брюнет,
прижимистый эстет, актер, комедиант,
на протяжении лет утративший талант,
жестокий некромант, заведомый хитрец,
или заезжий франт, бездельник и подлец,
вся жизнь твоя, увы, не стоит ни черта...
Заиндевевший труп, забвеньё, пустота.

* * *

симметрия обратного пути
короткого как пара зуботычин
когда рискуешь вслух произнести
что мир вокруг не слишком симметричен

.....
накинь платок озябнешь говорю
недобрый ветер в русском виртуале

Евгений Бунимович

А ну заткнись — считаю до пяти,
будь осторожен и самокритичен,
а если встретишь фрика на пути,
не пожалей пинков и зуботычин.

А если что не так, то не кричи,
не зубоскаль, и не входи в детали,
накинь на рот платок и помолчи, —
недобрый ветер нынче в виртуале.

* * *

Верить просто и непросто.
Счастлив тот, кто верит, — он
Бодро пьёт озон погоста,
Совершая моцион.

.....
Лишь ночами — зло и остро —
Сны штурмуют крепость лба...

Татьяна Ивлева

На душе моей короста —
ни во что не верю я.
Бодрым шагом вдоль погоста
(хоть и небольшого роста)
я иду легко и просто,
вижу — ветхая скамья.

Сяду с краю у могилки...
Вурдалаки-мертвецы,
выжрав три ведра горилки,
словно мелочь из копилки,
достают ножи и вилки,
изловчились, подлецы.

Я не робкого десятка,
но позвольте, мужики,
знаю, вам в земле несладко,

ну а мне — и вовсе гадко,
что же делать — вот загадка,
бить вас вроде не с руки.

Я гляжу на них сурово,
мол, вначале было слово,
ко всему давно готова —
что там выкинет судьба...

.....

За окном пальба, гульба.
Время за полночь, и снова
сны штурмуют крепость лба.

СОВЕТЫ ЮНОШЕСТВУ

завидев льва достань складной аршин
измерь добычу от ноздрей до зада
и если лев окажется большим
ступай домой оно тебе не надо

Советы юношеству. Алексей Цветков

Кто в детстве не грешил,
не грыз в чулане ногти?
Достань складной аршин
или плыви по Охте,
и сразу вспомнишь всё,
что вызубрил, однако
не начинай с Басё
и бойся Пастернака.

* * *

я ведь сам — позабытая полем кровать
.....
для кого лебезя колосится безбрежная спальня?
.....
никого на мембране пружин а заляжем бок о бок

Александр Самарцев

Колосистая рожь, лопухи, лебеда...
Знаю, в спальне твоей не усну никогда.

Помогает поэту любить-рифмовать
позабытая полем и ветром кровать.

На мембране пружин возлежу, лебезя,
мне без поля, и ветра, и вправду, нельзя.

* * *

души пересолены жабры
души переделаны фибры
Февральские смерти. Наталия Азарова

мне надо быть сильной и храброй
чтоб в очередном феврале
схватив вдохновение за жабры
замерзнуть в февральской земле
профессию трудную выбрать
уйти от красивых словес
и жабры меняя на фибры
повысить к себе интерес

* * *

Приятная зависть поэтов
и женщин внимательный взгляд —
признайся, ведь ровно об этом
мечтал ты полжизни назад?

Так что ж ты невесел, врунишка,
и чем же ты так раздражен,
и злобно шипит твоя книжка
одышке твоей в унисон.

.....

Хорошо бы
крышкой гроба
принакрыться и уснуть!

Тимур Кибиров

Редиску покрошу,
нарежу помидор,
и вилкой напишу:
«Да здравствует, террор!»

Хоть и дышу с трудом,
а все ж доем салат...
Где был красивый дом,
теперь ларьки стоят.

Ну что ж, пойду в ларёк,
пришел, как видно, срок.
Какой от книжек прок?
Да никакой, дружок!

* * *

Заявлениям о сексе не верьте,
До того, как ещё не уже
Заявления лично проверьте,
Хоть оно субъективно ведь же.

Но соваться, не зная там броду,
Это, как говорится, кому
Или лучше, не мучаясь, сходу,
Если что ни гу-гу ни му-му.

Дмитрий Гаранин

Хоть волнения эти не новы,
перед тем как предстать в неглиже,
не спешите, коль вы не готовы,
до того, как ещё не уже.

Пусть некстати отглажены брюки,
пусть звучат, не подвластны уму,
безнадёжно знакомые звуки,
ну а вы ни гу-гу ни му-му.

17-21.06.21

КРЕЩАТИК
(Перекресток)

Международный
литературный
журнал

Главный редактор издательства
И. Савкин

Дизайн обложки *С. Миронов*
Оригинал-макет *Б. Марковский*

Издательство «Алетейя»,
192029, г. Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны,
д. 86 А, оф. 536, 532

Подписано в печать 23.06.2021
Формат 66х88^{1/16}. Усл.-печ. л. 25,2
Печать офсетная. Заказ 139

ISSN 16192966

KRESCHATIK

П Е Р Е К Р Е С Т О К

#93

www.kreschatik.kiev.ua

<https://magazines.gorky.media/kreschatik>

https://vtoraya-literatura.com/razdel_2211_str_1.html

Мы в неустанном поиске
новых имен, неизвестных авторов,
где бы они ни жили — в Киеве, Петербурге,
Иерусалиме, Нью-Йорке или Мюнхене, мы —
перенесенный
в ментальное пространство
проспект, как бы он ни назывался
в каждом городе, где когда-то завязывались
великие дружбы,
писались великие стихи,
происходили знаменательные встречи...

All rights reserved © Kreschatik

